



**Дружба
народов**

7/2022



В номере:

«Голая лирика»

Поэт Сергей ЗОЛОТАРЁВ и его лирический герой, его двойник, — как Икар XXI века — живет в полете, хотя известно, чем может закончиться этот полет, но пока он «всё чувствует точно дерево/ но почти не осознаёт/ потому-то и сердце стерео/ и душа-то его поёт». Стихи Эгвины ФЕТ — о любви, которая родом из райского сада и живет там по сей день: «мы в сад вошли, где яблони и груши/ краснели в первобытности стыда». Лирика Елены КРЮКОВОЙ тоже о любви в райском саду, но как будто и сад другой, и чувство совсем другое: «Сколько срубленных Райских садов../ А кто это там так медленно, тихо, нежно идёт к алтарю?/ Господи, да ведь это ещё живая моя любовь».

«Зеркало новой американской революции»

«Как известно, художественная мысль играет немалую роль в подготовке революций. Бунин в “Окаянных днях”: “Как отделить реальность от того, что даёт книга, театр, кинематограф?” В России в этом плане ведущую роль играла книга, в Соединенных Штатах, каковы они есть сегодня, — кинематограф». Юрий КАГРАМАНОВ анализирует три последних по времени фильма Квентина Тарантино, которого многие считают американским режиссером №1.

«Мираж сюжета»

В рубрике «Жизнь в литературе» — главы из будущей книги Максима ГУРЕЕВА об Андрее БИТОВЕ: «Битов любил записывать свои сны, находя в перечислении причудливых событий и описании ведомых и в то же время неведомых персонажей недоступное наяву ощущение пространства, времени и среды, видение объема и цвета такими, какими они могут быть только внутри текста, который окружает писателя...»

Точки сборки

Обычно «родословную» писателей и их героев пытаются выстроить биографы и рецензенты. Нам было интересно свидетельство из первых рук: самоопределение писателей, и мы пригласили прозаиков, поэтов, критиков — старших и младших современников — принять участие в заочном «круглом столе». В этом номере — начало публикации:

размышления Евгения АБДУЛЛАЕВА, Марии АНУФРИЕВОЙ, Ольги БАЛЛА, Ефима БЕРШИНА, Константина КОМАРОВА, Владимира МЕДВЕДЕВА, Сергея СОЛОУХА, Александра ЧАНЦЕВА.

Евгений Абдуллаев: «Иногда возникает ощущение, что молодые читатели... Да, просто проедут на своих скейтбордах мимо. Что наша боль им будет неинтересна. Потом, конечно, замечаю — читают, как-то по-своему понимают, моих сверстников (которые сейчас входят в пору золотой осени), меня... И когда спорят, это даже больше радует».

Сергей Солоух: «Окажется ли нужным подлинное, вот что интересно. Или всех победят Майкл Джексон и Алла Пугачёва? Генная инженерия и мезотерапия, пилинг и контурная пластика. На этот вопрос у меня ответа нет».

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.05.2022.
Подписано в печать 27.06.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 2564/22. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА
Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Ольга
ЛЕБЁДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ЗОЛОТАРЁВ. На вышколенной шкале. <i>Стихи</i>	3
Александр ЗАЙЦЕВ. Улыбка Мэри-Энн. <i>Повесть</i>	7
Татьяна ФИЛАТОВА. Бабочка и скафандр. <i>Рассказ</i>	32
Елена КРЮКОВА. Голая лирика. <i>Стихи</i>	49
Игорь БУЛКАТЫ. Мара, ёмкость для гения. <i>Повесть</i>	53
Николай ВЕРЁВОЧКИН. Череп Гоголя. <i>Рассказ</i>	74
Илья НАУМОВ. Городской блюз. <i>Фрагменты времени</i>	90
Эгвина ФЕТ. Квадратным слогом посреди лета. <i>Стихи</i>	100
Александр ШЕВЧЕНКО. Рассказы	102
Сергей МАРКЕЛОВ. Разные виды снега. <i>Рассказ</i>	109
Михаил МОСКАЛЁВ. Падение гласных. <i>Рассказ</i>	124
Александр ВЕРГЕЛИС. Плавки. <i>Рассказ</i>	130

ДРУГАЯ ОПТИКА

Терентий КОНДРАТЕНКО. Пятая эссенция. <i>Стихи</i>	136
--	------------

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Александр ВАСЬКИН. «Второй съезд — кто кого съест».	
<i>Съезды советских писателей глазами их участников</i>	139
Юрий КАГРАМАНОВ. Квентин Тарантино как зеркало Новой американской революции	163

НАЦИЯ И МИР

Юлия ЕФРЕМЕНКОВА. Янтарь. <i>Светлогорские записи</i>	170
---	------------

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Максим ГУРЕЕВ. Андрей Битов. Мираж сюжета. <i>Главы из будущей книги</i>	176
--	------------

КРИТИКА

Александр МЕЛИХОВ. Культовое трио, или Чего нам не хватало	241
Сборный пункт. <i>Заочный круглый стол. В этом номере — размышления</i>	
Евгения АБДУЛЛАЕВА, Марии АНУФРИЕВОЙ, Ольги БАЛЛА, Ефима БЕРШИНА, Константина КОМАРОВА, Владимира МЕДВЕДЕВА, Сергея СОЛОУХА, Александра ЧАНЦЕВА	249

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Учебник понимания (Ирина РОДНЯНСКАЯ. «Книжная сотня: Малоформатная литературная критика с приложением "Четырёх векторов внимания»)	264
---	------------

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Пусть этот мир прогнётся под нас	268
--	------------

Сергей Золотарёв

На вышколенной шкале

* * *

жизнь прощается с нами смыслами
лишь в конце понимаешь что
для того чтоб собраться с мыслями
можно просто надеть пальто

и пойти прогуляться — синтеза
и анализа ни следа
перед нами обычный ситизен
созидающий слово да

позабытый кусочек лакмуса
повторяющий путь слезы
лакримоза ему за лакомство
в бакалее дрожат весы

и никак не задержат стрелкою
взгляд на вышколенной шкале
потому что мышление зрелого
обывателя на нуле

он всё чувствует точно дерево
но почти не осознаёт
потому-то и сердце стерео
и душа-то его поёт

* * *

отпечатки пальцев на стекле
листья клёна те же отпечатки
древней формы жизни на земле
на твоей горящие сетчатке

Золотарёв Сергей Феликсович — поэт, прозаик. Родился в 1973 году. Учился в Государственной академии управления им. С.Орджоникидзе. Автор двух поэтических книг: «Книга жалоб и предложений» (М., 2015) и «Линзы Шостаковича» (М., 2020). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015). Живёт в г. Жуковский.

в общем всё залапано вокруг
а внутри как статуя Венеры
сердце помещается без рук
без надежды и без атмосферы

* * *

небо забрано пеленою
капли бьются
в лобовое стекло в теменное
в чашки в блюда

всё сдвигается на полтона
здесь бемоли
под ногой твоей как поддоны
против воли

поднимающие над лужей
над равниной
хоть тебе ещё такт бы нужен
с половиной

чтоб Дедал привязал Икару
термопару
в воротник словно яд кураре —
знак бекара

отменяющий смыслы лица
полумеры
чтоб вернее размыть границы
атмосферы

* * *

чувствам ветреным и низменным
спелый маятник не враг
часовыми механизмами
заполняется овраг

листьев маленькие зубчики
на древесном колесе
недостаточно изучены
чтобы время знали все

слышно только — мерным анкером
мой народ напра-нале-
во за чёрно-белым ангелом
отправляют по земле

* * *

как с друзьями прощаемся с листьями
проводим их взглядами в путь
и Платан мне дороже чем истина
человечней чем голая суть

имяреку дана Богородица
потому что до Бога Отца
ещё столько всего нагородится
что накрутят ему три конца

чтоб такое искусство оттачивать
как забота мещанство и быт
крошат жёлтые листья над дачами
словно в лужи бросают карбид

где родные живые нестарые
полюбившие ёмкость 0,5
поутру призываются парами
чтобы полный объём заполнять

* * *

в сущности я думал о другом
взяв вино и хлеб горячий шоти
но как был по жизни ветрогон
то и осознал себя в полёте

лес стоял практически пустой
жив одной тончайшей паутиной
стянут ею как тросами столб
телебашни прочно и интимно

птицы если были то вели
образ жизни замкнутый и строгий
скромный что касается земли
то её не чувствовали ноги

странная лесная пустота
если продолжать сравнение с башней
всё передающая туда
в будущее или во вчерашний

день как оборудование для
утреннего радиообмена
всё чем примечательна земля
именно отсутствием и ценно

я ходил и хлебом заедал
свежим охлаждённое сухое
заглушая собственный сигнал
и округу делая глухою

* * *

в этой жизни есть частички
отголоски жизни той
что выходит за кавычки
длится после запятой

тени птиц не совпадают
с голубями до конца
приглядишься те летают
те прохаживаются

запертые в катакомбах
сонмы бедных эвридик
у поверхности на пломбах
образуют нервный тик

и какой-то глупый птенчик
повторяет за одной
тенью жестом быстротечным
долгий путь её земной

Александр Зайцев

Улыбка Мэри-Энн

Повесть

О дружбе

Долин вообще вызывает симпатию. Правильные морщины, трудоголик. Ходит в дешёвой одежде и весь в своей семиотике и мультимодальности. Отстаивает науку, не боится оскала авторитетов. Охотно демонстрирует юмор, в компьютерные игрушки играет, несмотря на то что доктор наук и сорок. Жена его, говорят, бросила. Не заносится, со мной охотно болтает по-простому, прогуливаемся иногда после пар от вуза до метро.

Двадцатитрёхлетний, я иду с ним и чувствую себя уверенно. Понятно, он в профессии умнее, ну так и я таким стану. А пока учусь в аспирантуре и в багаже оконченный вуз, до этого год в Америке (1995—1996) — тогда я был пятнадцатилетний малёк, но языковую базу заложил солидную — хорошо перевожу, особенно люблю устно — язык подвешен и произношение что надо. Поэтому в общении с Долиным не тушуюсь.

Иногда он говорит что-то для меня неожиданное: не против, допустим, воровчиновников, с чем я бы полностью согласился, а с нелюбовью к России как таковой (при этом себя от неё, получается, обособляет, хотя логика здесь малопонятна), озвучивает обобщённое высмеивание, вроде про уродство храмов и людей, — нет, и храмы бывают так себе, и уродов хоть отбавляй... А потом этот всплеск затухает, как будто не было, снова милейший человек.

Москва долго удивляла. Всего много, а под меня почти ничего: тогда в чём смысл многоти? (Проблема, видимо, в том, что теория главенства малого всегда мне была близка органически.) Из москвичей я подружился только с прозаиком-математиком Репановым, на литсеминары которого ходил, — он старше на двадцать лет, — и ещё с лингвистом Найманом, научным руководителем, — он был глубокий старик, — и произошло это вряд ли потому, что я находил в их суждениях и реакциях больше логики (это слово скорее всего вообще не понадобится нам на следующих страницах), — хотя первый, кстати говоря, преподавал логику и даже написал учебник,

Александр Зайцев — лингвист, переводчик. Родился в 1979 году в Ставрополе. Лонг-лист премии Дебют-2005 (короткая проза). Печатался в журналах «Новый берег», «Крещатик» и др. Автор трёх книг прозы: «Старое общежитие» (2009), «Тектоника» (2012), «Убежище Бельвю» (2020). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

а второй просто был с нею хорошо знаком, — да и учился ещё чуть ли не во времена Аристотеля.

Одиночества в Москве я долго не испытывал — наоборот, после нескольких лет общежитий радовался пустой съёмной квартире.

Друзья и подруги заглядывали в гости. Мы охотно общались. Нередко подруги задерживались до утра — после литсеминаров, работы, совместных лекций в аспирантуре.

Долин, может быть, отчасти прав в тотальной негативности... Только я бы убавил ярость... и в то же время не ограничивался соотечественниками... Тут меня кто-то не поймёт... Кроме подонков и стерв есть же много чего ещё. Плохость может быть тихой, улыбочливой, симпатичной. Хорошесть — несовместимой, вызывающей равнодушие.

Заехала в гости Дашка — мы учились в инязе, она на год младше, — гуляли по бульвару, в Цветнике, на склонах Машука. Мороженое, пиво. Иногда целовались на горных тропинках. Всё эпизодически. Она говорила: «Ты лучший». Это смешно, да и непонятно, что имела в виду, но фраза закрепилась.

Она перебралась в Москву позже, только в 2005-м, кажется. Филологию оставила, не её это. (Я подумал — зря, конечно. Сколько фантастических дур филологию не бросают, а потом защищаются и «делают науку». Уж Дашка была бы учёным посильнее их.) Устроилась менеджером в японскую компанию. Всякая электроника. Тяжело с нуля вникать в новое. А где живёт? Нашла москвича — через интернет, поженились. Он сильно старше — показала фотографии. Ну, дай Бог.

После литсеминара вечером сидим с литераторами в «Китайском лётчике» (я вроде теперь один из них — не лётчиков, литераторов). А Дмитриев, выпив рюмку, говорит: напишу о тебе статью. Куда? В журнал «Омега». Новая площадка. Я говорю, спасибо. Дмитриев с бородой и очень начитан. Цитирует Кьеркегора, Селина. Он как бы старше, хотя мы ровесники, и как бы везде — пишет, выступает, критикует, переводит, организует, публикует. Всех знает. Откуда энергия. А главное — свободное время. В конце вечера шепчет, не найдётся ли двести рублей. Найдётся. Около полуночи собираюсь уходить, мне утром на работу, — все шумят, веселятся, Дмитриев крепко жмёт руку.

Я не помню многих мест, в которых мы бывали, а из тех, что помню, многих уже нет. «Китайский лётчик» только, похоже, вечный.

Из многого я помню фрагменты — какие-то блики света, деревья, лужи на тротуарах, порывы ветра с привкусом осеннего дыма, мышцы, разогретые ходьбой, непредсказуемая московская архитектура, разговоры с Репановым — опять же, не всегда конкретные, а общий строй: единственное хорошее качество текста — если текст живой; как этого добиться — стилистически никак, но у некоторых происходит; писать надо, даже если не очень идёт; единственный достоверный критерий — вкус. Любит анекдоты о Москве. Что бы ни говорил — во всём слышу доброкачественность.

Профессор Найман тоже имел здоровое нутро: герой войны, создал лингвистическую школу (один из немногих мыслил не частностями — видел общую картину), у него были доброжелательность, юмор, какое-то общее бесстрашие...

И вообще интересно с теми, кто умнее.

Я не хотел быть ни Репановым, ни Найманом, ни их смесью, хотя они мои учителя, ни кем-то ещё. Видимо, где-то внутри есть особый, подлинный я.

Вру — один раз точно хотел. Как-то весной видел в Крыму женщину. Она — подтянутая, тридцатипятилетняя примерно, в кроссовках и коротком пуховике, — шла по безлюдному Воронцовскому парку, улыбаясь, — подошла к огромному дереву — кажется, платану — и с невероятной любовью и спокойствием обняла этот

чёртов платан. Прижалась и замерла на минуту. Я ей позавидовал. В другие дни ритуал повторялся. Я проследил за ней — она торговала всякой ерундой в палатке у восточного выхода — сувенирным мылом, магнитиками, — материлась, курила с подружками, обычные дела, но я видел что видел, — безмятежные свободу и счастье, счастье и свободу.

Или не знаю, как это назвать. Догадываюсь, оно идёт изнутри, не обстоятельство. Наверное, это в ней внутренняя настоящая она совпадала с нею внешней. Наверное, так.

Надо же, вспоминаются мелочи, а целые пласты как будто уходят в туман — например, до переезда в Москву были пятигорский университет, сокурсники... Щенячество — возможно, потому и забыл сейчас. (Как бы забыл.) Но в те древние годы казалось, что главная реальность.

Я вправду верю: наше время — не цепочка самообмана, где текущее воспринимается как главное, а через пять-десять лет видится как ничтожное, уступая место новому текущему. Я верю: при правильном векторе сиюминутная повестка постепенно становится более весомой, чем прошлая, стоит большего.

По итогам двадцати лет — из москвичей только Репанов и Найман меня полюбили, как я их (Репанов и сейчас любит, Найман умер), и к тому же оказались — шутка ли — да просто лучшими в своём деле.

Остаётся похвалить себя: неплохие друзья.

Долин, между прочим, эмигрировал — кажется, во Францию или Бельгию — после периода работы в институте ФСБ, когда был невыездным. Потом уехал и так же занимается семиотикой, носит простую старую одежду, хихикает и время от времени разряжается в фейсбуке — выкладывает, например, икону Богородицы с Христом — с пририсованными обезьяньими мордами. Живёт в Антверпене или Безье.

О Боге

— Я почти сирота, — говорит Вова Подточий.

А я и не спрашивал ни о чём. Но он продолжает:

— В том смысле, что отца я никогда не знал, а мать гуляла направо и налево. И сейчас гуляет. Мурманск — такой ад, если честно... Но я сам выучился, сам поступил... И вот в Москве, учусь на переводчика.

Жаль его, конечно. Зачем он мне это говорит? — Бывает, пооткровенничать нужно. А может, вызывает жалость. Но зачем?

Я докуриваю, жму ему руку и иду в свою общежитскую комнату.

Тёплый ли я человек? Не знаю. Пожалуй, нет. Но плохой ли? Скажем так: не говно.

Может быть, кстати, отсутствие теплоты для многих и вот это вот второе как-то связаны... Как бывает в физике или химии. Но это только предположение.

Антон, моего друга, все, кто встречают хоть раз, считают отличным человеком. Коля, уж на что критикан, и тот после первой встречи сказал: «Это лучший из твоих кентов». А такой похвалы от Коли не заслуживал никто. При этом в обществе Антона он провёл часов пять.

Антон высокий красивый мужик из уральской глубинки. Вернее, теперь уже по годам мужик — я же пишу это из 2022 года, — а при встрече он был увлечённым парнем

с шикарным чувством юмора, располагающей улыбкой, из которого талант так и сочился, но не принимал никакой конкретной формы, а оставался растворённым в мелких репликах, действиях и жестах. Он из простой семьи — но поднял себя за уши и стал эстетическим энциклопедистом (я так его называю), — перелопачивает искусство в поисках интересного: покупает редкие музыкальные альбомы, книжки обо всём на свете, в Москве не пропустил ни одного необычного концерта или выставки, на какие мог найти деньги.

В Москве он, как и я, оказался в 2002-м на полугодовом повышении квалификации — нас, молодых специалистов, отправили в столицу наши региональные вузы. Процентом 50 так отправленных имели единую цель: жизнь в Москве, уют, деньги. Парни, как правило, старались найти дам с московской пропиской, девушки — мужчин. Цель Антона была другой: понять, что ему нужно, идти вперёд, вслушиваясь в колебания эфира (что-то такое). (Моя цель была смесью пошлого и высокого — от Москвы я хотел знаний, профессионального роста, чтобы потом, где бы я ни оказался, все бы говорили: «Он с московской аспирантурой, учился у мэтров, защищался у великого». А вообще я не хотел жить в Москве или, допустим, Нью-Йорке. Тем более с намеренно найденной аборигенкой.)

Полгода я, по сути, готовился к поступлению. Антон тоже — нашёл руководителя, сформулировал тему диссертации, написал реферат. Всё шло хорошо. А потом сказал: нет, ерунда, неинтересно. (Я бы так не посмел.)

И он вильнул хвостом и уплыл обратно на Урал, там преподавал, переводил с немецкого на гигантском металлургическом комбинате, потом продал комнату, доставшуюся от бабушки, уехал учиться в Берлин (в то время высшее образование у него уже, разумеется, было, но хотелось большего, вернее — чего-то другого).

Учёба растянулась лет на девять, кажется. Он никак не хотел доделывать исследование по современному европейскому искусству, в котором разочаровался. Общежитие продлевали, так как защита всё откладывалась. Работал ночным администратором в гостиницах. Девять лет крохотная комнатка, заваленная компакт-дисками, книжками, оклеенная плакатами. Велосипед, концерты, выставки.

Встречались мы раз в год или два, когда он приезжал на пару недель повидать родителей. Разумеется, ехал через Москву, — потому и встречались.

Такой же увлечённый, хохмящий, немеркантильный, без эго (по крайней мере в его распространённой модели). Деньги копит, месяцами ограничивая себя, чтобы съездить в Прагу или Уффици. Из экономии и простоты то и дело ест лапшу быстрого приготовления.

Женщины? Немки в целом не фонтан. А наши, которые там оказываются, — все с одним намерением. И когда понимают, что не с тем связались, а это происходит обычно через неделю-другую, — исчезают. Старается всего этого избегать. Да, немного обидно, но обида тонет в заразительном смехе и хохмах.

Ещё и мой пример перед глазами: я влюбляюсь, надрываюсь с ипотекой, езжу на работу по часу в один конец, трачу материальное и нематериальное на женщину, которая потом, как правило, бросает, проходит время, я опять влюбляюсь...

(Антон видит и то, что я продолжаю упрямяться. Но первое, безусловно, имеет больший педагогический эффект.)

...В общаге, помню, Вова Подточий подходит без предисловий и говорит:

— Ты вроде переводчик. А как переведёшь «на встрече, которая недавно состоялась там-то»?

— At a recent meeting held in... — говорю.

Он отрицательно цокает:

— Нет. Просто At a recent meeting.

Пожимаю плечами:

— Ты же акцентировал внимание на придаточном...

Хихикая, уходит.

Наконец, защитившись в Берлине, Антон углубился в изучение китайского (немецкий уже знал в совершенстве). Иероглифы, каллиграфия — удивительный мир. Я как раз развёлся с первой женой. Был сам не свой где-то год. Потом ничего, выплыл. Антон иногда присылал ссылки на проекты и перформансы — вроде Заппы или «Сумасшедшего мира Артура Брауна». Летом он приехал в Москву — возвращаясь окончательно, — тогда-то я и познакомил его с другом детства Колей, и тот сказал, что Антон просто невероятно добрый, тёплый человек.

...В общаге Вова Подточий заходит и говорит:

— Мне надо писать дипломную работу. Есть одна тема... Как думаешь, что по ней можно сделать?

Я немного выпил, пребывал в отличном расположении духа, поэтому говорю:

— Садись.

Диктую ему план, формулирую гипотезу, набрасываю список литературы.

Вова говорит:

— Хм.

Уходит.

После защиты хвалится: написал лучшую работу на курсе.

Поздно вечером мы с Антоном сидим у нас в Ростokino: жена возится с сыном, я готовлю рагу. На полу рядом с диваном лежат кот и Антонов рюкзак — из него вывалились два пакета заварной лапши. Я спрашиваю:

— Куда ты дальше?

— Месяца два поживу с родителями, а потом в Китай — преподавать русский через английский. Мне интересна восточная культура.

Вспоминаем общежитскую жизнь, в основном в юмористическом ключе, я рассказываю о Подточем, которого Антон не знал (когда я учился в аспирантуре, он уже уехал в Германию). Я вспоминаю, как встретил мурманского почти сироту в последний раз — лет восемь назад — случайно, на Таганке: тот сообщил, что квартира у него в центре, живёт один в ста квадратных метрах, стал уникальным специалистом по религиозному переводу. Религиозный перевод — высший пилотаж, мало кто умеет. Зато о Боге он теперь всё знает. Так и сказал: «О Боге я теперь всё знаю». Оказалось, работает переводчиком в секте. Он говорил это с осанкой победителя.

Я закончил рассказывать — Антон хмыкает.

Я тоже хмыкаю, но добавляю:

— Мудак, конечно.

На что Антон отвечает:

— У каждого своя жизнь.

Да, правильное будет так: у каждого своя жизнь.

Об Америке

Лидия Ивановна — новый проректор — впервые посмотрела на меня, её лицо болезненно скривилось. Будто стало больно или плохо.

К тому времени жизни (27, примерно) я такое видел не раз, и потом ещё увидел не раз. Она меня мгновенно возненавидела.

Было ощущение, что некоторые живут гневом и желанием козней — из чистого бескорыстия. По дороге из института, в котором я тогда работал, я проводил онтологический поиск: почему я?

Считает, я ей конкурент? В чём? Она проректор по воспитательной работе, я скромный завкафедрой — точки пересечения отсутствуют. Она — власть.

Деньги? Во-первых, её зарплата раза в три больше. Во-вторых, она живёт с мужем-банкиром в загородном особняке в охраняемом посёлке, есть собственный водитель, прогулочный катер, мотается за границу чаще, чем я на метро. (Я снимаю однокомнатную на Шереметьевской, — это было за год до того, как взял кабальную ипотеку.)

Может, у неё сынок-дебил примерно моего возраста, и она бесится, так сказать, сопоставляя? Навёл справки: нет, — дочь, красавица, отличница, учится в МГИМО.

Может, Лидия Ивановна подпитывается от вечной борьбы и не хочет терять форму? Или её состояние сродни алкоголизму?

К другим она, впрочем, тоже относилась стервозно, но я был её любимчик. Она пыталась меня уволить, снять с заведования кафедрой, рассказывала обо мне всякий бред, подставляла, пыталась урезать нагрузку. Забавно, что всё без толку, а с заведования я потом сам ушёл: понял, что оно не имеет отношения к науке — только мешает.

Губы Лидии Ивановны образовывали характерную складку. Точнее, так: губы её к 45 годам утончились и сжались в кривую с опущенными уголками, что не было связано с анатомией или возрастом, а было исключительно жизненным приобретением.

Почему-то именно эта особенность стерв мне бросалась в глаза прежде остальных и чаще всего становилась предметом бесконечного мыслительного издевательства над ними, — юмор, как известно, облегчает жизнь.

Такие же губы были у Мэри-Энн, кстати, — матери из американской семьи, которая в середине 90-х приняла меня, старшеклассника, к себе на учебный год. Мэри-Энн тогда было сорок. Я её боялся и любил. Она меня, кажется, не очень. Или не всегда. Тогда зачем приняла? (Это было её совместное с мужем решение.) Или как-то по-особому любила... Перед моим отъездом, помню, плакала.

(Всего в семье было четверо: она, муж Ларри и двое сыновей.)

Они с Ларри при мне поцеловались один раз за год. Это выглядело так: они чинно приблизились друг к другу (Ларри собирался уезжать на пару дней) — обнялись за плечи (обхватить её было непросто) — медленно вытянули губы — он из-под пышных усов, она — выправляя их из сложившейся гримасы — и на секунду соприкоснулись. Я чуть не засмеялся.

В чём-то эти двое стояли друг друга. Только Ларри мог улыбнуться нормально, а она — нет.

Так вот, проректор Лидия Ивановна меня ненавидела незнамо за что... А много и открытых, тёплых начальниц попадалось... Взять ту же Рину Васильевну — она руководила кафедрой, на которой я защищался и на которой больше шестьдесят лет

работал мой руководитель Владимир Найман. Рина Васильевна относилась к нему с восхищением.

Всегда рафинированная, вежливая, деликатная. Улыбка хорошая. Красивые костюмы — в основном Prada.

Был такой эпизод: к защите нам с товарищем нужно было несколько копий диссертаций, не считая документов. Она подошла в коридоре университета и стеснительно сказала:

— Вы, наверное, много потратили на распечатывание... Хочу вам помочь, — и протянула деньги.

Мы отвыкли от таких жестов, — наоборот, кругом поборы, — а тут такое. Нас это тронуло. Не взяли, конечно, но долго вспоминали с благодарностью.

На кафедре (которую в 50-е основал Найман) у Рины Васильевны работали разные люди. Но не уволишь же половину... Странно, что диссертации у некоторых вдруг появлялись за несколько недель... Жаль, что 19 из 20 были псевдонаукой... Но ведь надо выполнять план...

Найман ворчал: откуда берут дурацкие темы, почему не исследуют то, для чего он заложил фундамент.

При нём Рина Васильевна понимающе кивала, закатывала глаза: да, общий уровень упал, всё разваливается, она, мол, едва держит коллектив на плаву, настали деловые времена, спасибо, что не расформируют...

Закончив аспирантуру, в разные годы я заглядывал к ней в гости — угощала чаем, говорила о Моне, Чосере, Аристотеле... Один раз, добрая душа, даже пригласила в качестве оппонента: в рецензируемой диссертации я нашёл главу из собственной... Рина Васильевна дипломатичная, бесконфликтная — заставила всех извиниться, не отменять же защиту, не делать же скандал, — это нанесло бы такой ущерб делу всей жизни Владимира Леонидовича.

Последний раз мы встречались на его похоронах.

Потом Рина Васильевна состарилась, ушла на пенсию, завкафедрой стала её милая дочь.

О политике

Аристотели, чосеры... А есть ещё кьеркегоры, ницши...

Культурному человеку о них нужно говорить, писать. Их нужно хорошо знать.

Писателю это важно вдвойне. Одни греки да Библия — неисчерпаемые источники аллюзий. Даже талантливые ими пользуются: Кундера, Фриш...

Но я отвлёкся.

Мы все философы и мыслители. У каждого — своя позиция. Причём обычно как: если православный — то с придыханием про батюшку-царя и прочих фрейлин да с осуждением «совка». Если коммунист — то долой религиозное мракобесие, которое испокон, чтобы дурачить и подчинять. Если либерал, то будь хоть верующий, хоть атеист, хоть агностик, но с ненавистью к «совку» и презрением к «РПЦ, которая в золоте и обслуживает власть». Такие стандартные комбо.

Я же умудрился совместить православие и коммунизм. Ну и определённую свободу мышления, нехождение строем, которые, в основном на словах, исповедуют либералы.

В результате не попадаю ни в одну обойму и нигде не считаюсь своим. Несколько человек с радостью порвали со мной, узнав о моём купаже. Среди них были и тоскующие о Святой Руси, и верные ленинцы, и поклонники свободного рынка.

В девяностые и двухтысячные, когда это всё постепенно (кто-то скажет — причудливо) складывалось в моей голове, в один день я мог пойти на либерально-литературную тусовку, в храм, на выступление мозговитого священника или на встречу клуба левых, если его можно так назвать.

С Викентием познакомился уже в Москве, в 2005-м, в Библиотеке иностранной литературы. Он выступал там как историк и тогда никому особо, кроме других медиевистов и горстки друзей, известен не был. Имя Викентий подошло бы священнику или идеализатору дореволюционной России (что, как я уже говорил, часто идёт в одном флаконе), но Викентий был (есть) убеждённый коммунист.

Что в нём удивительно? Он, как Найман и Репанов, интеллигентен и в целом не презирает людей. А так — понятное дело, харизма, начитан, увлечён историей. Много говорит, но не болтун. Может строго научно и сложно, может просто и доходчиво. Личной пользы ему от этого ноль. Возится с «молодёжью», просвещает. (Хотя оказался старше меня всего на пять лет — но крупные размеры, лысина, ранняя седина, усы...) Устраивает посиделки в кафе, походы в музеи, на природу.

Помню тот день в 2006-м, когда мы встретились в макдоналдсе на «Сухаревской». Все сидят, едят гамбургеры, а Викентий говорит:

— Нам пытаются подать существующий мир как единственно возможный и даже показать его плюсы: открытые границы, сорок сортов колбасы в магазине, отсутствие очередей. Такая мечта советского обывателя из 80-х — какого-нибудь инженера, который едет себе после работы по любимой специальности в пятикопеечном автобусе домой, в квартиру, которую ему дали и никто не отберёт, к жене, которая на выходные собирается в бесплатный санаторий, к сыну, который учится в бесплатном вузе. А потом в 90-е этого обывателя под дулом автомата выводят из его квартиры (в Грозном, Душанбе или центре Москвы, например, — бывали случаи и в Москве), или закрывают НИИ, выталкивая торговать видеокассетами, заболевшего не лечат бесплатно, жильё предлагают под грабительские проценты, сын его садится на героин, которого при «проклятом совке» не было, но который теперь в каждой подворотне и будет всегда, ведь он товар, причём сверхвыгодный, а при капитализме всегда будет существовать то, что может быть товаром... И так далее. Да, теперь у него есть загранпаспорт, но нет денег слетать к родственникам во Владивосток. Выбирай, — говорит Викентий, — какие минусы тебе больше по душе. Да и повторять советские ошибки совсем необязательно... — Ключ ко всему — отмена священной для нацистов и сионистов, путинцев и западников частной собственности на средства производства. Перераспределение миллиардов, оседающих в карманах горстки людей. Перераспределение ресурсов — не путать со «взять и поделить»... В итоге это даст каждому время, достойную жизнь, спокойствие, силы... Чтобы что? — Чтобы быть человеком.

Разумеется, у Викентия в этом уравнении есть ещё отторжение от религий «как инструмента смирения масс для сохранения существующего порядка».

Я же, хоть убей, не верить — не могу (об этом позже). В то же время не вижу никакой возможности быть христианином и не разделять коммунистической идеи экономического равенства... То есть Дзержинский из меня выйдет вряд ли. Из-за наличия не только веры, но и ссыкливости...

Спустя десять лет я узнаю, что Викентий не общается со своим отцом-священником. Я стану свидетелем неприятного разговора — когда его папа попытается помириться. Обоих станет очень жаль... Викентий к тому времени превратится в знаменитого блогера — его лекции по истории с рекламой ноутбуков и путешествий

«всё включено» будут слушать сотни тысяч фанатов. ...Я бы тоже рекламировал ноутбуки, но меня никто не просит...

Но вернёмся в тот день в 2006-м. После встречи нашего «левого клуба» в макдоналдсе я еду в метро с таксистом Пашей — одним из примкнувших к Викентию. Говорю:

— Слушал на днях профессора из Стэнфорда, он высказался так: «Идея экономического равенства нереализуема. Пример — СССР». Это всё равно что сказать: «Поделиться бутербродом невозможно. Один раз Вася пытался отрезать кусок и уронил».

Таксист Паша говорит:

— Куры гриль в «Ашане» по сто пятьдесят рублей!..

Про кур в «Ашане» — одна из его ключевых мыслей, он её при мне уже озвучивал.

Впервые — когда подвозил (нужно было кое-что перевезти, я вспомнил о нём, позвонил, — интернет-агрегаторов тогда не существовало). Мы проезжали вечером по МКАДу вдоль громад торговых центров, светящихся завлекающими огнями, и Паша с силой бил по рулю, отчего срабатывал сигнал, и говорил:

— Понастроили дерьма — смотри. Всё отберём... или сожжём.

Я привычно вздрагивал, не подавая вида.

— Особенно «Ашан», — продолжал он. — Кур готовят из замороженных, суки.

Паша невысокий, с рыжеватыми жидкими волосами, неудовлетворёнными глазами, какими-то шрамами в верхней части лба, очень жилистый и крепкий от природы. Из него вышел бы прекрасный махновец или кто-то из этих — будут ездить на новых тачанках, укрытых персидскими коврами. И кроме «Ашана», возможно, заглянут ко мне, хоть я и за всеобщее равенство и такой же (только образованный) пролетарий без средств производства, — просто если не понравится моя рожа.

Он хочет социальных благ, как при СССР, но чтобы особо не работать (в том числе над собой). Обострённое, но искажённое чувство справедливости. Курит в салоне, не пристёгивается... Виноват ли в его желании сжечь «Ашан» коммунизм? Не больше, чем христианство в том, что святая равноапостольная княгиня Ольга сожгла древлян.

...В сегодняшнем (2022 год) фейсбуке я состою в группе «Прекрасные замки мира». Просто люблю — они красивые. Но жить в них не хочу. Сжечь тоже не хочу.

...У одного моего сверстника, топ-менеджера, имеющего всё, что требуется эталонному современному человеку, — главное хобби на удивление недорогое и поражающее простотой: на досуге он смотрит в ютьюбе видео на канале «Дома за миллиард», приговаривая: «О-о! О-о!» Видел своими глазами.

...Коммунизм, если отбросить наносной шлак, — это расширение границ семьи, сыновней, братской любви, понятия «ближнего». Только когда понимаешь, что твоя мелкая благотворительность так же бесполезна, как лечение онкологии аскорбинкой... Врать себе всю жизнь про важность теории мелких добрых дел... Оно, конечно, душевнотворительно: тут подал копеечку, там... Ничего глобально не изменить?.. Не знаю... Если не пытаться, зачем тогда воплощался Христос? Помахал бы с облака ручкой, и был таков.

...Восемь лет я (эпизодически — из-за занятости и лени) опекал пожилую бездомную — она обитала недалеко от моей работы. Кормил, давал денег, приносил тёплые вещи. Советовал писать на картонках просьбы о помощи — она была полусумасшедшая: чертила какие-то каракули и потом сидела с картонкой в руках. Тогда я писал вместо неё. В одну зиму догадался попросить пожарных из соседней

станции, чтобы особо холодные ночи она проводила у них в гараже. Звонил в благотворительные фонды — забирали, отмывали, подлечивали, вскоре она снова оказывалась на своём месте. Так работают фонды. Как её было спасти? С помощью государства с другим устройством. Потом умерла, конечно. Но восемь лет на улице — это, в принципе, много. Её звали Елизавета.

...Недавно я узнал об акциях богатого американского стилиста: иногда он собирает из-под мостов нью-йоркских бомжей, привозит в свой салон, делает им модные стрижки, которым позавидуют в Голливуде, фотографирует для журналов и отпускает обратно под мосты. Это подаётся как благотворительность и одновременно перформанс с особой эстетикой. Если отбросить мои христианнейшие намерения и его нижайший цинизм и оценить эффективность, наши с ним действия примерно равны.

Но вернёмся в тот далёкий день. После левого заседания (в желудке ещё не переварился бигмак), двадцатилетний, я приезжаю в книжный на Новый Арбат. Там — презентация книги одного из моих заочных учителей — дьякона Андрея Караева. Впервые я увидел его в девяностые в Пятигорске: это было как глоток свежего воздуха. Священники, попадавшие мне раньше, были неинтеллектуальными, неконтактными, стоявшими на пьедесталах. А он — говорил свободно и остроумно, без речевых ошибок, шутил, общался с залом. Он единственный современный православный миссионер, который объехал сотни городов, выступал перед сотнями тысяч людей и, насколько я знаю, тысячи изменил.

Вот он появляется, публика оживляется, он берёт микрофон, поправляет круглые очки и мягко говорит:

— Что ж, начнём.

Давно это было... Было уютно и волнительно сидеть в книжном, снова его слушать, — за окном мягкий туманный свет и шёл снег — и опять я испытывал этот трепет предвкушения новых знаний и мыслей, который до поры составлял суть моего существования. Н-да.

...Когда на смену Ельцину пришёл Путин, ему, помнится, резко делали имидж для набора популярности: вот он летает на истребителе, вот бороздит океан на подлодке. Солнцезащитные очки, ладная униформа.

Наблюдая это по телевизору, я сказал родителям:

— Как оскорбительно. Неужели думают, что все такие дураки, что этими фокусами их можно заставить себя любить? Неужели это — платформа? А поди ж ты, полюбят и проголосуют.

Родители мне на то сказали:

— Мы — точно проголосуем.

Я спросил, почему. Они усмехнулись и ответили:

— Он сам ходит, внятно говорит.

...Новая книжка отца Андрея, судя по презентации, интересная. Покупаю и благоговейно иду за автографом...

Раз уж вспомнился Путин: отец Андрей антагонизировался против него сразу. Я тоже не имею симпатий к альфа-капиталистам. Но у отца Андрея нелюбовь возникла — мгновенно: он написал о ней через несколько дней после путинского воцарения. То есть — когда ещё ничего совершенно не было понятно. Получается, дело тут было не в либерализме, монархизме, коммунизме или вере, а в чём-то вроде чувства проректорши Лидии Ивановны.

...Миссионерские книги отца Андрея мне нравились ужасно — вот и презентуемая

тоже: много цитат, размышления об Абсолюте... Риторикой, правда, увлекается. Ну так и что: Аристотель ею тоже увлекался. Путь, который он указывает к Христу, в большей степени интеллектуальный, — ну так и что: есть разные пути... Слушаю его с восторгом.

...При прежнем патриархе отец Андрей был его правой рукой — перед ним открывались все двери. Новоизбранного патриарха он попытается рекламировать (примерно как те журналисты — президента), но останется не у дел. Начнёт критиковать всё, что можно критиковать в церкви, но чего в предыдущие двадцать лет будто бы не замечал. Пустится в оправдания: дескать, взялся за критику раньше. Его попрут с разных постов — перейдёт к мелкой возне в духе «сам дурак», сведению счётов. Будет публиковать личные данные недругов, иных материть в день их смерти...

Подобное иногда объясняют буддийской мудростью: если птицу долго кормить рыбой, её мясо на вкус становится как рыба. Попал в верхи чистым, долго варился в интригах византийского жанра — и сам не заметил, как пропитался. Объяснение вполне коммунистическое — потому единственно верное. С другой стороны, очень романтическое, потому работает редко.

Скорее, так: можно ли ставить целью жизни приводить людей к Богу — и одновременно быть упёртым злопамятным карьеристом? — Можно. (Упёртость и карьеризм — это ещё ерунда.)

Говоря об этом одному приятелю, я допустил, что мои рассуждения о лично незнакомом человеке могут повлечь обвинения в злобности и поспешности, после чего рассказал ему о любимом школьном учителе литературы Евгении Витальевиче. Увлечённый был мужик — обсуждали с ним Раскольникову, вечные вопросы. «Тварь ли я дрожащая или право имею». Он заставлял думать даже двоечников, его уроков я с нетерпением ждал. Он *взял на себя* роль гуру. Потом настали девяностые, и Евгений Витальевич попытался украсть из школы компьютер, но неудачно: спрыгнул со второго этажа, сломал ногу, его поймал сторож. Но тут — всё же — сработала романтика исторических обстоятельств...

Приятель отозвался следующей историей: с его матерью полвека работала в вузе некая Казарьян. Интеллигентная милая армянка из обрусевшей семьи — отец её возглавлял крупное предприятие по пошиву одежды. Семидесятые, восьмидесятые душа в душу — совместные факультетские чаепития, походы в гости, иногда даже отдых на море. Году в девяносто шестом новый декан не дал этой Казарьян желаемой нагрузки. Она вбежала на кафедру и начала кричать: «Вот вы, русские, суки. Надо было вас всех перерезать».

Я удивлённо заметил, что такое высказывание для армян редкость, да и довольно странное с исторической точки зрения: они русских особо никогда не резали, — скорее даже, наоборот... Приятель пожал плечами:

— Как бы то ни было, произошёл у неё такой выплеск, который больше никогда не повторялся. Я, в духе Чарльза Сандерса Пирса, охарактеризовал бы его как «нереализованную потенцию».

...Ну а тем же вечером (Викентий, Караев, все в один день!) — посиделки в кафе на Покровке — литсеминар Репанова с чаем и печеньем. Поэты читают стихи, прозаики — рассказы. Присутствуют томные девушки в декольте не по сезону. Спорят о литературе, обсуждают, курят на морозной улице. Дмитриев мелькнул — занял триста пятьдесят рублей, скрылся.

Для либеральных поэтов (они там были сплошь либеральные или никакие) неравенство — зона умолчания (хотя один-два, знаю, помогали бедным). Если о

неравенстве заговорить, они будут чувствовать себя неловко, как положено приличным людям в присутствии невежи, который при всех пукнул. Стоят, курят, а один ужасается: в парке «Иллюзион» он видел бюст Сталина.

Стихи у них иногда хорошие — розы, бабочки.

...Это позже расхожим объяснением наличия бомжей станут путинский режим и не то «неправильный капитализм», не то «феодализм»: вот придёт, мол, реформатор-либерал, и всё наладится. Те, кто поумнее и читали хотя бы Кейнса, признают, что бомжи теперь будут всегда, что это один из неизбежных недостатков капитализма, который, однако, не затмевает его несомненных достоинств. Самые же умные и активные за такие разговоры начнут банить в соцсетях и разрывать живое общение. Но в этой главе, повторю, мы находимся в 2006-м...

Репанов относится ко мне как родитель, с моими суждениями мягко спорит. Когда провожаю его домой после семинара, напоминает, среди прочего, о зверствах ежовщины. Я хочу сказать, что сводить коммунизм к апологии или демонизации тридцатых — всё равно что сводить Нагорную проповедь к апологии или демонизации инквизиторов, но не позволяю себе из почтения. На прощание он, делая усилие, говорит:

— В чём-то я могу вас понять.

Это он из доброты.

О стоматологии

Пишет:

— Ты не мог бы перевести 4500 рублей? Мы с подружками сходим в спа-салон. С любопытством перевожу через онлайн-банк.

Пишет:

— Ты настоящий мужчина. С тобой можно строить семью. Я готова тебя любить. Начинаю смеяться в голос — вызывая удивление кота.

Эту Наташу я встретил три недели назад в гостях — знакомая знакомых. Наташа красивая — на лицо лет тридцать пять, телу позавидует двадцатилетняя (я в тот момент тридцатипятилетний), слово за слово, коктейли, меня год как бросила жена, я не святой, уехал с этой Наташей до утра.

В следующие дни она написала несколько обычных игривых сообщений. А потом вот — о готовности любить за спа-салон. Что это: глупость? хитрость? нехватка образования?

Наташа работает в АХЧ подмосковного колледжа. Свободное время посвящает уходу за собой: упругости груди, гладкости кожи, качеству зубов. Чувствует жизнь удавшейся, когда раздобудет новую одежду или телефон, сходит в хамам, слетает на три дня в Турцию. Ей оказалось 44. Взрослая дочь учится в Бауманке (ни много ни мало). И совершенно нормально смотрит на то, как её мама обменивает нефть на продовольствие.

Кстати, точно так же вела себя двадцатидвухлетняя литературовед Вика, ассистентка с кафедры Рины Васильевны из моих аспирантских времён, — даже говорила почти теми же фразами. А она-то получила наилучшее образование (специализировалась на Бахтине). Только в её случае было ещё проще: «Накормил в ресторане — ты хороший, зацелую; сегодня ничего от тебя не получила — ты злой, с тобой не дружу». Услышав такое впервые, я разузнал о её семье: может, она с самого дна? Пьющая мать,

бьющий отчим, что-то такое? Выбирается любыми средствами? Нет, всё оказалось прилично, в достатке, полный комплект нормальных родителей.

(Жизненный путь Вики я пунктиром отслеживал, намеренно или невольно, — в нём ничего принципиально не меняется почти двадцать лет.)

Некоторым удаётся моментально, чуть ни с рождения, найти себя.

Я знал и бескорыстных, отдаваться для которых бесконечно и увлечённо было органикой, потребностью, перераставшей в аскетичное (да, аскетичное, потому что исключавшее многое другое, требовавшее жертвования многими интересами), фанатичное служение, каким для иных бывают спорт, вера или дело революции.

Мои женщины либо никогда прямо не интересовались политикой и не высказывали суждений на её счет, либо немногословно соглашались с мейнстримом: рынок, мол, хорошо, бизнес — достойное дело, можно развиться, саморазвиться, всё в твоих руках, открыты дороги, словом, стандартный набор мемов. То ли женщины моей эпохи считают, что левизна им не к лицу, то ли мне такие попадались... Забавно было бы свести нестыковки личного плана к несовпадению политических установок.

На литтусовках всегда было много активных, громких либералок, но я находил их скучными и в случае возникновения физического притяжения больше чем на пару ночей не задерживал — волатильность рынка, знаете ли. Котировки скачут.

Религиозных (либо религиозных плюс восхищение царём-батюшкой) встречал тоже много. Но тут тоже шло что-нибудь да не так. Иногда в связи с царём-батюшкой, иногда — с какой-нибудь банальностью вроде неряшливости.

Когда-то в меня влюбилась набожная дочка миллионера — владельца модного театра, — забрасывала письмами и сообщениями, поджидала возле работы, дарила подарки, звала кататься на вертолётках: в её речи через запятую были комплименты мне, Христос и желание иметь детей. Я аккуратно отклонял приглашения. Она мне не нравилась. Мало что слышал о ней лет тринадцать-четырнадцать, знаю только: муж, как две капли воды похожий на меня, трое детей, — а недавно она добавилась в друзья в инстаграме. На первом же фото — сорокалетняя Альбина (так её зовут) на полу в позе инопланетного паука, на треть экрана попа трижды рожающей, от природы крупной женщины сквозь полупрозрачные чёрные колготки в горошек, высокие каблуки, мощная грудь, едва прикрытая топом, призывный взгляд модели любительского уровня. Такое вот хобби.

С учётом сказанного, у меня были только женщины в чём-то бесконечно прекрасные.

Всерьёз я сходил, только если был влюблён по уши и если (был уверен) отвечали взаимностью.

Тоня, например, генетик. Говорила, что мы семья, а спустя два с половиной года призналась, что надо было подлечить зубы, — одна бы не потянула. Она обаятельно смеялась. И однажды нежно ухаживала за мной, когда я отравился.

(Вообще состояние зубов сегодня, оказывается, первостепенная вещь — в этом есть что-то шопенгауэровское.)

...В перерывах между настоящими любовями обычно выручала Дашка.

Когда первая жена ушла, после шести лет, сообщив, что я больше ничего не могу ей дать, а «надо расти дальше», — помню, я не мог выйти из квартиры, не получалось переступить порог, сидел бормотал: «Как же так», — Дашка приехала, я плакал, выговаривался, просил обнять. Она поила чаем, слушала, обнимала.

У неё, оказывается, как-то тоже было что-то такое — даже похуже, чем у меня, но она не рассказывала.

Дашка приезжала каждый день или через день с едой и таблетками, отпрашивалась с работы, потому что дома муж и сын...

Никогда не чувствовал себя обделённым женским вниманием. Девять из десяти готовы были отдать себя в пределах 48 часов после первого свидания. Не то чтобы я на этом настаивал — спустя время это даже стало казаться если не нормой, то неизбежностью.

В сорок (буквально два с половиной года назад), после похода в ресторан с миловидным агрономом Еленой, которая за первым бокалом вина сообщила, что (а) муж, с которым прожила 15 лет, погиб от инсульта месяц назад, (б) она предлагает мне жить вместе, (в) больше всего мечтает купить дом под Сочи и переехать туда из хмурой Москвы, это мечта всей её жизни, но для её реализации нужен стартовый капитал, поэтому почему бы мне не продать квартиру и не вложить средства в проверенный инвестиционный фонд с гарантированной доходностью, а также (г) не хочу ли я прямо сейчас пройти в кабинку ресторанного туалета, где она мне «даст», я подумал: просто возьму сироту из детдома. Мальчика какого-нибудь. Или девочку. Воспитаю. Вот и будет нормальная семья.

Начал искать варианты — читать в интернете о процессе усыновления.

После единственной встречи с агрономом Еленой я частенько бродил вечерами один недалеко от дома и думал: годами я смотрю на знакомые счастливые пары, пытаюсь определить, что я-то делаю не так. Ответ по размышлении находился довольно страшный: я всё делал так.

Ну да, думал я: почему я решил, что то, что я хочу дать, другими будет считаться любовью? Почему любовь в моём понимании должна быть кому-то нужна? Почему я, дающий, должен что-то получать в ответ? Почему мне должен попасться нормальный человек? И так далее.

Вполне христианские мысли. Иовские такие (удивлён, что Word знает слово «иовские»).

В один вечер я пришёл с долгой прогулки по Лосиному острову. Я вечером, перед сном, молюсь — всё очень обычно: подхожу к иконкам на полке, беру молитвослов. А в этот раз молитва сложилась в вопрос:

— Мне сорок. Это значит, лет 35 осталось. Что, получается, я не должен за всё время пребывания здесь испытать настоящей любви от другого (родители не в счёт)? Господи, но тогда мне нужно как-то дотянуть... Чудес я не заслуживаю. Но хотя бы намёк получить.

В тот момент мне вдруг стало Его очень жаль. Почему Его, а не себя, не знаю. Я заплакал и сказал:

— Господи, что же мы с Тобой сделали. Бедный Ты, бедный.

Тут произошло то, что я квалифицирую как чудо: прикосновение Бога и погружение наяву, в реальное время, в Его безграничную любовь. Помните, когда Христос взял на гору двух апостолов и там беседовал с Моисеем и Илиёй? Пётр тогда Ему сказал: *Господи, хорошо нам здесь быть.*

Вот, лучше и не скажешь: хорошо мне было здесь быть.

Коммунист-историк Викентий (а также вездесущий поэт-критик Дмитриев, профессор-гений Найман, либерал-эмигрант Долин, Карл Маркс, любительница спа-салонов Наташа, да много кто) объяснил бы происшествие лёгким сдвигом по фазе, иллюзией, самообманом.

Спустя полгода я встретил Ксюшу, мы поженились, родили сына.

Ксюша оказалось москвичкой без материальных проблем, стоматологом, но это случайный бонус.

О музыке

Двумя самыми распространёнными надписями на партах, подоконниках и дверях в моей первой школе, помимо стандартных языческих заклинаний половой силы, были «NMR» (вертикальные линии между этими тремя буквами рисовались слитно) и «Цой».

Первая надпись означала heavy metal rock, вторая — Цой.

(В седьмом классе я перейду в более престижную школу, и к этим двум добавится ещё Deresche Mode.)

Ну а в третьем классе Серёжа Пузыкин как-то подходит и говорит:

— Я «Сектор газа» слушаю. А ты что слушаешь?

Я отвечаю:

— В последнее время — Мейнарда Фергюсона.

«В последнее время — Мейнарда Фергюсона». Третьеклассник. Каково? Это 88-й год.

Серёжа Пузыкин завис и отошёл.

Вундеркиндом я не был — симфоний с младенчества не сочинял. Скажем так, я просто имел кругозор шире среднего и оценивал известные мне потенциально эстетические объекты по своим ощущениям.

В этом мне никто никогда не был указ. Моя очень модная двоюродная сестра — старше лет на восемь — на двухкассетном Sony крутила популярнейших тогда Modern Talking. Для меня что NMR, что Modern Talking, что Цой звучали как безликий скучный шум.

Конечно, мои родители не включали дома фуфла. С другой стороны, они ничего не навязывали, а две трети времени я проводил во дворе, так что...

Настали девяностые, и двоюродная сестра перестала слушать Modern Talking — вышли из моды. Я же уже достаточно повзрослел, чтобы кое-что понять, и при встрече подтрунивал:

— Ленка, спорим, если их начнут заново раскручивать, ты опять будешь их слушать?

Она говорила:

— Да на хер они теперь кому всрались.

Потом так и случилось — в какой-то год в середине девяностых в них вложились, сделали им новый хит в духе времени, — Ленка опять их слушала.

Меня это смешило.

Что Ленка слушала потом — не знаю: умерла бабушка (мамина мама), квартира перешла Ленке, а с нами она и её половина семьи перестали общаться — дело в том, что родители попросили из той квартиры один шкаф, а тётя, мамина сестра, приехав из Севастополя, устроила скандал и сказала: «Нет у меня больше сестры». Мать, помню, ухаживала за бабкой (в смысле — своей мамой) последние два года её жизни — ту разбил инсульт: каждое утро, часов в 6, приезжала к ней, мыла, кормила, потом уезжала на работу, потом приезжала вечером...

Эту бабушку я знал плохо: до болезни мало с ней общался, а когда общался, находил её жёсткой, даже грубоватой...

То ли дело другая бабушка — папина мама. О ней у меня сотни тёплых воспоминаний. Она всё время тискала меня — обнимала, целовала. Любимейшим делом было пойти в Цветник и там гулять среди клумб — бабушка знала названия всех растений, — она показывала их четырёхлетнему мне и говорила: «Смотри, это —

майоры, а это — медвежьи ушки». Медвежьи ушки были бархатными, шершавыми на ощупь. Я бегал по бордюрам клумб, казавшимся высокими и широкими, светило солнце. Бабушка покупала виноградный сок... Любила рассказывать всякие истории — о том, как ездила с бабушкой за границу, например, когда он строил там мукомольные заводы... Рассказывала об индусах в невероятных одеяниях, о реке Ганг и горах Гималаях, о диковинных обычаях и блюдах...

Всем бы такую бабушку.

Одно удивляло: отец был с нею как-то колюч...

Я взрослым узнал: когда он был ребёнком, она, любимая моя бабушка, избивала его и выгоняла из дома... За что? Здесь можно вставить триста психологических страниц. Но можно объяснить короче: не любила.

Была плохой, стала хорошей?.. (Условно ставлю смайлик.)

Бабушка пела мне приятные старые песни: «Мандолина, гитара и бас...»

Уголки её рта всегда, даже когда улыбалась, были опущены, это правда. Но образ её — стоит мне вспомнить памятью внука — тёплый.

...Что мне нравилось в Америке — там общий музыкальный вкус лучше, и в плане музыки люди поразвитее. Уличным музыкантам, играющим блюз или джаз, прохожие хлопают на вторую долю...

В Америке после школы я любил гулять один по пригородным полям, высматривая под ногами наконечники индейских стрел.

Помню, после очередного приступа ярости Мэри-Энн (она была кулаком по стене и кричала, что я, по её мнению, сделал слишком сильным напор воды, когда принимал душ), я бродил в поле, шуровал комья земли ногами и думал, что мне хочется увидеть фотографии молодой Мэри-Энн. Я их потом нашёл — когда был один дома — в семейном альбоме: улыбающаяся пухлая девочка с кудряшками и ямочками на щеках.

О судьбе

— Ты понимаешь, что это значит?! Получается, я, как подонок, должен подать в суд на собственного сына!!

— Нет, это значит другое, — спокойно говорю ему в трубку. — Это твоя дурость. Ты переплатил алименты. Твоя же бывшая жена просит написать заявление, чтобы по закону от тебя не требовали больше, когда это просто ненужно. А давать им денег ты всегда сможешь и так...

— Но сын — это святое!

Бросает трубку.

Надо же: пять лет как знать этого сына не знает — а теперь вдруг вспыхнул. Это мой друг Коля — играли в нем в песочнице ещё дошколятами. Он и Рома — моя самая ранняя компания.

У Коли была жёлтая моделька «Макларен» — изумительная: открывались двери, капот и багажник, внутри даже поворачивался руль. Он давал мне поиграть.

Отчего мы сдружились? Ну, все трое эстетически блевали от Цоя, Modern Talking, Derpche Mode, HMR и всего такого. (Понятно, вкусы сформировались разные, но было общее в том, чему мы инстинктивно говорили «нет», и понятно, что это наше отношение окрепло не в песочнице, а позже, но в песочнице уже были ростки.)

Вечером Коля просит забрать его из паба — напился из-за сына. Сажусь в поезд

на «Яузе», доезжаю до «Маленковской» (три минуты). В пабе кислый запах. Вывожу. Никто никем не побит — хорошо.

Веду под руку к станции. Снегом пушистым всё засыпано, — думаю: «Как красиво». Коля начинает плакать:

— Настенька... Если бы ты знал, как мне её не хватает...

Парадокс в том, что Настенька-то была двадцать лет назад. Он тогда учился в ростовской консерватории (контрабас). Настенька была красивая, умная, добрая. Родители хорошие. Квартира в старом центре. Носила его на руках. Спустя пару лет это перестало его устраивать — затосковал, запил, загулял. К выпускному концерту оказался не готов, от этого дрейфил, больше пил, говорил, что он бездарь, музыка — не его (слух отличный), с ним все носились — Настенька, её родители, его мать, мы с Ромой — ничего не помогало, а одним утром с перепоя эффектно порезал себе вены, — в итоге взял академ, и мать забрала его домой в Пятигорск — залечивать душевные раны.

То есть, идя с ним к станции, я допускаю, что Настенька в его голове — не пьяный глюк, а постоянная тихая боль. С другой стороны, весь сегодняшний день он драматизировал пересмотр алиментов для сына, а теперь вот просто об этом забыл. «Тоскую по Насте!» — что же ты просрал эту Настю. И сына с женой вместе. Сколько ещё серий будет в этой мыльной опере? Ковыляем с ним по снегу.

— Побудь со мной, я не могу один в квартире, — говорит.

— Мне завтра рано на работу. Ложись спать.

Его мать продала пятигорскую трёшку и дачу, переехав в однокомнатную и купила ему квартиру через три дома от моего (угораздило посоветовать район). Потребовалась ипотека, но она же помогла ему быстро выплатить кредит.

Так что мы соседи с пятнадцатого года. Но на самом деле дольше — он приехал в Москву, ещё когда закончил консу, и пару лет жил у меня. Потом женился — переехал к супруге. Я обрадовался: Коля семьянин, с жильём, работой в хорошем оркестре и гастролями за границей. Я приезжал к нему и видел домашний уют, тихий семейный быт, лучше которого в конечном изводе вряд ли что есть. Только вскоре у него запустился старый сценарий.

Первое время в Москве он не работал по специальности: считал, что он плохой музыкант. Продавал компакт-диски в ТЦ на Шереметьевской, потом одежду в «Золотом Вавилоне» на Ярославке. Ночевал у меня в кухне. Я убеждал его взяться за инструмент, выливал водку в унитаз, ругал, наставлял: лепетал что-то о религии и твёрдости духа. Страшно трудно быть Моисеем для человека, который тебя знает с пяти лет.

Забавно: Коля — Гаргантюа. Гора мышц от природы. Удивительна, конечно, эта его смесь. Как самец он бесстрашен. У меня нет и трети его физической силы. Любому в подворотне он даст по роже, никогда не смолчит, разгонит гопников, и всё такое. И при этом такой ссыкун в остальном.

Второй час ночи. Звонит Света: у неё истерика — Коля порезал себе вены, скорее приходи, помоги. Неторопливо собираюсь в полутьме.

Жил же хорошо. Имел семью. Что не устраивало? Помню, как он мне говорил: «Этот сын — красный кусок мяса, который всё время орёт. Не могу его круглосуточно терпеть».

А как он режет вены — мы знаем, — можно не опасаться...

Света ещё придурочная. Первая встречная из его подъезда. Утешительница

после развода. Месяц за месяцем они то ссорятся, то мирятся. То собираются жениться, то бьют друг друга... Хочется спать.

Приехал, перевязал, как мог, вызвал «скорую» — кровь ещё идёт, надо нормально обработать. Пьяная Света без умолку верещит что-то истерическое, что сводится к мысли «я ни в чём не виновата, а этот дурак...». Кот бегает по квартире — единственное адекватное существо на нескольких квадратных метрах...

«Скорая» катит по пустым заснеженным дорогам мягко и убаюкивающе, за окнами красиво падает крупный снег. Только Света верещит над ухом.

— Заткнись, — говорю.

Заткнулась.

Света не работает. То есть всю жизнь. Но как-то годами живёт, ест и пьёт и отдыхает в саунах (предел её фантазии).

В периоды Колиного безденежья она берётся за магию и гадание на таро. В инстаграме она Воительница Света. Несколько тысяч подписчиков.

Однажды, в редкий день их обоюдной душевной гармонии, зашёл к ним в гости, Коля уважительно прошептал:

— Тихо... Света трудится...

Я заглянул в комнату — Света разговаривала в зуме с каким-то пожилым солидным мужчиной: «В двадцатых числах марта Луна будет в Стрельце, так что подписывать договор лучше всего двадцать первого или двадцать второго...»

— Сорок тысяч за сорок минут, — сказала она, заходя в кухню, где мы сидели с бокальчиками вина. Налила и выпила залпом. Всем видом она говорила: «Учитесь».

Я поинтересовался, кем был этот солидный клиент. Оказалось, Колокольников Кирилл Игоревич, генеральный директор большого завода. Я открыл в телефоне Google — всё так: его фото, биография (успешный бизнесмен, миллионер, член каких-то попечительских советов, тридцать лет назад окончил, между прочим, Военно-космическую академию имени Можайского — отсюда, возможно, тяга к звёздам). Я подумал, что и он ведь, как и все, имеет свои соображения о религии, либерализме, охранительстве, коммунизме, искусстве, любви...

Возвращались из больницы на такси. Коля с перевязанной рукой и Света затихли. У подъезда поблагодарили. Мне было очень обидно — через три часа вставать...

Коля вдруг сказал:

— Слушай анекдот. Приходит валторнист с работы. Дети к нему кидаются, кричат: «Папа, папа!» А он говорит: «Сколько раз повторять: не “папа, папа”, а “ум-па-па, ум-па-па”».

Спустя две недели он бросит работу и уедет в Пятигорск — «хочу на родину, только там нормальная жизнь». (Я возьму на себя заботу о его коте.)

В Пятигорске поселится у Ромы (матери о приезде не сообщит — сделает вид, что по-прежнему в Москве). В конце лета вернётся в столицу.

Позвонит, попросит забрать из кабака:

— Я безумно, безумно люблю Олю.

Оля — жена Ромы. Оказывается, пока он жил у них... А там же ещё двое маленьких детей... При этом Рому называет лучшим другом, говорит — «за него убью». Есть в этом что-то мушкетёрское. (Терпеть не могу Дюма.)

Встречу. Скажет:

— Отвези меня к Свете...

Потом у Коли начнутся (вернее, возобновятся) лёгкие наркотики. Загулы. Кредиты. Потом поклянётся, что завязал. Будет плакать — он несчастен. Попросит

помочь с выплатами — проценты грабительские, — а Рома давать займы не хочет. Помогу. На всякий случай созвонюсь с Ромой — тот расскажет, что Коля и его просил — сказал, что я ему денег не даю, — и что он ему тоже дал... Разговариваем в зуме — Рома сидит в кухне. «Как вообще дела?» — спрашиваю. «Ничего». На заднем плане мелькает Оля — подмигивает, приоткрыв рот... Потом в кадр заходит Ромкин маленький сын, случайно разбивает чашку и начинает голосить:

— Папочка, папочка, прости, любимый папочка, прости, пожалуйста, только не бей...

Рома ласково успокаивает:

— Ну что ты, сынок, не переживай...

Восемьдесят пятый год, тёплое лето. Рома возится в песочнице — строит очередной грандиозный замок — он уже тогда увлекался историей — здесь живут Валуа, а здесь — Гогенштауфены. Ко мне подходит маленький Коля — он же нас на полтора года младше — с большими серыми глазами и в смешных синих шортах, робко говорит:

— Саша, я хочу домой, а в подъезде летает шмель.

Я говорю:

— Не бойся. Шмели не кусают — кусают осы...

Беру его за руку и веду к подъезду.

О будущем

Об участии в «Школе будущего» я пожалел сразу, как только приехал и осмотрелся. Берега Клязьмы в волнах длинных трав, которые на зиму полегли, помёрзли и пожелтели, луга, рощи из сосен с заснеженными вершинами, — словом, глухое Подмосковье. Пансионат новый и дорогой — в лобби, например, панорамные окна в пол с видом на эту красоту, белый концертный рояль. Но дело не в красоте берегов Клязьмы, конечно, и не в рояле, — они-то прекрасны.

Меня поселили в одном номере с шумерологом из Питера. Шумеролог — замечательный. По-моему, чуть ли ни единственный в России. Что же меня не устраивает?

Здесь собрали учёных, искусствоведов, кинокритиков, литераторов, чтобы мы (человек пятнадцать) в течение недели научно-развлекательно просвещали детишек миллионеров. На нас ложилась роль придворных звездочётов и по совместительству шутов. Некоторых я знаю.

От историков — шумеролог Поленин. От антропологов — Дробычевский.

От искусствоведов — Пескина — из «Вышки».

От музыкантов — пианист Кречмер.

От литераторов — старина Дмитриев и редактор отдела прозы издательства «Эскимо» Соскин.

Я (увы) представляю переводчиков. (Да и приглашали вообще-то не меня, а Гуревича — как мэтра, но он заболел и попросил его заменить. Описал мероприятие как «уникальную школу для одарённых детей со всей страны». К тому же заплатят хорошо. Я согласился.)

В ожидании карточки от номера подошёл к автомату — взять кофе. Передо мной заказывает капучино сексуальная красотка: высокие каблукы, чёрные колготки, короткая юбка, открытая поясница. Повернулась чуть боком: стал виден агрессивный угол груди, обтянутой блузкой. Ничего себе, думаю. Она оборачивается полностью,

я отшатываюсь: передо мной ребёнок лет семнадцати. Ангельское лицо раскрашено, как у китайского императора. Наверное, одна из одарённых.

Раньше я на такое вёлся (я имею в виду мероприятия) — мол, смотри, чего ты добился: тебя приглашают, ценят, с благодарной внимательной аудиторией ты делишься тем, что знаешь, что понял... Кажется, о чём-то таком я мечтал двадцать лет назад. Ну вот: мечты сбываются.

Получается, несмотря на девяностые, мне долго мерещился (как достижимый) образ советского учёного — человека с почти сакральным статусом, вызывающего уважение не только знаниями, но и тем, что в его жизни есть служение.

Понятно, отчасти в этом «виноваты» родители, отдельные учителя, пропаганда «той страны»... Ты достойный человек, потому что делаешь нечто такое созидательное, увлекательное, творческое, нужное людям и непростое. Н-да.

В действительности этот образ стал миром ещё до того, как я начал движение к нему, — а я и не заметил.

Поднялся в номер, смотрю на Клязьму из окна: тут дело даже не в наивности, а глубже: в аксиомах мышления — а они каждым выбираются произвольно, часто в малосознательном возрасте, на смутных основаниях и незаметно для выбирающего. В аспирантуре я сдружился с парнем из Воронежа. Он, как и я, поступил с одними пятёрками, попал к Найману, написал классную диссертацию. Учась, мы не могли не работать, — оба из бедных семей, не встроившихся в «рыночек», а стипендия была, мягко говоря, не та, что у наших с ним родителей в семидесятые, — когда они спокойно жили на 75 рублей в месяц и занимались исследованиями, не отвлекаясь на мирское. (Нашей тысячи хватало на два-три дня.) Мы подрабатывали в переводческих агентствах, вузах, на языковых курсах... Надо было не просто выживать, но и думать о будущем... Однажды друг сказал:

— Нашёл место с приличной зарплатой.

Я заинтересовался, что за место.

— Буду учить английскому двух мальчиков из состоятельной семьи.

— Здорово, — сам репетиторствовал с первого курса.

— Ещё буду делать с ними уроки — математику, русский и остальное.

А ещё одевать их, водить в школу, забирать, разогревать обед, укладывать спать и так далее, — добавил он. — Зато — 60 тысяч.

(На предыдущей работе — в колледже — он получал примерно 50.)

Меня это поразило. Причём не потому, что я какой-то дворянин и белоручка, а потому что ровно наоборот. Я просто каким-то образом подспудно считал (аксиома!), что такого быть не должно, такое неестественно — *не ниже моего достоинства, а неправильно*, — и в своей жизни я допущу такое, только если я или моя семья будем голодать. Другу, конечно, не нравилась роль прислуги, но лишь потому, что он видел себя заслуживающим быть на месте родителей этих мальчиков. То, что в принципе существуют прислуга и господа, нормально вписывалось в его картину мира. (Напомним, мы росли в одно время, примерно в одинаковых условиях, в очень похожих интеллигентских семьях.)

Потом он вернулся в Воронеж, основал и раскрутил там языковую школу. Какой вывод мы сделаем из этой информации в первом приближении? Молодец, предприимчивый трудяга. Во втором приближении — да, всё так: трудяга, предприимчивый... Но: у него работают учителя, с которых он получает прибыль. Построил себе один дом, другой. А они живут на свои тридцать тысяч.

В общем, друг смог побывать по обе стороны: временно побыть прислужгой,

чтобы потом подняться и стать господином. Первое в его случае было не более чем необходимым шагом на пути ко второму.

А я не смог ни того, ни другого, но, повторю, не из какой-то особой хорошеи, слабости или чистоплюйства. В моей операционной системе это оказались недопустимые операции.

Забавно, что мыслящий, как я, и мыслящий, как он, могут называть себя кем угодно: либералами, коммунистами, хоть членами Союза мечта и орала.

— Ну что, пойдёте слушать коллег? — говорит шумеролог.

— Пойдёмте, — говорю.

Итог у людей моего фасона всё равно один: обслуживаем... Здешние коллеги, среди которых я не заметил склонных к левым идеям, рады здесь быть. Большинство осознанно стараются подороже продавать «образовательные услуги» и видят в этом норму. Некоторые даже находят мероприятие статусным — пишут о нём в фейсбуке. Только двое или трое — из-за врождённой странноватости и наличия слепых зон, частично объяснимых растворённостью в любимом деле, — как бы ничего такого снаружи не осмысливают. Хороший специалист же иногда подобен флюсу. А может, есть и те, кого происходящее корёжит, как и меня, но они скрывают, — как и я...

Ну а детишки в этой «Школе» — не то чтобы невоспитанные, тупые, безразличные или нахальные. Они просто смотрят на нашу компанию без тени уважения, разговаривают, не чувствуя дистанции, как с поставщиками ресурсов, которые важны тем, что дадут им дополнительные активы, повысят их конкурентоспособность, позволят стать успешнее. Ну и — развлечение, разнообразие.

— Расскажите что-нибудь смешное.

— Однажды я сопровождал канадского политика в Москве, — говорю. — Целый день официальные встречи, всё серьёзно. А вечером — банкет, причём на троих. Снят ресторан, накрыт стол, играют музыканты, а за столом только этот политик, наш депутат и я. Канадца это, конечно, удивило... Его звали Харви — это важно. Примерно через двадцать минут после начала банкета наш депутат напился, забыл о канадце и начал общаться со мной по душам. Он сказал: «Послушай, вот у нас нормальные имена — Толик, Санёк... А у них — Харви-туярви».

Кураторша бросает на меня сердитый взгляд, детишки хихикают, а один замечает:

— Похоже на моего папашу.

Хихикают ещё больше. Другой спрашивает:

— И как вы это перевели?

— Харви несколько раз услышал своё имя и поинтересовался, в чём дело. Я ответил, что мы с Анатолием обсуждали разницу между славянскими и англо-саксонскими антропонимами.

— Выходит, соврали.

— Не соврал, — говорю, — а прагматически адаптировал.

В перерыве кураторша отводит в сторону:

— Желательно без мата...

Я говорю:

— Это пример из практики... И потом — они совершеннолетние...

После обеда Пескина рассказывает:

— Выставка «Современное искусство Европы» — это грандиозный международный проект, представляющий работы, созданные за последние 30 лет. Там можно увидеть Базелеца, Олафура Элиассона, Ансельма Кифера, Кристиана Болтански, Паулу Рего. Она сейчас проходит в Москве. Мне было радостно и грустно блуждать

по выставке среди мириада работ. Радостно, ибо наконец актуальное искусство показывают нам. И грустно, больно и черно — оттого, что чувствуется грандиозный разрыв с Европой на уровне проблематик, которые рефлексировать, визуализировать, исследуют *наши* художники *и их*. На фоне наших процессов, иноагентов, «Мемориала», того трэша, что происходит, — европейская рефлексия о границах демократии, о глобализации, об экологии, о плюсах и минусах либерального общества, о свободе слова, иммиграционном кризисе — кажутся недостижимо далёкими, неактуальными, невозможными тут, где правового поля нет в принципе... Странно видеть сытое буржуазное дорогое актуальное искусство, которое пытается со мной говорить о политических и социальных несовершенствах, когда ты смотришь на него изнутри ускользающего призрака свободы и надежды на либеральное будущее. Меня преследовало ощущение, что Европа — это теперь другая планета...

Зевнул, прикрыв рот, оглядываюсь: дети тоже отключились — кто в окно смотрит, кто в телефон... Зато коллеги кивают с горестным согласием.

— Или что Европы этой и вовсе не было никогда, — продолжает она. — Кажется, что жизнь в Италии и Франции, Германии, Австрии приснилась, пригрезилась. Иногда я даже открываю старые альбомы и начинаю перелистывать фотографии, чтобы фотографии указали мне на аорист — я здесь была.

— Указали на что? — удивлённо переспрашивает девушка-китайский император.

— На аорист...

В блоке о литературе редактор издательства «Эскимо» Соскин объясняет:

— Лучшие авторы — не те, кто ждёт у моря погоды, а крепкие профессионалы: они могут усердно пахать и выдавать в срок качественный продукт... Понимаете — важен продукт... Этому мы учим в школе креативного письма... В январе скидки...

Потом черёд Дмитриева:

— В портрете кисти Браза сконцентрировалось всё, что вмещает в себя официальный, очищенный советской цензурой от всего живого Чехов...

Представляю, как бы я читал такие лекции. Тему можно выбрать любую. Например: «В скупых, лишённых фантазии формах пирамид Хемиун воплотил всё примитивное, невзрачное, свойственное советскому конструктивизму...»

За ужином Дмитриев крепко жмёт мою руку. Он уже подшофе. Говорит:

— Напишу о тебе статью... О твоих рассказах...

Я смотрю на него и думаю: был ли за те двадцать лет, что я его знаю, хоть один халаянный фуршет, который бы он пропустил?

Сейчас он денег не попросит — всё же, раз мы оба здесь, он понимает, что я понимаю, что нам обоим солидно заплатили. Напишет мне где-то через два месяца: очень нужны две тыщи на лекарство для печени. Он, мол, хронический больной... ещё бы: столько бухать.

...Недавно у него вышла девятнадцатая книжка стихов — называется «Цитрусость». Или как-то так... Почитал — всё стабильно...

...Вечерним сеансом выступает зажигательный антрополог Дробычевский: происхождение человека от приматов доказано, никаких недостающих звеньев нет, процесс развития жизни объяснён — и наглядно показан на слайдах. А про Бога — это сказки древних пастухов и софистика.

Народ в целом в восторге — и детишки, и большинство старших. Ещё бы: у оратора харизма, как у дьякона Караева.

Шумеролог наклоняется ко мне и с улыбкой шепчет:

— Он спорит с Библией так, будто она учебник биологии.

Я улыбаюсь в ответ:

— Гагарин в космос летал и Бога там не видал.

У шумеролога Поленина лекции — умнейшие... Цитирует в оригинале поэму о Гильгамеше. Правильное её название, между прочим, — «О всё выдавшем»...

Перед сном мы разговариваем в номере, он разоткровенничался:

— Мои родители — староверы. Их окружение в детстве оттолкнуло меня от примитивного понимания христианства... Но вера не ушла... Ребёнком я начал читать Демокрита, Маркса и Ленина. В последних двух скоро тоже разочаровался — у них о классах, об эксплуататорах... А у меня по матери были зажиточные крестьяне, по папе — преуспевающие ювелиры... И тогда я сделал вывод: значит, Маркс-Ленин призывают разделиться со своими предками... Во-первых, это нехорошо... Во-вторых, если они так предлагают относиться к своим отцам, то с такой же лёгкостью предадут Отца Небесного. Я это очень скоро понял.

Я спросил, как скоро. Он ответил:

— В девять лет. И с тех пор мне всё понятно.

Я привычно вздрогнул, не подав вида, — ощущение было такое же, как от слов таксиста Паши, много лет назад желавшего сжечь «Ашан».

В последний день решил не оставаться на «гала-ужин» и вручение сертификатов. После полудня вызвал такси. Выношу дорожную сумку. В лобби за роялем джазовый пианист Кречмер. Рядом с ним один из детишек — просит:

— Научите играть Blueberry Hill. Хочу как Путин.

Кречмер рассеянно поправляет очки, одним пальцем начинает наигрывать незамысловатую мелодию.

В 70-е и 80-е у него почти каждый год выходили пластинки — тысячными тиражами. Хорошие — в детстве слушал. Сегодня тоже что-то выходит.

Сажусь в такси и вижу: у панорамного окна в лобби стоит китайский император в мини-юбке и, кажется, машет мне на прощание.

Об оптике

Незадолго до того, как я познакомился с Ксюшей, в которую влюбился без памяти и на которой скоростно женился, встретились с Дашкой.

Она предложила — давно не виделись. Идём по осеннему Покровскому бульвару в сторону Чистых, она говорит:

— Я в общем-то собираюсь назад в Пятигорск.

Я смотрю на неё.

— Сын поступил в вуз. Основную родительскую миссию я выполнила. Будет приезжать ко мне на каникулы. С мужем мы немного друг от друга устали... Хотя отличные друзья.

Я киваю. Смотрю на людей, скамейки, дома.

— Там у меня мама... Там родные места — лучшие в мире.

Я подтверждаю:

— Лучшие в мире.

— У меня же там свободная квартира.

— Это хорошо, — говорю.

— Если бы не ты, я бы сюда не переезжала.

Смеюсь:

— Что за ерунда! Это почему ещё?

— Потому что ты — лучший, — говорит.

Смеёмся. Приобнял её:

— Ты там береги себя.

— Конечно. Ты тоже. Если что, я всегда рядом.

Зимой действительно переехала. Шлёт изумительные фото: Машук, Бештау, голубое небо, голубые озёра... А недавно поменяла аватарку в ватсапе — я удивился. Обычно такие фото на аватарки не ставят: на ней она смотрит... как-то безвозвратно по-взрослому... будто видит что-то такое вдалеке... или внутри... как-то интимно... не знаю. И строгие складки в опущенных уголках губ.

Что такое улыбка. По мнению антрополога Дробычевского, ритуализированный укус. Может быть, Дашка просто не хочет больше никого кусать.

В тот же вечер, после прогулки с ней, я случайно попал на посиделки старой литературной компании — многих не видел годами. Все раньше ходили к Репанову, приносили ему свои шедевры. Кто-то нашёл там судьбу, кто-то приятное хобби, кто-то жён, мужей.

Я случайно проходил мимо освещённого бара со стеклянными стенами, — меня увидели, затащили...

Уселся между поэтессой в сетчатой кофте и бородатым остроглазым Димой. Дима как был, так и есть очаровашка: ухоженный, вдумчивый, педант, хорошая осанка, выверенная речь. Доброжелательный — всем подливает пива, хотя сам не пьёт, интересуется, как у кого дела.

— Ты сам-то как? — спрашиваю. — Чем занимаешься? Как живёшь?

— Работаю в правительстве Москвы — курирую детские проекты. Недавно, например, украшали игровые площадки воздушными шарами, — моя была идея.

Одобрительно поднимаю большой палец.

— Жену всё никак хорошую не найду. Чтобы хозяйственная и не распутная. Весь тиндер перерыл.

Смеётся. Я тоже смеюсь:

— С этим непросто, да.

— Ещё кровь козлиная подорожала, — говорит.

Я говорю:

— Что?..

— Козлиная кровь. Очень трудно найти — для ритуалов.

Поэтесса перебивает:

— Димон, опять ты об этом своём сатанизме — это никому не интересно и скучно. На вот, посмотри лучше фотки, — это мои дети.

— Лапочки, — говорит Дима, глядя в её телефон. — Хочешь, я вам достану бесплатные билеты на кремлёвскую ёлку?

Я, кажется, съел чего-то не того. Или среагировал на пиво. Иду в туалет, запираюсь в кабинке.

Сию, слышу — кто-то зашёл. Узнал голоса. Один говорит:

— А этот Зайцев — кто он?

— Не помнишь? Рассказы же писал. Переводчиком стал. Но ещё что-то вроде пишет.

— Я не об этом. Кто он по жизни?

— А, — с усмешкой. — Православный коммунист. Одним словом — мудака...

Другой смеётся:

— Что за кунсткамера: один — человеколюбивый сатанист, другой — верующий Берия.

— Да, дружище. Мир полон удивительных вещей...

Эпилог

По пути из вуза к метро увязался за мной первокурсник. Несуразный, смешной, рубашка из джинсов торчит, цепочка какая-то унитазная на поясе...

Со смесью робости и дерзости лопочет, что тоже интересуется окружающей действительностью...

Наверное, полистал мой фейсбук. А может быть, нашёл прозу?

Над ним, наверное, смеются... Кто бы посоветовал ему сбрить усы... И побольше пользоваться дезодорантом...

— Я уже прочитал всего Хемингуэя, Мопассана, Чехова...

«Три из трёх», — думаю.

— Что вы посоветуете почитать такого особенного?

— Фриша читали?

— Нет, но слышал.

— Почитайте.

— Спасибо...

Спохватываюсь:

— Только позднего. Начиная с Номо Faber. Его только зрелого читать стоит.

Про себя добавляю: «Как и всех остальных».

— А наше что-то издают?

— Издают, — говорю. — Поищите Гаврилова, Репанова...

Совсем задрожав, сообщает:

— Я тут и сам кое-что... Рассказик...

Я останавливаюсь — мы подошли к метро. Сильно кольнуло сердце — я испугался. Взгляд скользнул по какому-то светло-синему фасаду. Думаю — что, если я сейчас прямо здесь упаду — на эти выцветшие линии асфальта. Я стою и молча гляжу на студента. Он совсем стушевался. Надо же — какое чудо. Дурачок. Умница. Чей-то сын, центр чей-то вселенной. Тут я остро представляю себе чудесный молочный запах своего двухмесячного сына, и его серые глаза, и его улыбку — он сейчас дома со своей мамой, — и так сильно захотелось скорее оказаться с ним рядом, взять его на руки, больше всего на свете, что улыбаюсь студенту и говорю: «Обязательно прочитаю ваш рассказ, но чуть позже» — и вприпрыжку вбегаю в метро.

Татьяна Филатова

Бабочка и скафандр

Рассказ

Есть ли в космосе ключи, чтобы отомкнуть мой скафандр? <...>
Достаточно крупная монета, чтобы выкупить мою свободу?

Жан-Доминик Боби, «Скафандр и бабочка»

Первый раз я пришла сюда в ужасную погоду. Дул сильный ветер, и шёл мокрый снег, обжигающий до зуда.

Тогда я выбежала из дома в тонких колготках в мелкую сетку, тут же замёрзла, но полушерстяные проступали бы сквозь костюмную ткань. Рассчитывала, что буду выглядеть серьёзно, взросло и уместно, если надену строгую юбку и тугую блузку, даже собрала причёску-шишечку. Когда вошла в огромные двери из стекла и металла, сдала в гардероб длинное пальто, по мокрому от метели лицу стекала тоналка, а само лицо было в красных пятнах. Окоченевшие пальцы багровели из-под рукавов приталенного пиджака, волосы наэлектризовались. Я поднялась по гигантской бетонной лестнице напротив огромного окна, чувствуя неловкость и прикидывая, какой вид открывает разрез моей юбки. Все мои старания окончательно разбились о директора, которым оказалась женщина раннепенсионного возраста.

Из-за недостатка молодых кадров меня взяли на работу, к моему удивлению, сразу же. Разлохмаченную шишку и красные колени никто не заметил, почуяв молодую кровь. Вот так просто я получила первую в жизни запись в трудовой, да ещё почти по специальности: «Библиотекарь третьей категории». С тех пор я ходила сюда каждый день, кроме субботы и иногда воскресенья.

* * *

Библиотекари, оторвавшись от ладошек внуков, пропахнув всеми ароматами утренних маршруток, гремя пластиковыми контейнерами в дерматиновых сумках, бежали по утреннему морозцу в свой второй дом, где большинство из них работало с окончания школы или института. Они приветствовали друг друга в просторном холле,

Филатова Татьяна Олеговна родилась в 1991 году в Ульяновске, образование высшее, по специальности дизайнер. Участница Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (Липки) в 2019 и 2021 годах. Автор книги «О чём молчит лес» (2022). Лауреат ряда литературных конкурсов. Живёт в Ульяновске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

расписываясь у восьмидесятилетнего охранника в журнале, и, звеня ключами, расходились по тёмным коридорам самой большой библиотеки города. Здание построили к столетию Ленина, оно уже выглядело удручающе, но было младше подавляющего большинства сотрудников.

Я ходила на работу пешком, избавляя себя от всех прелестей часа пик, когда пики локтей и каблучков штурмующих утренний транспорт впиваются в самые уязвимые части тела. Хорошо, жила я в двух остановках от работы. Родители купили квартиру в центре, когда их строительный бизнес пошёл в гору, так что главная библиотека, играя солнечными бликами на фасаде с витражным остеклением, всегда была видна на горизонте из окна моей спальни. И, как оказалось, на горизонте моей жизни, но я начала думать, что на её закате.

Я была старостой группы на филфаке, училась без троек, легко защитила диплом, считала, что я более или менее готова работать по профессии. Придя на работу, быстро освоила основные хитрости. Вручать талончик посетителя нужно всем, даже тем, кто просто зашёл в туалет. Фотографировать трёх человек у книжной выставки нужно всегда в профиль, создавая эффект толпы. Правильная формулировка превращает встречу городских сумасшедших в читальном зале зимним вечером на фоне книг о жизни и творчестве Карамзина в мероприятие, посвящённое дню памяти великого историографа, участники обсудили его вклад в развитие культуры и познакомились с новинками книжного фонда». Самое главное — это не сама работа, а отчёты в министерство культуры, сданные вовремя и подтверждённые удачными фотографиями. Тогда я поняла, что значит шуточка из пабликов: «К такому жизнь меня не готовила».

Как склеить два старых новогодних баннера для украшения фасада, чтобы закрыть прошлогоднюю дату? Как из трубочки для сока и цветной бумаги собрать подарок дарителям книг? Как с первого раза засунуть в старый чёрно-белый принтер пустой бланк диплома и впечатать фамилию победителя конкурса чтецов так, чтобы толстую бумагу не зажевало? Как уговорить директора хлебзавода подарить на праздник чтения самый дешёвый торт за благодарственное письмо, распечатанное на том же принтере? Как из копеечной закладки сделать приз? Всё это во власти среднестатистического библиотекаря — не утончённой филологини, коей я хотела стать, когда вырасту, а тётки-очумелые ручки. «Голь на выдумки хитра!» — хохотнула после одного такого фокуса заведующая и открыла свой мини-бар, спрятанный за дверцей полированного советского шкафа для верхней одежды.

Я поняла, что влилась в работу, когда поймала себя на том, что разглядываю на полу в гипермаркете разбросанные листья от пластиковых цветов, представляя, что если их воткнуть в трубочки для сока, валяющиеся рядом, то получится вполне приличная атрибутика для праздника весны. Хорошо хоть, эта самая весна уже рядом. Из тени библиотечных стен, покрытых трещинами краски, тёмных стеллажей и запаха ковровой пыли можно будет выйти в сад, посаженный пионерами-отличниками пятьдесят лет назад, и на какое-то время вынырнуть из мира планов и креативных головоломок.

Мне, как самой молодой, поручали росписи гуашью по стёклам отделов на все праздники: это был самый бюджетный вариант оформления интерьера. От такой работы у меня ломило спину. Я вспоминала, что ходила на фитнес недавно, в декабре, но как будто уже пару лет назад.

Ещё осенью моя жизнь была предсказуема и понятна. После универа — курсы английского, танцы, фитнес, и так каждый день. Я готовилась к свадьбе: за год был заказан ресторан, составлен список гостей, найдены лучший фотограф и модельерша.

Но потом жениха неожиданно отправили в полугодовую командировку, а мой отец решил, что я должна научиться жизни. Тогда все мои развивающие курсы закончились, а курсы по выживанию начались. Единственное, что я могла себе позволить с рабочим графиком, — спортзал недалеко от библиотеки. Там я его и встретила.

* * *

Планы и отчёты, отчёты под планы, а планы под отчёты. Умение подогнать одно под другое — очень ценный навык, когда ты постоянно должен отвечать на странные запросы. К нам пришло письмо из минкульта о проведении на базе библиотеки регионального этапа «Всеобщего диктанта».

— Это же диктант. При чём тут мы? Мероприятие министерства образования, — глядя в отсканированный документ за подписью министра, удивилась я.

— Я уже звонила боссам. Завотделом по культурным проектам заявила, что в минобре сказали, что, если вы не возьмёте, возьмём мы. Вот минкульт и спустил нам. Для них это плюс одно культурное мероприятие, для нас — плюс двести человек посетителей, — развела руками заведующая, ещё вполне молодая среди наших бабушек, сорокавосемилетняя Анжелика Николаевна.

— А помощь какая-то будет от минобра? Где тексты брать, кому диктовать? Ручки, листочки?

— Тексты пришлют в закрытом пакете, открыть перед участниками. Диктовать будет наша Луиза Викторовна, она тридцать лет в школе отработала словесником. Ручки народ свои принесёт, а листочки — вот они все, — она кивнула на початую последнюю пачку офисной «Снегурочки». — Но это ещё что! Кофе-брейк — чай, кофе, пирожки, джем — тоже наши!

— Ну ничего себе! А им этим джемом ничего не намазать?

Анжелика утробно гоготнула. Она уже десять лет как библиотекарь, ничему не удивляется. Раньше хотела уйти, а теперь не может: на ней ипотека за студию сына.

— Иди книжки на выставку подбери.

— Какая тема?

— Морально-просветительская. Молодёжь в основном придёт писать. «Один раз и на всю жизнь».

Я выпучила глаза и щёлкнула обеими кнопками мыши, на экране высочил помощник в виде скрепки.

— Лик, как я буду по ней рассказывать? Только рот открою — и всё, конец...

— Да не бойсь! Тут нужна не ты, а умудрённая опытом бабушка. Любовь Дмитриевна из читального зала всё им расскажет. Она как раз в третьем браке, уже поняла, что и как надо. — Лика улыбнулась: — Жень, иди давай, библиографы найдут тебе каких-нибудь православных авторов. Потом есть будем. Я селёдку на выходных посолила, угощу тебя.

Я вышла за дверь, спустилась на второй этаж нашей библиотеки в единственный отдел, где книжки действительно читали. Ну, как читали? Скорее пролистывали, составляли описание, вбивали данные в электронную картотеку, тоже для галочки, сортировали книги. Там работал цвет нашей организации: бабушки с высокими кудрявыми причёсками, острыми пальцами и кислыми лицами. Со стопкой книг и распечатанным на розовой бумаге заголовком в вензелях и полосками от принтера я спустилась на первый этаж, в холл. Здесь стоял стеллаж для книжных выставок. Нужно было составить композицию: несколько книг красивыми разворотами наружу, новые издания на уровень глаз, остальное — вниз, как по заветам «Пятёрочки».

Когда работа была закончена, я водрузила над всем этим великолепием чудовищно розовый заголовок. Бледная сажа гласила: «Один раз и на всю жизнь!» Я достала телефон, сфоткала свою душеспасительную работу и отправила по iMessage Антону. Он не заставил себя долго ждать: «Какая прекрасная подборка! У нас так и будет! Ты моя девочка» и красное сердечко. Антону нравилось, что я работаю с книгами, «просвещаю людей, несу им лучшее, доброе и светлое». Знал бы он, чем я тут на самом деле занимаюсь.

Ту же фотку я отправила номеру без подписи и получила в ответ: «Раз на раз не приходится» и смеющийся до слёз смайлик. А следом: «Поехали на Волгу сегодня катнёмся? Ледоход». Я положила телефон в карман.

* * *

К нам в кабинет ходили выпить с горя все униженные и оскорблённые библиотекари: кого дети довели на выездном мероприятии в школе, на кого директор наехала за то, что плохо пиарит платные услуги электронного читального зала по тридцать рублей за час, на кого наорали из министерства за «плохие цифры». И всё это за зарплату, равную стоимости одного захудалого онлайн-курса. Такой напряг! А все думают, что библиотекари на работе спят и книжки читают, ага. Зачем они всё это терпят? Да потому что деваться некуда. Они ведь не офисные работники, а люди культуры — нищей, бюджетной, невостребованной и не оправдывающей ничьих ожиданий.

Лика всем милосердно наливала. Лика гнала сливовую самогонку.

— Лик, привет, есть что? — сунулась в дверной проём рыжая от хны голова Веры из методического.

Каждый день я слышала, как Вера втолковывает по телефону бабушкам из области, как нужно составлять отчёты, как создать виртуальную книжную выставку или как правильно заполнить форму на конкурс «Библиотекарь года». Она отвечала за работу всех сельско-деревенских библиотек. Себя, Веру и Аню из отдела литературы для дошкольников Лика называла «блятекари». По праздникам, иногда по пятницам, они втроем, заранее выпив на работе, ходили в кафешку, там догонялись и танцевали дикие танцы. Рассказывали, что даже диджей их запомнил и в перерывах между песнями передавал привет работникам библиотеки, а они визжали в ответ. Всё это казалось таким неочевидным, пока я училась.

В марте уже начинаешь ощущать приближение весны. Снег в ясный день слепит до слёз, небо выглядит тёплым и высоким, как будто оттаявшим. В это время веснушки начинают вылезать у меня на щеках, а мой одноклассник уже выходит во двор чистить снег лопатой голым по пояс, как делал это, пока мы учились. Говорил, что загар в марте получается шоколадный, как южный. Желавших повторить за ним не находилось. Я потёрла переносицу, как будто нащупывая веснушки. Интересно, в этот раз они появятся? Я прихожу на работу в сумерках и ухожу в сумерках, обедаю за рабочим столом. Антон говорил, что мои веснушки ему нравятся. Мы с визажистом даже думали подчеркнуть их свадебным макияжем.

Вечером, когда я вышла с работы после звонка, напоминающего мне о школе или о заводе из советских фильмов, небо было уже по-вечернему синее, словно чернильное. Ветер дул с реки, которая огибает город, я вздрогнула и подняла воротник пальто. Если и ехать смотреть ледоход, то одеться надо теплее. Завтра суббота, а это значит, что мне придёт очередная коробка. Антон заказал доставку цветов к нам домой до самого дня свадьбы, и теперь коробки приносят по утрам в субботы, каждый раз разные. И каждый раз Антон просит прислать фото с этими цветами.

Так он заглаживал свой длительный отъезд.

* * *

В следующую субботу кроме цветов случилось ещё кое-что. Минобр всё-таки подставил нас. Особо грамотные граждане с активной позицией пришли к нам писать глобальный диктант. Тётка из образования уверила Лику по телефону, что «телевизор», то есть репортёра с оператором, они позовут сами и даже спикера предоставят. Мне нужно было только подвести этого спикера к нашей благородной выставке, чтобы она обязательно вошла в кадр, иначе директор нас отругает, что мы «не позиционируем чтение». Мы с Любовью Дмитриевной, которая по случаю «телевизора» надела розовую блузочку в рюшах под стать моему заголовку, ждали представителей канала «Репортёр», уставившись в стеклянную входную дверь в четыре глаза. Но «телевизор» всё не ехал.

— Лик, время без десяти, все эти грамотеи разделись и уже наверх поглядывают, хотя в читальный подниматься. «Телевизора» нет, спикера тоже нет.

— Держите их там!

— Да чем их держать-то? Они все зарегистрировались, Любовь Дмитриевна им всё что можно рассказала, книжки все показала, я стопятьсот фоток сделала.

— Ликусь, мы с Женечкой оборону не выстоим, такую толпу перед лестницей нам не удержать, — старческим голосом в телефон проворковала моя напарница.

— Чёрт этих репортёров подери! Совсем зажрались! Ждите.

Я поглядывала на толпу: школьники с мамами, чопорные взрослые, молодые люди с любопытством разглядывали меня. Наверное, я воплощала все их фантазии о библиотекарьше. Тут мой телефон зазвонил:

— Жень, всех в зал! — скомандовала Лика.

— А как же спикера снять с массовой?

— Нет спикера, «телека» тоже нет. Пускайте их, время диктанта начинается, — заведующая нажала отбой.

— Женечка, ну что там? — заглядывала на меня снизу Любовь Дмитриевна.

— Не будет «телевизора», — ответила я.

— Значит, пора начинать?

Я кивнула. Без освещения мероприятия министерство с нас шкуру сдерёт. Я посмотрела на толпу: от скуки люди уже начали фоткаться с огромными кустами гибискуса. Любовь Дмитриевна пригласила всех «дорогих гостей подниматься в читальный зал», где наш разнорабочий Рифкат уже расставил тяжёлые столы, как парты в школе.

Телефон пикинул: «Кто обижается, тот в херню перерождается. Буддийская пословица». Я долго не отвечала, его сообщения всегда были такими, почему-то думал, что я обижаюсь, а не игнорю. Набрала Лику.

— Лик, может, у дира спросить, что делать? Мы на своём уровне разве сможем это решить? — предложила я.

— Ага, скажет она и подскажет, как же! Наорёт только, что мы тут все растяпы, упустили, припомнит прошлые грехи, да и всё. Я сейчас на «Репортёр» позвоню.

«Телевизор» всё-таки сжалился и предложил нам самим заснять на нашу камеру и спикера, и общий план зала с пишущими диктант, и цитаты у одного-двух участников. Потом скинуть этот материал вместе с пресс-релизом им, а они всё смонтируют, пустят закадровый голос, а на видео сбоку напишут: «любительская съёмка». Нам будет галочка за сюжет на ТВ, им будет информационный повод, заткнут дыру в новостном эфире, и все довольны.

— Женя, ты собираешь цитаты у участников, у тебя айфон снимает лучше, чем наша камера. А я найду спикера.

— Я же не корреспондент, понятия не имею, как это делается!

— Нет времени объяснять, просто берёшь и делаешь. Мы, блятекари, люди универсальные! Мы и дизайнеры, и журналисты, и актёры, и маркетологи, и сам-себе-режиссёры, поняла? Давай не кисни, быстрее отделаемся — быстрее домой уйдём, суббота как-никак. До двух часов управимся, а отгул себе на полный день поставим.

«Я извиняюсь или досвидос?» — моргнуло сообщение.

И следом: «Я не понял, ты обижаешься или как?»

«Или как», — набрала я.

Началась очередная школа жизни: найти двух вменяемых людей, которые могут два слова связать перед камерой, чтобы они донесли всю важность и культурную значимость события. Если с первого подхода не получится, придётся искать других. Остаётся надеяться, что диктант ходят писать грамотные люди.

Диктант делился на две части кофе-брейком. В перерыве я подошла к самым внушающим доверие писцам. Одна из них, женщина пенсионного возраста, оказалась сотрудником госархива, подведомственного нашему министерству, которое и отправило её на этот диктант. Второй была школьница выпускного класса, она планировала получить диплом участника и присовокупить его к остальным достижениям, поставить себе ещё одну галочку.

Вайбер пикинул сообщением от Лики. Фотка, где я снимаю на телефон женщину из архива. И когда только Лика успела? Пронеслась мимо, как самолёт, и на ходу сфоткала. На фото я получилась настолько удачно, что хоть в сторис выкладывай. «Я у мамы журналист», — подписала и добавила смайлик-кошечку.

Устав от умственного труда, участники глобального диктанта поголовно захотели есть. Тут пирожки Нателлы Александровны с повидлом из своих яблок и груш оказались очень кстати. Бабушки разливали чай с быстротой работников Мака, не устояла даже директор, спустилась вниз из кабинета и сняла пробу со всего, что увидела.

Вернувшись к себе, я выгрузила видео с айфона, подписала каждый файл, Лика скопировала, добавила спикера — директора гимназии, общий план зала и пресс-релиз, пульнула скопом на почту «Репортёру». Потом я отобрала фотографии для отчёта в минкульт, Лика исправила пресс-релиз на пост-релиз, мы разместили всё это на нашем сайте и в соцсетях, выдохнули.

— Так устала!.. — не выдержав, пожаловалась я.

— Женька, не раскисай. Давай мы с тобой выпьем, — потягиваясь перед компом, предложила Лика. Она подмигнула, скрипнула полированной дверцей бара, пошелестела там чем-то, достала пузатую бутылку и закуску, поставила на мой стол.

— Пойду второй стаканчик у Веры стрелъну, — сказала она и вышла за дверь. Зазвонил телефон.

— Привет, Антон.

— Привет, моя девочка! Как ты?

— Нормально. На работе тяжёлый день. Нервничаю.

— Не переживай, ты молодец! Я видел, как ты берёшь интервью, это здорово! Работница культуры, я тобой горжусь!

Я окинула взглядом рабочий стол: пластиковый стаканчик с самогонкой, два банана, серый хлеб и контейнер с кусочками селёдки.

— Антон, инстаграм — это просто понты. Я устала... — начала я.

— Какие понты, ты правда молодец! Не скромничай.

Я задержала дыхание и свои возражения.

— Что сейчас делаешь? — спросил он.

— Пишу отчёт в министерство, — пластиковый стаканчик хрустел в пальцах.

— Серьёзная такая! — Антон радостно засмеялся. — Придёшь домой и отдохнёшь, суббота же. Там тебе уже приехал сюрприз!

— Ага.

— Побегу работать?

— Ага.

— Ну, тогда до вечера. Позвоню! Обнимаю!

Короткие гудки. Очередной букет благоухает на нашей кухне, эка невидаль.

— Так, ну что, Женёк, всё нормально? — Лика вошла, взъерошила свои кудрявые волосы.

— Ошиблась в слове «министру», ворд автоматически заменил его на «монстру».

Лика засмеялась:

— Это что! В том году к нам приезжала VIP-персона по фамилии Толстая. Я готовила регламент встречи нашей министерши и Толстой. Отправляю в минкульт по электронке, а в теме письма пишу: «Министр — Толстая». А наш министр ещё какая толстая, понимаешь? Ну, я так и отправила. Вот они там в приёмной посмеялись!

— Лика, это ужасно! — я засмеялась и удивилась, что Лике эта история вообще не смущала.

— Да, как и вся работа библиотекаря. — Лика плюхнулась в своё кресло. — Так, мы с тобой молодцы, отработали. Можно и отдохнуть. Наливаю тебе?

Я посмотрела на настенные часы в деревянной совковой раме: тринадцать десять. На экране телефона мигнул инстаграм: AntonBlagov добавил вас в свою историю. Открыла и увидела скриншот моей фотографии и подписи о журналисте. «Скупаю по моему ангелу», — написал обо мне Антон.

— А почему нет! — я хлопнула телефон на стол экраном вниз.

— Вот это по-нашему! — обрадовалась заведующая.

Через полчаса мы с Анжеликой Николаевной уже были хорошенькие. Я рассматривала тельняшку: она часто надевала её, любила военных. Поговаривали, что первый муж был физруком, спился, и Лика его выгнала. Ещё через полчаса пора было и честь знать.

— Тебя твой-то встретит? — кивая на мой безымянный палец с бриллиантом, спросила Лика.

Не хотелось говорить о женихе, объяснять, что он сейчас ездит по посёлкам, открывает отделения малоизвестного банка. Как ему меня встретить? Но я кивнула.

— Ну, так давай, пиши ему! А то я тебя напоила, переживать буду, как до дома дойдёшь?

Я грустно выдохнула себе в плечо и ощутила запах перегара. Открыла iMessage.

«Привет, как дела?»

«Привет! Пойдут. У тебя?»

«У меня сегодня на работе был такой писец, мы пьём. Ты что делаешь?»

«Собираюсь подвезти одного бухающего библиотекаря»

— Подвезёт, — резко ответила я Лике, от мыслей об этой аванюре напряглась.

— Какой пусечка. Давай тогда по последней, и до понедельника!

Когда затуманенным взглядом я искала в шкафу шапку, в голове почему-то всплыло, что идея съездить на Волгу посмотреть ледоход не такая уж плохая.

Две недели назад Вова прислал мне «Вконтакте» подарок «С 8 марта!». Тогда я подумала: вот это индивидуальный подход к клиентам! Как он только меня нашёл? В ВК я была Женей Miller, а по паспорту — Евгенией Игоревной Бойко. Так мы и начали неформально переписываться с моим тренером из шаражной качалки около библиотеки.

«Я на месте»

«Какая у тебя машина?»

«Киа, 781»

«Это сильно сейчас. Цвета какого?»

«Как твои волосы»

«Найду»

К вечеру запах коньяка немного выветрился, а холодный ветер с замёрзшей реки взбодрил, поэтому чётко к концу рабочего дня я была дома. Симба встретил у порога. Мама, не пропускавшая ни одной моей истории в инсте, была впечатлена успехами дочери на работе, куда каждое утро я уходила с кислой миной. Я на ходу выпила сок прямо из коробки, окинула взглядом букет и легла спать рано.

«Не запалили?»

«Нет»

* * *

Следующая неделя не уступала предыдущей. Тают льды — оттаивают креативные идеи в головах руководства и приходят в движение. Я понимала, почему многие люди с возрастом становятся унылыми и всё время вспоминают «студенческую молодость»: как будто только тогда они были живы, а потом умерли на работе. Утром я привычно натягивала свой костюм-скафандр, в котором нельзя быть весёлой, маленькой или свободной, шла по разбуженному автомобильными гудками опаздывающему городу. Наконец, я начала понимать, что единственное оживление доставляло мне сесть вечером в машину, написать сообщение родителям: «Завалили работой», — и бесцельно кататься по вечерним улицам, чтобы пожаловаться на работу и посмеяться над всем, что было днём.

На тренировках мы с ним делали вид, что не знаем друг друга так, как знали на самом деле. Он подходил, говорил, что и как делать, сжимал моё предплечье или колено, чтобы поправить технику, и отходил в сторону. Только в зеркале я видела его долгий и напряжённый взгляд. Он начал надевать длинную спортивную куртку в дни, когда я приходила с ним заниматься. Ему в ней было жарко, поэтому он закатывал рукава и расстёгивал ворот. Меня это забавляло. У него были очень жилистые руки, и когда он подтягивался, синие вены узорами проступали под кожей. Он не был раздутым, как многие качки на массе, наоборот, жёстким, словно каменным. Когда он подходил ко мне и упирался грудью, казалось, под одеждой у него бронежилет.

В конце рабочего дня я то и дело поднимала глаза к старым настенным часам. День заканчивался, а это значило, что я заслужила, улыбаясь, выскочить на улицу, сесть в его машину и оказаться в другом мире, где я не «молодец» и не работник месяца, где никто от меня ничего не ждёт, а я не должна притворяться кем-то другим — хорошей, приветливой, нормальной, как все. Но мне было стыдно за себя, за наше общение. Мой жених и родители ничего об этом не знали, они думали, я иду на почётную грамоту за перевыполнение плана.

Не застёгивая пальто, я вышла из библиотеки, отыскала глазами бордовую машину. На улице уже темнело, его лицо со стороны водительского кресла подсвечивал

экран телефона. Я села украдкой, низко наклонив голову, будто залезала в пещеру. В темноте наполовину тонированной машины сразу становилось спокойнее.

— Погнали! — бодро и немного истерично воскликнула я.

Вова сидел, обернувшись ко мне и поставив левый локоть на руль, смотрел чёрными глазами из темноты салона. Такой долгий взгляд я не могла выдержать. Я опустила глаза на кружевные колготки, выглядывающие из разреза длинного платья. Бабушки-библиотекари шептались за моей спиной о «вульгарных» колготках, и тогда я стала носить длинные платья на запахе, а икры закрывала чёрными гетрами, но носить узоры не перестала. Билась, как бабочка, пойманная в стеклянную банку библиотечных витражей.

Он усмехнулся, будто понял, о чём я думала, завёл машину, и мы поехали на волжский склон. Прижавшись правым виском к холодному стеклу пассажирской двери, я прикрыла глаза. В машине играло какое-то радио — и «хлопья полетели вверх».

— Как день прошёл? — он коротко обернулся ко мне.

Я вздохнула, наблюдая, как болтается на зеркале маленькая боксёрская груша.

— Когда день заканчивается, всё становится хорошо.

— Ты там мешки, что ли, разгружаешь? — он усмехнулся.

— Во-ва.

— Ладно-ладно.

— Мне кажется, что я занимаюсь производством мусора.

— Поясни?

— Ну, все эти выставки книжек, которые никто никогда не прочитает, отчёты, которые в минкульте толком не проверяют, сценпланы, мероприятия, на которые никто не ходит... После того как они заканчиваются, мы с Ликой выкидываем кучу писулук и набираем следующие.

Остановились на светофоре. Он посмотрел на меня.

— Тут, наверное, важно, получаешь ли ты удовольствие от этого? Работа — это рутина.

— А ты?

— Я — да, почему нет? — он пожал плечами. — Сегодня с мужиком растянули его зажим в спине, он был рад. Я человек простой. Мне великие дела не делать, я живу ситуационно.

— Мне нравится только конец рабочего дня.

Я посмотрела на его правую руку на рычаге коробки передач. Он перебирал пальцами, косточки запястья играли. На обратном пути его рука сжимала мою ледяную ладонь.

— А как жить? Вот так? Каждый день одно и то же? Видеть людей, которых видеть не хочешь, быть там, где не хочешь?

На очередном светофоре он потёр в ладонях мои пальцы, нахмурился и прибавил педку, отчего мои щёки разругались.

— А где ты хочешь быть?

Я смотрела на него и думала: вот уж неожиданность, он младше меня, а я спрашиваю его о жизни.

— Хочу ощутить всё, а не ставить жизнь на паузу. Хочу гулять под солнцем, а не выползать с работы в сумерках, как вампир. Хочу пойти куда-то тогда, когда хочу. Хочу уезжать без спроса, хоть за границу, хоть на турбазу, а не сидеть, как в тюрьме.

— Ну, это всё у тебя впереди, — он потербил моё кольцо на безымянном пальце. Я выдернула ладонь и отвернулась к окну. Антон придёт и спасёт меня от убогой жизни библиотекаря. Спаситель мой. От тёплого дыхания стекло запотело.

Вечером Вова прислал мне:

«Доброй ночи»

Я быстро набрала:

«Если тебе неприятно со мной общаться, то не будем»

«Нет, почему же. Пообщаемся до этого радостного события»

«Почему?»

«Потому что можем»

* * *

Я была единственной молодой библиотекаршей в стенах этого книгохранилища. Корабля знаний, ежедневно терпящего бедствие. Директор всматривалась в серые лица матросов в поисках того, кого можно кинуть в бой. И выбрала меня. История, в которую меня хотели впутать, перекрыла все предыдущие. Мне оставалось только просить помощи у близких.

— Пап, я не понимаю, чего они от меня хотят?

Отец читал что-то в своём ноуте после ужина.

— Зачем мне вообще это делать? Директор говорит, что вот ты такая красивая, уговоришь инвестора подарить нам проектор. Пап, это не работа, ты понимаешь? Где тут мои должностные обязанности?

Отец вздохнул, захлопнул ноутбук. Снял очки и потёр переносицу.

— Ну, во-первых, на этом проекторе и ты будешь работать. Во-вторых, у тебя филологическое высшее, ты современный человек, знакома с этими технологиями, а они все старенькие. Не вижу никакой катастрофы в том, чтобы научиться деловой речи, деловым переговорам. А в-третьих...

— Да каким деловым переговорам? По-твоему, это сделка какая-то? Мы вам кирпич, вы нам бетон? Пап, ты о чём? Это не сделка, это попрошайничество! А я должна это делать не потому, что современный человек с образованием, а потому, что ещё не на пенсии! Вот и всё. Какое владение деловой речью? Да у тебя на работе куча этих проекторов для презентаций валяется! Нам самый дешёвый и задохленький пойдёт. Зачем мне этот позор?

— Дочь, я могу дать тебе проектор, ты это знаешь. Но я не смогу решать все твои проблемы всю жизнь! Ты должна научиться что-то делать сама.

— Ты что, думаешь, я в этой библиотеке до старой собаки работать буду? Я замуж выхожу! Зачем мне вот это всё? Чтобы что?

— Ты цену деньгам не знаешь! Не знаешь, из каких низов выходят люди. Я не хочу, чтобы моя дочь была такой стрекозой, порхала как бабочка.

— А зачем мне их психология бедности? Я хочу жить нормально! Зачем мне проникаться этим всем? Чтобы стать пыльной скрюченной тёткой, шуршащей полиэстеровой юбкой между стеллажей? И замуж за местного охранника выйти? Ну, это, если сильно повезёт!

— А ты посмотри, посмотри. Больше ценить будешь то, что у тебя есть.

— Посмотри? На кого смотреть? На этих бабок и их мужей-механиков на заводе? Учителей физкультуры в школе?

— Посмотри на людей труда. Эти механики, учителя кроме того ещё и люди, и хорошие люди! Честные, трудом своим живущие.

— Ах, трудом своим. То есть мне нужно на труд простого мужика посмотреть?

— Да.

— Окей. Ладно. Договорились!

Папа удивлённо приподнял брови.

— Ладно, ладно. Я тебя поняла, — закивала я, — будь по-твоему!

* * *

— Ты знала, что в нас есть атомы комет? — спокойно спросил он.

— Как это?

— Вроде как атомы с Земли не могут улететь в космос и становятся строительным материалом для всего на планете. В том числе атомы метеоритов, однажды попавших к нам, остаются навсегда.

— Ого.

— Так что мы — это звёздная пыль, — он улыбнулся, показывая кривоватые зубы.

— Звучит как цитата из ВК.

— Так и есть.

Он сдвинул брови, не оборачиваясь на меня. Потом закусил нижнюю губу, думая о чём-то не очень весёлом. В такие моменты, мне казалось, он вспоминает только об одном — о моём женихе.

— Проверенная информация! — резко и нарочито громко сказала я. — Ладно, пока мы два кусочка ожившей пыли, нам не стоит терять время.

Мы стояли в каком-то заросшем колючим кустарником тупике. Машина равномерно гудела, работала печка, чтобы нам не замёрзнуть без одежды.

— Уверена?

— Да.

Ноги у него были буквой «О», колени разъезжались. Про таких говорят: «Как будто только что с коня слез». Но мне удивительно нравилось. Было в этом нечто brutальное, искажавшее походку, но своим детям я бы не хотела такой наследственности. К тому же до двадцати лет он состоял в группировке. У Антона ноги были ровные, зато сам он местами расплывался, всё шутил, что выглядит солидно, как человек «при должности». Его солидность и робость вперемешку с праведностью могли охладить любую женщину.

Вова нечаянно прикусывал мои губы, оставляя красные вздутые полосы. С моим появлением в его машине часто пахло спиртом, но не потому, что мы бухали, а потому, что им он дезинфицировал руки. Потом собирал мои волосы по салону, наматывал их на пальцы, говорил, что скоро из них можно будет собрать маленькую Женьку. Привозил меня домой ровно в восемь, а по «сюрпризным» субботам я возвращалась около часа ночи — говорила, что хожу танцевать с коллегами. Родители удивлялись, но гораздо меньше, чем если бы знали правду.

Проектор я так и не выпросила — ни у инвестора, ни у отца. Да и вообще, ходила на работу как в тумане. Стала надевать удобную, немнущуюся одежду, брать с собой много еды, чтобы не тратить время. Лика говорила, что у меня глаза блестят. Она думала, это от предстоящей свадьбы, а я только ёрзала на стуле и торопила рабочий день. Днём я получала вдохновенные сообщения от будущего мужа, писала отчёты, фотографировала посетителей, переводила бумагу, а вечером садилась в машину и смеялась над всем, что было днём. Я словно проживала две жизни в одной. В первой я была послушной, культурной Женей, праведно исполняющей свои обязанности на работе и по расписанию отчитывающейся по телефону жениху.

А вечером я выдёргивала из волос заколку, комкала одежду и ставила телефон на беззвучный. Я настолько запуталась, что уже не понимала, кто я на самом деле.

— Что он тебе сделал?

Вова пристально разглядывал меня. По запотевшему лобовому стеклу струились капли. Из-за этого казалось, будто машина стоит посреди густого тумана или поднялась под самые облака.

— Ничего.

— Я же не debil.

Крестик на груди вмялся во влажную кожу, отпечатался на мне несколько раз.

— Он называет меня «моя девочка».

— И?

— И думает, что я как ангел. А я человек.

— М-да, понятно, — он дёрнул плечами. — Жвачку будешь?

Я видела в его глазах раздражение, переходящее в гнев, который он пытался подавить. На водительском кресле прыжком натянул джинсы, застегнул, размял шею вправо-влево, встряхнул измятый свитер.

— Одевайся, поехали. Времени много. Родители беспокоиться будут, — сказал он, протирая полотенцем окна.

— Обижаешься?

— Одевайся, говорю.

— Сам спросил!

— А я тебе ничего и не предъявляю. Одевайся давай!

* * *

Во вторник Веру и наших бабушек из методического отдела отправили в районный посёлок проверять фонды, а заодно прочесть обучающие лекции на любые темы.

— Женёк, ты тоже едешь! Надо будет их всех сфоткать с умными лицами и выложить на сайт, что мы методическую работу проводим.

— Блин, Лика.

— Ничего не блин. Сядете в наш уазик — Гена прокатит с ветерком. Знаешь, как там встречаются? Пирогам, чаем, мёдом своим, соленьями, вареньями. Вы же комиссия, вас задобрить надо! Съездишь, — там такие пейзажи, поля, холмы, развеешься! Всё веселее, чем тут тухнуть.

— С меня тоже лекция нужна?

— Конечно.

— Класс. И чему я их могу научить? У меня стажа два с половиной месяца, у них — вся жизнь.

— Зато ты молодая и современная. Научи их, как создавать виртуальные выставки в Thinglink, собери пошаговую презенташку.

— Это что за зверь?

— Вот и узнаешь.

К вечеру я разобралась, что да как с этим Thinglik'ом, и надеялась, что пошаговая презентация действительно поможет сельским бабушкам. Если, конечно, у них будет на чём её пересматривать.

Рассказывать им свои изыскания и знакомить с нововведениями библиотечного обслуживания было пронзительно стыдно. Благодарные сельские бабушки усердно записывали за мной в разлинованные школьные тетради, переспрашивали непонятные

слова, с сожалением качали головами, когда понимали, что не смогут усвоить материал. Пронзительно стыдно мне стало, когда я бодро пыталась рассказать им, как скачать обложки нужных книг и разместить их на поле электронной книжной выставки, а бабушки, робко улыбаясь, поведали, что их техника этого не позволяет. Очень старый компьютер, интернет оплачивают редко. Я почувствовала себя бездушным засланцем бюрократической системы нашего министерства.

Когда я фоткала их с тетрадями, сидящих в длинных шерстяных юбках, прикрывающих короткие валенки, а за моей спиной ломился стол от квашеной капусты, намятой картошки, намытые чашки из лучшего сервиза стояли в ряд и чай «со слоном», мне было стыдно до слёз.

Я написала Вове:

«Мне плохо, я больше не могу, помощи»

«Ты где?»

«В Свиязевске на выезде»

«Что случилось?»

«Ничего. Плакать хочется»

«Забрать тебя оттуда?»

«А ты знаешь, как ехать?»

«Разберусь»

Пока наши проверяющие изучали фонды старых книг, милая бабуля в пуховом платке напоила меня чаем с пирогами. Я сказала Вере, что уеду сама. Вера была ответственной за всю поездку и сохранность её участников, поэтому заартачилась. Пришлось убеждать её, что за мной приедут на машине, а свою часть мероприятия я провела.

«Ты где встал?»

«А тут много библиотек?»

Я вышла на скрипучее деревянное крыльцо дома, переоборудованного в библиотеку. Прямо перед ним стояла вишнёвая KIA-781. Вова смотрел на меня через лобовое стекло серьёзно и выжидательно, затем потянулся, чтобы открыть пассажирскую дверь.

— Как ты? — спросил он, подняв брови, глядя в зеркало заднего вида.

— Лучше. А ты?

— Пойдёт.

Он завёл машину, посмотрел по сторонам, включил заднюю передачу, развернулся, и мы поехали по ухабистой улице посёлка.

— У тебя сегодня нет работы?

— Не моя смена.

— Вова, ты обижаешься?

— С чего ты взяла?

— Ты на меня не смотришь.

— Я за рулём.

— Ну, конечно.

Он обернулся ко мне. Глаза были чёрные и сосредоточенные.

— Быстро нашёл?

— Навигатор на телефоне включил.

После посёлка начинались поля до горизонта, пересечённые высокими посадками.

В глаза ударила белизна.

— У меня много времени. Постоим в поле? Мне пирогов с собой сложили.

Он резко сбавил скорость, крутнул руль влево на съезд по грунтовой дороге. Мы долго ехали полем, пока асфальтовая полоса не скрылась за снежными холмами. Вова остановился, отстегнул ремень, взял моё лицо обеими руками, поцеловал с силой. В ответ на это всё внутри меня вздрогнуло. Хотелось скорее стащить с себя скафандр вынужденной жизни. Прикоснувшись кожей к коже, я ощутила спокойствие: бабочка, заточённая внутри меня, перестала иступлённо биться, теряя взаперти последние силы, она наконец-то увидела свет. Нас окружали запотевшие стёкла и металл, за которым застыла зима, а мы были такими, какие есть.

Вдруг снаружи пошёл снег, поздний, мартовский. Снежинки вздрагивали в такт ветру, который нёс их то с неба на землю, то от земли к небу. На глаза навернулись слёзы, изнутри подкатывала истерика, и я начала рыдать, вздрагивая всем телом, каждым нервом.

— Я думала... всё не так. С тобой всё иначе.

Внутри будто что-то разомкнулось. Расщёлкнулось. Словно плотину прорвало и река, наконец, заняла свои берега, насытив высушенные земли. Я плакала в голос, заливаясь слезами. Он не шевелился, молча смотрел снизу. Когда я вытерла слёзы, ладонь была чёрной от подводки и туши. Лицо стянуло расплывшейся косметикой, щипало от соли. Я глубоко вдохнула и выдохнула всей грудью, посмотрела в окно. Оно запотело настолько, что можно было оставлять отпечатки ладони, как в фильме «Титаник». Обернувшись к Вове, я улыбнулась сквозь пелену слёз. Тогда и он, наконец, улыбнулся, искреннее и радостно. Он обхватил меня за талию и потряс, рискуя удариться макушкой о потолок, засмеялся так громко, что мне почудилось, будто передо мной маленький мальчик. Я впила пальцами в его чёрные волосы и ощутила прилив невероятной нежности, будто он был не моим любовником, а просто — моим. Как будто бы в райских заснеженных кущах мы доверились и poznали... Мы смеялись, а вокруг белело и искрилось на солнце снежное поле.

По дороге домой он вкрадчиво, но твёрдо спросил:

— Твои слова эти, о нём? Он тебя кошмарит?

Я покосилась на него, скривила гримасу. После того чувства единения не хотелось ничего объяснять. Я молчала, Вова повторил вопрос.

— «Ты не такая. Глоток свежего воздуха», — пробубнила я, комично изображая восторженный голос Антона. — Словно я сахарная и растаю, всё время как будто жалеет меня, по голове гладит...

Вова сжал и разжал пальцы на руле.

— Зачем ты выходишь на него?

— А что мне делать?

— А что ты любишь?

— Читать.

— Так, — он кивнул.

— Танцевать. Гулять.

— Ты можешь это делать и не выходя замуж.

— Как? Работать всю жизнь в блятеке? Зарабатывать копейки на отдых на даче с картошкой?

— Это твоя первая, но не последняя работа.

— И где мне работать?

— Ты узнаешь это, когда возьмёшь ответственность за свою жизнь, а не будешь ждать помощи.

— Ты мне советы даёшь, а твоя работа — просто предел мечтаний!

- Я хотя бы рассчитываю на себя, а не строю из себя ангела в угоду кому-то.
- Чего?!
- Что слышала.
- Дальше мы ехали молча. Заехав в город, он вдруг предложил:
- Хочешь, я ему втащу?
- Не смей!
- Его банкирская рожа, наверное, ни разу пацанский кулак не нюхала.
- Вова!
- Встретимся, поговорим.
- Зачем?
- Может, я кредит хочу взять?
- Высади меня здесь, я сама доеду.
- Сиди уж.

* * *

В апреле приехал Антон. Громко рассказывал отцу о своих филиалах, подарил маме фарфоровую женщину с корзиной. Его цветы, выращенные в тепличных условиях, ничем не пахли, хотя мама восторгалась. Эти благородные лилии вообще хоть чем-то пахнут?

На работе книжной выставкой отмечали День космонавтики, а мой день рождения — Ликиной самогонкой. Вова тоже хотел меня поздравить, но я не отвечала ему: не потому, что не хотела, а потому, что не могла. Антону постелили постель в нашей гостиной, он остался на три ночи. Я была рада тому, что дома между нами ничего не могло быть. Когда Ликина бутылка разделилась на две части — самогон и пустота, как инь и янь, — у нас зазвонил телефон:

— Что кому надо? — Лика подняла трубку. — Библиотека, добрый день!

Потом посмотрела на меня и улыбнулась.

— Женёк, к тебе молодой человек пришёл.

— Блин.

— Иди давай, одевайся! У тебя праздник! Я дела твои доделаю, — она шлёпнула меня по коленке.

Антон наверняка уже мило общался с нашим охранником. Надо было перехватить его до того, как он дойдёт до книжных выставок, а то придётся рассказывать про каждую книжку. Я выскочила в холл, натягивая рукав пальто, и увидела Вову. Он сидел на лавке у гардероба, крутил в руках ключи от машины, смотрел в пол. Было странно видеть его вне зала и вне машины. Невероятно видеть его здесь, на моей работе, в моём пространстве, где я, Женя, приличный молодой специалист. Я воровато оглянулась. Нателла Александровна миленько улыбалась, глядя на меня из другого конца пустого холла, охранник спал. Я сбавила шаг, подошла к своему... кому?

— Привет. Что ты здесь делаешь?

Он поднял чёрные глаза.

— К тебе пришёл.

— Зачем сюда?

— Забрать. Почему нет?

Я не знала, как ответить.

— Это публичное место. Может, я книжку хочу взять. Мне сюда нельзя?

В его глазах промелькнула злость.

— Ладно. Пойдём? — я нервно улыбнулась и направилась к двери.

Он медленно встал, выпрямился во весь рост, размял шею туда-сюда, оглянулся на спящего и вышел за мной. По мокрому асфальту мы молча дошли до машины и так же молча забрались внутрь.

— Видел в инсте, приехал твой полупокерный.

Мне стало страшно.

— Приехал на мой день рождения.

— Как отметили? — он повернулся и смотрел мне в глаза как удав.

— Ещё никак... неважно. Ты злишься. Может, нам не стоит больше общаться?

Я опустила глаза на свои колени.

— Всё ждал, когда ты это скажешь.

Он резко завёл машину, она дёрнулась, и мы поехали.

— Куда? — Замерев, я смотрела на него, он везёт меня на пустырь?

— Домой, к твоему жениху. Праздновать.

Вова рывком остановился у моего подъезда. Протянул руку через меня, открыл пассажирскую дверь и посмотрел в зеркало на лобовом стекле. Я замешкалась, хотела сказать что-то, попросить прощения, что угодно...

— Выходи.

И я молча вышла.

Проскрипел лифт. Каблуки цокали по плитке. Вскрикнул звонок. Антон обнял меня с порога, прямо в пальто. Потом помог его снять, повесил на вешалку, поцеловал куда-то в затылок. Я опустилась на пуфик, расстегнула сапоги. Антон снял и убрал их.

— Любимая, закрой глаза! — улыбался он.

Я закрывала. По квартире раздались шорохи его пушистых тапочек туда-сюда. Приглушённые голоса в кухне. Шелест пластика. Антон взял меня за руку, повёл куда-то. Сжимая веки и ничего не видя, я шла, спотыкаясь о пороги, о которых он забыл предупредить, — забыл или не счёл нужным. Ноги в носках скользили по паркету.

— Открывай!

На столе стояли суши, пицца, рядом со столом — мои родители. Папа бумкнул шампанским. За столом на моём месте сидел огромный плюшевый медведь. Медведь или медведица? С розовым бантом на шее, кокетливо сдвинутым набок.

— Ура, — невнятно произнесла я.

Антон обнял меня за плечо.

— Нравится?

— Очень.

Когда он уехал, мама напомнила о записи к модельерше. Пришло моё время. Пора было кроить, с фасоном мы определились ещё осенью. Швея принимала на дому, на примерку мы поехали с мамой после работы. Незнакомая женщина попросила меня раздеться. Я сняла всё, кроме белья, но она попросила снять и бюстгальтер.

— Жень, откуда такие синяки? — воскликнула мама.

Я посмотрела на бёдра: там с двух сторон желтели отпечатки пальцев. Вова часто не рассчитывал силу.

— Ударилась об угол на работе.

Швея улыбнулась.

Она тыкала меня портняжными иглами, прилаживая по талии юбку, по торсу корсет, я вздрагивала, она извинялась и тут же хвалила шёлк и кружево для моего платья. Вдвоём с мамой они закрутили меня в белую плотную ткань до самой шеи. Антон был против вырезов и декольте, Антон хотел венчаться. Меня подвели к зеркалу, и я увидела на себе не свадебное платье, а скафандр. Моё тело было забрано

в него со всех сторон. Белый не шёл к моему лицу, я становилась мертвецки бледной, только сердце бешено билось, как бабочка в банке.

Скоро я стану женщиной по статусу, по паспорту. Но я уже стала ею. Не когда-то давно, сумбурно, в пьяном дурмане после встречи с друзьями, в неудачный момент, о котором почти ничего не помнила. Не стану ни в загсе, ни после загса. Только с ним, в его машине. С ним, на заснеженном поле, под вздох теплеющего ветра, унёсшего последние искорки зимы, где-то по дороге из сельской библиотеки в городскую. Не женщиной-ангелом, не работницей культуры, не выгодной партией — просто женщиной. Но теперь я стану ею и для других: для штампа в паспорте, для статуса в соцсетях, для того, чтобы родители позвали всех дальних родственников на свадьбу, и я хоть раз в жизни их всё-таки увидела. А потом — чтобы мама и папа рассказали друзьям, что их дочь замужем за банкиром, а мои одноклассники увидели меня на фотографиях сначала в фате, потом на море...

* * *

Последний раз я пришла сюда в День славянской письменности и культуры. Мы расставили развороты книг с изображениями печальных святых. По выцветшим лицам пролегли заломы и отпечатки пальцев наших бабушек. Им никто не молился, только библиотекари торопливо мимоходом крестились для галочки. Любовь Дмитриевна подарила мне на прощание и свадьбу записную книжку своих фирменных рецептов, исписанную тонким каллиграфическим почерком. Лика пожелала мне родить троих и больше никогда не работать. Сказала заходить на коньячок, потому что «бывших библиотекарей не бывает».

На День семьи, любви и верности мы с мужем летели под облаками в свадебное путешествие. Я прижалась правым виском к холодному стеклу иллюминатора и прикрыла глаза. Предо мной был открытый космос будущей жизни, а скафандр плотно облегал плечи.

Елена Крюкова

Голая лирика

* * *

День зачёркнут — и ладно. День оторван — и ладно. Отрывной календарь провисает,
Виснет, мост над пропастью. Никто никого не спасает,
Хоть желает спасти. Или делает вид, что желает.
Это мёртвая времени зыбь притворяется, что живая.

Люди друг по другу лупят прицельно, наводкой.
Люди в соль океана толкают друг друга из отчаянной лодки.
Планы стройте, да, сочиняйте, кому и по ком вдарить первым.
Только некому будет песню петь: ах, война, что наделала, стерва.

Аз есмь гость. Аз есмь кость во земле. Лунный, каменный шлем я надену.
Попаду хорошо, глаз-алмаз, медсестра, я убитому в вену.
Оторви ещё день. Ещё тень. Сколько лун ещё до приговора?
Бросьте вы притворяться. Давайте уж прямо: скоро, да, скоро.

Говорил мне мой дед: придут времена, порастут волчцами,
Горе бабам, что будут тогда питать сосцами.
А я бормотала: дед, хочу рожать и растить и нарочно буду,
А война не придёт, знаешь, я верю в чудо.

...и теперь, хоть бита и гнута, я в это дикое, зверие, Божие чудо верю.
Нам осталась минута? Ногой отворяю двери.
Я перед тобой, мой последний бой, сердца Морзе, изморозь на траве, последний
глоточек
Поцелуев, проклятий, объятий, точек-тире... тире, поцелуев, точек...

Крюкова Елена Николаевна — поэт, прозаик, искусствовед. Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. А.М.Горького. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Нижнем Новгороде.

* * *

Я научилась не сетовать, не роптать,
Не восставать на судьбу. Бесполезна моя борьба.
Смиренье идёт — полк за полком, за ратью рать.
Благодаренье, видно, и есть моя судьба.

«Люди и получше нас жили и похуже нас!» —
Говорила мне тихо любовь моя, её больше нет.
Можно шелками-яхонтами расшить каждый день и час,
А не приукрасишь судьбу: на её обман наложен запрет.

Я всё под куполами висела, лазала по стенам.
Я всею собой закрашивала храмы, самой собой.
И я не знала, что я-то и есть самый главный храм,
Но он давно расписан — не мной, а судьбой.

И вот я, задрав голову, сама на себя смотрю.
Сколько дорог по зиме! Сколько срубленных Райских садов...
А кто это там так медленно, тихо, нежно идёт к алтарю?
...Господи, да ведь это ещё живая моя любовь.

* * *

У меня ты знаешь всё хорошо
сын далёко на краю света уехал навек
я здорова телом плачу душой
не взхлёб а немного ну как всяк человек
да не слишком здорова там кольнет тут болит
ну так то не диво у каждого так
да не плачу а просто реву навзрыд
заливаю слезами год век и мрак

У меня поверь всё в натуре тип-топ
иногда тик-ток а чаще тик-так
кто-то хочет чтоб скорее легла я в гроб
и закрыл меня мой древний кровавый флаг
а я всё таращусь ночами не сплю
всё пою Богу ноты помимо слов
в зеркалах отражаюсь помимо снов
а наутро чужая ненависть во хмелю
обливает грязью моё — люблю
заливает кровью мою — любовь

У меня не бойся да не бойся ты
столько боли скопилось в немой груди
что по мне — мосту неземной красоты —
ты ко звёздам спокойно так перейди
боль когда застынет крепче камня-льда
люди били-били и кровь перестала течь
разве камень кровит да ты что никогда
кровоточит хрипит только речь

У меня лишь ты ты пока ещё здесь
это тебе кажется что ты далёко утёк
ты дрожанье локтя поцелуя взвесь
ты холодный мой пол слепой потолок
Ты моя лампа Дэви под потолком
ты горишь вполнакала мой волчий глаз
долгий вой припрятанный под языком
про запас

Не волнуйся и правда всё зашибись
всё пою о жизни о чём же ещё
а меня на прощанье целует жизнь
упоённо счастливо горячо
вся моя ты жизнь вся любовь моя
я так редко тебе это шептала ну вот
на краю судьбы
на краю бытия
это наш пароль наш больничный код
наш на переход — песнею без слов —
отрывной билет в перекрестье рук
ты моя душа ты моя любовь
ты не плачь не плачь если что если вдруг

* * *

Как меня сюда, в эту жизнь, забросило, я и сама не поняла,
Выбиралась из тесной пещеры, задыхальной, мрачной как ночь,
Звёзды плыли, живот горой на стерильном краю стола
Воздымался, и матери показали, и горло хрипело: *дочь*.

Береги ты жизнь, кто бормочет, непонятно, зачем, кому,
Это мне, или это я себе бормочу,
Всё равно, транжира, рассею, растрачу, кану во тьму,
Понесу пред собой дыханья оплавленную свечу.

Эх, а жизнь-то — чудо!.. догадалась я, кляча, да поздно так,
Лошадиные ноги шагают, все мы прекрасно знаем, куда,
Этой жизни мы кажем то кукиш, то язык, то кулак,
То целуем её икону, обливаем слезами, беда.

Вот валяешься ты на койке жизни, и встать невмочь,
А на свежем воздухе у подъезда водку пьют алкаши
Из горла. Вот ты жизни хрипишь: *мама!..* — блудная дочь,
А тебе доктор Жизнь приказывает: *дыши, не дыши*.

А ты доктору хрипло шепчешь: *позовите в палату, сюда,*
Этих ангелов двух, забулдыг, на троих мы сообразим,
А к тебе по воздуху пешком идут пьяные города,
А материка под тобой облаками плывут, пьяные в дым.

И планета Жизнь так медленно поворачивается под тобой,
Под косящим зрачком твоим, шупающим бытие
Пьяно, слепо, моляще. И солёной дрожащей губой
Мать целует тебя, ещё безымянную, всю в крови, во имя твоё.

Последние праздники

Никогда ни за кем внахлѣст не гналась
Никому не пела славу взахлѣб
И себя ни пред кем не бросала во грязь
В кровь не разбивала просящий лоб
Ты не бойся придут да и всё дадут
От заоблачных ли от земных щедрот
А к обрыву не смей ой там берег крут
Там и смертушка — жизнь только наоборот

А сегодня насквозь прошибло меня
Поздней молнией так слепяще простой:
Завершается круговерченье дня
Перед ночью великой молча постой
Перед Праздником Ночи которую не
Понимаешь и не поймёшь никогда
Метеором сгоришь во звёздном огне
Тьме кромешной светом выдохнешь: да

Я спешу вам сказать я люблю вас всех
Тороплюсь напоследок пробормотать
Это Праздник Ночи далёкий смех
Все плывут по реке огней благодать
По небесной воде в легчайших ладьях
Во счастливых тоньшей стрекозина крыла
Исчезает боль исчезает страх
Исчезаю я была не была

Я была-была да и вот сплыла
Я была-была не нужна никому
Это лишь обман что до дна дотла
Ни следа ни камня — пулей во тьму
А по чёрной реке всё плывут ладьи
Нежный Праздник Ночи мой карнавал
Мой Иван Купала Святки мои
Снежный мой городок — кто повоевал

Милый Праздник стучи беззвучно греми
Безголосо вопи невесомо танцуй
Я плыла-плыла меж всеми людьми
По щекам — свеченьем солёных струй
Я лишь хохот ваш люди ель-конфетти
Я печать и заплата на больничном белье
Я лишь хрипкое ваше прощай-прости
Там во праздничном хоре на высокой скамье

Игорь Булкаты

Мара, ёмкость для гения

Повесть

И.Д.

За два дня до его смерти мы сидели в цокольном помещении пустующей квартиры нашей общей знакомой Зиной, с которой некогда работали вместе на телевидении. Они бегали в помрежах, а я был осветителем. Мара тоже была помрежем. Собственно, мы все познакомились на телевидении. Это был конец семидесятых, самый разгар застоя. Мы с Борисом, усатым доходягой с длинными волосами, ассистентом телеоператора, слыли грозой девиц-помрежек, постоянно донимали их, и те в слезах, сметая всё на пути, мчались по длинному коридору Северо-Осетинского телецентра жаловаться шефу, седому как лунь, высокому старику без указательного пальца на правой руке. Тот вызывал нас к себе в кабинет, журил, требовал порядка и уважительного отношения к дамам. Каждый раз, пожимая его беспалую руку, казалось, будто он тайно хочет передать нам шпионскую записку, спрятанную за согнутым пальцем, и мы смиренно кивали головами. Однако через некоторое время всё повторялось снова. Маре с Зиной тоже доставалось от нас, но, в отличие от других, они никогда никому не жаловались. Однажды подошёл Виктор и сказал, что если мы ещё раз тронем Мару, то он набьёт нам морды. Признаться, мой друг был ещё тот мордобоец, но мы с уважением отнеслись к его требованию и больше помрежек не донимали.

В комнате из мебели был только письменный стол со стопкой бумаги и пишущей машинкой «Оптим», на которой работал ещё мой отец, и стул. На полу лежал матрас с одеялом. Я сжалился над ним и купил в ближайшем гастрономе бутылку смирновки, и мы стоя выпили из горла. Виктор сел на матрас, прислонился спиной к ободранной стене, и у него развязался язык. Он сказал, что не собирается писать об этом, потому что каждое слово, каждая буковка всегда были адресованы Маре, и он видел, с какой благодарностью читает она его опусы, надрывные и бессвязные, но чистые как родник, а теперь жена отвергла их, заявив, что Виктор бездарь. Я попытался его переубедить, и тогда он заплакал. Наверное, его развезло от водки, наверное, одиночество сжимало ему сердце как никогда, но дело было не в этом — Виктор потерял доступ к ёмкости, в которую он сливал всё своё недовольство неудавшейся жизнью, одобренной

Булкаты Игорь Михайлович родился в 1960 году в Тбилиси. Прозаик, поэт, переводчик. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов» и др. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 10.

писательским талантом, что в некоторой степени оправдывало его существование и беспробудное пьянство. Да, жена была Виктору ёмкостью для его пьяных бредней, которые временами все читают с упоением, покачивая головами в такт учащённому сердцебиению, но об этом может догадываться только близкий друг или женщина, да и то в той мере, в какой хватит сил терпеть его выходки, и это терпение по сути и есть индикатор таланта. Виктор догадывался обо всём, но продолжал писать, даже когда похмелье обостряло самокритичность до рези в глазах, собственная никчёмность пересиливала ломку, и он присаживался к письменному столу, стучал трясушимися пальцами по грязным клавишам и, оскалившись, говорил кому-то: «Так тебе, сука!» Он писал, не надеясь, что когда-нибудь его оценят, писал, потому что лежащие на бумагу слова отодвигали тот момент, когда вопрос — как быть дальше? — повисал под потолком на старомодном коричневом абажуре с жёлтыми кисточками, и знакомое с юношества чувство, отдалённо напоминающее вдохновение, баюкало его воспалённое сознание. Разумеется, в своих несчастьях Виктор винил кого угодно — высшие силы, производителей палёной водки, умерших друзей и даже жену, у которой просто лопнуло терпение, — но не себя.

Я аккуратно прочитывал его прозу не только потому, что он был моим другом и поневоле пришлось стать участником этой кафкианской истории, но и потому, что лично у меня не оставалось иного метода воздействия на здравую или на трезвую часть его сознания. И однажды я понял, что всё его творчество — не бред, не забава, а нечто большее. Что вся жизнь Виктора — его поведение, обусловленное пьянством, его мысли, его отношение к близким, наконец, манера его письма, словно он лежал в больнице и каждое утро начиналось со сдачи анализов мочи и крови, — была подчинена некоему закону, объяснение которому находится лишь после смерти. Казалось, он страдал душевной анемией, и лишь алкоголь восполнял недостающие вещества в его организме. Только так я могу объяснить странности поведения моего друга и то, как была шокирована Зина, добродушная широкобёдрая дама с круглым лицом, когда она принесла ему в банке горячий борщ, вошла в квартиру, демонстративно зажимая пальцами нос, и уставилась на Виктора широко открытыми глазами — тот был в Мариных трусах и бюстгальтере. Зина давно развелась, сознание её вряд ли было отягощено мыслями о сексуальных фантазиях мужчин. Она постаралась совладать с собой и писклявым голосом поинтересовалась: что, теперь Виктор носит Марино бельё? Виктор достал из буфета ложку, открыл банку и стал хлебать борщ, не обращая на неё внимания. Заметив, как большим и указательным пальцами он оттягивает бюстгальтер и суёт его себе под нос, Зина решила, что Виктор свихнулся окончательно и завизжала — чего это он принимает к лифчику? Не глядя на неё и продолжая жевать, Виктор заявил, что у Мары маленькая грудь, и даже когда она кормила дочь, была удивительно маленькой, но пахла домашним уютом. Каким ещё уютом, чего он несёт, если Виктор не прекратит, то она упечёт его в дурку. Виктор закашлялся и стал стучать себя кулаком в грудь. Утерев выступившие от кашля слёзы, он сказал, что скоро умрёт, прыгнет вниз головой в Терек и умрёт. Затем усмехнулся и добавил — шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки, тем более когда ты отъявленный пьяница и опротивел всем, кроме подруги юности, на которую не встанет даже у гориллы, а бывшая жена перестала красить волосы и ударилась в религию, выстаивает по утрам службу, под педерастический голос духовника грызая ногти. Как же она счастлива без Виктора, если б только знала Зина! И Виктор доставит ей гораздо большую радость, если он бросится в Терек вниз головой и разобьётся насмерть. Но — не дай Бог! — выживет, останется калекой на всю оставшуюся жизнь,

и христианская мораль не позволит ей бросить мужа в беде, — Виктор скорчил рожу, изображая калеку, сидящего в инвалидном кресле, и продолжил, кривляясь: — Господи, какая пошлость, — смиренно сложенные на груди пальцы с плохим маникюром, а в глазах вселенская печаль, и пьяный муж без задних ног валяется на диване в съёмной квартире, откуда его не сегодня-завтра турнут, потому что Виктор так и не убрал жилище, и блевотина блесит на дощатом полу. Фу! — поморщилась Зина. — Как не стыдно произносить такое! Если Виктор не перестанет, то точно придётся вызывать санитаров из дурки. Зина! — прервал он её. — Все разбежались, как крысы, как жить дальше? Но хуже всего то, что страх смерти сковывает движения, как в юности, когда бесшабашность разбавляла этот страх, что прокисшее молоко дрянной кофе, и ты стоял посреди земли, потому что земля круглая и каждый может настаивать на том, что стоит посреди земли, но пьяницы и наркоманы знают об этом лучше других, так как знание подчинено алкалоидной системе восприятия, а вовсе не жажде познания, как, например, у Фалеса, не путать с Фаллосом, придумавшим теорию равнобедренного треугольника только потому, что был пьян, а мир сверкал над ним мириадами звёзд, и он впервые подчинил эту красоту истине, что прямая никогда не пересекается с самой собой. Зина затрясла головой и стала отмахиваться от его бреда, повторяя, какие у Виктора прекрасные дочь и внучка, лучше бы он занялся её воспитанием, но вконец пришла в ужас, когда тот произнёс негромко, что жалко убивать Мару, но всякая женщина, предавшая мужа, достойна смерти, и ему некуда деваться...

Проснувшись, ещё не вставая с постели, Виктор постарался вспомнить давешние мысли до мельчайших подробностей. Он словно примерял их к нынешнему утру — к неубранной спальне со старомодным трюмо, заставленным духами и кремами, стёганным пуфиком. В десять часов утра Виктор включил компьютер и почистил браузер. Он вошёл в почту и удалил всю корреспонденцию. Затем удалил все файлы с рабочего стола и выключил компьютер. Виктор чувствовал себя вполне сносно, он знал, что это временное ощущение, что скоро подступит похмельная дурнота, появится звон в ушах и тяжесть во всём теле. На удивление, даже трясушки не было, предстоящий прыжок с моста вытеснил её из организма. Виктор хмыкнул, вспомнив, как однажды в молодости у него разнесло челюсть от флюса, и он решился удалить зуб, но, когда он приблизился к поликлинике, боль внезапно исчезла. Тогда он тоже хмыкнул, но всё-таки пошёл к стоматологу, и ему вырвали больной зуб.

Накануне Виктор убрал квартиру, помыл посуду и вынес мусор на помойку. Он делал всё основательно, тщательно протирал пыль тряпкой, до последнего ждал прихода Мары, даже когда стемнело и на улице зажглись фонари и город затих. Всё думал, что это игра, что всё под контролем и в любой момент можно остановиться. Однако чём дальше, тем больше убеждался: не игра, не перед кем ломать комедию. Виктор почистил зубы, прополоскал рот холодной водой, побрился тупой бритвой и поппикал лицо одеколоном «Балафр». Затем надел голубую рубашку с тёмно-синим вензелем на нагрудном кармане и пригладил волосы.

На Проспекте Мира было малоллюдно. По аллее гуляли мамы с колясками, на скамейках сидели старики в бухарских шапках и степенно переговаривались. Периодически с грохотом проносился трамвай. Мы сидели за круглым пластиковым столиком в уличном кафе и пили чай с круассанами — я, Виктор и Мара.

Виктор мало изменился с тех пор, как мы вместе работали на телевидении, а прошло больше тридцати лет. Был по-прежнему сухошав, носил дорогие очки, русые волосы его поседели, но от этого внешне он стал более брутальным, в отличие от светлого молодого очкарика, имевшего прозвище Гений. На алкоголика он мало походил, хотя Мара постоянно жаловалась мне по телефону, что Виктор не просыхает, напивается с утра и весь день валяется на облёванном полу возле дивана. Мара постарела, это было видно не только по лицу, по зубам и по волосам, но и по походке. Она была кривоногой, но в молодости это придавало ей некий шарм, детскую непосредственность, что ли. Теперь ноги у неё вроде как подогнулись ещё больше, и хотя Мара молодилась изо всех сил, получалось плохо. По ней плакал визажист.

— Я поздно пришла к Богу, — сказала Мара, пожимая худыми плечами, и отхлебнула остывший чай. — Но я не жалею. Сейчас я счастлива.

Виктор крутил полупустую чашку на блюдечке, отчего белый фарфор издавал неприятный звук.

— Ты только послушай её, — несколько судорожно кивнул он в сторону Мары. Но глаз не поднял.

— Пожалуйста, оставь в покое чашку! — попросила Мара, а затем со смиренной улыбкой повернулась ко мне. — Да, я наконец-то обрела покой, теперь мне ничего не страшно — ни одиночество, ни бедность, ни болезни. На всё воля Божья.

— Ага! — усмехнулся Виктор. — Она счастлива! Бросила в грязной квартире подышать с голоду мужа, ушла к полоумной сеструхе, и теперь она счастлива!

— Не трогай мою бедную сестру! — строго произнесла Мара. — Она больна, у неё расшатаны нервы, но мы каждый день молимся вместе. А по воскресеньям ездим к духовнику.

— Да она настоящая шизофреничка! — рявкнул Виктор. — Ты хоть знаешь, что твоя сестра болтает про тебя на каждом углу?

— Нет, и знать не хочу.

— Потому что ты такая же шизофреничка. У вас в роду все шизофреники.

— Прекрати, браток! — сказал я. — Возьми себя в руки. Ты же писатель.

— Какой он писатель! — брезгливо поморщилась Мара. — Последнее его сочинение — это «Грустные мысли», в котором он слезливо описывает канун самоубийства какого-то дохляка, наверное, чтобы попугать меня. Ах, все меня бросили, ах, какой я несчастный! Тьфу, противно читать! Если у него и был талант, то он его пропил.

— Неправда, — нехотя возразил Виктор, — я пишу по-прежнему, только таким шизофреничкам, как ты, нельзя читать мою прозу.

— Я не шизофреничка, — сказала Мара. — И сестра не шизофреничка, просто у нас расшатаны нервы. А то, что она наговорила про грузина, так это глупости.

— Глупости? — вспыхнул Виктор. — То, что ты катаешься с грузином на его колымаге, — это глупости? Куда ты с ним ездила?

— Ну... — замялась Мара, — он возил меня к заутрене.

Виктор засмеялся, показывая жёлтые зубы. Но смех его был усталым, как будто его защекотали.

— Да ну! Скажи, родная, а по дороге он трогал твои коленки?

— Господи! — Мара выдвинула из-под стола свои тощие ноги и отдёргнула юбку. — Гляди, Самсон, кого-то могут заинтересовать эти колени?

— Мало ли в мире психов! — сказал Виктор.

— Вот видишь, — словно бы ища поддержки, снова обратилась ко мне Мара, — он уже свихнулся на почве ревности. Пропил квартиру, машину, теперь живёт в съёмной халупе, а я вынуждена скитаться по родственникам.

— Ты моя жена и обязана делить со мной все тяготы судьбы.

— Нет, хватит! Я столько лет терпела твоё пьянство, зря только жизнь на тебя угробила. Хорошо ещё, дочку вырастила, замуж выдала.

— Дочку ты тоже настроила против меня, она даже разговаривать со мной не хочет.

— Да кто же будет разговаривать с тобой, пьянчуга.

— Спроси у своего духовника, можно ли войти в царство Божье, перешагнув через труп мужа.

— Ты мне больше не муж, — сказала Мара, — ты никто и звать тебя никак. А к Богу я пришла бы в любом случае, даже если бы ты не пил. В молитвах я обрела покой.

— Да я сдохну в одиночестве! — проговорил Виктор, роняя на стол слюну.

— Это твои проблемы. Удачи вам, господа!

Мара встала и пошла в сторону площади Свободы. Мы смотрели ей вслед, понимая, что её походка вразвалку, как у Мэрилин Монро, не от манерности или жеманности, а от недоедания и отрешённости.

Виктор достал пачку сигарет, красную одноразовую зажигалку и закурил, глубоко затягиваясь.

— Я брошусь в Терек, — сказал он.

— Хватит дурить, — ответил я. — Только кости переломаешь. Охота тебе валяться в больнице?

— Тогда наберу воды в ванну, лягу в неё и вскрою себе вены. Умру в красном винограде.

— Ну что ты заладил? Хочешь покончить с собой, сделай это незаметно.

Виктор тряхнул головой, даже очки слетели с переносицы.

— Ты думаешь, я не могу бросить пить?

— Не знаю, браток. Тебе надо писать.

— Я просто не выношу одиночества. Почему она оставила меня, дочь настропалила?

— Тебя надо спросить.

Он надел очки, откинулся на спинку пластикового стула и стал жевать фильтр дымящейся сигареты. На проспекте по-прежнему было тихо, иногда с грохотом проносились трамваи, по аллее прогуливались мамы с колясками, и на скамейках степенно переговаривались старики в бухарских шапках.

— Давай прошвырнёмся, — предложил Виктор.

Мы встали и неспешно двинулись за Марой, хотя её след уже простыл. Свернули на улицу Горького к мосту через Терек, потому что обычно она выбирала этот маршрут, часто останавливалась посреди моста, где на перилах висели самые разнообразные замки с надписями и без, и любовалась шумным течением реки и мечетью на набережной, а если была хорошая погода, то Столовой Горой за черепичными крышами домов. Виктор приблизился к перилам и стал перебирать нервными пальцами замки, бормоча что-то под нос, потом повернулся ко мне и спросил:

— Разве дело во мне?

— О чём ты, браток?

Он подумал немного, теребя ржавые замки, замкнувшие человеческую слабость с безумием, прячущимся за неприкаянностью и неустроенностью в быту, и осторожно ответил:

— Раньше мне казалось, что уверенность в себе зависит от личных качеств, от умения обуздать свои комплексы. Тогда и пить было в радость, потому что молодость в качестве ответов на вечные вопросы подсовывала здоровье духа и плоти. Неправда, что алкоголизм начинается с похмелья, с привыкания. Алкоголизм начинается с низведения статуса здоровья духа и плоти.

— Нельзя ли подоступней? — прервал я его.

— Можно, но зачем? Ведь важна не суть, а чутьё, запах, покалывание подушечек пальцев в предчувствии новой реальности, которая тянет с явлением, с вербализацией, боится смутить нас. Мы спиваемся от нерешительности, браток.

— Ну, Америку ты мне не открыл. Скажи лучше, почему ты обижаешь Мару?

— Я её не обижаю, — сконфузился Виктор. — За своей религиозностью она прячет нереализованную бабскую мечту о домработнице, кухарке и полном шмотья гардеробе.

— Ты наезжаешь не на Мару, а на весь женский род.

Он посмотрел на меня совершенно спокойно.

— Я не верю женщинам, которые спохватываются к концу жизни и ради спасения души бросают подыхать спившихся мужей.

— Но она имеет право на личную жизнь.

— Скажи ещё — право на молитву. Мы все имеем право. Но если твой выбор ставит близких перед лицом смерти, то лучше заткнуться и не вякать!

— Может быть, тебе попытаться бросить пить? Глядишь, часть проблем отпадёт сама собой.

— Ты не понимаешь меня, браток. Мой алкоголизм — не причина, а следствие.

— Ну! — сказал я. — В этой идиоме гораздо меньше глубины, чем придыхания.

— Пошёл ты к чёрту!

— Тогда ты останешься совершенно один.

— Да, я останусь совершенно один. — Он помолчал. — Знаешь, я проглотил слишком много дерьма, чтобы доживать свой век в одиночестве.

— Пойдём! — потянул я его за рукав.

Мы повернули обратно и поднялись вверх по Горького мимо почтамта, пересекли улицу Ленина и не спеша побрели вдоль мостовой, мимо современных и не очень магазинов с броскими витринами, мимо двухэтажного здания гуманитарного колледжа с треугольным зеркальным эркером, в котором задолго до того, как был пристроен этот самый эркер, располагалось посольство Персии и военная миссия Великобритании, мимо кирпичного особняка-модерн архитектора Шмидта, в котором нынче устроен театральный музей, и дальше — мимо известного доходного дома и школы с голубой оградой и голубыми окнами, построенной на месте разрушенного костёла, — вышли к угловому дому на Бородинской улице.

В комнате было темно, я нашарил выключатель на стене и зажгёт свет.

— Зачем ты привёл меня сюда? — спросил Виктор. — Это же квартира Зины.

— Да, — ответил я, — это квартира Зины. Как видишь, она пустует. Можешь пожить здесь какое-то время.

Он бросил на меня испуганный взгляд.

— Я знаю, ты хочешь запереть меня.

— Не бойся, мы с Зиной будем навещать тебя, приносить еду. А ты будешь сидеть за этим столом и писать.

— Не бросай меня здесь, браток, я сдохну.

— Успокойся. — Я отдернул занавеску на маленьком окне под низким потолком, и в комнату влился слабый дневной свет. — Кстати, по преданию, за стеной жил Булгаков и писал «Белую гвардию».

— Кто тебе сказал, Зина?

— Да.

— Врёт она. Булгаков жил на улице Маяковского, там сейчас музей. Он работал заведующим литературным отделом русского театра.

— Зачем же она солгала? — я сделал вид, будто крайне удивлён.

— Знаешь, что говорил Конфуций?

— Что?

— У женщины ум как у курицы, а у умной женщины — как у двух куриц.

Я рассмеялся.

— Это не про Зину.

— Ей просто нравится думать, что за этой стеной писал Булгаков. Она, как все экзальтированные дамы, бредит «Мастером и Маргаритой». — Виктор неторопливо закурил и добавил с ухмылкой: — Вот ты мне и заговорил зубы.

«Бедный Виктор», — подумал я, а вслух произнёс:

— Не страдай, для того, чтобы стать символом эпохи, необходимо вобрать в себя изъяны этой эпохи, быть гнойной язвой или перемолотой её жерновами трухой. Потому что, когда всё исправно и все довольны жизнью, в мире тихо и спокойно.

— Да ну тебя! — сказал Виктор, выпуская дым изо рта, отчего голос его зазвучал глуше. — Меня не трогают твои умозаключения. Значит, эпоха прогнила насквозь, если пьяницы и наркоманы не составляют её изъянов.

— Так бывает в жизни. Хотя, честно говоря, не хотел бы оказаться на твоём месте.

— Успокойся, — всхлипнул Виктор, — ты никогда не будешь на моём месте. Да ты и не знаешь всего... Жена пишет дочери эсэмэску, что если я умру, то она будет только рада. — Он помолчал немного, жуя фильтр наполовину выкуренной сигареты, и продолжил: — Каждый раз истина ускользает от слов, и это не то чтобы раздражает — я её и так чувствую нутром, — и дело даже не в том, что не удаётся накинуть на неё удавку и показать Маре, какой я классный парень и как много она потеряла, бросив меня. Всё это херня, потому что истина — движение, и слова бесполезны, если по-настоящему хочешь удержать женщину. Моё тело будет гнить на диване, потому что даже у нас хоронить чужого человека — неслыханное великодушие, от которого необходимо избавиться как от ненужной ноши. У меня и друзей-то не осталось, кроме тебя, да и ты валандаешься со мной для очистки совести.

— Хватит ныть! — прервал я его. — Тебе ещё жить и жить!

У Виктора потекли слёзы, и он не пытался их унять.

— Зачем? Кому я нужен? Она не приходит, даже жратву перестала носить, дочь настропалила. А я обманываю время тем, что сижу за письменным столом и кропаю никому не нужные тексты.

— Неправда, твои тексты нужны мне и другим.

— Хорош п...ть! Помнишь, как у Фолкнера? Кэдди пахла деревьями.

— Помню, — ответил я. — Это из «Шума и ярости». Роман дрянь, претензия на обратный гиперреализм.

— А мне нравится, — всхлипнул Виктор. — Я стал воспринимать мир как этот олигофрен Бенджамин. Причем, что самое любопытное, страх наконец исчез, вернее, получилось так, что он зачислил меня в сонм бессмысленных предметов, до отказа забивших пространство: матрас, стол, скрипящий стул, дурная репродукция «Охотников на привале», прикрывающая дырку в стене, застывшая кучка мусора на дощатом полу, будто я целую вечность безвылазно сижу в этой комнатке и никто не справляется обо мне. Тут не обида, а бегство, но никто не верит, потому что я действую на опережение, когда любое твоё высказывание — что перцовый газ в глаза, поскольку первый застолбил место и время и ждешь, пока мир подтянется к тебе.

— По-моему, ты бредишь.

— Может быть. Жалко, что ты ни хрена не понимаешь.

— Даже не смешно, — сказал я, чувствуя подступающее раздражение.

— Очень жаль, — повторил Виктор и затушил окурок о пол.

— Не строй из себя непонятого гения. У всех свои проблемы, свои радости, настоящую ценность которых унесут с собой в могилу. Это то, чего не объять ни взором, ни мыслью, всё в прошлом, сегодня же рядом с тобой — забота о семье, о детях, правители мечут громы и молнии, внушая ужас бедным гражданам, а сами попивают кофе со сливками...

Виктор покачал головой.

— Когда?

— Что когда?

— Когда п...ть перестанешь?

Сначала мне стало неловко, а потом охватила ярость.

— Много ли прошло времени с тех пор, как простая болтовня доставляла нам радость? Что изменилось с тех пор, скажи, браток?

Он снова качнул головой, будто стряхнул какую-то букашку.

— Много ли прошло времени, спрашиваешь? Целая вечность. Есть вещи, о которых можно думать мимоходом, и этого вполне достаточно, чтобы не выпасть из временного континуума. А некоторые вещи напрочь лишены времени.

— Континуума! — передразнил я его. — Ты как ребенок, который высказывается прямо и безжалостно. Для тебя важен не смысл, а нравственная основа. А ещё смеёшься над религиозностью Мары.

— Я устал, — сказал Виктор. — К тому же ты безбожно коверкаешь мои слова! Но самое ужасное то, что ты с умным видом выдаёшь их за свои.

— Странно, — ответил я. — Но я правда так думаю.

— Не комплексуй. Человеку принадлежит только боль. Всё остальное витает в космосе вне зависимости от его сознания.

— Бедный Виктор, — произнёс я, прикрыв рот ладонью.

— Что, что ты бормочешь? — потянулся он ко мне, пытаюсь заглянуть в глаза, но я увернулся, подошёл к окну и, задрвав голову, стал считать шаги прохожих.

Я не прошу себе того, что запер его в квартире, не приспособленной для нормального проживания, хотя в ней были и ванная, и туалет, и кухня. Сейчас уже не так важны мотивы моих действий — хотел ли я спасти Виктора от алкоголизма или подсунул ему в качестве ёмкости для облегчения души тёмную душную комнату с письменным столом и грязным матрасом на полу вместо плоской груди его супруги Мары, чья близость, как показало время, была обратно пропорциональна писательскому таланту. Виктор умер в одиночестве, измазав стены собственными экскрементами.

Он лежал на полу в позе эмбриона, спокойный и умиротворённый, как будто закончил важное дело и теперь отдыхал. Вокруг валялись скомканные листы бумаги, от которых разило, и если данным предсмертным поступком он хотел выразить своё отношение к миру, к своему таланту и окружающим, то это удалось ему в полной мере.

Комнату пришли драить его дочь с внучкой. Дочь звали Дианой, а внучку Лаурой. У них были одинаковые волосы — светлые и слегка вьющиеся. Внучке едва исполнилось три года, но она отличалась сообразительностью. Куклу свою пристроила на груди у мёртвого Виктора, сама же принялась помогать матери, которая сначала содрала остатки обоев, затем притащила ведро с водой, развела стиральный порошок и принялась мыть стены щёткой. Позже пришёл носатый маляр-армянин и стал клеить жёлтые обои с зелёными цветочками. Работал споро, не оставляя изъязнов. Пока маляр обклеивал стены, Диана достала из сумки завернутую в фольгу варёную курицу, лаваш, чай в термосе, отодвинула пишущую машинку и, разложив всё на письменном столе, покормила дочь. Лаура ела с аппетитом. Держа в одной руке обёрнутую салфеткой куриную ножку, а в другой кусок лаваша, она носилась по комнате, предлагала отведать армянину, но тот очень вежливо отказывался и благодарил её, тогда девочка совала мясо под нос своей кукле и Виктору, за что немедленно получала взбучку от мамы. Маляра забавляло всё это, и он смеялся, высунув язык, — ды-ды-ды-ды! Виктор лежал посреди комнаты на топчане со связанными марлей руками. Закончив клеить, маляр убрал за собой мусор и ушёл, а Диана занялась полом. Она аккуратно подмела возле стены, протёрла там мокрой тряпкой и переместила топчан к стене, чтобы удобнее было мыть пол. Пока Диана передвигала сначала один конец топчана, а затем другой, — Виктор неистово качал головой, будто сопротивлялся перемещению. Закончив уборку, Диана вернула его на место. К вечеру внесли добротный гроб из листовенницы и скамейки для плакальщиц, обмотанные белой бумагой и перехваченные капроновой ниткой, комната блестела чистотой.

Когда пришла Мара, собравшиеся расступились в ожидании плача и причитаний, но ни того, ни другого не последовало, что вызвало недоумение присутствующих. Мара была в строгом тёмном платье, из-под туго повязанного платка торчали седеющие волосы. Может быть, мне показалось, но глаза её поблёскивали ехидцей, как будто она только что узнала какую-то тайну и еле сдерживала себя, чтобы не выдать её. Мара стала отдавать распоряжения: как лучше поставить гроб, сколько свечей зажечь в изголовье и какой костюм надеть на покойного. Разумеется, костюм должен быть чёрного цвета, возможно, в мелкую полоску, но дорогой и хорошо сшитый. Обувь — кожаная, тёмная, без шнурков. Бельё — хлопчатобумажное, желательно, однотонное. Туалетом Виктора, его внешним видом она займётся сама. Когда же кто-то из родственников попытался вставить, дескать, вдове не пристало заниматься подобными делами, она бросила на того холодный взгляд и добавила: обряд омовения лучше проводить в её присутствии. Родственники и знакомые покойного зашумелись, и звук был такой, будто кабанья семья пробирается сквозь заросли бурьяна. Однако никто больше не возражал.

После похорон, встречаясь с Марой, выдерживая пристальный взгляд её непривычно спокойных глаз, стараясь говорить на отвлечённые темы, я не переставал думать о Викторе, о том, что он подложил всем нам свинью, но никак не мог объяснить его поведения. Полез в интернет и просмотрел чёртову кучу статей об алкогольном психозе, о копрофилии на почве абстиненции, но так и не смог ничего уразуметь, пока сама Мара не подсказала, что это был протест. Я заметил, что всякая

психическая девиация основана на неразрешимом конфликте, выливающимся в протест, но в данном случае это слишком простое объяснение. Мара не спускала с меня спокойных глаз, будто ждала какого-то подвоха, и пыталась донести до меня очевидную, на её взгляд, мысль: Виктор протестовал не против кого-то персонально, а против мира, в котором внезапно выключили свет, и он ослеп окончательно. Мир перестал принимать Виктора, и писательская рефлексия осталась единственным средством связи, поэтому он продолжал загружать его своим творчеством, зубами держась за своё место, когда же не мог писать, метил его, как старый лев.

— Откуда тебе об этом известно? — поинтересовался я.

— Откуда мне об этом известно? — переспросила Мара и впервые потупила глаза. — Всё-таки мы с Виктором прожили в браке тридцать лет, и часть испытаний, выпавших на его долю, мне пришлось добровольно взвалить на себя.

— Я хотел задать ещё один вопрос, — сказал я.

— Хочешь узнать, жалею ли я? — и, не дождавшись подтверждения, продолжила: — Последнее время я стараюсь превратить каждое своё действие в молитву. Мне не хватает времени вымолиться, поэтому вся моя сущность, связанная с внешним миром, должна превратиться в молитву. Например, считаю свои копейки в кармане, стоя за хлебом в булочной, и ловлю себя на мысли, что это молитва. Пытаюсь отвлечь от грустных мыслей бедную сестру, и это тоже молитва. Ласкаю внуку — тоже молитва. Каждый час, каждое мгновение должно стать молитвой. Ведь для этого не обязательно произносить какие-то слова.

— Прости, но я далёк от всего этого. Мне просто непонятно твоё отношение к Виктору.

— Жалость и сострадание две разные вещи.

— Да знаю я.

— Я решила выйти за пределы жалости и сострадания, внушаемые неудачной рефлексией, маетой от неподконтрольности материала и переживанием, что не пишется.

— Послушай, что он написал перед смертью, — сказал я, извлёк из внутреннего кармана мятый лист бумаги и стал читать, запинаясь: — «Все мои тексты, как герои Рабле, крутились в сумрачном пространстве неприкаянности. Карнавал заканчивался, но веселье всё ещё царило вокруг — возможно, по инерции, а, может, из-за дешёвого грима, размазанного по кривляющимся ромам, на которых проступило одиночество, поэтому смех на грани рыданий пугал, но всё-таки позволил прикоснуться к настоящей жизни. Эти слова, душа моя, что гимназисты под распахнутым настёжью окном, из которого доносится лёгкое дыхание и пахнет яблоками. Зачем они ещё нужны, кроме как укрыть тебя в стужу или в зной обдать прохладным ветерком ресниц, сорвать с твоих плеч шаль, плача, и, скомкав, сунуть за пояс, и к смеху твоёму подогнать рой голубянок с хрустальными колокольчиками в лапках и каплями лазурной росы на крыльях. Я перестал в них путаться с тех пор, как Гильгамеш спустился с горы бессмертия, но так и не смог преодолеть тщеславия. Они висели на мне, как серебряные газыри, и при ходьбе звенели, что твоя заутреня, и женщины качались в такт, подобно метроному деревьев, и тонкие пальцы их сжимали пульсирующие виски, ровно траурная толпа посреди большака, а в зубах, как у заклинательниц змей, бились живые форели звуков — шшш! шшш! Тогда я пожалел этих женщин и ссыпал им в кучу все слова, они накинулись на неё, как саранча, изглодали вконец, и по тому, как рвало их, я понял, что слова были фальшивыми. Вернулся обратно, обошёл всех, пригладил

им брови и покивал вместе с ними головой. Поверь, родная, метафора — пыльца вселенной на хоботке у пчелы — не казалась странной...»

Мара не ответила, ушла, даже не попрощавшись, и я её больше не видел. Зина рассказывала, будто бы она довела себя до полного истощения постом и заботой о больной сестре. Я представил Мару, по несколько раз на дню выносящую горшок из пропахшей валерианой и старческой немощью полутёмной комнаты, стены которой увешаны изъеденными молью коврами, а вечерами бьющую поклоны, и молитвы её не только о здоровье бедной сестры, но и об упокоении души раба Божьего Виктора.

ЗАПИСКИ, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ РАЗОБРАТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ДРУГА

В бреду

...Выйду в ветер, и — насколько хватит чутья — развешу по качающимся проводам, словно бельё, блуждание, и прислушаюсь, как хлопает полотно, вытесняя из памяти слабость в коленках и гнутые жестяные клавиши детской гармошки, я сижу на ступеньке и напеваю под нехитрый аккомпанемент на ходу сочинённую песню с самыми проникновенными в мире словами, и прячущаяся за углом бабка хмурит лоб, пытаюсь понять, о чём поётся маленькому человечку во время болезни, но в конце концов машет рукой, решив, что это жар, я продолжаю петь, и на улице поднимается осенний ветер, подхватывает жёлтые кленовые листья и кружит их перед окном, прекрати немедленно! — говорит бабка, пугаясь, — прекрати, а то позову волосатого старика! — я перестаю петь и оглядываюсь на неё с удивлением — она развязывает платок и поправляет седые волосы, ветер улёгся, и листья опустились на землю, откладываю гармошку, не спеша поднимаюсь и плетусь в кровать в объятия бесконечности и покоя...

* * *

...Дело не в оправдании, для писателя нет хуже кухонной апологетики типа «оказывается, ты такой же лгун, как все», блокирующей чистые импульсы, хотя обвинения вполне уместны, более того, ты — неудачник, не сумевший составить женского счастья, только и делал, что ныл, как обворованная на базаре кухарка, и жизнь твоя, выцветшая в старомодное рыцарство, давнохватила через край и, несмотря на избитые слова, выжимающие слёзы, — может уместиться в портсигаре с фальшивым рубином на крышке, однако заявленная тобой скорбь выше, и женщина готова принять её, покуда сидит в удобном кресле, и грудь её вздымается в предчувствии совокупления, однако проходит время, и сомнения вытесняют из сердца ощущение сопричастности великому действу, не оставляя места для живой жизни, и несбывшиеся надежды приводят в неистовство, что даже тайно допущенный смысл происходящего, призванный разбавлять чванство и глупость, выскальзывает из-под ладони, ровно кошка, и прячется за пахнущую свежей древесиной стойку, но и это не так важно по сравнению с тем, что не удалось противостоять гордыне, и нарушен взаимообмен, и тогда обречённость и безадресность мысли грызут плоть изнутри...

Одиночество

...Последнее дело пытаться разжалобить читателя, когда есть что сказать, ритмика фраз, и запах, и изверт, ровно слова облепили тебя, как пчёлы, стали продолженьем тебя, и руки связаны за спиной, и сам ты подвешен на крюк, а потом, когда вконец выбился из сил, лопатки с хрустом отошли от спины, растянув кожу и сухожилия, что брезентовая палатка на снегу, ты всё ещё дышишь, лелея последнюю надежду, что кто-то всхлипнет украдкой, и потянет к пустыням, где ещё нет Вавилона, и язык один, и смотреть в глаза ближним не зазорно, хуже, если твои страдания исполнены мести, как будто силой окунули в преисподнюю, а ты не успел стряхнуть запаха акаций и жёлтых кленовых листьев, защитная функция коего обозначилась много позже, когда ты висел на крюке со связанными за спиной руками, и силы покидали тебя, но никто не сказал, что полностью сформировавшаяся сущность не доставляет иных ощущений, кроме оскомины, однако так хочется думать, что понимание приходит не только для освидетельствования несостоятельности и неудачи, но и для срастания рвущихся сухожилий, что всё равно принуждает к смирению, о котором забываешь под утро, потому что долг давит на плечи и грудь, и ты снова втискиваешь в гаманец недосыпа ворочающуюся под одеялом совесть, но как же обрыдло тянуть себя за волосы, как Мюнхгаузен, пинать письменный стол, не дающий сатисфакции, сгребать ошмётки несбывшихся надежд, никто не виноват! — как сигара торчит у тебя изо рта фраза, ты хочешь сплюнуть её на пол, но не получается, потому что это лучший кубинский табак, из которого скручены все сигары Малайзии и Старого Света, сострадание — вовсе не индульгенция твоей неприкаянности, хотя всегда можно подобрать слова и пустить слезу, как шекспировский Лир, впрочем, даже коварство дочерей не оправдывает твою никчёмную старость, уходи с глаз...

Отец

...Ещё дождит, — сказал я, не оборачиваясь, предполагая дешёвую мизансцену, не хватало лишь бутафорского камина с развевающейся красной тряпкой над картонными дровами, — дождит как никогда, и ты проронил, что так бывает, мы выдержали классическую паузу, после чего меня охватила жалость, а может, и не жалость вовсе, может быть, люди не придумали пока названия этому чувству — просто внезапно время превратилось в заламывающую руки плакальщицу, и ветер застыл в шевелюре деревьев, и охра листопада была охмурена моими глазами — какое блядство! — ты приблизился ко мне и потрогал мой затылок тёплыми пальцами — возьми себя в руки, слова не стоят того, что происходит осенью, и тогда я так сжал кулаки, что кровь выступила из-под ногтей, и выдохнул — если бы всё было как раньше, прекрасно осознавая, что врезавшийся в память воротник фланелевой рубахи, и трогательная морщинка на шее под сединой, и худая спина, качающаяся на ходу, что твой парусник, не перешибут стыд, который не позволил мне разреветься тебе вслед, и время сучило руками, как хромая бабка, — ах, как это было печально, а твоя женщина бубнила и бубнила, дескать, кто же после тебя нас научит уму-разуму, но стыд по-прежнему не позволял мне плакать, и тогда ты просёк ситуацию, принёс в зелёной кружке воды и заставил выпить, но это не помогло, и я сказал, не отрывая взгляда от воротника фланелевой рубахи, — хуже всего, что мы не можем угнаться, хотя время застыло, и ветер застыл, и капли дождя порхают, как бабочки, однако мы никогда не насытимся этим, разве что в качестве воспоминаний, рвущих на куски

сердца, наверное, в этом есть смысл, но плевааааать на смысл, выворачивающий тебя наизнанку по ночам, а поутру сухость во рту и в груди, тогда ты обернулся ещё раз, поправил пряжку старого кожаного ремня, пригнулся и заправил шнурки в кроссовки, синие кроссовки с язычками, ботасы, как мы их называли, и стал смеяться — немного стёртые передние зубы, белые усики и печальные глаза за линзами очков, заberi меня, брат, иначе я сдохну, толкаешь плечом — пошли, выпьем водки, и баба твоя всё бубнит — кто же нас научит уму-разуму, прислоняюсь лбом к стеклу, и капли за стеклом — мои капли, и ветер, застывший в жёлтых листьях, — мой ветер, и время причитает что надо, тычешь мне в зубы стакан, наполовину наполненный прозрачной жидкостью, и киваешь — сейчас полегчает, тяну ручку окна, с треском открываю створку и сую голову в пространство, что в ярмо, и смешок за спиной — наконец-то нашёл применение своей тупой башке, и тогда становится легче...

Без названия

...Ежели ранняя осень, и ты надышал в помещении, как в предбаннике, и воздух густ от лжи и лицемерия, то слова о хлебе насущном, как ни странно, не теряют библейского подтекста, однако вызывают чувство омерзения, — это прекрасное поле для разминки духа — немного заносит в сторону в ольшаник тошноты, но это даже лучше, потому что можно списать тяжесть в груди на несвежую закуску, хотя причина ясна, в поле ветрено и сыро, грудь нараспашку, ровно двигаешь мир, и дрожь её передаётся тебе, — я давно хотел сказать, что всегда надеялся на чистоту собственного дыхания, но оттого, как дурно пахнет у него изо рта, как роняет он голову мне на плечо, бессвязно бормоча и пуская слюни, понял, что это не так, что плотность воздуха не изменилась с моим появлением, и даже то, что я немного трезвее его и могу позволить себе глупую снисходительность — ну что же ты, старина, набрался опять — и он пристально смотрит на меня, будто хочет достать взглядом до дна моих глаз, — мон кошон, пьянство — верный способ воздействовать на формы мира, сама хмельная кривизна вворачивается в суть вещей, что твой буравчик, но отчего же тянет поплакать, может быть, мы виноваты в чём-то, — трясёт он головой в ожидании ответа, я треплю его по мокрой от слёз щеке и ухмыляюсь — не время для правды, время соплей и стиснутого зубами воя, так бывает, когда отказывают тормоза, и ты чувствуешь себя брошенным в поле мальцом, пойдём, брат, — говорю, — пойдём, мой бедный брат, — и громко смеюсь, чтобы всем было слышно и все подумали о том, какой я сильный и великодушный, но мир не двигается с места; внезапно он поднимает указательный палец и покачивает им из стороны в сторону — не притворяйся, мон кошон, мы с тобой одной крови...

* * *

...Посолонь, как на языческом ристалище, подбирая холопью хлуду, приметая за собой босой ступнёй смешавшуюся с пылью рубиновую коросту, кони прядают ушами и хлещут себя по бокам хвостами, чувствуя нашу слабость и опустошённость, мы приучили их к бесстрашию, которого не хватает нам самим, научили тому, чему никогда не научимся, — только болтать, будучи уверенными, что за провинность выше пояса у нас не наказывают, даже совесть заплыла жиром, а кровь и пот — атрибуты чести и рыцарства — продают на разлив в любой аптеке, я веду коня под уздцы обратно, временами, когда не вмоготу, останавливаясь и припадая ноздрями к его взмыленной шее, меч мой затуплен, и копьё сломано пополам, а из шлема, вросшего в землю, голуби пьют дождевую воду...

У друзей

Он постучал в дверь костяшкой указательного пальца, выждал полминуты и вошёл в комнату, пропахшую бельём и хозяйственным мылом, и ещё чем-то, что тянет потом обратно, но мы не можем найти ему определения. Может быть, утром, — подумал он, — обычным провинциальным утром и горячими пончиками с кремовой начинкой, купленными возле вокзала. Отец в чёрном пальто и кепке на ходу обрезает ногти лезвием «Нева», а мы растягиваем удовольствие, и уже на середине моста через железнодорожное полотно проглатываем последний кусок.

Вошедший был бледен, кожа да кости, глазища в пол-лица, потёртые джинсы и коричневая вязаная кофта болтались как на вешалке, встал в дверях и улыбнулся, и это было, наверное, приветствием. Позже, когда время крутанётся вспять, заставив всех нас изрыгать в ковшик ладоней свинцовые шарики, что хлебные мякиши, мы ощутим подушечками пальцев абразивность скрытой от глаз сути, и запахи вернутся в предметы, и дыхание успокоится, слившись с пространством, на треть заполненным крысиными экскрементами.

— Это ваша грязная политика, — сказал он. — А я всего лишь писака.

Привычка забегать вперед ситуации чревата тональной тахикардией — как же иначе приспособливаться к собственной смерти или к рождению, а паче того к отстранённости или, может быть, даже к обратной инъекции галоперидола, вытягивающей из вены последние силы. Он подсел к столу в надежде поделиться с ними опасениями. Их было трое, а может, и четверо, но разве это важно? Руки его подрагивали, и тогда он сжал ладони коленями. Хуже всего, когда твоя речь выползает из интонации, как змея из собственной кожи, а природная лень по части собирания ценной информации просто отвращает собеседников, но и в этом случае глупо врать.

— Поешь чего-нибудь, — сказали.

Он поднял глаза и понял, что вечер не удался.

* * *

...Даже если подыгрываешь, настаивая на том, что вся эта писанина спасает от бессонницы или пьянства, и преувеличение, как тучный пассажир метро с толстой книгой, уступает место домохозяйке сострадания с коротко стриженными ногтями, всё одно лелеешь мысль, что ты востребован, просто это востребование немного запаздывает, и чтобы сродниться с ним, нужно не только сочувствие, но и привязанность, граничащая с самоотречением, именно поэтому косность отбрасывает, как протухшую ветошь, твою веру, потому что в глубине души ты слаб и хочется славы, но до чего же грустно взлетать выше Плеяд за покрывалом для прикорнувшей дочери и, подобно обезумевшей Антигоне, уступать ристалище истины словам, хотя безумие — растянутая, что телеграфные провода, любовь к братьям, ты понимаешь это, паря в бесконечном пространстве прозрачного газа с незначительным удельным весом, будущего конденсата отчаяния, зная, что через тысячи лет здоровые чувства вызовут приступ рвоты, но ты будешь возвращаться к своим овцам, понуро стоящим в загоне, трепать их шерсть и выпускать на пастбища — привычной тропой междуречья, мимо кладбища Хвелиандро и дома засыхи Ленто, каждый раз раздражаясь тому, что следы не успели высохнуть, и ступни твои сами знают, куда наступать, и всё повторяется снова...

Геометрия творчества

...Взгляд срывается с оптической оси, увлекая за собой предметы, и водоём небрежной прелести, питающий глаз, исчезает в пространстве — всё равно как мираж в пустыне, ему подумалось, что это усталость, и он даже хмыкнул и качнул головой, но разве можно объяснить внезапную пустоту в груди простой усталостью или инверсией зрительных образов, когда ждёшь нужного слова, как предрассветной поклёвки, а его всё нет и нет, и тогда все слова внезапно обрушиваются на тебя градом, втапывая твоё могущество в землю, мне стыдно, — подумал он, — будто я обманул старика или ребёнка, стоило только взгляду сорваться с оси, как канатоходцу, и мир выскользнул из-под моей власти, поди теперь и доказывай собственную состоятельность, никакие стимуляторы не помогут, но, быть может, именно в этом дело, — он сделал движение грудью, как стайер на финише, пытающийся порвать ленту, задрал голову и зажмурился, чтобы звёзды не исцарапали глазных яблок, — видимо, только совесть, для которой безразлична точность и глубина, для которой нет разницы между звёздами и голышами, только она может служить страховкой на канате, но как же в таком случае свобода? — изумился он, — как же свобода выбора, свобода называть звёзды звёздами, а голыши голышами, и тут его окликнуло отчаяние, негромко и настойчиво, как молочница в городе детства, — утро, ветер треплет занавеску, и едва слышно позванивают серебряные кольца на деревянном карнизе, и молочница повторяет окрик, — это химера, расстояние можно измерять вздохами, а делиться печалью вовсе не обязательно с кем-то, он обернулся, но сзади не было никого — одна осока да кусты ежевики, и тогда у него подкосились ноги, и впервые за много лет он ощутил на губах солёный привкус жёлтого песка...

Габо

...Нанизанные на грубую льняную нить ореховые звёзды, окунаемые в густое виноградно-мучное варево моей души, и последняя капля, что приземлённая Меропа, застыла на оконечности отмеренной гармонии, я вышел со сна к реке Саукаба, выковырял из ушей застывший грохот голышей, из которых выложена память, пахло костром и виноградной давилей, я выдохнул тёплый пар пульсирующей крови и вжёгшегося мне в спину тугого клубка слетевших душ, окутав Плеяды, и развёл руки до хруста в плечах, лба моего коснулась щербатая овальность, за которой, как за стеной амбара, покоилось жито вселенной, немного пугающее, но родное, любви моей хватало на всех, её было так много, что роса подступила к моим босым ногам, и трава проросла между пальцами, и голос мой смешался с рёвом реки, Габо приподнялся на локте и сказал, что до восхода осталось несколько мгновений, но этого достаточно, чтобы выгнать быков на пастбище, и я пошёл к хлеву и услышал, как волкодав звякнул цепью, но посчитал ниже своего достоинства подать голос, Садул, — сказал я, — Садул, это я, и пёс отряхнулся, но по-прежнему молчал, и тогда я обернулся и увидел, как улыбка пристыла к усам Габо, что-то разливалось внутри меня — бесконечное и пузырчатое, как запущенная лихорадка, однако я не успел испугаться, потому что бессилье моё оказалось дыханьем Плеяд и урванных у Габо дней, лихорадочно стал подыскивать слова всему, что творилось со мной и с миром, но Габо, всё ещё опираясь на локоть, спросил — зачем? — и я понял, что действительно нет никакого смысла обозначать то, что было, а что будет — наполнено истомой, название коей боль; светало, и звёзды исчезали...

Парижские сны

...Нет, не успел подумать о том, что обозначение мыслительного процесса стягивает с души хлуду таланта, будто случилось напиться под мостом Клиши, и ты уснул, укрытый ветошью педераста Рембо, просто потому, что mon âme éternelle, и, вступив в царство вонючего тепла и скорби, обрёл эфемерность, как сосед по палате, когда алжирцы всё-таки пописали тебя ножом, и ты просил ваксинасьон контр ле тетано, а толстая сестра, наблюдая твою медленную смерть, смеялась — зы-зы-зы! — брызжа слюной, и не было сил воспротивиться, и тогда сосед встал с железной кровати, обнажив исполосованный живот, и закричал — мерд, он же подыхает! — и ты удивился кончиком вытянувшегося, как змея, сознания, что у него отсутствует пупок и левый сосок, то была эфемерность, когда силы на исходе, и даже страх отступил, потому что не в чем его хранить, и только жалость, сравнимая с тёплой струей из-под крана в детстве — жара, и влажность, и ничто не спасает, и всё равно тянешься к сломанной колонке, сосед был сербом, звали его, конечно же, Зоран, и он умер через неделю, но в ту ночь он отстоял твоё право на человечность, чем выцарапал тебя у смерти, и позже, когда он бредил, ты, мучаясь болью в спине, сидел подле и с трудом подбирая слова, убеждая его, что к нему навевалась престарелая мать, но он так крепко спал, что ей стало жаль будить сына, он не верил ни хера, но ему было приятно, что ты стараешься достучаться до него, потом он умер, и все заплакали, вошёл лечащий врач, мосье Робер, и строго спросил — ке се пасс, что тут происходит? — и, кивнув на мёртвого серба, который, казалось, просто уснул, — он же террорист, и ножом его порезали такие же террористы, и тогда саркомник Андре, похожий на молодого Ландау, взял его за грудки и вышвырнул за дверь, это было на третьем этаже госпиталя Биша, в палате, из окна которого виднелись бульвар Периферик, и светящаяся реклама на крыше дома, и двор с подстриженным газоном, умиротворение наступило внезапно, хотя опасность откинуть копыта всё ещё была реальной, в великом городе художников и педерастов, в котором однажды ночью довелось забрести на кладбище собак и на набережную Доктора Древо, где кантуются бомжи и алкоголики, они проявили трогательное сочувствие, даже поделились с тобой ветошью, и ты уснул безмятежно, смаргивая с ресниц любовь к миру, которая иссушает искусство, превращает его в богадельничный сортир, где всегда чисто, но не покидает ощущение, что там испражняются кастраты и долго подмываются потом холодной водой, ветошь пованивала тухлятиной, но было уютно, особенно когда сквозь сон ты уразумел, что бомжи отошли подальше и стали говорить тише, чтоб не мешать твоему отдыху, и только баржа стучала мотором на Сене...

Благотворительный концерт

...Как тремоло из трюма корабля, качающегося на волнах и уносящего к дальним берегам истосковавшееся по тенистым садам раболепие, восторженное единение и гордость — возьмите мою жизнь! — и ветхозаветная тайна, неряшливо укутанная в слова, дабы сострадание не было помехой познания и сопричастности, перестала восприниматься грудной клеткой, остались языческие костры окрест, имитирующие всполохи вселенной, однако сама вселенная сомкнулась прямо по курсу, как только был взят первый аккорд в фа-мажоре игрушечного органа, и серебряная флейта выдула худую голую спину и нестриженные седые пряди, опущенные в пластиковые стаканы из-под дешёвого шампанского, я знал, что через несколько минут мне припомнится

Аполлинер — и ревьёт она, как ураган! — хотя речь шла в иной тональности, что даже надвигающаяся катастрофа пугала меньше испорченного придыханием пространства, — bravo! — закричал я, — bravo! — и спина улыбнулась органу, и тогда я понял, что в пропахшем тухлой рыбой трюме уплывает надежда, и мир окончательно отвернулся от нас...

Хвелиандро

...Три карандаша с серыми ластиками в гофрированных алюминиевых чашечках на конце, бумага, ручки, словари, ночник под фиолетовым абажуром — это инструменты воздействия на мир, имеющие обыкновение оказываться где угодно: в ящике, на краю стола, на полу, даже на обеденном столе — рядом с яичницей с беконом, они мигрируют, как евреи, чиня разруху и переполох, ломают хребты и ноги, но умудряются вставать и плестись дальше, подтаскивая за собой нехитрый скарб в виде запаха моих ладоней и следов зубов, это их доля, а мир стоит на месте, вроде как пригнувшись, что стайер на старте, изготовившийся для забега, стоит уже двадцать тысяч лет — не дёрнется, а мы снуём вокруг со своими притираниями да массажными маслами, толчёмся, как на базаре, с готовыми словами и взглядами, полными трогательных историй, мы готовы рыдать, показывая сострадание, и, пожалуй, этому можно верить, но только до тех пор, пока мир не явит настоящий ужас, лишённый логики и смысла, ужас без аристотелевского катарсиса, без мурашек на спине, но делающий круглыми глаза, и мозг в ступоре, потому что не ведает, как реагировать, и сухость во рту, и хриплый вой, башню сносит напрочь, как во время передоза, и только одна надежда — на милость Господа, пытаемся укрыться, удивляясь тому, что грудь не схватывает, как обычно, детали для дальнейшей отработки, не выщевивает сок, оставляя предметы выжатыми и сухими, как лимонная корка, а пропускает мимо, как шествующих на закланье быков и овец, и даже запаха их дерьма не слышать — чудеса, — лишь спустя некоторое время из-за поворота на Хвелиандро, высунув голову из-за плетня, выглядывает толстый Микроб и смеётся как сумасшедший, — ну что, голубчик, удалось тебе изменить мир? — и снова смеётся, что трескаются карандаши и ручки и хруст рвущейся бумаги стоит окрест проклятием, встать босыми ногами и сплясать на собственной модели мира, так и не выросшей больше размеров салфетки, но, что хуже всего, не выдержавшей воздействия в виде страха сублимированной реальности, спустившегося откуда-то сверху и накрывшего всех с головой, а мы пищали своими пропитыми голосами — овчарня искусства, овчарня искусства! — хрен тебе, а не овчарню искусства, твоя писанина хороша, пока небо не обрушилось на голову и ужас не объял душу, хм, овчарня искусства, пожалуй, что тебе поверят, да, поверят, но только лишь потому, что в этом предназначение отчаявшейся души, однако правда не нуждается в изложении, в экзерсисах, в сравнениях с дремотной гладью моря, с заявленным пурпуром мистрала да дышащей картофелиной бесконечности, она не нужна никому, потому что нет таких регистров в груди, которые отразят её звуки и не рассыплется прахом...

Однажды в Питере

...Как бельё на верёвке под обломным дождём становится частью дождя, как взгляд в круговерти мироздания становится частью подлости, как хлипкое тшедушие поддаётся алчности, выгибаясь и скаля крошащиеся зубы, так память поспешает к прежним местам, обгоняя саму себя, пряча за пазухой краюху скорби — на случай,

если придётся всё-таки держать ответ, прикидываясь дурой, потому что так проще, никто не тронет, не спихнёт с дороги, она научилась улыбаться подобострастно даже в том случае, когда перед ней внезапно появляется униженное, втопанное в грязь высокомерие, кичащееся своим несчастьем, выставяющее напоказ, что культяпку, оскоплённое тщеславие, я ходил рядом с ней по городам и весям, держался за подол, как сын, и заглядывал в глаза, когда от голода сводило кишки, и тогда она доставала сухую краюху из-за пазухи и кормила меня, обслонявив предварительно, поверь, мы садились под деревом или на мосту, возле парапета, где пьяный лихач пугал девчонку самоутоплением в реке, и грызли сухарь, ночь торопилась, что стадо коров, но никак не могла приблизиться, а мы продолжали сидеть на мосту, руки её пахли комодом, на дверце которого чёрно-белое фото счастливой семьи, а в ящике зелёные галифе, россыпь костяных газырей, похожих на папиросы, да зеркало в бронзовой оправе, дверца скрипела, сколько ни смазывай, в конце концов все решили, что скрип — напоминание чего-то важного, и я спросил, почему скрипела дверца комода, и она ответила, глядя на разводящиеся мосты, на собравшуюся толпу, на плывущие над головой фонари надежды, что всё зависит от самого человека, что пройдёт время и я смогу протянуть этот скрип сквозь игольное ушко, как нитку, и залатать рубаху совести, я поел вдосталь, попил воды из реки и вцепился в подол...

Раскаяние

...Они сидели втроём, как будто это было желанное будущее, окунувшееся в цинковую лоханку прошлого, в которой по субботам мылась толстая Раечка, тряся задницей, и пацаны толпились у двери с облупившейся краской и таращились на неё в щель, друзья сидели молча, без напряжения, и всё было задушевно, как поздней весной, когда никуда не нужно спешить и не слышно выстрелов, и впереди ещё много дней голубиной благодати, лишь неожиданная молодость да румянец смущали, но этим вполне можно было пренебречь, кабы не вопрос о предательстве, вопрос из чистого любопытства, поскольку все они были мертвы, и обиды остались в прошлом, и тогда он произнёс избитую фразу о страхе за свою семью, за детей, и ещё о надежде выправить ситуацию в будущем, предварительно обезопасив близких, однако этого не случилось ни после выполненных предательских обязательств, ни после смерти генерала, писатель усмехнулся, поскрёб небритый подбородок и заметил, как всегда немного печально, что отложенная кара гораздо страшней четвертования, ибо страх вытесняется из груди стыдом, вернее, страх перерождается в муки совести, что только усугубляет тяжесть вины, и сумасшедший спросил — откуда ты знаешь, и писатель ответил, что этого невозможно узнать — только почувствовать на своей шкуре, и сумасшедший засмеялся, сверкнув головешками глаз, — ах ты маленький лгунишка, ну-ка, покажи следы, и писатель задрал фланелевую рубаху, обнажил грудь и показал шрамы возле сердца, сумасшедший прекратил смеяться, словно оскорбился, и хмыкнул, дескать, он пошутил, большой чиркнул спичкой, закурил и продолжил, словно молитву, что не столько тень сбоку, будто в глаз заехали мячом, не голос — отчётливый и ровный, как ранним утром в очереди к умывальнику, и даже не запах дрянного польского одеколona, а дыхание, Господи, это дыхание — как в стетоскоп, и шуршание альвеол в лёгких, и гулкий стук сердца, и ты понимаешь, что этого не было никогда, потому что случилось благодаря тебе, посему позволяешь себе иногда слабость в двадцати метрах от дома, за углом, где и смерть родна, резко поворачиваешься назад и пытаешься схватить его за край пальто с оттопыренными карманами,

в которых он таскает бутылки с пивом, но, промахнувшись, заставляешь себя улыбнуться — два ноль в твою пользу, сумасшедший задирает голову, выставив острый кадык, и желваки ходят по скулам — ему знакомо это состояние, но он профессионал, а писатель кивает головой — если ты не против, брат, я буду за твоей спиной, мне так удобнее, и большой вскакивает, роняя стул, хватая его за лицо и притягивает вплотную к себе, пытается растворить качающуюся напротив вечную грусть в собственных слезящихся глазах, разве мы с тобой мертвы, — спрашивает он, сглатывая комок, и писатель корчит рожицу — ты что, брат, что с тобой, ведёшь себя, как херовый актёр, просто в этом великая несправедливость, — отталкивает писателя большой, — нам с тобой не место в одном мире, потому что... потому что... и принимается ходить по комнате, а сумасшедший, всё ещё глядя в потолок, произносит — мы все потеряли чистоту, даже здесь от нас воняет гнильцой, а потом, словно бы вспомнив что-то сокровенное, расплывается в улыбке, — я знаю, она всё-таки нас навестит...

* * *

...Ты достал своими многоточиями, — сказал он, — какого хрена ты ставишь их везде, хочешь намекнуть на то, что ты чего-то недосказал, так доскажи, — писатель смутился и принялся было объяснять, что многоточие — вовсе не способ скрыть своё бессилие и недостаток таланта и что знаки препинания никогда не заменят слов, интонации или ритма, — и тот его оборвал на полуслове, — что ты несёшь, что за херню несёшь, ты сам себя понимаешь? — писатель провёл бледной ладонью по небритым скулам и продолжил осторожно, боясь обидеть его, — не злись, брат, иногда я правдасебя не понимаю, но не потому, что теряю нить или слова не поспевают за мыслью, — ну, вот опять! — звонко шлёпнул себя толстяк по ляжкам, — ты можешь говорить чётко и ясно? — думаю, да, могу, — тогда ответь мне, — зачем тебе многоточия, если они не являются инструментом для самовыражения? — писатель усмехнулся еле заметно и ответил, — боюсь, ты этого никогда не поймёшь, — толстяк встал со стула и принялся ходить из угла в угол, — ты сведёшь меня с ума, — качая головой, произнёс он, — успокойся, — сказал писатель, — я попытаюсь объяснить, скорее всего, это трамплин для взлёта, чтобы общаться с богами, — толстяк остановился и уставился на него немигающими глазами, однако писатель продолжил, не обращая внимания на реакцию друга, — это похоже на прыжок с трамплина, а трамплин, как ты догадываешься, это многоточие, — толстяк выждал немного, потом засмеялся и вышел из помещения со словами, — пошёл ты знаешь куда со своими шуточками, ха-ха, трамплин для общения с богами, надеюсь, штаны после полёта остаются сухими, — писатель сидел не двигаясь...

* * *

...Даже если нет дороги, а если и есть, то в обратном, и это страшнее ночного крыльца с хлопающей на ветру дверью, — я приду тебя врачевать, даже если из всех снадобий у меня за пазухой утреннее дыхание Хвелиандро, — я приду тебя врачевать, даже если вместо слов принесу тебе знаурских яблок, и комната наполнится ароматом осени да сонным скрипом деревьев, — я приду тебя врачевать, и даже если мир встанет поперёк, — всё равно приду врачевать, глазницы мои — что степные колодцы, со дна которых видны далёкие звёзды, окропят лицо твоё влагой, чтоб прозрела, и раковины ушей моих, в которых зимними ночами укрываются бесчисленные табуны и отары, и пастухи высекают огонь для костра, а из глубин их окликают эхо, — отдадут тебе лучшие

звук, взгляд мой станет тебе покрывалом, чтобы уберечь от стужи, я стяну у Плеяд лучшую колыбельную, дабы сон твой был спокоен и ясен, и даже если выпадет вернуться к началу мироздания, — всё равно приду тебя врачевать, родная...

* * *

...Под утро он спрыгнул с крыши на откос холма в том месте, куда выходило запертое окно, занавешенное белым тюлем, заглянул в комнату и увидел, что она заставлена по периметру никелированными кроватями, на которых по двое, а то и по трое спят дети, из-под пуховых одеял торчат босые ступни, и изнутри несёт благодать, у него поехали ноги по росистой траве, и он упал навзничь, и, пока падал, успел заметить, как зажглась предутренняя звезда, помигала и зажглась, и в груди стало тепло, он поднялся, стараясь не шуметь, и пошёл в гору — в сторону дикой груши, где все собирались вечерами, и от сельских шуток веяло такой чистотой, что сначала казалось, будто они прикидываются простачками, и было даже как-то неловко, но потом он допёр, что это их образ жизни и мыслей, и тогда стало уютно, как нигде и никогда, например, Венера дочь Леуана, на его глазах вырезала из газеты розу и протянула ему со словами — ежели, мол, не возьмёшь, то спрыгну с обрыва, и все засмеялись, и он засмеялся тоже, потому что не знал, как себя вести и что отвечать, а сестра её Наири, — чего застыл, она же тебе в любви признаётся, и он зарделся, и когда Иорам крикнул снизу — пригнать из дубняка свиней, он первый откликнулся и поспешил к дубняку, сейчас он вспомнил об этом и усмехнулся, за дикой грушей был родник, а выше по склону бурьян и ежевика, дальше шла грунтовка на Хвелиандро, а за дорогой — примерно в двухстах метрах — дубняк с жертвенником, увешанным овечьими шкурами, свиньи любили пастись там из-за изобилия желудей, за лесом открывалась шёлковая поляна, красивая, как сон, но попасть туда можно было только через святилище, то есть в праздник, во время жертвоприношения, по пути он напился из родника, потом пересёк грунтовку и вышел к дубняку, постоял малость возле жертвенника, ощупывая пахнущее солнцем руно, и двинулся чаще к поляне, и когда он выбрался на поляну, то забрезжили первые лучи, и почудилось, будто ангелы вспорхнули с шёлковой травы...

Хирург

...Он сказал, что, скорее всего, мне не о чем писать, что лучше бы я побывал у него в больнице и поглядел на то, что творится в палатах и коридорах, и я спросил себя — это правда? — однако не смог ответить однозначно, потому что не достиг такого же уровня цинизма, как он, светило нейрохирургии, легко, даже бровью не поведя, несколько раз бросивший на круглый обеденный стол, заставленный тарелками и бутылками, дежурную шутку — дрочу ли я, — и мы смеялись, остерегаясь выказать ханжество, хотя понимали прекрасно, что это дешёвый тест, и он может быть показателем у бедуинов в пустыне Сахара, по-хорошему ему следовало съездить по лощёной физиономии, но я смалодушничал, тем паче, когда он заявил, что на короткой ноге с известными режиссёрами и писателями, а я по тупости попросил его о посредничестве, и он сказал — пришли мне по почте свой сценарий, я посмотрю, и если что, передам Шахназарову, и я согласился, и только позже осознал свою ущербность, но меня успокоила догадка, что подобной же ущербностью маялись и Платонов, и Чичибабин, хотя были хорошими писателями, только вечная неуверенность в себе, сопряжённая с постоянным самокопанием, не позволяла им

указывать наглцам место, однако самое печальное было в том, что статус врача, незыблемый, как колыбельная песня, одним своим наличием спасающий людей от болезней, был обгажен им и попран, — он с умным видом наговорил глупостей другу, даже не заглянув в его историю болезни, на что тот надеялся, потому что в последнее время его стали посещать мысли о смерти, и он нуждался в обычном утешении, а тот — засранец — просто напугал друга, потом мы брели по ночной Москве, и я судорожно подбирал слова, которых он не дождался от профессионального врача и нашего общего друга, так бывает, сказал я, так бывает часто с людьми, которые вступают в конгломерацию дорогих атрибутов, они вынуждены расставаться с простыми человеческими качествами и замещать их тупым цинизмом, потому что иначе его не пустят в Куршавель, потому что в противном случае члены конгломерации отвернутся от него, я спросил его тогда про сына, которого он вытащил с того света — как он? — и врач, ловко разрезав хинкалину на две части, ответил — стабильно, и, признаться, меня покорило ответ, хотя понятно, что врач не имеет права распускать сопли, это может позволить себе только писатель, категорически не признающий при поедании хинкалей ножей и вилок, впрочем, и не посещавший никогда Куршавеля...

Похороны Габо

...Даже если твой народ исчезнет с лица земли, всё равно это вечность — когда поешь об этом, сравнения оплывают, что восковые свечи, ровно тает память, и слова высыхают, как чавыча на ветру, и тленный мир рушится изнутри, заражённый беспмятством, будто вонючий водоём, в котором нечему больше отразиться, он забывает детали — следы ног на берегу, запах дикой ежевики в Хвелиандро и благодать кладбища, где покоится Феликс возле пустой могилы Габо — прости нас, что обманули тебя! — причитает Досыр, и я оглядываюсь — кого же тут обманули? — и натыкаюсь на жующего зассыху Ленто, успевшего стащить из котла мясо на кости, может быть, Ленто обманули? — так ведь грех какой — недотёпа, — а тот знай себе грызёт кость, обильно роняя слюни, и тут в брюхе ощущение причастности через мясо в руке у зассыхи Ленто со стекающим по запястью мутным соком, через слабеющий голос Досыр, оплакивающей пустой гроб с гимнастёркой, галифе и хромачами гармошкой, через благодать за оградой с пасущимися на пригорке быками и спускающейся со стороны Хвелиандро прохладой, и теперь это рушится изнутри, как тлеющий муравейник, и от бессилия вернувшегося в собственное лоно семени рассыпается прахом, я врываюсь в пропахшее покосом пространство, наваливаюсь грудью на груду ускользающей сути и дышу на разрыв лёгкими, сохранившими ещё болезненное ощущение времени, когда вхождение было сродни пропитыванию дымом от костра, и слова звучали иначе...

Николай Верёвочкин

Череп Гоголя

Рассказ

— Это вы интересуетесь черепом Гоголя? — спросил незнакомый голос.

— Туфель, ты? — насторожился я.

— Значит, так, — кашлянув, сказал голос, — я сижу в кафе «Виригин мост». Если интересуетесь, приходите.

— Зачем мне череп Гоголя?

— Странно, — помолчав, сказал голос в некотором замешательстве. — Как зачем? Что значит зачем? Череп Гоголя! Я о вас был лучшего мнения. Если вас не интересует череп Гоголя, что вас вообще интересует?

— Туфелькин? Не придуривайся, Туфелькин. Я знаю, это ты, — сказал я, сильно сомневаясь в своей догадке.

— Не знаю никакого Туфелькина. Что вы пристали ко мне со своим Туфелькиным? — рассердился голос.

— Я? Пристал к вам? — в свою очередь рассердился я.

Трубка фыркнула и замолчала. Потом откашлялась и спросила:

— Адиль Ергерович?

— Не совсем в этом уверен.

— Что за глупые розыгрыши, — попытался настроить меня на серьёзный лад продавец черепа Гоголя и, зашуршав бумагой, спросил:

— 7919592?

— Ошиблись, — сказал я с раздражением.

Люди, путающие телефонные номера, всегда вызывают во мне раздражение.

— Извините, — смутился голос и отключился.

Укрывшись за дисплеем, Ася ела яблоко. Отрежет ломтик, очистит его ножом от кожуры и долго жуёт. Я зову её Сыроежка. Не за склонность к сыроедению. Фамилия у неё Сыроежкина. Прочие в конторе величают её Дрозofiлой, подчёркивая миниатюрность, а также живость характера. От неё пахнет осенним садом. На свежий взгляд она кажется мышкой. Но внешность обманчива. Не зря Эдуард Птаха зовет её Мухаммедом Али. Почему? Потому что порхает как бабочка, а жалит как пчела. Это одно из самых злых перьев нашей старушки — «Новостаровской правды».

Николай Верёвочкин — прозаик, лауреат Русской премии (2005), постоянный автор «ДН». Живёт в Алматы.

— С кожурой вкуснее, — сказал я.

— Угошайся, — подвинула она ко мне тарелку с кожурой и спросила с осуждением. — А почему тебя не интересует череп Гоголя?

— Думаешь, сумасшедший?

— Условный сигнал. Пароль.

— Значит, сумасшедший или шпион? По-моему, все шпионы вымерли. Интернет убил всех шпионов.

— Может быть, бандит. Наёмный убийца назначает встречу заказчику. Обговорить детали и условия. Ты никого не заказывал?

Ася отложила нож, подошла к раскрытому окну. Тотчас же из сумрака сосны показалась белка и, раскачиваясь на ветке, уставилась на Асю.

Ася встала на цыпочки. Юбочка приподнялась и натянулась.

Увидишь такое — жить хочется.

Створка окна медленно растворилась. В тёмном стекле косым креном поплыли лохматые лапы сосен. В сумраке весёлых дебрей показалось рыжее пятно белки, а следом — загромождённое компьютерами, шкафами, подшивками, комнатными цветами и настенными дипломами замкнутое пространство кабинета. Створка остановилась, словно пригвождённая моим рыжим ёжиком.

— Фёдор, ты опять разглядываешь мои нижние конечности. На твоём месте как честный человек я давно бы сделала мне предложение. Почему бы тебе не жениться на мне?

— У тебя большой недостаток. Ты умнее меня. Хотя можно и жениться. Но при одном условии. Я человек полувосточный и не потерплю жены, которая пишет лучше меня. Моя жена должна ходить за мной чуть сзади и немного сбоку, прикрывшись от нескромных взоров марлевой повязкой.

— Почему не паранджой?

— Слишком радикально. Я всё-таки наполовину человек европейский.

Мы вдвоём на «подводной лодке». Впрочем, наш кабинет, рассчитанный на восемь человек, зовут также загоном, конюшней, стойлом, лежбищем и птичьим базаром. Но чаще всего — подводной лодкой. Когда-то мы сидели в кабинетах по двое, но вернувшийся из Америки редактор повелел разобрать перегородки, а стены своего непроницаемого кабинета заменить на прозрачные, стеклянные. Очень удобно: слева как на ладони восемь творческих работников, справа — восемь технических. Но потом выяснилось, что через эти стеклянные стены не только он за нами бдит, но и мы за ним. И редактор повелел вновь сделать свой кабинет непроницаемым. А мы так и остались в общем стойле. Потому что перегородки, некогда разделяющие нас, не были несущими.

— А почему бы не допустить, что тебе звонил торговец черепами? — задумалась Сыроежка, протягивая белке ладонь с арахисом.

— Черепами Гоголя? — уточнил я.

— Кстати, кафе «Виргин мост» недалеко. Ты не хочешь пообедать?

— Знаю я это кафе. Салат — ползарплаты. Не хочу.

— И ты действительно не хочешь иметь череп Гоголя?

— Да как-то обходился до этого.

— Странно. Всё-таки череп Гоголя.

— И что с ним делать?

— Я бы из него сделала светильник и поставила на прикроватную тумбочку.

Проснёшься, включишь, а он изнутри светится тёплым золотом. Трещинки, зазубринки, шербинки. Представляешь? Лучи от глаз. Стоит на тумбочке, улыбается.

— Почему улыбается?

— Все черепа улыбаются. Что уж говорить о черепе Гоголя. Улыбается. Иронично так. Ты идёшь?

— Куда?

— На «Виригин мост». Тебя долго ждать?

— Ну, череп. Ну, светильник. А почему именно череп Гоголя? Другой череп тебя не устроит? — спросил я, украдкой раскрывая под столом кошелек.

Сыроежка фыркнула:

— Фёдор, ты опять меня разочаровал. Череп Гоголя отличается от других черепов тем, что он принадлежал Гоголю.

Кафе «Виригин мост» — это множество беседок, расставленных под деревьями вдоль Весновки. Хорошо. Речка журчит, листва шелестит. За оградой греются на солнце бездомные собачки, на деревьях сидят одичавшие коты. И те и другие добывают пропитание попрошайничеством. Между беседками шипят, увлажняя воздух, фонтаны. Исторгают водяной туман.

У входа в кафе на горбатом мостике нас поджидал человек в длиннополом плаще с мужественным лицом рэкетира и причёской скрипача. Он порывисто бросился к нам. В руках его была зажата купюра.

— Вы не разменяете пять тысяч?

Я было полез в карман, но Ася едва не выдернула мне руку.

— Нет, — сухо бросила она незнакомцу и поволокла меня за собой.

— Чего ты? Человеку нужно разменять деньги, что тут такого? — прошептал я, когда мы отошли от смущённого резким отказом мужика.

— Лох ты, Фёдор, неисправимый. Обрати внимание, сколько здесь ларьков, кафешек, киосков, магазинчиков, а этот тип разменивает деньги у прохожих. Откуда ты знаешь, что он их не нарисовал?

— А почему ты думаешь, что я не умею рисовать деньги?

— Он должен сидеть где-то с краю, — сказала Сыроежка, обходя беседки, укрытые москитными сетками, отчего сидящие в них слегка напоминали приведения.

— Успокойся. Если звонил продавец черепов, шпион, киллер или мошенник, он давно сбежал. Представь себя на его месте. Я бы сбежал.

— Ничего не сбежал. Подумаешь, ошибся номером. Я бы перезвонила. Его легко найти. Мужчина. Один за столиком. Если к нему подойдёт другой мужчина — значит, это он.

— Ну, мужчины встречаются в кафе не только по поводу черепа Гоголя. Всё-таки это был Туфелькин. Ты знаешь, как он умеет подделывать голоса. И мужские, и женские. Ни за что не подумаешь, что Туфелькин. А это Туфелькин.

— Вот он, — скривив рот в мою сторону, сказала Сыроежка.

Старик сидел прямо, положив на стол руки, как академик Павлов на одноимённом полотне Михаила Нестерова.

Кожа на лице как у младенца. Борода молочная. И из этой белизны ярко, словно накрашенный, алел рот. Было в детских губах на старческом лице что-то порочное. Порочное и неприятное.

Чёрные очки как дыры в черепе.

— Таким я его и представляла, — сказала Сыроежка, усаживаясь за свободный столик рядом с беседкой старика.

— Да он не один, — обратил я её внимание на собаку, вылезшую из-под стола, когда официант принёс старику заказ.

— Странно. В кафе с собакой. Как его пропустили? Да он слепой! Это собака-поводырь. Теперь всё ясно.

— Что тебе ясно?

— Ясно, почему он ошибся, набирая номер.

Подперев головы руками, мы внимательно смотрели на старика. Он сидел всё так же прямо. В механических движениях, с которыми он орудовал вилкой и ножом, было что-то от робота.

— Что будем заказывать?

Мы вздрогнули: нельзя же так подкрадываться к людям.

— Что будешь? — спросил я Сыроежку.

— Кофе.

— А мне чай. Зелёный. Без сахара.

— И всё? — официант так удивился, что брови его едва не улетели.

Обиделся и ушёл.

— Какая интеллигентная собака, — сказала Ася, — сидит, принюхивается — и хоть бы шелохнулась.

— Так уж воспитаны собаки-поводыри. Их ничто не отвлечёт от долга: ни пища, ни кошки. Только любовь. Но любовь у собак случается редко.

— Странно. Сидит, ест. Никто не подходит. Сходи, поговори с ним.

— И что я ему скажу?

— Так и спроси: это вы звонили по поводу черепа Гоголя?

— Очень умно придумано. Сходи сама.

— Я не Туфелькин, голос подделывать не умею.

— Пошли отсюда.

— Фёдор! О чём ты говоришь! У нас появилась возможность, не написав ни строчки, войти в историю литературы. Мы можем разгадать тайну исчезновения черепа Гоголя. Мы можем вернуть литературной общественности череп Гоголя.

— Остудись. Как в наш Новостаровск могло занести череп Гоголя?

— Именно в таком захолустье, как наш Новостаровск, и должны были припрятать его. Ты бы стал искать череп Гоголя в Новостаровске? А сейчас у хозяина или его наследника возникли денежные затруднения, и он в отчаянии пытается решить их.

Она пристально посмотрела на слепого старика.

— Возможно, нужны деньги на операцию. Человек, который интересуется черепом Гоголя, должно быть, очень богатый человек. А кроме того, как-то связан с литературой. Ты будешь разговаривать со стариком?

— Странно, — сказал я, — слепой старик обедает в кафе «Виригин мост». Обед — половина пенсии. Что он заказал? Форель. Царская рыба. Может, и вся пенсия. Знаешь, что я думаю? Я думаю — он не слепой. Маскируется под слепого. Очень опасный тип.

— Смотри, смотри, — показала Сыроежка глазами на соседнюю беседку.

Чёрная собачка, пронырнув под москитный полог, перепрыгнула со стула на стол и, опрокинув фужер, пожирала растерзанные останки утки по-пекински. Задние ножки мелко дрожат. Хвост поджат. Красные соски болтаются.

Вместе с нами на воровку смотрела собака-поводырь. Как мне показалось, с осуждением. Как бы испытывая неловкость за всё собачье племя.

Ася достала из сумочки цифровую фотокамеру размером с пачку сигарет.

Сначала она сфотографировала собачку. Потом я сфотографировал Асю на фоне собачки. Потом Ася сфотографировала меня.

Фотосессию прервал грузный человек с затылком шарпея. Божественно-прекрасным голосом кастрата он пропел трагическим шёпотом:

— Пошла вон, дрянь!

Собачка прыгнула со стола, унося в пасти обглоданный скелет утки.

— Здесь фотографировать нельзя, — зашипел человек, поправляя галстук-бабочку и раскланиваясь соседним беседкам, — это частная территория. Сотрите, пожалуйста. Вы не из газеты?

— А есть здесь можно? — спросила Ася, пряча фотокамеру в сумочку.

За спиной человека выросли два официанта. Скрестив руки, они учтиво слушали беседу.

Внезапно я почувствовал: что-то изменилось. Речка перестала журчать, деревья шелестеть.

— Ася, — шепнул я на ухо спутнице, — слепой исчез.

Она посмотрела на пустой столик и рассвирепела.

— Да, мы журналисты, — сказала она. — Мы телевизионщики. И нас с вами сейчас снимают скрытой камерой. Счёт, пожалуйста. Спасибо. Всё было очень вкусно. Смотрите себя на «КТК» в девять вечера.

— Два зрячих упустили слепого, — Ася сурово посмотрела на меня. — стыдобище! Где у тебя глаза, Фёдор? Череп Гоголя был почти в наших руках.

— Не расстраивайся. Я всё-таки думаю, это Туфелькин меня разыгрывает. Послушай, а ты не знаешь, кто такой Адиль Ердигерович?

— Позорище моё. Ты не знаешь Адила? Это всё равно, что не знать Гоголя.

— Не знаю, — смутился я, — а кто он такой?

— Известный литератор.

— И чем он известен?

— Адиль самому Хану в лицо стакан вишнёвого сока плеснул. Адиль о голову самого Беса бутылку шампанского разбил.

— Интересная жизнь у литераторов. А ты не знаешь, где его можно найти?

— В «Каламгере», конечно. Он там всю жизнь просидел. Третий столик за второй колонной, направо. С обеда и до закрытия. А зачем он тебе?

— Да так. Жить в городе и не знать Адила? А в этот «Каламгер», поди, только по удостоверениям союза писателей пускают?

Ася фыркнула:

— Фёдор, сейчас везде пускают только за деньги.

Над третьим столиком от второй колонны висел портрет Николая Васильевича Гоголя. Копия с римского дагерротипа. Единственное достоверное изображение писателя. Гоголь смотрит в сторону, и с его глазами невозможно встретиться. За столиком сидела Ася и оживлённо беседовала...

Я представлял Адила двухметровым громилой с бандитской рожей, но напротив неё сидел маленький шуплый старичок. Почти карлик. Он выглядел старым пучеглазым цыплёнком. Лысинка в бурых пятнышках. Очень длинные и очень редкие волосики.

Носик клювиком. Подбородка почти нет. Редкая бородёнка не скрывает, а подчёркивает этот недостаток.

Рукава бежевого, под цвет лица, костюма закатаны. Бежевая рубашка. Бежевый галстук-бабочка невероятной величины.

Адиль медленно мигал, медленно улыбался.

— Ты кто? — спросил он.

Я представился. Мы выпили за знакомство.

Перед столиком в полу отсвечивала золотом осенней листвы ниша под стеклом. В нише лежала раскрытая книга. Старинная.

Перехватив мой взгляд, Адиль сказал важно:

— Когда я прихожу домой на кочерге и жена спрашивает, где был, я отвечаю: читал книгу. Это, — он ткнул пальцем в бутылку коньяка, — называется «читать книгу». Когда человек свалится под стол, — он ткнул в светящуюся книгу, — называется — «начитался». Ты кто?

Я снова представился, и мы снова выпили за знакомство, после чего он спросил:

— Ты кто?

Мне надоело знакомиться, и я сказал:

— Гоголь.

— А ты знаешь, кто я?

— Адиль Ердигеров.

— Ну?

— Член союза писателей.

Ася пнула меня под столом.

— Очень талантливый, — поспешно добавил я.

Но было поздно.

Адиль оскорбился.

Он обиделся, даже если бы я назвал его известным писателем. Всемирно известный — ещё туда сюда. Писатель как минимум должен быть гениальным, иначе какой смысл.

Надменно откинув голову, старичок посмотрел на меня глазами пришельца и сказал:

— Гоголь — фуфло.

— Зачем в таком случае вам его череп? — спросил я в свою очередь, обидевшись за Гоголя.

— Череп Гоголя — фуфло.

— А что не фуфло? — сказал я без почтения и даже с вызовом.

— Ты тоже думаешь — он сжёг второй том? — спросил Адиль, желчно усмехнувшись. — Как же, сжёг! Ты бы сжёг? Подумаешь, череп Гоголя. Удивил. Что в нём? Череп и череп. У каждого дурака свой череп. А второй том в окончательной редакции — это да, это не фуфло.

— Не сжёг? А где же он? — спросила Ася без особого удивления, посмотрев на Николая Васильевича.

Гоголь смотрел в сторону мимо всех сразу: мимо меня, Адила, Аси, мимо официанта, других писателей, развешенных по стенам кафе покойниках и ещё живых, сидящих за столиками. Но взгляд его был таким, будто он слышал, о чём мы беседовали. И не просто слушал, а вникал. И это вызывало в нём досаду.

— Где? Не будь дурой. Так я и сказал. Спроси ещё, читал ли я его.

— И вы видели рукопись, держали её в руках? — спросил я, не пытаясь скрыть усмешки.

— Держал. Читал и перечитывал. Да.

— Вы бы нам что-нибудь рассказали. Сюжет. Эпизоды, — хмыкнул я и посмотрел сначала на Асю, а потом на Гоголя.

Ася сделала большие глаза: не заводись. И отодвинула графинчик с коньяком от выпльчивого писателя. А Гоголь вдруг посмотрел прямо мне в глаза и подмигнул. После чего снова отвернулся с отрешённым видом.

— Нельзя быть до такой степени тупым, молодой человек, — рассердился и помрачнел писатель Ердигеров. — Но ты не просто туп. Ты туп гениально. Подумай: я один читал рукопись, которую сжёг Гоголь. Представил? Один! Понимаешь: один в целом свете. Зачем же лишать себя этой привилегии — быть одному? Чего ради? Славы? Фррр! Денег? Фррр! А сюжет второго тома кто не знает. Лохмотья опубликованы в собрании сочинений. А ты читал завещание Гоголя? Нет, ты не читал завещание Гоголя, — огорчился он. — Что он завещал? Дождитесь явных следов разложения, заройте труп и не ставьте над ним памятника. Помолитесь за мою душу, а всё, что было в рукописях, я сжёг. Зачем идти против завещания? Есть, нет рукописи — он её сжёг. Даже если и не сжёг. Подумаешь, второй том. Я держал в руках черновики третьего тома. Знаешь ли ты, что прежде второго тома был написан третий том «Мёртвых душ»?

— Откуда мне знать, если никто об этом не знает.

— Никто? Ты в этом уверен?

— А вы, конечно, читали?

— Читал, — кратко ответил Адиль.

— И как?

— Фуфло. Скатился в достоевщину. Потерял сарказм.

Голова соскочила с ладони и повисла на тонкой веснушчатой шее.

— Начитался, — сказал я.

Но я ошибся.

— Мерзавцы, — сказал Адиль, поднимая голову, и сделал губами лошадиный звук отвращения. — Его убили мерзавцы, которые обвиняли его в карикатуре. Ты тоже думаешь, что карикатура — это рожа с большим красным носом? Ни хрена вы в карикатуре не понимаете. Настоящая карикатура — это вершина искусства. Высшая правда. А Гоголь писал великие карикатуры. Величайшие. И до этих карикатур им, — он повёл головой в сторону покойных и ещё живых писателей, — никогда не вскарабкаться. Чичиков — карикатура? Карикатура. А ты посмотри, кто воцарился на твоей Руси. Чичиковы. Мы все — мёртвые души, а они элита. Вот почему он сжёг свои рукописи. Он знал, что чичиковы завоюют эту планету. Посмотри на любого, кто добился успеха и процветания, — Павел Иванович Чичиков. Даже Ксюша Собчак — Павел Иванович Чичиков. Не смотри на *противуположный* пол. Чичиков. Павел Иванович. А какая сейчас самая востребованная профессия. Созидатели брендов. Создатели чичиковых. Эта сволочь в каждом из нас. В тебе. В ней. Во мне. Почему только в характере русского человека? Не только. То же самое — в характере казахского человека, английского человека, всякого человека. Как добиться успеха и денег? Освободи в себе мерзавца и подлеца Чичикова. Ты кто?

— Чичиков, — отвечал я.

— Правильно, — одобрил Адиль Ердигеров и, помотав перед своим носом пальцем, сказал. — Но пить я с тобой не буду.

После чего мы чокнулись и выпили. На брудершафт.

— Так как же насчёт черепа Гоголя? — спросил я на правах старого знакомого. Он скрестил руки со сжатыми кулачками, изобразив пиратский знак, и ответил: — Закавычено. Кочергу к подъезду!

И медленно, вместе со стулом, опрокинулся на светящуюся нишу с раскрытой книгой.

Она вошла, и унылое пространство конторы искривилось, наполнилось новыми измерениями, смыслами, ароматами и лёгким, как шорох солнечных листьев, смехом. Мужчины разогнули согбенные спины и хором принялись острить. Дамы с ревнивыми ухмылками косились на открытый всем ветрам и взорам пуп.

Для сотрудника уважаемой государственной газеты Ася выглядела несколько легкомысленно.

Я показал ей «Свободное слово»:

— Читала?

— Опять эта сучка на меня лавину спустила? — спросила она и отмахнулась. — А, ерунда.

— Чем ты ей так насолила? — спросил Эдуард Птаха, вылитый Ван Дам на пенсии. — Просто какое-то злобное эхо. Кто такая эта Белла Лядская? Злобная истеричка.

— Псевдоним, — ответила за Асю Вера Павловна, женщина пенсионного возраста, похожая на домохозяйку. — А под псевдонимом может скрываться кто угодно. Даже мужчина. У меня, например, был псевдоним Пьер Безухов.

— Это просто какая-то пародия на нашу Асю, — запустил леща старый пройдоха Птаха. — У Аси факты, аргументы, идеи, мысли, а у этой Лядской одни эпитеты. Одни злобные эпитеты. Пусть злобствует. Прекрасная реклама для газеты. Эта полемика только повышает нам тираж. И всё-таки, я думаю, ты ей чем-то насолила. Сознайся: жениха отбила?

Вот уже год продолжается эта дуэль.

Началась она с того, что в нашей проправительственной правоверной газете и в скандальном оппозиционном «Слове» одновременно вышли статьи на одну и ту же тему: о принудительных прививках бомжам. Ася увидела в этом панацею, а Лядская — нарушение прав человека. Ася выступила с ехидными комментариями, Лядская ответила эмоциональной отповедью.

С этого и началась перестрелка.

О чём бы ни написала одна, вторая непременно отвечала наотмашь.

Птаха подольстил Асе. У Лядской были не одни злобные эпитеты. Девушки стоили друг друга. Хотя Вера Павловна права: под псевдонимом мог скрываться кто угодно.

— Помню, на прессухе Ася задала какой-то вопрос министру здравоохранения, — ударился в воспоминания Птаха, — а министр эдак радостно встрепенулся и спрашивает: «Вы такая-то? Вам я с удовольствием отвечу. Если Вам понадобится консультация, интервью — всегда к Вашим услугам. Для Вас я всегда свободен. Для Вас у меня нет слова "занят". Потом подойдёте, я дам номер телефона. Этот номер знает только президент и моя жена». А потом ещё раз встрепенулся без особого восторга и спрашивает: «А присутствует ли здесь Лядская? Очень жаль. Передайте ей, пожалуйста: пусть поучится писать у Сыроежкиной». Так всё и было. Скажи, Ася.

Эдуард Птаха самый старый в нашем кабинете и самый восторженный. Он до сих пор играет в журналиста. Свои статьи, похожие на длинные тосты, пишет гекзаметром.

Не столбцом, конечно, но в торжественном ритме прибоя. Воспевает новые рыночные отношения и становление демократии. С такой же искренностью и страстью, как некогда воспевал бригады коммунистического труда.

— А потом Лядская откликнулась статьёй «Как я училась писать у Сыроежкиной», — добавила Вера Павловна. — Между нами, неглупой статьёй. Ехидной. Раньше бы её называли памфлетом.

— А Ася ответила «Лядскую учить — только портить». Гениальная статья. Я бы даже сказал, фельетон, — пресёк оппозиционные настроения Птаха и вздохнул. — Жаль всё-таки, что мы забыли старые жанры. Все пишут одинаково. Стёб, скука.

Привлечённая шумом, в окно заглянула белка. Раскачиваясь на ветке, она с интересом, хотя и не в первый раз, слушала эту историю.

Вера Павловна сердито зашуршала пакетами в поисках печенюшки.

Ася бросила сумочку на свой стол и показала мне головой на дверь.

И мы пошли «на чердак» — место перекуров и секретных переговоров. А поскольку мы не курили, нам оставалось только секретничать.

— Ты понял, что сказал Адиль? — спросила Ася.

— Он много чего говорил.

— «Закавычено». В телефонном разговоре нельзя поставить кавычки. Тебе предлагали не череп Гоголя, а, — Ася нарисовала в воздухе кавычки, — а «Череп Гоголя». Статью одного чудака.

Новость меня разочаровала. Неожиданно сильно разочаровала.

— Всё так просто? Жить неинтересно. А что интересного может произойти в Новостаровске.

— Это ты зря. Много чего интересного происходит в нашем Новостаровске.

— Ты имеешь в виду твоего антипода, Беллу Лядскую?

— Вот уж ничего интересного. Куда интереснее дуб рядом с нашей конторой.

Что ты о нём знаешь?

— Дуб как дуб.

— А между прочим, это самый старый дуб в городе. На нём, между прочим, в осьмнадцатом году губернатор повесился.

— А ты действительно не знаешь, кто такая эта Белла Лядская?

— Какая разница.

— Всё-таки лично мне любопытно, кто скрывается под этим псевдонимом. Разыскать бы эту Беллу и взять интервью.

— Зачем пиарить конкурента? Возьми интервью у меня.

— Представляешь, если Белла Лядская окажется мужиком. Конец Белле Лядской. Представляешь, как на нём можно выпасться.

— Ты старый, желчный циник.

— Ну, работать в газете и не быть циником... И всё-таки жаль, что в Новостаровске нет черепа Гоголя. Представляешь, если бы мы его нашли. Это бы перевернуло нашу жизнь. Новостаровск бы перевернуло.

— Какая уйма денег уходит на кафе, — вздохнула Ася не по теме.

— Готовь сама.

— Ненавижу кухню.

— Выходи за меня замуж. Я умею варить яйца вкрутую. У меня ещё много достоинств. Могу чай заварить бумажным пакетиком.

— Хорошее место для признаний. Тонкий аромат вчерашних окурков, растрёпанные пачки нереализованных газет, пыльные подшивки, плесенью с чердака

и голубиным гуано тянет. Опоздал, Фёдор. Во-первых, в яйцах много холестерина, а во-вторых, я уже полюбила одного человека и никогда ему не изменю.

— И кто же этот человек? Честно сказать, не вижу конкурентов.

— Я этот человек, — скромно призналась Ася.

— Человек достойный. Но не собираешься же ты выйти замуж за саму себя?

— Почему нет? — удивилась она.

— На свадьбу пригласишь?

— Свадьба — отстой. Мы поедем в свадебное путешествие. В Гренландию. Давно хочу посмотреть айсберги и покататься на белых собачках.

— Свадьба с самим собой — большая экономия, — согласился я.

— Выходить замуж за людей интеллигентных — большая глупость. Надо выходить за людей посредственных и обеспеченных — за олигархов, сенаторов, банкиров, бандитов, политических деятелей, — размечталась Ася.

— Я стану настоящим мужчиной, — поклялся я, — буду усердно лизать задницы начальству, грабить старушек и грудных младенцев, вывозить капиталы за рубеж, продавать должности, предавать интересы Родины с большой буквы...

— Не станешь, — остановила меня Ася, — и не мечтай. Я вот о чём думаю. Если прав Дарвин и выживает сильнейший, отчего до сих пор встречаются хорошие люди? Если бы он был прав, остались бы одни подлецы.

— Возможно, природа мудрее, чем мы о ней думаем. Возможно, хорошие люди нужны подлецам, как травоядные животные нужны хищникам? Ты только представь: мерзавцы и злодеи пожрали всех хороших людей. Чем им питаться?

— Сверхмерзавцы будут пожирать просто мерзавцев. Отчасти это уже происходит.

Мой дядя каждый раз, когда мы встречаемся, произносит фразу, которую я ненавижу.

— Надо бы как-то собраться и построить баню на даче, — говорит он, мечтательно вздыхая, вот уже десятый год.

Кто тебе мешает? Не собирайся — строй. Начинай! Завези хотя бы кирпич.

Нет, и через год, и через два, и всю жизнь он будет вздыхать и говорить мечтательно:

— Как-нибудь надо бы собраться и построить...

Никогда он свою баню не построит.

Меня раздражают люди, которые не живут, а собираются жить.

Почему они меня раздражают?

Потому что я сам такой.

Иначе с чего бы мне раздражаться.

Большого любителя тянуть кота за хвост и откладывать на потом в Новостаровске нет. Разве что мой дядя.

По дороге в нашу правозащитную и очень скучную контору я прохожу мимо Дома свободы и каждый раз думаю: надо бы как-нибудь зайти. И прохожу мимо. Вот уже пятый год.

Дом свободы стоит на красной линии разлома — правом берегу горной речушки Весновки. Наша контора на левом берегу кварталом ниже.

Не дом. Домик. Всего в два этажа. Он обнесён трёхметровым забором из серых шлакоблоков, поверх которого пущена ржавая спираль колючей проволоки.

Сам дом едва выглядывает из-за забора. Невысокий и неказистый, как и наша провинциальная свобода, он тоже выложен из дешёвых шлакоблоков. Маленькие,

узкие бойницы окон зарешечены грубо сваренной арматурой. Фасад завешен рекламой пылесосов.

Дом свободы всеми силами обороняется от окружающей его несвободы. И это делает его похожим на тюрьму. Наша свобода несколько опереточна и шизофренична. Страдает манией преследования. А когда её не замечают, начинает волноваться и чудить.

В этом доме ЦК оппозиционной партии и её орган — еженедельник «Слово».

Ребята они заполошные, но живут весело. Каждый номер — скандал. В выражениях не стесняются. Дальше — только мат.

Теперь, когда у меня появилась цель — встретиться с человеком, скрывающимся под псевдонимом Белла Лядская, появился и повод зайти в Дом свободы.

За металлическими с тремя засовами и навесным замком, воротами с врезанной в них скрипучей дверцей — будка охранника. Тоже из шлакоблоков.

В будке за стойкой, напоминающей барную, стоял мрачный невыспавшийся человек и угрюмо ел китайскую лапшу быстрого приготовления. Из пластмассовой чашки пластмассовой ложкой. При этом он косился в разложенную на стойке «Свободу слова». Густой запах специй распространялся по забетонированному двору, как клубы пара из каменки.

— Куда? — спросил меня человек не слишком радушно.

Круглое пузико его под застиранной футболкой раздвигалось подобно ягодицам.

— В Дом свободы, если это Дом свободы, — отвечал я.

Охранник отодвинул чашку, отёр ладонью усы и спросил:

— К кому?

Я назвал фамилию сокурсника по факультету журналистики, с которым мы не виделись года три, работая в ста метрах друг от друга.

— Он ещё не приходил, — отвечал охранник, с вожделием косясь на китайскую лапшу.

— Жаль. А могу я увидеть Беллу Лядскую?

Охранник, с укором поглядев на меня, тяжело вздохнул. Накрыл китайскую лапшу свежим номером «Свободы слова» и, нагнувшись, достал красный, как огнетушитель, телефон.

— Тут пришёл человек, спрашивает Белядскую, — доложил он и, почтительно помолчав, спросил меня. — Зачем?

— Поделиться мнениями. Передать кое-какой материал.

Он повторил мои слова в трубку и, протянул ко мне руку, в которой всё ещё была зажата пластмассовая ложка:

— Передавайте.

— Дайте-ка мне трубку, — попросил я.

И услышал суровый голос свободы:

— Гони его в шею.

Заскрипели ворота, и кто-то хлопнул меня по плечу.

— Ты что тут делаешь, друг врага моего?

Антон Ан, мой сокурсник. Больше известный между студентами журфака как Ан-2. Когда бы ни залетал в нашу общагу, в руках его были зажаты два «огнетушителя» производства местного завода креплёных вин.

— Идём, я проведу тебя в вертеп свободы. Покажу все десять кругов ада.

— Девять, — поправил я.

— У нас десять.

Больше всего меня поразило, что кабинет, в который завёл меня Антон, был точно таким же, что и наша «подводная лодка» — те же столы, те же компьютеры, та же газетная скука, пахнущая типографской краской. Я даже узнал свою фарфоровую кружку с забытым в ней пакетиком чая и коричневыми разводами на дне. Не было только сосны за окном и белки на ней. На залитой бетоном и солнцем территории свободы не росло ни деревца.

— На предмет трудоустройства? — спросил Антон, раскрывая створки пластмассового окна, чтобы заменить настоявшиеся за ночь испарения кабинета загазованным воздухом улицы. — Наши объятия всегда раскрыты для перебежчиков. Места есть. Платят гроши. Страдаем за идею. Или материал принёс? Давай.

— Просто зашёл. Давно не виделись. Как дела?

— Дела мои полный карагач, — отвечал Антон. — Представь: в коллективе кроме меня пять женщин. Все в преддверии климакса. Все незамужние.

— Ужас, — посочувствовал я. — Значит, Лядская тоже дама в возрасте?

— Ах, вот оно что! Лядской интересуешься. Понятно. Но ты учти: мы тут в подполье играем. Лазутчиков расстреливаем на месте. Редакционную тайну блюдём свято.

— Всё так серьёзно? — вкрутил я воображаемый шуруп себе в висок.

— Сам понимаешь, живём на островке свободы. А что вам далась эта Лядская? Есть сомнения? Перебежчик? Внутренний враг?

— Ну, у вас тут на островке свободы всё более чем серьёзно.

— А как ты хотел? Борьба за свободу и власть — вопрос личного трудоустройства. Ещё бы не серьёзно.

— У всех свои священные коровы.

— Не такие уж они священные. Если бы была по-настоящему священной хотя бы одна политкорова, мы бы с тобой убирали за ней навоз в одной команде. Не сомневаюсь.

— Циники мы с тобой, Ан.

— Страшно не то, что мы циники. Самое ужасное — циники всегда правы. Есть, правда, святые люди, верящие в идею. Но, по моим наблюдениям, это следствие климакса или слабоумия. Я человек трезвый. Вождь пытается трудоустроиться. Какие ещё идеи? И я, помогая ему трудоустроиться, трудоустраиваюсь. Ещё неизвестно, какой станет наша газета, когда вождь возьмёт власть.

— Мне легче, я знаю. Наша газета всегда будет защищать того, у кого власть. Потому что мы — государственники. Очень удобная позиция. Беспроегрешная.

— А иногда так хочется огреть свою священную корову палкой по хребту. Тебе не хочется? Если накопело, приноси слова. Псевдонимы не раскрываем. Гонорары платим исправно.

— Я, конечно, циник. Но не до такой степени.

И в эту секунду в нагрудном кармане затрепетал мобильник.

— Послушай, Фёдор, я приболела. Чихаю. Не мог бы ты привезти диктофон. По-моему, я его в конторе забыла. Или на столе среди бумаг, или в верхнем ящике. Спасибо, пока. У меня единицы кончаются.

Зазвонил мобильник у Антона. Он посмотрел на номер звонившего, сделал хмурое лицо, буркнул мне: «Извини», — и пошёл разговаривать в коридор.

Я брёл к трамваю, когда через дыру в кармане брюк посыпались монеты. Сначала мерзковатое скольжение металла по ноге, потом звон.

Я присел на корточки, подбирая с асфальта полтинники. Вагоновожатая смотрела на меня через открытую дверь, ждала. В нашем городе входят через переднюю дверь. Смотрели на меня и пассажиры, и водители машин. И не было сочувствия в их глазах. На каждом втором пассажире защитная медицинская маска. Очень удобная вещь — паранджа. Не знаю, насколько надёжно она защищает от вирусов гриппа, но за ней можно скрыть от нескромных взглядов настроение.

Поблагодарив вагоновожатую за терпение, я опустил в валидатор только что подобранный с земли полтинник.

Жёлтенький трамвайчик, сотрясаясь и покачиваясь на сточенных рельсах, медленно пробирался сквозь автомобильные заторы. Я смотрел в живописно растрескавшееся стекло трамвая и думал о черепе Гоголя. Если бы его занесло в наш город. Как было бы интересно вычислять его владельца, распутывать тайну исчезновения, восстанавливать маршрут странствий и цепь приключений, судьбы людей, им владевших. Смысл этого владения. И вообще порассуждать о незримом присутствии великих людей рядом с нами. Необязательно в образе черепа.

— Бабушка, дай ему намордник, а то мои вирусы уже к нему побежали.

Нет, всё-таки очень удобная эта вещь — паранджа. Особенно когда не хочешь, чтобы по твоему лицу читали твои мысли.

Я бы рекомендовал носить паранджу не только женщинам.

Сыроежка полулежала на трёх подушках. На коленях поверх одеяла раскрытый ноутбук. Шея обмотана ватой. Пахнет спиртом. Дышит ртом.

— Ты прямо как Некрасов, сочиняющий в постели «Кому на Руси жить хорошо». Болеешь так и болей.

На прикроватной тумбочке стоял череп и скалил щербатые зубы.

По-моему, настоящий человеческий череп.

— Что это?

Ася щёлкнула выключателем — и череп налился золотом.

— Лампа. Светоч разума.

Свет погас. Потухший череп смотрелся страшновато.

— Это череп?

— Ты что, не видишь?

— Я имею в виду — настоящий?

— Ты диктофон принёс?

— Вот, держи кандиль. Помыть надо. А вот твой диктофон.

— Бабуля, помой яблочки! Что случилось?

— С чего ты взяла?

— По глазам вижу.

Надо носить паранджу и тёмные очки.

— Давно он у тебя?

— Кто?

— Череп.

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Я нашёл Беллу Лядскую.

Она мельком взглянула на меня и стала играть выключателем. Череп то наливался золотом, то страшно бледнел.

Я молчал.

— И как она тебе?

— Я был удивлён. Очень удивлён.

Пустые глазницы черепа выстрелили двумя лучами в полумрак комнаты.

Вошла бабушка, улыбаясь мне, молча взяла пакет с яблоками и вышла.

— Как ты её расшифровал? — спросила Ася.

— Сама о себе всё рассказала.

— И что же она тебе рассказала?

— Ты попросила принести диктофон. Я залез в твой стол. Яблоко лежит. Кандиль. Подгнило. Я его выбросил. Лежало оно на конверте. Я решил пятно просушить на подоконнике. Но конверт почти насквозь промок. Конверт незапечатанный.

— И ты сунул свой длинный нос в конверт.

— Сунул. Я же говорю: промок почти насквозь. Смотрю, вырезки. Твой материал, материал Лядской, полемика, комментариев третейского судьи из «Вечёрки». Всё разложено по датам. Каждая тема скреплена степлером. Я, конечно, кое-что читал. Но сама понимаешь — еженедельнику за ежедневной газетой не угнаться. Временные промежутки. А тут я стал читать подряд как одно целое. И действительно — одно целое. И ты, и Лядская, и этот нейтральный комментатор из «Вечёрки». Стиль, знаешь ли, детали. Факты, которые никто, кроме новостаровцев, не мог знать. Я подумал: эта Лядская — кто-нибудь из наших. Язва вроде Веры Павловны. Но не зря говорят: стиль — это человек.

Не может быть, думаю.

Читаю дальше — может.

А когда Лядская в своей последней статье стала рассуждать о черепе Гоголя, у меня сомнений не осталось.

Ради чего, думаю. Ради гонорара?

Знаешь, что меня больше всего убило? Искренность, страсть с обеих сторон.

— А почему бы и не ради гонорара? — спросила Ася, оставив в покое череп, и так весело посмотрела мне в глаза, что я смутился. — Да, ради гонорара. Но больше от скуки. Наша старушка — крыша надёжная, но быстро сушит мозги. Годик-другой, и мы станем такими же сухофруктами, как Вера Павловна и Птаха.

— Ан-2 тебя подбил?

— Скорее я его. Просто шутка. Игра. Игра понравилась. Представь себе, как здорово избавиться от односторонности. Когда смотришь на тему с двух сторон, возникает эффект стереоскопичности. Понимаешь? Всё становится объёмно, реально. У каждой газеты свои священные коровы, свои неприкасаемые подлецы. Это очень забавно — доить священных коров. Свободы слова нет ни в одной газете. Она разлита по всем газетам, как дух божий. Всю правду не позволит сказать никто. В каждой газете можно сказать только часть правды. А потом можно склеить эти части в одну мозаику. Понимаешь?

— Этот третейский судья из «Вечёрки» тоже ты?

— Надо же склеить все части в одну картину.

— Красивая теория. Но ты знаешь, как это называется? В лучшем случае — раздвоение личности.

— Какой ты нудный, Фёдор. Ну что ты пристал к больному человеку с пустяками? — и Ася снова принялась играть с черепом, посылая его из света во тьму.

— Всё-таки я бы держался одного берега.

— Держись. Зачем? Старушка скучна, но не потопляема. Думают: ну вот, новая власть, утонула старушка. А она не ковчег, она подводная лодка. Легла на дно, переждала смутное время и всплывает как новенькая — уже за новую власть. Сто лет

жила и ещё тысячу будет жить. Надёжная крыша. «Слово» — газетка весёлая, но глупая. Рано или поздно потонет. Но отчего не повеселиться? Вот я консерватор, вот я либерал, а вот я издеваюсь и над тем, и над другим.

— Знаешь, а я ухожу из газеты, — сказал я и удивился тому, что сказал.

Решение пришло только что, одновременно со словами. Твёрдое решение.

— Куда?

— Не знаю. Профессий много. В лесники, например.

— Профессий много. Лесов мало.

— Тем более.

— Уходить, не подготовив плацдарм, глупо. Надеюсь, на твоё решение Лядская не повлияла?

— Совсем немного. Просто я не создан для газеты.

— Да, Фёдор, ты не создан для газеты. Если бы я раскопала, не удержалась бы. Такой материал! Обязательно бы опубликовала.

— А в чём дело? Вот и напиши.

— Пожалуй, это будет перебор.

— Пожалуй.

Марлевая повязка не предоохранила меня от Асиных вирусов. Протиснувшись через плотную ткань, они через мои лёгкие проникли в мою кровь, а с кровью в мой расстроенный, как рояль в гостиничном холле, мозг.

Может, я напрасно грешу на Асю. Может, это были ничейные трамвайные вирусы. Общественные.

Во всяком случае, по дороге домой я почувствовал мерзкое недомогание, которое всегда вызывает во мне бессильную злобу порабождённого народа перед неведомыми оккупантами. Я остановился и стал массировать через веки глаза, пытаясь вытеснить тошнотворную боль.

Была пора листопада. Я стоял в центре жёлтого вихря. Листья клёна шуршали о стекло витрины.

За стеклом стоял безголовый манекен в осеннем пальто.

Он прекрасно смотрелся без головы.

Голова в его случае была бы лишней.

Она бы только отвлекала от созерцания лёгкого, изящного пальто.

В осанке безголового была естественная надменность иностранца, случайно попавшего в провинциальный Новостаровск.

Его тело, поза были столь выразительны и так много говорили о чувстве собственного достоинства, что голова ему была совершенно не нужна.

Я подумал: он не знает, что такое головная боль. И позавидовал ему.

Безголовый манекен, изящно опираясь о трость-зонт, снисходительно позволял любоваться собой и своей безголовой женщиной в меховой шубке.

Из тёмно-серебристого воротника вырастала длинная шея, ничем не заканчиваясь.

Из-под шубки вырастали ноги идеальной пропорции.

С такими ногами иметь ещё и голову — это уж слишком.

Среди моих знакомых многие стремятся к такому идеалу. Замечательно, окружив себя прозрачной стеной изящной надменности, быть всё время на виду, всегда в завидном прикиде, в вечной праздности светской тусовки. Правда, им далеко до этих безголовых манекенов, но если постараться, отчего бы и нет?

Я долго стоял перед витриной, осыпaeмый листопадом и завистью.

Безголовый поднял зонт и постучал в стекло острым навершием.

Вирусы устроили шабаш в моём мозгу, и я поспешил домой.

Я шёл через жёлтую горячую метель, а за спиной моей шуршали лёгкие шаги, угадывалось насмешливое дыхание, ритмичное постукивание.

Я знал, что, постукивая зонтом по заплёванному асфальту, меня преследует безголовый манекен. Я также знал, что это бред. И не оглядывался.

Однако этот навязчивый преследователь начинал надоедать мне.

Завернувши за угол, я не удержался и оглянулся.

За мною шёл Гоголь.

Рыжий ветер трепал его шинель.

В руках он держал цилиндр, полный опавших листьев.

Надеть цилиндр было не на что.

Гоголь был без головы.

Безголовый Гоголь в унылой озабоченности брёл по провинциальному Новостаровску в поисках украденной головы.

Пытаясь избавиться от него, я снова завернул за угол.

Гоголь последовал за мной.

Он явно подозревал в краже черепа меня. Чувство вины, угрызения совести, раскаяние стреножили.

Я сделал над собой невероятное усилие и побежал.

Он, загребая ногами листья, побежал тоже.

Я остановился.

Но он продолжал бежать ко мне.

Я рванулся прочь и, споткнувшись, зарылся лицом в куче осенних листьев. Они пахли коньяком и сушёными грибами.

Гоголь нагнал меня и, склонившись, перевернул на спину.

— Что с тобой, Фёдор? Уж не надрался ли ты? — спросил он.

Я жмурил глаза и молчал, с ужасом думая, каким образом может говорить безголовый Гоголь.

Между тем, подхватив под мышки, сопя и чертыхаясь, он поднял меня и, усадив на скамейку, принялся тормошить, бить по щекам и взывать к совести.

Я приоткрыл глаз и тут же закрыл его.

На туловище Гоголя была надета голова моего приятеля Туфелькина. Сидела она криво, косо. Как-то временно.

— Да у тебя жар, — сказал Гоголь, — пошли-ка домой, приятель.

Я упирался и говорил, что ничего не знаю о черепе, что моя голова нужна мне самому, а Гоголь отвечал злоеще: вот и хорошо, вот и хорошо, а сам тащил меня в горячую жёлтую метель, сквозь которую просвечивались силуэты деревьев, домов и экипажей.

Три дня и три ночи призрак Гоголя бродил по Новостаровску в поисках украденного черепа. Тонкими пальцами он ощупывал лица прохожих и примерял на их головы свой цилиндр.

На четвёртый день сознание вернулось ко мне, призрак Гоголя навсегда исчез из нашего города, а я вышел на работу.

Илья Наумов

Городской блюз

Фрагменты времени

Иногда по воскресеньям Василий ночью шёл кататься на третьем трамвае. Редкие гости города, не сумев отыскать карту Орска в приложении, обращались к местным и узнавали, что на третьем трамвае можно проехать по проспекту Ленина, а затем по Краматорской улице, а уже далее, мимо парка Строителей, прямо к Никелевому заводу, где водитель высаживал одинаково одетых и угрюмых рабочих, затягивал рельсы в петлю и пускался в обратный путь по симметричному маршруту.

А вот Василий, как и большинство коренных орчан, знал, что после двенадцати вагоновожатый переводит стрелки и везёт немногочисленных непутёвых на законечную остановку. На ней трамвай останавливается, водитель в одно мгновение рассеивается в звёздном небе, пугающе бесшумно расплываются двери, и пассажиры всякий раз несколько настороженно покидают вагон и оказываются посреди степи, монотонно затуманенной голубоватым лунным светом. Кто-то отправляется собирать ковыль, который можно будет заварить вместо подорожавшего эрл грея, кто-то вытаскивает из рюкзака фотоаппарат и замирает у нор в ожидании сурков или слепышей, чтобы сделать очередной снимок на последнюю страницу «Большой Орской газеты», кто-то просто расстилает неподалёку плед и начинает пересчитывать звёзды, отмечая каждое несоответствие стандартам в блокноте с логотипом «Метеорск».

Василий выходил из трамвая последним и останавливался прямо у путей, устремляя взгляд в сторону набухшей луны, готовый разбрызгаться на флегматичную уральскую степь. Василий боялся, что лунная каша окажется невкусной, а ещё больше он почему-то боялся, что двери трамвая захлопнутся и вагон без Василия покатится к следующей законечной станции.

Утром понедельника Василий просыпался, чтобы позавтракать яичком и отправиться на завод.

Илья Наумов родился в городе Орске. Окончил филфак СПбГУ по направлению «Лингвистика. Испанский язык». Преподаёт испанский язык и литературное мастерство в ГБНОУ «Академия талантов». Рукопись романа «Атмосфера возможного счастья» вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер 2020». Живёт в Санкт-Петербурге.

Первая публикация в «Дружбе народов».

* * *

Пока хлебокомбинат не закрылся, автохтонная буханка стоила четыре рубля с небольшим. Фёдора отправляли через дорогу в магазин «Удача», где он на двадцатку прикупал к свежеиспечённому кирпичу футбольный еженедельник с глянцевым постером и получал на сдачу ещё четыре рубля.

Зимой Фёдор не откусывал от буханки по пути домой, но пролистывал прессу, иногда увлекаясь и забывая на переходе покрутить головою по сторонам. Так его тогда и прижучили уже на домашней стороне улицы, зондирующего турнирную таблицу и победоносно ощерившегося в честь непривычно высокой позиции московского «Спартака». Хулиганы были пожухлые, с семечками и хотели от него пять рублей, а когда Фёдор оформил отказ, один из них вынул такой вот нож, которым соскабливают масло на хлеб, и начал угрожающе бормотать.

Фёдор растерялся и заплакал, и даже просил, пожалуйста, его не убивать. Гопчики смутились, однако взяли себя в руки, и тот, который со свободными, прошерстил содержимое карманов и подтвердил, что четыре — это воистину не пять, да только что уж поделать — придётся довольствоваться малым. Журнал, всё ещё распахнутый на статистике, напарников не впечатлил, жевать хлеб вместо семечек они были тоже не намерены. Оруженосец почесал затылок свободной пятерней и предложил Фёдору драпать. У Фёдора была истерика: он бежал до подъезда, набирая в ботинки снега и спотыкаясь о всякую мерзость — поистрепались страницы, а потом ещё и мамины нервы, сразу же как он ввалился в прихожую сопливым сгустком.

Василий слушал сына, и чесал затылок пятернёй, и быстро ходил из стороны в сторону. Мать причитала. Василий грозил кулаком, потом показывал кулак Фёдору и размахивал им вперёд-назад — Фёдор всё ещё плакал, но теперь уже с какими-то новыми чувствами. Мать многозначительно поглядывала на отца. Василий молчал.

В это время у ларька «Бригантина» гопчики встретили Ивана Палыча, который за рубль помог им купить элексира на два рубля и курительной полыни на остальное.

* * *

Дело было где угодно, но только не на пустыре. Летом прозрачное небо тупо накрывало ословевший ковыль, а зимой выпадал жирным слоем мышиного цвета снег, который сливался с мышиного цвета облаком — горизонт исчезал, а люди пропадали с пустыря, просачиваясь из Орска в какую-то отдельную, неведомую вселенную.

Иван Палыч работал здесь сторожем. Следил, чтобы ничего не произошло. Это было несложно, пускай и не без нюансов. Иногда люди хотели, чтобы что-нибудь такое случилось. Тогда Иван Палыч затягивался трубкой — а он всегда курил трубку и часто моргал одним глазом — и напоминал, что у них вон там тоже в своё время начали это самое, а потом такое стало происходить, что вообще. Шалуны понуро бурчали, но всё-таки соглашались. Беспредел нам сюда не нужен.

Раз в сорок лет на Орск проездом сваливался бедный командировочный, который останавливался в гостинице «Салют», а потом зачем-то выходил на пустырь, и стоял в его центре, и осматривал панораму до тех пор, пока Иван Палыч не вскрикивал и не приковыливал потихоньку к прокисшему чужеземцу. Потом он затягивался трубкой и спрашивал, с чего бы это вдруг надобно тут стоять, — спрашивал увесисто, но без быковства, однако проезжий внезапно потел, слушал, как стучит

сердце, а иногда даже трусил к выходу с пустыря, не понимая толком, что никакого выхода здесь нет.

Из незваных гостей Иван Палыч не провожал с территории исключительно саранчу. Во-первых, себе дороже вступать с ней в контры. Во-вторых, саранча только и делала, что усмиряла пустырь, лишая его самых мизерных шансов на превращение во что-нибудь кроме. Наконец, саранче да, пожалуй, тому чувачку из «Салюта» одним неведомо, что зимой тут земля уходит из-под ног без метафор и прочего балагурства. Зимой пустота приближается к абсолюту. Есть только она и Иван Палыч.

* * *

Были какие-то выходные, и Фёдор ходил с родителями в «Юбилейный». Спорткомплекс напоминал городской рынок — лет до семи Фёдор не предполагал, что в центре здания есть каток, на который с сентября по февраль выкатываются мужики, ближе всех подобравшиеся к тому, чтобы ускользнуть. Зато Фёдор знал про отделы и даже бродил по собственному маршруту, если ему не надо было примерить джинсы, или там куртку, или ботинки на осень, а то старые все дырявые уже совсем. Не стоило играть в них на физкультуре во время освобождения.

Но это было там, а не здесь; в «Юбилейном» Фёдору нравилось смотреть диски и журналы, а ещё спускаться под лестницу, где находился маленький отдел всего пошарпанного: в детстве он глазел на прилавки с пластинками и жёлто-серыми вырезками из газет, школьником проводил подушечками по корешкам аудиокассет, чуть позже рылся в картриджах для «Денди», а ещё засовывал руку в бассейн рябых кепсов и пролистывал наборы наклеек с любимыми персонажами. За хорошее поведение Фёдору покупали что-нибудь в этом духе, а за плохое не покупали, но если он раскаивался и содрогался от осознания, то его могли тоже успокоить небольшим приятным сюрпризом.

Естественно, Фёдор часто мечтал работать в этом отделе, а ещё чаще — раздобыть много денег и купить себе всё, чтобы не слишком уж мучиться с выбором. Иногда такое случалось: он всё ходил с набухшими зрачками, и думал, и сомневался, пока Василий переминался на входе, стесняясь продавщицы и опаздывая домой на прямую трансляцию. Фёдор однозначно что-то искал, но никак не мог догадаться, что именно, а всякие окружающие объекты, хоть и притягивали к себе, всё же не могли со стопроцентной гарантией оказаться настоящей мечтой. Фёдор иногда не выдерживал — всегда раньше Василия — и говорил: «Ладно, потом ещё посмотрим», — после чего бежал, прятался скорей снаружи, чтобы не плакать и не вздыхать. Отец ненадолго задерживался в отделе.

* * *

Летом прилетала саранча. Это как пауки в запретном лесу, только саранча в общедоступной степи. Кстати, одна саранча — это ерунда. Другое дело тысячи саранчей.

Поутру люди выходили из домов, чувствовали, как первое насекомое пристраивается куда-нибудь на плечо, разворачивались, забивались в подъезд и некоторое время думали, что на работу сегодня получится не приходить. Но это разве что с непривычки: город притих, обмозговал положение и постановил, что придётся быть, как были, но пока что немножечко с саранчой. Власти предпримут меры, а там уже поглядим.

Власти задраивали окна, потому что у них работал кондиционер. Вот и хорошо — но люди тоже имели какое-то право пожить. Первый чиновник говорил, что саранча, по сути, практически человек, так что надо просто смириться и пойти на контакт, создать необходимые условия и наконец уже позволить ей интегрироваться в общество. Возможно, у него были свои среди саранчи. Власти кивали и пытались подумать, но переводчик с саранчиного шепнул им, что эти ребята пока ещё не в теме за компромисс. Саранча по-своему осваивалась в новой среде. Облепили «Оку» и унесли со двора. Пожрали продукцию и сотрудников хлебокомбината. Подались в администрацию. И всё скакали да позуживали крыльями в полёте.

Другой чиновник при таких обстоятельствах отказался сидеть сложа руки и начал отстреливать саранчу. Он очень быстро запутался или просветлел и пришёл к выводу, что каждый орчанин в какой-то степени саранча. Начал отстреливать всех. Так бы и не успокоился, если бы не третий чиновник, который потребовал привезти какую-нибудь отраву. Отраву привезли, при этом оказалось, что саранча с неё гибнет и сразу же ложится хрустеть под ногами на тротуар. Чиновники это дело отметили, хотя, может, даже и взгрустнули в конце концов. Пока саранча громила школу и растаскивала на винтики завод, было грустно, но ясно, кому потрясывать кулаком.

Теперь местная шпана вприпрыжку топтала саранчу, а народ не мог сообразить, куда всё-таки делись винтики да вдобавок ещё и кусок городской казны. Власти сообщали, что расследование будет произведено. Ради такого случая многие были готовы некоторое время потерпеть.

* * *

Клуб назывался «Небо», и там было облачно от кальянов, и там были звёзды, фальшиво яркие и тошнотно горячие. Фёдор никогда не заходил в «Небо» и даже бы, наверное, не захотел, но компашка покатила туда под вечер, а Фёдор никак не мог оставить компашку, потому что грустно бывает сидеть один на один с собой. Он озирался и всё ещё прятался от судьбы, когда они проходили контроль, потом сидел за столиком и пробовал слушать музыку, но первые несколько коктейлей музыка была плохая, а потом она уже не имела значения.

Точнее, всё дело было в ней: в опьяняющих звуках и исцеляющем ритме, ухватившись за который, Фёдор впервые заглянул за кулисы времени и пространства и увидел, что мир начинается с танца, которым колбасит отрешённую толпу, слипшуюся в сладкий комок посередине просторного зала. Раньше здесь был какой-то склад. Потом клуб «Небо». А потом уже не будет ничего.

Всё было не сразу, и Фёдор сначала переминался и кое-как барахтал ладонями на уровне живота, а музыка просачивалась внутрь, где были уже злые смеси, которыми бородатый бармен лихо жонглировал, а потом резко напоил толпу. Давным-давно Фёдор стеснялся, думал, что всё это глупости, а затем ему было здорово, и он уже весь вибрировал по-медузы и тёк прям под самый шар. Согласно статистике, в Орске живёт самое большое число красивых людей в мире, и когда Фёдор узнал об этом, его осенило и, ясное дело, уже порядком осинило, но глупо провоцировать дисгармонию и тем более покидать заведение, даже если этого вдруг затребовала компашка, якобы опытная и осведомлённая о последствиях всяческих эйфорий.

Фёдор был лучшим танцором в здании, но всё ещё куда-то стремился, чувствовал, что можно попросту взмыть, хотя не помнил, где он находится. В очередной коктейль участникам танцевальной оргии подмешали ядрёного исступления, и Фёдор, сделав глоток, оторвал ноги от земли и понял, что ему не нужно больше гравитации, а нужно

только не останавливаться, не отказывать себе ни в чём и не бояться, как было раньше, и на этой мысли он хотел было их всех полюбить, но тут его, конечно, и пригвоздило, потому что смелость города берёт, а любовь даже спасает мир, да только не в этом случае.

Из Фёдора быстро выкатилась самоотверженность, а за ней и всё творчество бармена, а следом и нетренированное сознание, плюс утром оказалось, что из кармана выпали и исчезли тысяча и ещё до конца не оплаченный раскладной телефон.

Есть версия, что в клубе «Небо» никогда не было колонок или диджейского пульта, да и танцевать никто особо не любил, а все просто стояли потихоньку по периметру зала и слегка дрожали, потому что помещение не топили, а за бортом на такой высоте температура опускалась до минус пятидесяти или около того. Фёдор был уверен, что это бред.

* * *

Чаще всего Василий возвращался с завода и после нажористого ужина постепенно угасал в спящий режим. В коробке, что напротив дивана, мельтешили канонические экшны, ни разу не просмакованные от начала и до конца. Василий откидывал голову, прикрывал глаза, и два мощных магнита, неумолимо стремящихся друг к другу с противоположных висков, потихоньку успокаивались и отползали. Вечера, не успевая разогнаться, сваливались в ночь. Но иногда необычное тоже происходило.

Бывало, что Василий, приготовившись уже как следует разомлеть, вдруг ловил сам себя в капкан мысли, которая обычно была про то, что он, Василий, дожил уже вот до лысины и немного до седины, да так ничего и не сотворил здесь толкового, по сути. Некоторое время он ещё продолжал сидеть, размышляя, а хватит ли теперь заветных секунд, чтобы осуществить грандиозное, но потом вспоминал, что часы на Мехзаводе как раз пока остановились, и значит, можно воспользоваться созданным временным пузырьком. Василий вскакивал, смущал что-то штопавшую жену, нырял в чулан, гремел и лязгал, а после глубоко улыбался, демонстрируя миру набор для рисования, который у него хранился в таком же чемоданчике, что и инструмент.

Рисовал Василий с детства, но в общем-то сразу тайком, потому что доброжелатели скоростижно разъяснили ему про дефект, которым неизменно обладали его немногочисленные наброски. Василий почему-то совершенно не умел рисовать то, чего не видит, а видел он перед собой лист бумаги формата А3-А4, правую руку с простым карандашом и огрызки вселенной — и всё это в столь гиперреалистичном разрезе, что созерцатели ёжились и виновато сетовали создателю на нехватку души. Василий не принимал близко к сердцу, но художником условился не быть и лишь иногда вспыхивал и пробовал, наконец, пробиться через тернии проклятого естества к раздолью неземных образов и красок.

Василий открывал чемоданчик, в котором было около сотни простых карандашей разной твёрдости, отыскивал среди них подходящий по ситуации и начинал творить, используя в качестве холста старые обои, оставшиеся после того, как они решили заново обклеить кухню в том году. Василий рисовал, как умел, стирал и пробовал, как не умел, стирал и пробовал, как вообще не бывает на белом свете. Василий думал, что следует расслабиться, дать чувствам самим разбежаться изнутри и выскользнуть на желтоватое полотно штрихами графита, однако, как только мозг чуял приближение долгожданного вдохновения, он вдруг начинал генерировать мысли, от которых Василий крепче сжимал и сильнее давил на карандаш. Острее всего в эти мгновения ощущалась иллюзорность — художник резко осознавал, что в миры, спрятанные

на другой стороне листа, отсюда никак уже не шагнуть, и карандаш крошился, когда идея дорывалась до этой кульминации.

Василий надолго закрывался в комнате и шумно чиркал, чтобы кто-нибудь не расслышал чего другого. Правдоподобнее всего у него получались тусклые обои, на которых поцарапанною рукой с трижды мягким карандашом невидимый творец набросал тусклые обои, на которых поцарапанною рукой...

* * *

Самый романтичный момент в истории Фёдора испортил никелевый комбинат. Позже ему даже казалось, что именно тогда судьба отношений с Ингой, а может быть, и со всеми остальными была предрешена, но вместе с тем ему было ясно, что опосля можно придать любому бреду таинственное значение.

Был жаркий день, в который положено шататься по городу, уже давно не отвлекавшему от перипетий, — в городе этом есть красивый фонтан, который, к сожалению, пересох, а ещё там есть жёлтый Дом культуры с колоннами, в котором магазин фототехники и бильярд. Фёдор держал Ингу за руку, они находились на полпути от фонтана к Дому культуры, около ресторана «Яшма», где отмечали свои немногочисленные свершения орчане постарше и посolidнее. Молодые ходили в единственную пиццерию, дети — в уникальное кафе-мороженое, где, оказывается, это же самое мороженое тысячу лет назад уплетали их бабушки и даже прабабушки.

Фёдор никуда не вёл Ингу, а они просто шли, в очередной раз пытаясь вырваться в Космос с помощью сильных чувств, которые Фёдор, тщательно проанализировав происходящее между ними, крепко-накрепко зафиксировал, заламинировал и сохранил у себя в черепной коробке, откуда их всегда можно было быстро достать в минуты наивысшего единения. Был жаркий день, однако потом стало свежей и темней, поэтому окружающие, наученные горьким опытом, стали искать всякие крыши и двери, на что Фёдор и Инга снисходительно заулыбались, ведь из-под крыши точно не прыгнуть за облака.

Самый романтичный момент в истории Фёдора наступил, когда огромная жирная туча взорвалась от перенапряжения. Они с Ингой стояли около ресторана «Яшма», у которого была веранда с навесом, а под ним полчища отсыревших орчан. Орчане не моргая смотрели в небо, а оно поливало практически засохший город, и в частности, влюблённую пару, демонстративно обнявшуюся в паре метров от «Яшмы».

Фёдор вспомнил киноленты, запустил вместо мыслей композицию группы «Уэм» и закрыл глаза, успев краем одного из них заметить, что Инга тоже готовится к эйфории. Произошло соприкосновение и долгий поцелуй, с самого начала которого Фёдор понял, что с этого неба падает горький дождь. Горький с привкусом ржавчины, отчего музыка погасла и обратилась в шум, а сам Фёдор вдруг почувствовал неловкость и захотел, чтобы всё поскорее закончилось, но при этом упорствовал и продолжал безобразие в надежде на то, что Инга лишена вкусовых рецепторов или наделена неординарной вкусовой фантазией.

Дождь однажды закончился, а вот горечь никуда не делась. Люди, которые поумнее, знали, что целоваться следует дома, а самые смышлёные просекли, что это и вовсе необязательно. Инга ушла домой, а спустя некоторое время и от Фёдора.

* * *

Самым крутым был трудовик Попович. Во-первых, он прочёл практически все существующие книги (и несколько несуществующих) с помощью уникальной методики: значит, сначала выпиваешь стопарик после первого предложения, потом два стопарика — после второго, потом заливаешь три — после третьего и постепенно погружаешься в транс — Попович, обычно, не помнил сюжет произведения, зато мог с точностью до тысячных определить, что именно закладывал в текст сам автор.

Во-вторых, трудовик посмотрел все телепередачи про внеземные цивилизации и стал настоящим специалистом в этой области, поэтому мог научить ребят выпиливать не просто какие-нибудь табуреты, а целые хитроумные механизмы для обнаружения и ликвидации потусторонних сил.

В-третьих, с ним всегда было весело, и даже такое безрадостное мероприятие, как уборка школьной территории, превращалось в квест. В какой-то момент он собрал восьмой «бэ» на заднем дворе за турниками, в точке, откуда пацаны только что утащили полные носилки прелых листьев, выдал лопаты тем, кто ещё ими не овладел, и сообщил, что обнаружил вибрации, и с этого мгновения им всем предстоит копать, и желательно подобраться как можно ближе к ядру Земли. Оказалось, что где-то неподалеку от него зарыт тот самый компьютер, с помощью которого инопланетные пришельцы управляют всеми процессами на планете.

Сначала эта история произвела фурор, но потом все устали, да и Попович, будучи человеком неглупым, сообразил, что без экскаватора здесь не справиться, к тому же инопланетяне явно засекли повышенную активность спецотряда Поповича и надорвали небо, из которого притопил смертоносный радиоактивный дождь. Трудовик предлагал вытащить стремянку и зашить свинцовое полотно, но пацаны понимали, что скоро будет звонок и спасение мира придётся отложить до следующего урока технологии.

Ещё были всякие другие случаи, и после некоторых (как в тот раз, когда Попович предложил всем забраться на дерево и отпилить ветки под собой) трудовика увольняли, но вскоре он снова приходил на занятия, вышвыривал из кабинета замещающего педагога и, приподняв дрожащий указательный палец, заявлял, что боевым искусствам он тоже научился у пришельцев. Никто бы и не рискнул сомневаться.

* * *

В городе присутствовал парк Строителей, однако не только. Немногочисленным туристам было невдомёк, что самое интересное скрывается в парке Разрушителей, разбитом всего в паре сотен измерений от антипода. История парка была такая: в пятидесятых на месте подсобных хозяйств хлебокомбината, занимавших семь с половиной тысяч гектаров, задумали устроить парк, и задуманное осуществили, и получился как раз парк Строителей, зато потом, в девяностых, надоевший всем парк Строителей опустошили и дружно переметнулись в тот самый, родной и непостижимый парк Разрушителей.

В парк Разрушителей художники выбирались на пленэр, чтобы писать постапокалипсис. В парке Разрушителей были стеклянный пруд и бычковая тропа, памятник Ленину, без которого в Орске по закону нельзя было открывать парк, и проклятая скамейка, где можно было посидеть, если других планов на жизнь уже не намечалось. В парке Разрушителей водились летучие, плавучие и ползучие мыши, здесь же рос хитроумный ядовитый плющ, мимикрировавший под деньги для игры в магазин. Летом в парке Разрушителей можно было кататься на драндулетах, зимой —

пить грог в кафе «Равана», весной — обречь себя на боль через роковые свидания, а осенью, естественно, предстояло браться за дело и сокрушать всё живое, чтобы оно ненароком не сгнило и чтобы самому ненароком не сгнить. Осенью парк Разрушителей полонили энтузиасты гибели, которых власти города пробовали собирать в движение по образцу доисторических ячеек из парка Строителей, но движение было слишком броуновским, да и члены его к июню обычно отказывались от своих идеалов и пробовали жить.

На конец прошлого тысячелетия намечали перепланировку парка Разрушителей в парк Свободы, но её так и не успели осуществить. Парк Разрушителей не хотел, а всё-таки объединял людей, ныне обмельчавших до платного крушения посуды в защитных очках под попово-роковые композиции.

* * *

Что касается дяди Коли, родители по какой-то причине недолюбливали вечного искателя приключений и неохотно отпускали Фёдора в гараж, на рыбалку или просто покататься по городу с вечно весёлым, громким и ни много ни мало безгранично крутым мужиком. Наверное, это потому, что дядя Коля говорил грубые словечки и очень любил пить пиво, а ещё знался с бандитами, сыновья которых задирали и колотили хороших ребят во дворе, где жили Фёдор и его семья.

Фёдор не проводил параллелей, а просто любил дядю, с которым всегда было весело и легко и можно, не стесняясь, говорить про самые сокровенные штуковины, а ещё водить настоящую машину или пострелять из настоящего пистолета. Общась с дядей Колей, Фёдор становился взрослее — он сам чувствовал, как в голове начинают возникать вполне конкретные ответы на житейские вопросы, как вселенная становится проще, а город — живее и ближе.

Мама и папа помогали избегать проблем, а дядя Коля учил их решать. Фёдор ни разу не видел дядю Колю озадаченным, хотя переделки случались всякие: то поехали по грибы да ненароком сошли с тропинки, то влепились прямо в машину милиционеров, то спалились, что без билета пронырнули в кинозал. Дядя Коля даже рассказывал, что однажды ему пришлось в одиночку махаться с четырьмя исполинскими беспредельщиками. Изю всех этих щекоотливых ситуаций он выходил победителем с помощью хитрости и сноровки, так что Фёдор прилежно запоминал ходы и приёмы, которые использовал шебутной сенсей.

Фёдор, естественно, не знал, что ловкость дяди Коли также помогла ему оттяпать половину бабушкиного наследства, полагавшуюся отцу. Об этом дядя Коля не рассказывал, и отец не рассказывал тоже — он скрипел зубами и уходил на кухню или в ванную комнату, чтобы лишний раз не пересекаться с ушлым родственником, и всё время думал об этой ситуации, а ещё о том, что дядя Коля занял у него увесистую сумму денег и не вернул, а до этого занял ещё одну сумму денег и не вернул и, конечно, он занимал всякие другие суммы и тоже их не возвращал ни в коей мере. Ещё отец вспоминал, как они чуть не подрались, когда рыбалка была слишком долгой и дядя Коля там слишком уж озверел.

С дядей Колей было легко, потому что он чётко для себя определил, какая у него во вселенной точка отсчёта, и поместил вращаться вокруг оси все остальные объекты, попадавшие в его систему координат. Фёдор долгое время хотел быть похожим на дядю Колю. Но получалось не всегда, и он не знал, что с этим делать в будущем.

* * *

Время от времени в городе проходило голосование. Темы были, как правило, насущные и фундаментальные — правительство обращалось к своему народу, чтобы выяснить, наконец: тьма или всё-таки свет, свобода или, может быть, рабство, резкое повышение налогов или бесплатные мороженое и кинотеатр? День выборов объявляли выходным, чтобы человек мог проснуться не впопыхах, а как следует, позавтракать в кругу семьи, обсудить сложившуюся ситуацию с самыми близкими, причесаться да заправиться и тогда уже спокойно выдвигаться к пункту голосования, расположенному не более чем в десяти шагах от каждого дома.

Василий был человеком кротким, поэтому долгое время игнорировал решение глобальных вопросов, предпочитая проводить внеплановый выходной с семьей и шашлыками на реке Кумак, что в тридцати километрах от города — там, конечно, в дни голосований было достаточно толпливо, но всё-таки не так сильно, как на официальном городском пляже.

Однако был один случай, когда властям настойчиво велели повесить явку, и правительство задумалось, а потом строго-настрого порешило запретить кататься на речку тем, кто ещё не поставил заветную галочку и не получил об этом уведомление с подписью и печатью комиссии по голосам. Выборы тогда ожидалось серьёзные и действительно важные, а решить на них предстояло следующее: «Будем ли мы развиваться и строить современный город с инновациями и прибабасами или же раздолбаем всё к чёртовой бабушке, откажемся от нравственных ценностей и перережем друг друга в неистовом исступлении безумствующих слепцов?» Самый великий главарь даже выступил по телевидению и пообещал лично пожать руку каждому, кто выполнит свой гражданский долг. Но Василий не смотрел это выступление, потому что смаковал кассету из проката, да и вообще телевидение не любил.

В утро голосования он вышел из дома, чтобы купить лаваш да какого-нибудь питья, и во дворе столкнулся с организаторами, утащившими за гаражи детские качели, а на их место притаранившими недвусмысленную синюю будку. Василию резво замахал верховный наблюдатель участка, но тот сделал вид, что ничего не понимает, и посеменил со двора, озираясь по сторонам и лелея надежду не вляпаться в соседнюю избирательную подворотню.

В магазине «Удача» всегда был достойный ассортимент продуктов, однако в то утро там приключился выбор всего лишь из двух вариантов, каждый из которых с трудом мог заменить Василию напиток или лаваш — он так и остановился в дверном проёме, размышляя, можно ли было по рассеянности ошибиться дверью, и прекрасно понимал, что нет, ошибиться дверью он совершенно точно не мог. Зато мог проголосовать, о чём ему сообщил очередной услужливый наблюдатель. Василий указал рукой в глубину магазина и спросил: «А это, хлебный отдел когда вернётся?» Надзиратель поднял указательный палец к протекавшему потолку и произнёс: «А это уже Вам решать, уважаемый горожанин».

Василий матюкнулся и пошёл домой, хмуро отбиваясь по дороге от бюллетеней. Василий топал по лестнице собственного дома два этажа, а потом отворил дверь собственной квартиры увесистым продолговатым ключом только для того, чтобы увидеть в собственном коридоре урну, а рядом с ней расплывшегося в склизко-сопливой улыбке собственного наблюдателя. Василию торжественно пообещали, что жена с сыном вернутся сразу после того, как он соберёт совесть в кулак и сделает, наконец, свой выбор. Так Василий единственный раз в своей жизни проголосовал. А потом поехал на речку.

* * *

Каждому городу нужен герой. Возле бассейна «Пингвин» была заброшка, которую местные за причудливую «крылатую» планировку окрестили «птицей». Сначала на «птицу» лазали беспризорники, ещё с неё прыгали несчастливо влюблённые, а в какой-то момент там поселился дурачок Афанасий — тощий и усатый индивид, уверовавший в своё невесть откуда возникшее, предназначение: раз и навсегда очистить улицы от преступности. Афанасий не придумывал себе псевдоним, потому что местные к тому моменту уже сами продвинулись в нейминге и достаточно быстро соорудили для своего спасителя говорящее прозвище Терпиламен.

Про него не сохранилось комиксов и экранизаций, зато были снимки и целая статья «Большой Орской газеты», редактор которой в агрессивной манере требовал выкурить героя из логова, а «птицу» разрушить, ведь ничего хорошего в ней до сей поры не произошло. Терпила-мен газету не читал, поэтому жил и по возможности патрулировал город на предмет противодействия криминальному элементу.

Одно время Терпиламена побаивались, потому что на борьбу с преступностью он обычно выходил с «розочками» и железяками, подобранными прямо около «птицы». Другое время его признавали полезным, ведь он мог по делу перепугать разбесившуюся шпану или даже предотвратить настоящую пакость, как, например, тем вечером, когда гопчики тащили к себе в машину начинённую одноклассницу. Терпиламен выскочил из-за угла, замахнулся ещё целой бутылкой, и удивлённые бандюганы ослабили хватку, отчего девушка выскочила и кое-как домельтешила до ближайшего подъезда. Беда только в том, что герою эту же бутылку разбили о голову. Сам Терпиламен всегда утверждал, что не чувствует боли, и в этот раз тоже не успел ощутить особого дискомфорта, потому что отключился сразу, как пропустил роковой удар. Потом его ещё напинали, но беззаконие он всё-таки предотвратил.

По правде говоря, Терпиламен, конечно же, был не без греха и порой за потенциальных насильников и убийц он принимал ни в чём не повинных граждан, отчего самые сопливые страдали, а те, кто покремнистей, лупили героя, в какой-то момент уже утратившего свою способность к регенерации. В конце истории его вообще стёрли с лица земли, так как под угрозой были поставлены жизнь и репутация главного мафиози города, а по совместительству важнейшего чиновника из администрации. Жителям следовало разделить на тех, кто оплатит героя, и тех, кто с облегчением вздохнёт, узнав о восстановлении статуса-кво. Но орчанам было не до этого, а Василий, например, только махнул рукой и резюмировал: «Хорошо, что весь город не разбомбили, как у американцев в фильме». А Фёдор, хоть и симпатизировал Терпиламену, в силу возраста и воспитания решил сохранить это втайне. Разве что вырезал из газеты смутную чёрно-белую фотографию героя без маски, но с усами и вклеил её в тетрадь, которую потом, кажется, выкинули при переезде или просто забросили куда-нибудь в чулан.

Эгвина Фет

Квадратным слогом посредине лета

* * *

свет чах, свет чах
и опал в траву
на бледный перепуганный участок

и там сидел,
как призрак, безучастно —
пережевать пытаюсь пустоту,
твердеющую каменным пространством.

будь он влюблён,
спасаясь чем-нибудь,
уехал на трамвае б с остальными,

где света электрического вымя
болтается под тяжестью себя,

где в помутневшее окошко почтальон,
увидев кондуктрису машу,
конвертом ей приветственно помашет,
как видно, будучи в неё давно влюблён.
и маша почтальону тоже машет.

всё дальше-дальше.
дальше — ничего.

ей ясно, что
жизнь в промежутках сна —
весёлый почтальон с пустым конвертом.
что было в нём заложено письмо,
а может, не было —
никто не знает это.

в истоке дня
мир наливался светом,
как бабочки, в соцветиях пасясь,
овальная туманность андромеды
им ни за чем по сути не сдалась.

Эгвина Фет (псевдоним; настоящее имя — Марина Григорьева) — поэт, редактор, издатель. Родилась в 1984 году в Ставрополе. Окончила пединститут Пятигорского государственного лингвистического университета, кандидат политических наук. Редактор литературного журнала «Балкон» (с 2017 г.). Автор книги стихов «Последних полевых букетов шапки» (Ставрополь, 2018). Живёт в Ставрополе.

* * *

души моей все звери
у кого,
глубоко отпечатались на снеге —
на нём они оставили его,
чтоб удалиться в приглушённом беге.
пойдёшь искать —
мир праздничен и клёв —
труды окончив, бог глядел в окошко,
приучивал зверей и гладил кошку,
их рёв ревел, а лапы рыли ров —
мы здесь, и ночь
нам прыгала на плечи.
седьмого дня он нас очеловечил.
луна от страха поджимала хвост —
обрубок серповидного початка —
сквозь облака, идущие внахлёст.
где ты бы, ты бы, ты бы ни была —
зверей моих оставленных душа,
и что бы там не виделось снаружи,
мы в сад вошли, где яблони и груши
краснели в первобытности стыда.

* * *

конечно, эта область из таких,
где мы не сведущи, —
я трогаю твой стих
квадратным слогом
посредине лета,
где одуванчик светится
без света,
в последний раз
рассматривая жизнь.

конечно, я без памяти в тебя —
быть может, это солнце
из огня
нас выбивает нехотя из строя.
и воздуха развеянного страх
ложится вдоль,
опережая горе.

* * *

почему часто сны так скучны в пересказе — вчера
умерщвлённая мысль повстречать тебя где-то случайно
будит редкой снежинкой, скользнувшей за ворот, шнура
кто-то резко потянет стальную оснастку, и разве
лязгнет в синем ковше, расписавшем на небе тела
и астральные знаки, споткнувшись о лунные лазы.
человек на луне, на луне у него есть дела,
и луна наблюдает за ним немигающим глазом.
европеец с болонкой, как с грелкой под мышкой, застыл
у воды, потому что он сам из воды, как ни странно.
машет женщина красным платком из больной темноты,
белый катер уносит её в постсоветские страны.
ночь ползёт по стеклу, и тигровое тело рычит:
настоящее прошлое нами едва завладеет.
оставляю тебя в недосмотренном сне, позвучи
Agnus Dei и чем-то ещё амадея.

Александр Шевченко

Рассказы

Суррогатный отец

Я направил в издательство сборник рассказов. Потом звонил, напоминал о себе, но всё как-то мимо. Через пару месяцев, когда я уже почти об этом забыл, звонит мне мадам, поевшая, видно, собак в книгоиздательстве, и говорит:

— У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая... ну так, нормальная. Хорошая: книжку вашу мы опубликуем.

— Ух ты! Спасибо! — отвечаю я и мысленно уже напиваюсь.

— А теперь нормальная новость: вы знаете такого писателя — Иван Clash? Известный такой молодой автор.

— Ну конечно! Модный. И продаётся хорошо.

— Вот-вот. Продаётся. Поэтому мы ваш сборник выпускаем под его именем.

— В смысле? А я что... А он?..

— Не переживайте, с Иваном всё уже согласовали. Он прочитал сборник, всё одобрил...

— Да что вы?

— ...Сказал, что он бы многое написал иначе, но и так тоже подойдёт.

— Ну, спасибо, конечно, но...

— А что? По-моему, лестно.

— Погодите. А как вы себе это видите? Вы печатаете сборник, все зачитываются этим Клэщём, а я, как городской сумасшедший, говорю всем: «Это я на самом деле написал! Я!»

— Послушайте, Максим.

— Денис.

— Ну, Денис. Вы же молодой автор, вам не гонора надо набираться, а опыта.

— А как же авторские права?

— По договору вы передаёте все права издательству, мы вам гонорар платим. Тридцать тысяч, между прочим.

— Нет, но автор-то я. Я должен быть на обложке.

Александр Шевченко родился в 1989 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова. Работает корпоративным юристом в одном из крупнейших международных ритейлеров. Печатался в журналах Homo Legens и «День и Ночь».

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Денис, с вами на обложке мы ни одной книги не продадим!

— Нет, я против. Извините.

— Ну и вы меня извините, но Иван уже изъявил желание быть автором сборника.

— Вот пускай и напишет себе свой сборник, он же писатель. А права я вам не отдам, и если вы опубликуете сборник, я пойду в суд.

— Нет, не пойдёте. Вы уже передали нам права. Мы вам почтой направили договор, там всё написано. И деньги, кстати, тоже отправили.

Что характерно, в эту же секунду у меня тренькнул телефон. Пришло тридцать тысяч. Проверил электронную почту. Никаких договоров.

— Деньги действительно пришли, а вот договора на почте нет.

— А по-вашему, такие вещи отправляют по электронке? Мы официальной направили.

— И сколько она ко мне идти будет? Полгода?

— Зато не потеряется.

— Тоже не факт. Я его не подпишу.

— По условиям договора, если вы приняли оплату, значит, вы со всем согласны, то есть и права передали.

— Я не приму оплату.

— Уже приняли.

— Верну.

— Возвращайте.

— Хорошо. Скажите реквизиты.

— Что-то не могу их найти. Давайте я, как найду, скину вам их по почте.

— По электронной?

— Денис, конечно же, нет. Такие вещи по электронной почте не отправляют. Ну, всего вам доброго. Поздравляю!

На меня как будто голубь нагадил. Я вроде как должен радоваться, но на голову-то, извините, наделано.

Этот разговор меня обескуражил, а потом разъярил, а ярость побудила к активным действиям. Я решил готовиться к суду и распечатать всю переписку с издательством. Она, правда, состояла из одного письма. Это было моё письмо, в котором я прошу их почитать мой сборник и найти возможность его опубликовать. Вот они и нашли.

Затем я искал способы вернуть эти проклятые тридцать сребреников, но даже когда откопал какие-то реквизиты, деньги вернулись ко мне обратно. Это был единственный раз в моей жизни, когда я увидел, что пришли деньги и выругался.

Я поехал в издательство и пытался вернуть деньги им через канцелярию, но понял, что принять их, может быть, и примут, но доказать свой возврат я потом не смогу. Уж больно ушлая тётка сидела в канцелярии.

Я написал в соцсетях самому Клэшу, но тот был уже за облаками и воплей моих не услышал.

Через месяц я получил по почте договор, который был составлен по методике написания смертных приговоров. Он гласил, что пока гонорар у меня, все мои попытки бороться будут выглядеть как недобросовестность, мошенничество и вообще подлость. Этими деньгами меня пригвоздили к обязательству молчать об истинном происхождении моих рассказов, как о еврейской крови в жилах штурмбанфюрера СС. Уверенными шагами я двигался к унынию. Когда же я увидел в книжном магазине

сборник своих рассказов, на обложке которого красовался Иван Clash, я понял, что мой путь пройден. Уныние достигнуто.

Я чувствовал себя как мать, у которой цыганка украла ребёнка и воспитала как барона. Или, наоборот, как будто я суррогатная мать (или отец), а мой ребёнок теперь — сын богатых родителей и живёт в тепле, ласке и носит бархат. Бродя от книжного к книжному и слушая восторженные отзывы о новом сборнике Клэша («Ищите что почитать? Вы читали новый сборник Клэша? Почитайте, он классный!»), я стал задумываться о причинах своей грусти. В чём истинная цель автора? Получить признание или донести свои мысли массам, и не важно, чьими устами.

Даже мои друзья не верили, что рассказы на самом деле написал я. Папа не верил совсем, мама не верила чуть-чуть. Признавали какое-то сходство стилей, но это же ни о чём не говорит. За мной оставили право на вполне достойное подражание гению этого Клэша.

— И потом, — утешала мама, — что для тебя важнее как для писателя: собственное признание или признание твоих идей?

— Смеёшься? Конечно, собственное!

— Вот он! — прокомментировал папа. — Совесть нации!

А потом мой сборник номинировали на премию «История года». Это престижная премия, за которую борются авторы крупной и малой прозы. Иван Clash, хоть и довольно именитый автор, ещё не устаивался такой премии, поэтому собирал уже несколько урожаев с моего сборника. Я возненавидел его.

И вдруг телефонный звонок:

— Это вы его довели?! — говорит знакомый когда-то голос.

— Кого? Кто это?

— Это из издательства. Мы с вами общались про публикацию. Звоню по поводу Клэша. Своим шантажом вы довели его до ручки. Он отказывается идти на вручение премии. Он в депрессии, ему стыдно, как мы поступили с вами. А ведь это вам должно быть стыдно! Ведь вам заплатили нешуточные деньги, — напирала издательша.

— Кто ж станет шутить над такими деньгами? Никому и в голову не придёт.

— Чего вам ещё-то надо?

— Я вам уже говорил. Но это не я его шантажировал. А то, что он убивается сейчас, так я только рад, пускай. И вообще будь он проклят. Я уже месяц сплю на зарёванной подушке.

— Так. Собирайтесь и приезжайте в издательство, оттуда вместе поедem к Ивану. Адрес издательства вы знаете: околачивали у нас пороги.

— Я туда больше не поеду.

— Не капризничайте, Максим!

— Денис.

— Да какая разница! — уже буквально крикнула издательша.

— Если я вам нужен, пришлите за мной машину.

— Вам не кажется, что это уже перебор?

— Не кажется. Ну, или пускай там ваш Клещ повесится, пока вы деньги экономите. Под чьим вы тогда именем будете публиковать неизвестных гениев?

— Хорошо, адрес!

— Я пришлю вам его почтой. Голубиной.

Издательша-издевательша заехала за мной на такси эконом-класса, открыла заднюю дверь и гаркнула оттуда, чтобы я садился. Я сел, и мы поехали утешать безутешного гения.

— Так, сейчас войдём, скажете ему, что вы очень рады за наш общий успех. Общий, ясно?

— Слушайте, я хоть и поехал с вами, признаться, уже перестал понимать, зачем вообще мне это надо, — ответил я.

— Вы что, денег, что ль, хотите?

— Нет, признания. И только потом денег.

Мы позвонили в дверь. Clash был пьян. Издательшу он узнал, а про меня сказал:

— А это кто?

— Тот, кому ты обязан своей славой! — выпалил я. Да, я репетировал эту словесную пощёчину, но она как-то съехала.

— А, ты... Пойми, у меня к тебе претензий нет.

— Слава тебе, Господи, — ответил я и поклонился.

— А вот вы... — сказал Clash, грозно глянув на издательшу. — Это вы выдумали всю эту схему! А расхлёбывать мне.

— Как-то не поворачивается ничего вас жалеть, — сказал я.

— Так, молодые люди, давайте будем благоразумны, — начала издательша. — Я представляю коммерческую организацию, её цель — зарабатывание денег. Я отвечаю за то, чтобы это происходило самым эффективным образом. И вот эти ваши нюни, что одного, что второго, мне, честно говоря, не интересны, потому что ни то, ни то не приносят никакой выгоды. Это понятно?

— Всё, я сваливаю, — я повернулся и пошёл прочь.

— А ну стоять! — рывкнула издательша.

— Я сделаю признание! — сказал Clash, достал телефон и открыл соцсети.

— Щас! — издательша вырвала у него телефон, как это обычно делает коршун с ягнёнком из стада.

— Но мне неловко! — вскрикнул Clash.

— Объясняю, почему не надо этого делать. Если ты, дорогой Ваня, сделаешь такое признание, тебе либо не поверят, либо поверят, но не поймут, зачем вообще тогда всё это было, лишат премии, осрамят, и ты потеряешь часть аудитории, это к бабке не ходи.

— Попадос, — прокомментировал я.

— А вам, Денис, почему не стоит дальше усердствовать с вашим шантажом... — издательша повернулась ко мне.

— Да я не шантажировал его. Иван, подтверди!

— Подтверждаю, — всхлипнул он. — Это я сам себя накрутил.

— Как бы там ни было, Денис, даже если вы защитите своё доброе, но никому не известное имя, то вас запомнят как бывшего литературного афроамериканца, который решил сбросить цепи и оскандалился в попытках прославиться. Так что это будет ваш последний сборник. Не вариант, согласитесь. Не будьте смешны в наивном желании написать своё имя на книжке. Пишите дальше, и всё у вас будет.

Похоже, что ведьма была права. Мы с Клэшем переглянулись. Ему-то было легко строить из себя жертву. А что оставалось мне? Моя роль, как я её понимал, состояла в том, что я — совесть этого Клеща, пока нахожусь в комнате. И как только я уйду, издательша так его обработает, что он забудет об угрызениях совести как о классе. Когда на этой очной ставке она узнала, что я никак и ничем его не шантажировал,

стало понятно, что меня уже можно и отправить. И если бы я переступил этот порог, всё было бы кончено. Требовался какой-то последний решительный шаг, резкий, как выстрел. Я обычно не быстро соображаю, но тут мне пришла в голову мысль.

— Верните мне один рассказ, — попросил я.

— Что? — спросили меня хором.

— Один рассказ. Скажите, что я ваш приятель, и это мой рассказ, а вы закинули его в сборник, потому что такой уж вы добряк. Это всё, что мне нужно. Никаких денег, ничего. И ваша совесть будет чиста.

— Прикольно. Я ок, — сказал Clash.

— Так, стоп! — прервала нас издательша. — Мы этого делать не будем.

— Да ладно вам. А какой рассказ, кстати? — уточнил Clash.

— У меня есть время подумать?

— Да, — кивнул Клеш, вполне довольный таким исходом.

— Да нет же, Денис, нет! Так дела не делаются!

— Иван, я напишу вам.

— Договорились!

— Не договорились, нет! — кричала мне вслед издательша, но я уходил, на одну половину торжествуя, а на вторую думая, какой же выбрать рассказ. Но как выбрать один рассказ, когда они у меня все такие хорошие? И вот что я придумал.

Вечером того же дня я написал Клешу в соцсети:

— Я определился с рассказом.

— Какой выбрал? — отозвался Иван.

— А заявите просто «один из». Это избавит вас от уточнений.

— Прикольно, я ок!

Иван Clash оказался честным парнем, хоть и пешкой в этих играх. Он не просто написал на своей странице, что один из рассказов написал я, и объявил об этом на вручении премии, даже назвал моё имя. Это, как ни странно, очень хорошо ему аукнулось. А уж мне-то как аукнется, надеялся я. Издательша, конечно, бухтела, но все остальные стали говорить, до чего ж хороший человек этот Clash, как продвигает молодых.

А моя военная хитрость вернула мне не один рассказ, а все сразу: читатели гадали, какой же из них написал не всеми известный автор, а я. И для них таким рассказом мог быть... любой.

Мои друзья поверили в меня чуть больше. Мама тоже. И даже папа. Когда я спросил его, какой рассказ, по его мнению, написал я, он выбрал один и сказал:

— Вот! Мне кажется, ты написал вот этот. Он как-то заметно слабее других.

Мечта

Даша всю жизнь мечтала о Лондоне. Ещё до того, как впервые туда попала. Её папа часто ездил по работе и слал из Лондона открытки. Самая любимая из них всегда лежала у Даши под стеклом на письменном столе и кочевала вместе с Дашей как талисман. На чёрно-белой картинке был изображён Биг-Бен, и от него по Вестминстерскому мосту ехал красный двухэтажный автобус, единственная цветная

деталь на фото. А потом Даша побывала в Лондоне и оставила там сердце. Это была не только столица мира с миллионом возможностей самореализации, но ещё и очень уютный город. Там было всё: музеи, театры, выставки, галереи, пабы, рестораны, на улицах всегдалюдно, кипела жизнь, пахло вкусной едой. Там хотелось жить.

А вот Гоша в Лондон не хотел. Нет, сгонять на выходные или в отпуск — ок. Но так чтоб прям жить — нет. Не обязательно же человеку иметь именно такую мечту. И он даже не обязательно из-за этого дурак.

И эти двое встретились. Нет, не в Лондоне, а в Москве, сидя за партой в институте. Влюбились. Сошлись. А потом и вообще съехались. А Даша всё мечтала. Только теперь за двоих. Что они оба переедут в Лондон, найдут там учёбу, работу, жильё. Мечтала за двоих, потому что Гоша не мечтал. Они сделали себе годовую визу и съездили по ней четыре раза. А Гоше как об стенку горох. Не мечтает.

Когда они были там в очередной раз, уже после выпуска, они встретили своего однокурсника Рому, который там уже жил и работал. Они сидели в пабе, и Рома рассказывал о Лондоне, о своей работе, о своих повседневных делах. Все они, даже самые обыденные, для Даши звучали как что-то особенное, потому что происходили здесь, под этим небом. Казалось, даже ежедневная дорога до работы не могла быть скучной или утомительной, пока проделываешь её на красном двухэтажном автобусе.

Даша и Гоша полумолча доехали до гостиницы, вошли в номер. Гоша сел в кресло, стал разуваться. Он вдруг понял, что может потерять её. Именно «вдруг», потому что его озарило, словно он до этого напрочь забыл о такой способности женщин как «бросать мужчин». Его предыдущая девушка изменила ему и только потом бросила, и он надолго утратил веру в женщин. Даше он сперва тоже не доверял, ждал подвоха, а она всё никак. И поскольку в душе-то он верить очень хотел, он в итоге ослабил оборону и сдался. И забыл о такой опции мужчин как «терять женщин».

В это же самое время, в полутора метрах от него, Даша громко открыла воду в раковине, вместо белого шума, чтобы подумать, и села на край ванны. Что-то в ней ломалось. Она думала почти то же самое, что Гоша. Что он может потерять её. С этой его безынициативностью, вялостью. Он же ничего не хочет. Не хочет никуда двигаться, развиваться. Неважно было, что Гоша и работал и учился чему-то параллельно. Это всё не важно, пока он продолжает делать это в Москве.

Они оба молчали, готовились ко сну. Не разговаривали, но оба хотели и говорить, и спорить, драться словами. И достаточно было любого повода. Искры. Любого слова. Она ждала, что Гоша скажет что-то вроде: «Да... Ромка-то наш совсем скучный стал». И вот тогда бы она взорвалась. Встала бы на защиту и пошла бы в контратаку.

Но Гоша почему-то это чувствовал. Чувствовал, что будет так. И он сдержался, ничего не сказал. И не спросил, как мужчины любят спрашивать: «У тебя всё нормально? А чего грустная?» Это как зажигать спичку и заглядывать в бензобак, пытаясь разузнать, нет ли там чего горючего.

Легли спать, проснулись, остыли, погуляли ещё денёк и вернулись домой.

А через месяц Даше написал этот их однокурсник Рома, что у них в фирме есть вакансия, вдруг она хочет попробовать. И дальше она действовала с таким чётким расчётом, какого, наверное, сама от себя не ждала. Объявила Гоше, что её направляют в командировку, в Лондон, что она счастлива и всё такое, «но ты не скучай, это всего на пару недель».

Гоша проводил Дашу в аэропорт, вернулся домой, в их совместно нажитую съёмную квартиру. Погрустил немного. Понервничал, как полагается, когда ждёшь смски «приземлились». Решил отвлечься на что-то муторное и скучное. Стал наводить

порядок, протёр пыль у себя на столе, у неё на столе. Что-то показалось ему странным. Он остановился и, как в детской игре, пытался понять, какой предмет убрали из ряда? Что поменялось?

На столе зияла дыра, словно его пробили кувалдой. Нет открытки. С Биг Беном, автобусом и всем этим Лондоном. Странно.

Дождался смски «приземлилась», набрал. Номер не ответил.

Звонил весь день.

Номер не ответил.

Гоша бросился в соцсети, но понял, что Даша его заблокировала. Не писать же этому Роме, в самом деле? Да и номера его у Гоши не было. Переборол себя, нашёл Рому в сетях, попробовал написать. Тоже заблокирован.

* * *

С тех пор каждый отпуск и даже удобный выходной Гоша ездил в Лондон. Тратил на него уйму денег, обновлял визы снова и снова, изучил город вплоть до закоулков, но почему-то так его и не полюбил. Даже наоборот. Но продолжал.

Даша прошла собеседование, стала работать с Ромой. Сработались. Сошлись. Съехались. Поженились. Сделали ей вид на жительство. Её мечта сбылась. Потом она родила ребёнка и подолгу гуляла с коляской в королевской оранжерее Кью-Гарденс. Там они с Гошей и встретились как-то осенью. Повсюду золотые кроны, запахи, разнотравье: всё для объяснения в стиле Тургенева.

Гоша увидел её, и у него зашумело в голове. Он много раз представлял себе этот разговор, как он увидит её и скажет: «За что ты так со мной? Хоть бы слово. Ведь я же с ума сходил (да, наверное, и сошёл), а ты...» — и тут резко развернуться и уйти прочь и, конечно же, навсегда. Всё это он в разных вариациях тысячи раз прокручивал в уме, а тут оказался не готов: он только что съел мороженку, шёл, дышал осенними клёнами, дубами и ещё какими-то совсем не московскими деревьями и даже улыбался. Ему было хорошо.

Да и она представляла себе этот диалог, и не раз, думала, что ответит ему:

«Нет, ну а как надо было? Потихоньку? Растянуть удовольствие расставания, да? Ну, извини дуру. Я ж на то и дура, чтоб ничего не понимать, зато ты у нас — даааа. Найдёшь себе умную. Вон их сколько!»

Но и она оказалась не готова. Читала книжку, пила кофеёк, качала коляску, а в коляске малыш мурлыкал что-то во сне. Так что когда она увидела Гошу, конечно, тоже всё поплыло перед глазами.

Проходя мимо её лавочки, Гоша кивнул и сказал: «Привет». Не останавливаясь и не акцентируя, словно с соседом поздоровался, пошёл дальше. Она ответила: «Здравствуй». И вернулась к книге. Но буквы растекались по странице.

Вечером она купала ребёнка, лилась вода, как белый шум, чтобы подумать, и Даша долго редела вволю. Решила на всякий случай больше не ходить в Кью Гарденс. Что, впрочем, зря, потому что Гоша отгулял свой отпуск, вернулся в Москву и больше никогда в жизни не приезжал в Лондон.

Сергей Маркелов

Разные виды снега

Рассказ

Он затаился, выдохнул, затаился ещё, посмотрел в заиндевшее окно, по которому набухшими венами растеклась вода. Потрепал распутившийся бутон рукава, запутал торчащие зелёные нитки, расковырял вязаную рану. По помещению стелился дым, шумела в кране вода, под потолком гудели влажные, словно скрученное мокрое полотенце, трубы. На окнах не было ручек.

Он пошевелил языком, достал из-за щеки растворившиеся почти таблетки, сплюнул белую кашу в раковину. Стряхнул следом пепел. Загнал всё пальцами в слив.

- Тоже выплёвываешь?
- Да плохо уже. Вялый становлюсь.
- Дашь ещё?
- Держи. У меня есть. Я ж припрятал.

Он взял из протянутой пачки, прикурил заострившимся угольком сигарету, затаился быстро-быстро.

— Оставишь мне после выписки, если что?

— Конечно, не жалко. Я тот раз лежал, мать мне два прислала, блока, так у меня ещё... Тут раньше другая на посту была, мы толпой курили, а потом одна тут ночью зашла, покурила. Они что думают, что не будет, а запах же есть, и закрывать стали... Ты чё?

- Не слышу.
- Ты кран-то... выключи.
- Не, показалось. Так это армянские, что ли?
- Осталась пачка, да. Я дома как с армейки ушёл, товарищ у меня возил их, я продавал. Есть и армянские, и арабские, и наши. Потом кроссовками занялся. Если что, кстати, нужны будут, ты пиши потом, телефон запиши. Ваня там...
- Помню. Ну что, по третьей?
- Не, пойдём. А то прибежит, отберёт шас.

Сергей Маркелов — журналист. Родился в Мурманске, окончил филфак Петрозаводского государственного университета. Участник форумов молодых писателей 2013 и 2014 годов. Живёт в Карелии.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 8.

Они сунули сигареты под струю воды, выкинули хабарики в ведро с надписью: «Отходы № 6». Вышли в коридор. Люди там слонялись, словно подпирали плечами жизнь, лица у них были как слякоть. Одни трясли руками, другие — головой, третьи, сидя в кровати, не вставали и тряслись. За стеклом, кутаясь в вязаную жилетку, сидела медсестра. Квадратные очки в оправе цвета высохшей десны висели у неё на кончике носа, как прицел. Она то целилась через него в журнал, выводя в нём дежурные слова: «...На контакт идёт неохотно, агрессивное поведение не проявляется, признаков эмоциональной лабильности не замечено...» — то смотрела вверх, на больных. Из-под журнала торчал угол сканворда с заполненным словом: *окани*. По телевизору шла «Адская кухня». Облокотился на подоконник и глядел в окно человек, заросший бородой и волосами, с желтоватой шелушащейся кожей. Глаза его впали, покраснели, щёки тоже, он был осунувшийся и похудевший.

— Давно он тут?

— Месяц уже.

— Не говорит?

— Сам с собой только. Сидит, смотрит в окно. Весь день. Спорит вот сейчас с горшком цветочным.

— И чё у него?

— Хэ-зэ, шиза...

— Да тревожное у него, — влезла в разговор слушающая вполуха санитарка.

— Такое, прям, — он поёжился. — Я вот, знаешь, наверное, выйду и пить брошу.

— Почему?

— Да что-то неохота опять, голоса эти...

— Правильно, Вань, — поддержала санитарка. — Алкоголь, он же ещё никого до добра... Михална, у тебя ключ?! Эх.

— Пошли накрывать, — на ходу бросила Михайловна.

Они зашли в палату: широкое вытянутое помещение с кроватями и тумбочками вдоль стен, кровати заправлены уютными шерстяными пледами. Минут через десять вошёл человек с вечно испуганным лицом и пустыми глазами, вздохнул, остановился в центре.

— Чего встал?

Он не ответил. По коридору загремели металлические колёса тележки, зазвенели миски и ложки. В палату заглянула санитарка:

— Обед!

Человек вздрогнул, испуганно оглянулся, сказал в пустоту:

— Подожди, — потом прошептал: — Откройте форточку, пожалуйста...

— Чё?!

— Форточку... в палате душно.

— Ты громче-то говори, парень!

— Он говорит: форточку откройте.

— Ага, щас тебе. Идите вон, наливайте компот.

Они пошли за компотом, человек взял кружку и зашаркал следом, продолжая говорить с кем-то:

— Как же... Берег. Снежная каша. Гладил рыжие волосы, паутиной тянул на лицо. Снег мокрый. Берег, снежная каша. Тепло и сыро на губах и в карманах.

— Бла-бла-бла. Почему ты отпустил меня? Почему?

— Ты — почему?

— Уехала? Я тоже думала: почему? На вокзале я волновалась, думала о тебе.

Там пол такой, чёрно-белый, как в морге, ха-ха. И я загадала, что если через две плитки перепрыгну и до чёрной не дотронусь, то останусь. Прыгнула — мыском задела чёрную. И успокоилась.

— Дура ты деревянная.

— А ты — свинья! Любимая моя свинья. Пёс мой ласковый.

— Пёс твой...

** * **

Стояли крепкие крещенские морозы. Мы хорошо накачались коньяком. Домой я шёл вдоль дороги, тогда ещё не отремонтированной, впервые в жизни земля уходила из-под ног. Рядом завыл тормозами и закричал в громкоговоритель полицейский уазик: «Оп-па на, он же на ногах не стоит!» — они выпрыгнули из машины, подхватили меня, усадили на заднее сиденье, повезли. По дороге я стрельнул сигарету — те вежливо угостили, и я, представляешь, нагло закурил в машине: это ж конец нулевых был.

Меня привезли в изолятор временного содержания, а оттуда повезли в «обезьянник». Посадили в узкую продолговатую камеру со скамейкой во всю длину и парнем на ней. Я стрельнул у него сигарету. «Последняя», — прищурился он и оставил покурить.

Напротив камера просторнее, там сидели двое: буйный алкаш полночи грозился написать в газету об ужасном отношении и нарушении его прав, просился в туалет, нассал в камере; второй тупо спал на скамейке. В ещё одну стену были вмонтированы две массивные металлические двери.

Сокамерника моего привезли за какую-то хулиганку. Время от времени заглядывал дежурный, орал на алкаша из соседней камеры, откуда-то доносились пьяные крики. Спать там было неудобно. Мы сидели вполоборота, облокотившись на стену, свесив ноги с узкой зелёной скамейки. Потом привезли парня с девушкой. Нас, парней, переселили в обоссанную камеру. Девушку — в нашу, чистую. Алкаша... Не помню уже, куда.

— Короче...

— Утомил?

— Да.

— Ты знаешь, что это такое?

— Обезьянник? Как-то бог миловал.

Там время тянется бесконечно. «Обезьянник» — это небо над головой, которого не видно; это часы, которые у тебя отобрали; это телефон, по которому ты не можешь позвонить; это сигареты, которые лежат в метре от тебя, но ты не можешь до них дотянуться; это жизнь, которую у тебя отняли и над которой ты больше не властен; это, в конце концов, малюсенькое окошко под потолком, в которое падает дневной свет, — и только так ты понимаешь: наступило утро, сменился дежурный, открылась железная дверь, из неё вышел довольный мужик, а тебя забирает на дознание опер, но ты думаешь, что он ангел, что сейчас, наконец, он дарует тебе долгожданную свободу, пожмёт руку и скажет: «Иди, сынок».

Он сажает тебя в машину, везёт по зимнему светлому городу в буханке, освещённой лучами солнца, которое ярко светит в заиндевелившие окна, ты шуришься, улыбаешься оперу, улыбаешься солнцу, улыбаешься водителю, улыбаешься этому миру и теплу, опер привозит тебя в отделение, сажает за стол и спрашивает: «Ты пёрднул?»

Все, кто сидит в кабинете, смеются, а ты из своей только что вальяжной позы сжимаешься в жалкую вату и растекаешься в ничтожный, бесправный человеческий кисель, пока они издеваются, глумятся: «Ты пёрднул? Или обосрался? От страха, что ли? Воняет-то как, чувствуете?»

Всё кажется таким нереальным и таким знакомым одновременно. Ты вроде уже двадцати с чем-то летний, вроде всё уже позади, но снова то ли стоишь в туалете с одноклассниками, которые через секунду пробьют тебе в грудь и в челюсть, возьмут за волосы и приложат головой об унитаз, то ли где-то на улице двое, казалось бы, взрослых парней с района зажмут тебя на выходе из магазина со словами: «Деньги есть?» — и ничего личного, и так далее и тому подобное; и это будет продолжаться по кругу со звериной тоской и холодным безразличием пистолета на бедре до тех пор, пока кто-то из них не спохватится: «Да это холодильник воняет, открой, понюхай».

Опер откроет, понюхает и скажет: «Извини, братан».

Молча уйдёт, молча вернётся, кинет твои вещи и скажет: «Пока свободен».

Ты выйдешь на улицу, там будет светить сквозь мороз масляное солнце, будет оно слепить, отражаясь от снега, будут идти люди, будут ехать машины, ты будешь очень сильно хотеть пить, но это его «пока» будет куда сильнее «свободен». Остальное докрутит, домыслит, дофантазирует мозг. Ведь не подойдёшь же, не спросишь: «Что значит *пока*?» Ведь он сказал «свободен», этого достаточно, или нет, или это и есть та Достоевская свобода, с которой мы не знаем, что делать, которую мы либо сломаем, либо пропьём, и совсем другое дело, когда есть это весомое «пока». Мозг цепляется за него, потому что для человека настоящая свобода — это смерть, человек боится её, чурается её, бежит от неё в «пока», в резиньяцию. В любовь, наконец.

— Ты же та-ак красива, как вязь Кор-р-рана.

— Ты, конечно, петь совсем не умеешь. Тебе одному это нравится. Ты начинаешь петь, у тебя улыбка до ушей, ты как деревенский дурачок становишься, довольный-довольный.

В общем, мы познакомились с Леночкой в декабре. Шёл дождь. Это на севере, где снег триста дней в году. Было влажно, тревожно и одиноко. Лейтмотивом месяца стала песня: «Не умоляй меня остаться, прости за всё, любовь моя», — и непрекращающееся похмелье. Я сидел на подоконнике в университете, прогуливал пару и читал. Был погружён в книгу, а она выдрала меня с корнем, с ошмётками мяса — просто не прошла мимо. Я пошёл за ней в кабинет, где, наконец, разглядел её, врубил на полную мощь свои обаяние, юмор и непредсказуемость. У неё от меня мокли труссы, у меня звенело в ушах и промежности после наших встреч в её кабинете. С волчьей выдержкой я окружал жертву.

Я был молод, безбашен, носил чёрную кожанку, грязные джинсы, сапоги на тонкой подошве, во внутреннем кармане — фляжка. Повидавший мир и уставший. Мне до ломоты хотелось простого чего-то и обыденного. Квашеной капусты с брусникой на ужин, рюмку водки по выходным, дачу, велосипед и дерево под окном. В голове проносились образы семейных застолий, дети, кровати, пелёнки и распашонки, праздники в кругу семьи, заботливые бабушки и дедушки, семейные фотографии, совместные поездки в отпуск, общие смех, плач и сопли со слюнями. И тут она, из обеспеченной полной семьи, живущая в элитном районе, идеальная настолько, что вместе со своей идеальностью со свистом вписывалась в мои представления о будущем семейном счастье. И я нарисовал себе идеальный мир и начал его воплощать.

Знаешь, года два назад, да. Я начал писать рассказ. Не дописал. Теперь уже не найти. О том, как семья собирается на даче: они что-то празднуют, заводят спор, спорят до иступления, с деверем или сватом — я в этом не разбираюсь, — мужики идут в баню и там тоже спорят, в этот момент от ветра разваливается дом. Все понимают, что в доме остался ребёнок. Рассказ оказался пророческим: дом к тому времени уже трещал и осыпался от малейшего дуновения ветра, дети страдали.

Пару месяцев назад я серфил квартиры в московских жилых комплексах. Современные урбанистические райки манили светом огромных окон, блеском ярких фасадов, зеленью травы на террасе, красивыми планировками, доступностью инфраструктуры. Я смотрел и вдруг понял, что в этих бесконечных счастливых семьях все счастливы одинаково и ни одна квартира на плакате не отличается от другой. И ничего этого у меня не будет. Мне стало страшно. И страх стал нарастать.

Но тогда, в ночном номере гостиницы, нацеловавшись, натрававшись до изнеможения, мы записывали видеосообщение нашей будущей дочери под немые кадры «Дирижёра» Лунгина. Всё летело, несло, рвалось наружу. Мы занимались сексом, не щадя ни времени, ни сил. Словно у нас его могут отобрать, этот секс.

— *Знаешь, я никогда не думал, что всё это произойдёт вот так. Мне показалось, ты уснула тогда счастливая.*

— *Я?*

Вечером, перед моим отъездом в Москву. Помнишь? Ты положила голову на колени, я нюхал твои волосы. Они пахли зимой. Пересохло во рту. Мы ели снег. Ты сказала: «Ребёнок. Тебе нравится со мной играть». Я чуть не опоздал на поезд.

Ты сказала: «Можешь пообещать, что мы всегда будем говорить друг другу правду?» Я ответил: «Хорошо, я обещаю».

И соврал.

— *Помню. Ты играешь со мной?*

У неё чёрные вьющиеся волосы, большущие глаза, стройные, обтянутые чёрным капроном ноги. Интеллект так и прёт. Мы гуляли по Парижу, я шутил, она много смеялась. Нотр-Дам, небольшое кафе, официанты, напевающие отрывки из «Тоски» или «Кармен», вино, луковый суп. Скрамная, чуть стеснительная, любопытная, очень умная, приезжает она. Вино, устрицы, снова вино. «Креп сюзет. Но креп сюзет? Вай нот? Ю маст», — насадают официанты.

Ночь. Мы идём вдоль Сены. На траве у Эйфелевой башни я курю American Spirit. «Beer, wine», — насадают темнокожие барыги. Так ловко она тогда придумала. Сказала им: «Я не пью», — и они отстали.

В автобусе взяла меня под руку, положила голову на плечо. В гостинице поднялась в номер. Смотрела на меня из выходящего во внутренний двор окна своего номера, пока я курил. Задёрнула шторы.

В аэропорт мы ехали на такси. Она благодарила меня и смеялась. Через полгода опубликовала в фейсбуке фотографии из отпуска, где с мужем, счастливая, бороздит какое-то там морское побережье.

И знаешь, я ведь тогда, в Париже, вёл эту подвыпившую, безусловно умную, слушал её рассказы о семье, отце, муже и о том, как же хорошо идти с мужчиной,

который не делает двусмысленных намёков, слушал её недвусмысленные намёки и совершенно искренне думал о Леночке, мечтал погулять там с Леночкой, пожить там с Леночкой, заниматься там любовью с Леночкой, а потом возвращался домой и начиналось...

Американское детство. Гармония. Мармония. Зазония. «Мы все-е родили-ись, чтобы завтра сдо-охнуть!» «Крематорий» же это? Апокалипсис ждёт. Не так. Блин, я же квитанции забыл. Или не забыл? Нет. Оставил. На холодильнике. Надо же заплатить. Ладно, потом. Блин, прикольный фильм. Чё ж я такой сентимент... Текст же, ёпт! Где это письмо? Про апокалипсис, значит. Апокалипсис не нравится. Пропустил букву! Э, не-ет, тут я правильно написал. Ещё напишет, что неправильно потом, да. Да кто там: «...Опять? Алё?! Да, привет. Не-а. Там ошибка у вас в тексте... А, да? Ладно, ща напишу ему. Да. Угу. Слушай, Алексей, я щас занят сильно. Давай, ага». Ладно, фильм потом досмотрю. Текст. Где он там, да блин. Вот. Папка. Фото. Не в ту папку закинул. Папку, что ли, им сделать? Сделают, нафиг, сами. Где там этот кусок? Да что ж ты опять в начало? Скопирую из заметок. Я ж удалил. Блин, задолбал этот «Телеграм». Надо замыютить. Да хорошо! Чё они там пишут? «Ща нести сделаю». Блин, нести. Автоподбор чёртов. Новость же. Редактировать. В селе... жители сами... построили... В селе. В посёлке же. И географию надо ведь. В калужском. В херужском. Регламент, хрен когда прочитаю этот я регламент. Да что опять: «Аллё? Привет, любимая... Да блин, чё же ты раньше не сказала? Задания делаю. Ладно, ща заберу». Так, чё там? Апокалипсис... Ждёт. О, точно, наступил апокалипсис, а не ждёт. Не, пусть ждёт. Так, где этот... Ладно, потом. Макс же в саду ждёт! Ща Анатольна названивать будет... Где шапка-то? Ленин гриб. Круто. Курёхин. Поймёт же он? Да поймёт уж. Говно какое-то. Что пишу? Мы на-на-на-на в первый раз... Может, убрать? Грубо, пошло. Мы на-на-на-на в первый раз... Может, убрать? Пошло. Грубо. Пусть так. Или убрать? Я слушал «Сектор газа», «Красную плесень» и «Наутилус». «Наутилус». Типа слушал рок я, а то б не стал таким. Все слушали ведь. Не, фальшиво. Нефальшиво. Капец! Сейчас бы в Турцию, на море. Надо денег накопить. Буду откладывать, в евро переводить, половину следующей зарплаты сразу буду, да. Блин, я же за квартиру не заплатил. Отложил, блин. «Телеграм» опять. Тара-та-та-ра, в первый раз, а ты взяла, обосралась.

— *В общем...*

— *Ты хотел про маму рассказать.*

Пятый день я возвращаюсь из режима ожидания. Нет сна, нет потягушек после сна. Откидываю веки. Утренний озноб. Утро заходит, как сосед за плоскогубцами. Помню, дед после инсульта говорил, что несколько минут вспоминает, кто он, откуда он, и что он делает в постели, только потом начинается жизнь. У меня нет даже этих минут.

Удушливый душ. Тошнота от зубной щётки у последних зубов. Сухая бритва лопатой елозит по щекам. Торчит козлючая борода. Подсыхающий дезодорант скребёт подмышки. Влажное полотенце пахнет больничной койкой. Собрал себя по деталям, как фигурку лего. Выглянул в окно. Вчера ещё было зелено.

Отчим встаёт мужественно. Не кряхтит, быстро одевается, пьёт залпом из бутылки воду, за ним с дивана тяжело стекает белая, с коровьими коричневыми пятнами, собака. «Корове» пятнадцать лет.

Спрашиваю отчима: «Проснулся?»

Он отвечает: «Ну та-а-а», — с финским акцентом.

Я передразниваю. Не мог за двадцать лет по-русски говорить научиться.

Отчим выходит в коридор, затягивает на собаке ошейник, цепляет поводок за ручку двери. Кипятит чайник, нарезает хлеб, сыр и колбасу, пьёт чай, ест, моет посуду, возвращается к собаке, одевается, берёт с полки ключи, ждёт меня.

Я выдёргиваю из шкафа полки одну за другой. Чистой одежды нет. Ищу в корзине с грязным бельём. Слушаю воду из-под крана. Ужасаюсь тому, что это правда, что я стою сейчас в грязных футболке и джинсах, что мне нужно выйти из ванной, спуститься вместе с отчимом и собакой вниз, обнять его на прощание, потрепать за холку собаку, а через пару лет по телефону услышать этот идиотский финский акцент: «Коров-ва у-у-умер».

Долго мне её не покупали: ответственность, то да сё. Думали, я не знаю, что это. Думали, что я не смогу вставать рано утром в мороз, дождь и жару, выходить на улицу, кормить-поить собаку, возить к ветеринару, делать уколы, давать витамины, чесать, мыть, дрессировать, учить командам, подстригать когти, чистить зубы, массировать лапы, покупать хороший корм, найти кобеля, похоронить, когда закончится четвероногий срок.

Мама не помнила, да и откуда ей было помнить, что у меня был уличный Жорик: дворовый ржаво-чёрный пёс, сын похотливой овчарки и кого-то ещё, от кого ему достался хвост колечком. Мы встречались за вечно гудящей щитовой и помойными баками, пока я ел жёлтый снег. Жорик был мне другом, мне было года четыре: «Жорик больше не приходит, кормить нечем», — писала бабушка в начале девяностых.

— *И где он теперь?*

— *Да хрен его знает, где теперь этот Жорик. Сдох, поди.*

Мне всё ещё четыре, папа кормит рыбок. Светящиеся, таинственные аквариумы с молчаливыми существами, водоросли бесшумно колышутся в воде, гудит пузырьками фильтр, плавают разноцветные рыбки, — это мой музей, мои воспоминания, смешанные с зелёной коробкой мозаики (в детстве ударение почему-то было на первое «и») и запахом газет в туалете.

Вот бабушка в цветастом халате, украшенном огурцами, подходит к форточке, оттуда прыгает ей на плечо бело-чёрный кот, с плеча — на пол, идёт по красно-зелёному ковру-дорожке, жрёт треску. Газеты в туалете стелили коту: «Ободрал все углы, постоянно просит есть. Рыба теперь в Мурманске дорогая, я варю ему макароны», — из того же письма бабушки. Вскоре кота усыпит дед. Плакать будет.

Потом у мамы был пафосный такой британец цвета грозового неба, умный и высокомерный. После кастрации трофеи — мышей, птиц и стрекоз — он тащил в дом, хвастался. Больше хвастаться было нечем.

Кот, гад такой, несколько раз сбежал, за что доставалось почему-то мне. В последний раз, когда нас выселяли. То была, наверное, его кошачья месть. Как все нормальные дети, кота я нещадно мучил. То в корзине с бельём закрою, то в стиральной машине — так мы играли в космонавта. Ладно, я играл.

«Я всё обыскал, но кота не нашёл. Мама разозлилась и отвела меня, в качестве наказания, на старую квартиру. Там ещё кое-что осталось, но единственное, на что

можно было сесть, это кресло. Я сел, свернулся калачиком, накрылся своей курткой, так как в квартире было очень холодно, и уснул», — это из школьного сочинения.

Когда нас с мамой выселили из второй квартиры, кота пришлось отдать — жрать было нечего. Кот потом долго встречал нас на улице, обиженно мяукал, уходил. Мама плакала.

Потом у меня была крыса Машка. В одиннадцать лет я сломал руку, тряся дома от страха, мама упёрла строить личную жизнь на дискотеку с подругами, и эта крыса сползла как-то по шкафу, легла на меня, так она меня до утра и поддерживала, разве что не мурлыкала. Потом крыса вернулась с нами в Мурманск, где полтора года подыхала от опухоли: «Мышка умерла», — сказала однажды бабушка, когда я вернулся из школы. Я отнёс её вместе с аквариумом на помойку.

Сколько-то лет назад я отвёз бабушку на кладбище. До этого отвёз деда. Пару дней назад отвёз маму, она, как и загадывала, легла между бабушкой и дедом. Корова, которая будила меня в школу, кусала за пятки, весело встречала, получала звиздюлей за разбросанный по всей квартире мусор, несколько раз болела, пережила с пяток операций, один раз потерялась, оглохла, лишилась зубов и видела тот свет куда чаще, чем другие, лежала в тот день на диване, тихо посапывала, морда у неё была в крови. Хозяйку она пережила.

Теперь я провожаю собаку. Она скулит, дрожит, отчим сажает её в машину. Ветер гонит по двору золотую листву. Наливаются свинцом облака. Машина уезжает. Отчим плачет. Собака даже не оборачивается, падла. Я стою один.

— *В кабинете созда-а-ателя старикашка бог...*

— *Опять? Играешь со мной?*

— *Извини.*

Это было после вечеринки. На именинницу снизошло. Леночка не хотела идти. Я — хотел. То ли сбежать, то ли спрятаться. Днём Леночка снова угрожала разводом, барабанила по стёклам, послала всех, укуталась в плед, легла успокаиваться. Я в такие моменты обычно не знаю, что делать. Взял детей, ушёл. Когда вернулся, Леночка собиралась, примеряла одежду. Для неё такие вспышки — как помутнение, для меня — часть большой истории. На её месте я бы давно всадил нож себе в сердце.

Я уговорил её надеть косуху поверх боди с глубоким декольте: «Это ж рок, ё-моё!» Идти я побаивался, я немного побаиваюсь вечеринок с Леночкой. Во-первых, она непредсказуемая, во-вторых, если мы вместе выпиваем, случается неконтролируемое безумие. Леночка пьёт мало, ребёнок во мне несильно её радует.

Мы вышли из дома. Купили цветы, упаковали подарок. Денег снова не было, я отрыл нетронутую записную книжку, взял с полки первую попавшуюся книгу и даже фразу придумал для именинницы: «Тебе для мыслей и для записи мыслей». Показалось остроумным.

Хотелось безумия и веселья — настроение, похожее на смесь счастья и нервозности. Были танцы. Компания ещё не начала раскрепощаться, а в воздухе уже витало что-то постороннее.

— *Я не помню, когда ты пришла?*

— *Вы танцевали. Я увидела вас сразу, хотела уйти, потом решила остаться.*

Было весело и пьяно. Как в молодости, когда мы только познакомились. Помню чёрное платье, нарисованную слезу на щеке, безумную рыжину волос. Ты утащила меня в гримёрку, заставила раздеться до трусов: «Всё ради искусства».

На танцполе я поднимал на руки Леночку. В гримёрке — тебя. Взвешивал я вас, что ли? Свет мерцал на танцполе или не мерцал. Люди там были или не были. Было много алкоголя, было весело, очень весело, и очень-очень весело. Или не было? Мы ходили курить, потом опять ходили курить, я поставил тебя танцевать с Леночкой, потом ты положила мне голову на плечо и сказала: «Не в этой жизни».

Подошла Леночка: «Ты хочешь остаться с ней?» Я промолчал в ответ. Я всегда говорю, но чаще молчу правду.

Леночка уехала. Ты переделалась. Утро, диван, дорога, утро, диван, дорога. Самый крепкий брак...

* * *

Кровать, заправленная бархатным пледом. Две подушки, задрапированные прозрачным тюлем. На стене висит ковёр. На противоположной стене натянута простыня. Я захожу в комнату. Ты сидишь напротив, в майке и трусах.

— *Я вижу. Разжёвывать не...*

— *Надо.*

— *А почему ты...*

— *В трусах?*

— *Да.*

— *Как в детстве.*

Цветные, вырвиглазные диафильмы щёлкают в тёмной комнате. Время диафильмов наступает только когда стучается...

— *Сгущается?*

— *Не перебивай. Ладно, ложится.*

— *Ложится мгла. Как в детстве.*

Только когда ложится мгла. На стене вырисовывается первый слайд, изгибается вместе со складками простыни.

В детском саду в меня была влюблена эта девочка. Забыл, как её звали. У неё была по-советски высокая причёска и глуповатые глаза. Меня ставили с ней танцевать, потому что моя мама дружила с её мамой, приходилось смотреть в неё с расстояния в несколько сантиметров. От злости и дебильности момента хотелось провалиться. Я сбежал при первой возможности в раздевалку — фотографироваться с пацанами и корчить рожи.

Её я больше никогда не видел. Зачем-то она есть на нескольких безэмоциональных слайдах, которые сохранила мама.

— *Сидит там и смотрит на тебя через два с половиной десятилетия.*

— *Девочки, в которую были влюблены все пацаны в садике, на фотографиях нет.*

Было лето. Сквозь большие окна детского сада светило солнце, в его лучах искрилась пыль, разогревался и густел воздух. Пятилетние сопляки с запоздалым развитием, мы не придумали ничего умнее, чем закрыть её в туалете. Помню, дребезжащей толпой навалились на дверь, похихикали. Всё, дальше никто не знал, что делать. Я стоял в хвосте. Плюнул, разгрёб толпу, открыл дверь в туалет. Забежал в это светлое помещение. В углу в терпеливом одиночестве стояла она в летнем голубовато-белом свете. Стояла, как советская фарфоровая статуэтка среди этих белых стен и белых унитазов, представляешь, и в эту звенящую и жужжащую мухами белую тишину врываюсь я, целую её в губы, разворачиваюсь... Всё. Что делать дальше, я не знал. Развернулся, выбежал из туалета под завистливые взгляды пацанов.

Потом мы переехали. В военный городок. Его в середине девяностых строили по какой-то там программе для выведенной из ГДР военной части. Шла стройка, рядом на поляне выросли чистые немецкие деревянные бараки, аккуратные дорожки, уютные столовые с кока-колой, чипсами Lays, рисом Uncle Bens и жвачкой Wrigley's. Представь себе, кусок Европы в голодной стране, которая только что выскочила из Советского Союза. Таинственный, запредельный мир. Поодаль стояли чехословацкие бараки попроще. На отшибе — совсем простые, корейские. Мы знали точно, что всех пропавших собак съедали корейцы, которые там жили, поэтому никто из нас туда не совался...

Мама жила с немцем, так что мы квартировали в чистоте и благополучии. По-соседству с нами жила девочка по имени Вика. У неё были рыжие волосы. Были у неё страшно умные глаза. Вика часто ездила с мамой то в Германию, то во Францию. Пока её не было, я как дурак носился на велике по лужам. Потом она приезжала, рассказывала про парижский Диснейленд, называла хвост нашего кота «палкой копчёной колбасы», показывала приставку Nintendo Game Boy, снова рассказывала про парижский Диснейленд — я слушал, открыв рот, растопылив глупые свои глаза, она казалась мне какой-то неземной девочкой с другой планеты.

— Как другая планета?

— Да. Если бы она рассказывала, как пила чай и мешала сахар ложкой или как лежала на кровати и смотрела в потолок, я бы слушал её с таким же трепетом, как божество.

Ещё у меня был друг. Дядя Ваня. Где-то за пятьдесят ему было. Он охранял тёмно-зелёный военный ЗИЛ с не пойми какой аппаратурой внутри. Пока мама устраивала личную жизнь и шарахалась с подругами по дискотекам, я, вечно предоставленный сам себе, заваливался вечерами к Дяде Ване, болтал с ним ни о чём, болтал ногами, сидя на краю кузова, смотрел на звёзды. Да, я часто тогда смотрел на звёздное небо, а Дядя Ваня знай травил байки.

Как-то вечером я пришёл расстроенный: мы поругались с Викой. Не помню, из-за чего. Там же, представь, голод, денег нет, толпы одиноких постсоветских девок, похватавших себе немцев. Те, кто порасторопнее, быстренько покинули родину. Мама Вики была как раз порасторопнее. Они уезжали в Германию навсегда. Я это знал, но не понимал ещё, наверное, что мы больше никогда не увидимся, что у меня даже не будет её адреса. Было мне лет восемь. Вика была чуть старше меня, но в этом возрасте — всё равно что пропасть. Я поругался с ней то ли от злости, то ли от бессилия, пришёл к Дяде Ване, единственному другу своему.

— Он, наверное, сказал: «Ничё, время пройдёт, и всё успокоится, и забудешь»?
— Хм, да, как и все взрослые. И добавил своё коронное: «Видишь эти звёзды, которые образуют ковш? Это Большая Медведица. А вон там...»

Дядя Ваня дал мне сушёный рыбий хвост, сидел я на борту ЗИЛа, свесив ноги, и чистил рыбий хвост, и смотрел на звёзды, и тяжело вздыхал, болтая ногами.

Мы уехали оттуда через год. Барак разобрали. Немцы свалили в свой фатерланд. Мы с мамой остались в голодной постсоветской России.

Я вернулся туда уже взрослым. Всю дорогу пялился в окно поезда, пытаюсь найти знакомые картинки: Останкинскую башню, серой иглой сосущую небо; высокие крепкие деревья, так отличающиеся от маленьких, но цепких северных; бесконечные лабиринты дачных посёлков, там пацанами мы пропадали летом; чёрно-серые артерии сортировочной станции, где между путями на мазутных обочинах мы собирали пивные пробки; чёрный паровоз на перроне, в вонючей засанной трубе которого мы тайком курили хабарики; парк на привокзальной улице; вдоль парка бабки с семечками, игрушками, колготками и носками; за парком тот самый детский сад, в который я ходил.

Парк у вокзала вырубил, от детского сада за парком осталась груда развалин, бабки с семечками, видимо, уже померли. Военный городок побледнел от времени и частых зим. Поляна в городке заросла травой и деревьями, среди травы валялись использованные презервативы и пустые банки из-под пива. Островками выпирали бетонные плиты — остатки фундамента, остатки бассейна, в который я однажды въехал на велосипеде. Я бродил по этим плитам, кажется, час, пока на обочине в машине меня ждала Леночка с детьми. Я переходил с плиты на плиту, рисовал в уме городок, в котором мы жили, вспоминал, где было крыльцо, под которым я закопал военный планшет и так его и не нашёл, вспоминал, куда могла пропасть та золотая цепочка, подарок немца, вспоминал, где стоял ЗИЛ, в котором я сидел с Дядей Ваней вечерами, тот самый, единственный вечер, с рыбьим хвостом и медвежьим ковшом. Я прыгал с плиты на плиту, пробирался среди высоких деревьев, которых раньше здесь не было: «Серёжа!!! Серёжа!!! — доносилось время от времени со стороны дороги. — Серёжа, ты идёшь или нет?! Серёжа!!!»

— Что стало с Викой?
— Я больше её никогда не видел.
— И видел одновременно.
— Возможно.
— А та, из детского сада, которую ты поцеловал?

Встретил её в летнем лагере. Она стала совсем непривлекательной. Меня так удивило это.

* * *

— И когда это началось?
— Не помню.
— Пф. Год хотя бы...

Выжженный холодным светом квартал: гудел ветер, лампа фонаря качалась, фонарь моргал, капли дубасили по окну, деревья стучали костяшками веток, на балконе одиннадцатизатяжки напротив бешеная баба била мужика: «Мразь, сука, сволооооочь!» — верещала она, метрономно колотя по мужику руками. Ушла, хлопнув балконной дверью, — мужик, пришибленный, остался курить на балконе.

Я нырнул в машину, несколько минут пытался унять дрожь, держался за руль с подогревом. Врубил дворники, смахнул с лобового стекла чёлку дождевой воды. В масляном свете фар струился и блестел асфальт. В свете фонаря мокрые жёлтые листья казались кислотными. У подъезда две вороны разрывали похожее на умершее что-то.

Доехал до магазина. Завис у стеллажа с журналами, полистал свежий номер «Дилетанта». Постоял рядом со стейками. Посмотрел на арахисовую пасту. Пошёл выбирать минералку.

Стоял в магазине, выбирал минералку, а Леночка смотрела сериал и влюблялась в харизматичного, с чувством долга, с тёмным прошлым, смелого, сильного героя. Или очередной фильм про вечную любовь, чувства, отношения, встречи-расставания, вспоминала какой-то там свой поцелуй, мечтала пойти на свидание, хотела быть желанной и чувствовать на себе любопытные взгляды мужчин. Она хотела любви, а я — взял минералку, расплатился, вышел, сел в машину, врубил магнитоу. Выпил — успокоил нервную изжогу.

Мокрый асфальт переливался графитовым блеском, дождь утихал, фонари мягко высвечивали дорогу тёплым жёлтым светом. Печка гоняла воздух в салоне, дворники скрипели по стеклу, в приоткрытое окно врывались шумы дороги и встречных машин, обратно — клочья сигаретного дыма и пепла. В колонках сквозь помехи прорывалась странная радиоволна на арабском: звуки марша, арабская речь, щелчки помех. Переключать было лень.

Освещённый участок дороги кончился. Я ехал в темноте, дальний свет фар заполнял ночь и вырисовывал участки леса, трассы, неба и земли. В облаках появлялась-исчезала неполная луна — на скорости казалось, что она куда-то очень сильно торопится, или следит за мной, или бежит наперегонки, или...

Впереди обозначилась фура. Я выключил дальний, увеличил скорость, чтобы лихо её обогнать, стал приближаться, уже совсем близко показался вихляющий на поворотах прицеп, бледно светили красным задние фонари. Я посигналил ему фарами, мол: «Чё там впереди?» Он сообразил, показал поворотником: «Обгоняй». Я перестроился на встречку, утопил педаль газа, сравнялся с прицепом. На скорости прицеп мотыльнуло в сторону. Я крепче сжал руль и упёрся ногами в пол, будто это чем-то могло помочь. Видимо, помогло.

— Поехал к тебе.

— Зачем?

— Надо было куда-то ехать, вот я и...

— Что ты там делаешь?

— Стоял у опавшей сирени, лез в закрытое балконное окно. Сидел на качелях.

— Это был не мой двор.

— Неправда!

— Чего ты орёшь-то? Потом?

— Потом я блуждал по этой деревне, филины летали в ночи, кто-то шарился по ночному лесу. Чёрные деревья, бездорожье.

— *Страшно было?*

— *Одинок.*

Когда возвращался, услышал рядом дикий, нечеловеческий визг, визг беспомощности, отчаяния, злобы. Подошёл ближе. На асфальте лежала крыса. Её переехала машина. Хвост с куском жопы волочился за ней по асфальту, сама она лежала, обессиленная, и верещала — звала на помощь или проклинала этот дурацкий день, в который она зачем-то пошла именно этим путём и угодила под колесо. Постоял я. Вдохнул. Пошёл домой, рассказал Леночке, мол: «Жалко». Она спросила: «Ты идиот?»

И понял, что она права.

Ты к тому времени уехала в Сибирь. Писала изредка. День, когда сидел в машине у вокзала и не смог заставить себя выйти, я забыл. Ты уехала. Я остался. Действия предприняты, выбор сделан. Леночка ушла, я вернулся в свою квартиру.

В Вильнюсе я часто вспоминал о тебе. У меня там разболелся зуб. Я слонялся по городу, фотографировал, подражая Картье-Брессону, слушал в плеере Niechcé, выхватывал чёрно-белые кадры чьей-то любви, — это отвлекало от тебя и от зубной боли заодно.

Обезболивающее не помогало, на обратном пути я пытался уснуть. Поезд остановился в Минске, вокзал был застелен мягким жёлтым светом и сиял обманчивой чистотой. Я курил на перроне и почувствовал резкую тупую боль, отражённую в голову. Нерв умер.

На Московском вокзале воздух был словно наполнен пылью, на бессонном холоде сновали люди, в звнящей пустоте вещал громкоговоритель: «Гости и жители города, соблюдайте санитарные правила в связи с распространением новой коронавирусной инфекции из Китая! Рекомендуется пользоваться масками, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию!»

На каждом перекрёстке голосили уличные музыканты; какой-то невменяемый жестами насиловал телефонную будку; парень в костюме белки курил, облокотившись на «Дом Зингера»; другой невменяемый с гитарой за спиной переходил дорогу от Казанского собора, напевая: «Аллилуйя!» — струились длинные очереди за тюльпанами; в метро стекали толпы в масках, в кассах сидели лица в масках, на таможенном контроле... тоже в масках.

Потом я... ты мне писала... чувствовала вину.

— *Ты до сих пор пишешь? Мне.*

— *Я пишу.*

— *Потому что...*

— *Да, потому что не могу не писать тебе.*

— *Но у нас «рыба»?*

— *Как в домино. Всё будет хорошо.*

— *Это мои слова.*

— *И всё же ты меня отпустил.*

— *Ты же знаешь, что слова мои, как черновик, надо их либо переделывать, либо додумывать, либо...*

— *Либо не обращать на них внимание... И теперь ты там, а я здесь.*

- Мы думали, что будем счастливы: ты там, а я — здесь. Точнее, я думал.
— Ты ведь знаешь, что меня нет?

В какой-то из дней мы вышли из лифта на лестничную площадку. Было темно. Я повернулся на секунду, одновременно щёлкнул выключателем, моргнула синим люминесцентная лампа, как стробоскоп осветила её лицо, зажмурившееся в попытке вспомнить. Стена оттеняла её лицо холодом. Я стоял, пытаюсь ухватить истину, идеальную истину, так пытаются сделать скриншот своего отражения в смартфоне, когда по лицу бегут титры или кадры фильма: из сланцевой поверхности ты смотришь на самого себя, что-то неуловимое мелькает, рождается что-то метафизическое, но сохранить это невозможно.

Я вспомнил, как мы ходили полночи по сырому спальному району: ты нервничала, ругалась, отбирала у деревьев листья и рвала их потом. И говорила: «Вот, я нервничаю, потому и листья рву». И воздух был губчатый, мокрый-мокрый, но тёплый, словно конь выдохнул. И звуки были, капали повсюду: по веткам, по рубероиду крыши, по стальным подоконникам и по листьям на асфальте тоже капали. И стоял тишиной город.

Потом ты уже не ругалась, а обдираала рябину и ела с ладони ягоды и мне предлагала, протягивала растопыренную ладонь, пахла ладонь чем-то тёплым, ты спрашивала вскользь: «Рябину будешь?» Я брал, выплёвывал, горькую, а ты приговаривала: «Я люблю горькое, сладкое не до конца. И лекарства сладкие не люблю, сироп там от кашля. От сладких лекарств психосоматический эффект исчезает».

Я подавился ягодой. Закашлялся. Ты улыбнулась и сказала: «Надо левую руку поднять, я прочитала недавно, тогда пищевод распрямляется, я не знала раньше». И я представил, как поперхнусь, подниму вверх правую руку, буду давиться и в самый последний момент вспомню, что надо ведь поднять левую, а не правую.

— И тут я увидела клён и сказала, что клён люблю спасу нет, что у меня под окном клён растёт и ладонь свою растопыренную так к окну прижимает. И я показала как, растопырила ладонь свою.

— Тёплую.

— А сирень вырубил. Но я сохранила пару саженцев для тебя.

В следующее мгновение свет загорелся, не моргая. Я вспомнил. У меня по-прежнему жена, по-прежнему двое детей, и всё, что я понял, — больно делать больно. Я прихожу домой, снимаю одежду, бесчувственно занимаюсь сексом, — в этом плане мне повезло, сексом я заниматься люблю, Леночка тоже, так и едем.

* * *

Прошло сто восемьдесят три дня. Погоду колошматило. Снег то шёл с дождём и падал мокрыми кусками, то вдруг всё замирало. Становилось чуть теплее, уютнее. Звуки становились ярче, объёмнее. Скрип шагов ниспадал, дыхание вырывалось из глубины, всё имело свою пропасть и вырывалось из пропасти округлым, живым, настоящим, словно очищенным. На ресницах её таяли снежинки. Они стояли на отлогом берегу реки рядом с перекатом. Река пенилась, шумела, вспучивалась, как пена от варенья, плескались в ней ржавые куски ни снега, ни льда. Тепло и сыро было на губах и в карманах: «Голова умная, хорошая голова. И глазища умные», — говорила она и целовала его в лоб.

Глаза её большущие, словно фары машин из шоссе в шоссе, разглядывали. Он гладил её рыжие волосы, тянул паутиной ей на лицо, прижимался легонько лбом, пока она боялась вздохнуть. Они сплелись и проживали там, на берегу, разные жизни: встречались, расставались, любили, любили не тех, теряли и обретали друг друга, ошибались, как все, бросали и находили, жили полной грудью и жили, не шелохнувшись, пока не вынырнули из этого дня, которого не было.

Его спугнула женщина с собакой, проходя мимо. Они поднялись по скользким каменным ступеням, сели в машину греться. Поползли в густом потоке мимо тротуаров, забитых людьми, вдоль реки, забитой прогулочными катерами, под серым туманным небом. Воздух был мокрый, густой, зернистый. Шум города заглушала громкая музыка и неразборчивые голоса вдалеке.

Они свернули с набережной на однообразный широкий проспект, вползли в пробку. Мимо проплыл вытянувшийся царь, за ним другой, следом лысый вождь и какой-то чекист, некогда дырявые дома, широкие улицы и глухие каменные переулки, навечно впитавшие в себя поэзию и трупы.

Была ранняя весна. Всё ближе гудели чьи-то голоса, перекачивался по городу топот сапог, звякали железные щиты, трескали под рёбрами электрошокеры. На него навалился страх. Он не мог понять, как появился этот страх, только чувствовал его с заднего сиденья, где в другие дни сидели его дети, чувствовал его с пассажирского кресла, где обычно сидела жена.

Она вспоминала осень, дорогу и лес, где всё перемешалось в ночи: силуэты деревьев сновали в свете фар; филины летали по небу; темень была непроглядной; у него не было её номера, первую половину ночи он искал её, — под утро они вдвоём выбирались из северной преисподней деревни. Она спросила: «Я тебе нужна?» Надо было разжижать сгустившийся воздух словами, но он отвернулся и ничего не говорил.

Опустил стекло, с улицы донеслось: «...бали эти уже со своими порте... тьфу, протестами! ...мы будем вынуждены применить...» Он сделал потише, стал вслушиваться в голоса за окном, в крики, доносящиеся с улицы.

Она попросила: «Не смотри туда, мало ли».

Машина медленно двинулась вперёд. Дэпээсник с одинаковым лицом юркнул в зеркало заднего вида, за спиной у него сгустилась толпа: «Россия будет свободной!» — и дала дэпээснику в рыло...

— *Не, показалось.*

— *Не показалось.*

Михаил Москалёв

Падение гласных

Рассказ

Не помню точно, с чего начался наш разлад. Кажется, с молока. Или с чего-то подобного. С волокна, может быть, или с долота. Хотя вряд ли мы с ней когда-либо говорили про волокно или долото. В общем, какое-то «о-о-о» всплыло однажды в нашем ничем не примечательном будничном вечернем разговоре. Я ли спросил, а она ответила. Сама ли она завела речь — не помню. Но когда она произнесла эти три «о», разделённые позабытыми мною согласными, я вдруг обратил внимание на то, как она это сделала. Округлив губы, отчётливо, не смазывая ни одного звука и очень энергично. Я даже замешкался с ответом, хотя ничего сложного от меня не требовалось. Тогда меня удивило, что в языке, на котором мы с ней разговариваем без малого десять лет нашей совместной жизни, есть слова с тремя «о». Последний раз я обращал на это внимание в школе, но лишь из-за того, что на кону стояла моя оценка в годовом диктанте, а от оценки зависела покупка мне велосипеда, а от велосипеда — мой статус в дворовой компании и ещё много чего. И судя по тому, что, по крайней мере, велосипед мне не купили, написал я эти три «о» неправильно, чувствуя, что никаких слов с тремя «о» в языке, которому меня с переменным успехом обучали в школе, быть на самом деле не может.

В следующий раз что-то странное случилось со словом «град». Мы потащились на машине за грибами в соседнюю область, оббегали пол-леса, ничего не набрали и к полудню решили, что пора рвать когти и что либо грибники из нас так себе, либо грибы в этом году дрянь. Обратно мы ехали молча, только на заднем сиденье изредка громыхали вставленные друг в друга пластиковые вёдра, напоминая о своей пустоте и нашей неудаче.

Вскоре палившее с самого утра солнце заволокло тучами, стало приятно прохладно, на асфальте начали появляться тёмные точки от капель дождя, редко, а потом всё чаще и чаще, пока видневшаяся за лобовым стеклом дорога из пыльно-серой не сделалась почти чёрного цвета. Я сбавил скорость. По кузову что-то очень сильно

Москалёв Михаил Владимирович родился в 1982 году в г. Осташкове. Окончил филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работает переводчиком. Участник семинара Союза писателей Москвы (2017). Печатался в журналах «Новая Юность», «Крещатик». Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

забарабанило, и она сказала как бы в утешение нам обоим, но обращаясь то ли к себе самой, то ли к дворникам, елозившим по лобовому стеклу, что мы вовремя смылись из леса и что чёрт с ними, с этими грибами, и вообще, самое главное, что мы не попали под град. И последний звук в самом последнем слове она произнесла чётко, не оглушая его как положено. А потом ещё добавила, что хочет поскорее попасть в город. И тоже со звонкой «д», как будто так и нужно.

И если первый инцидент я предпочёл не заметить, списав странности в её произношении на вечернюю усталость, то в этот раз не сдержался и по-клоунски повторил фразу про град и город. С «д» и «д» соответственно. Никакой ответной реакции с её стороны не последовало. Едва я закончил паясничать, она как ни в чём не бывало включила радио и стала вертеть ручку частот в поисках прогноза погоды, словно это могло каким-то образом ускорить окончание дождя.

После этого второго случая изменения в её речи стали систематическими и необратимыми. Так, она полностью перешла на оканье. И это в столице, в самом эпицентре того диалекта, который просто напалмом выжиг любой намёк на безударную «о» в радиусе на несколько сот километров вокруг. Она же — нет, чётко выговаривала все «о», какие ей только встречались, и чувствовала себя в своей тарелке. Хотя, раз уж ей захотелось вернуться к истокам (а я почему-то сразу подумал про истоки), нужно было начать гекать и цокать, потому что приехала она именно из тех мест, где без этого не обходится ни один разговор. Окать же скорее пристало мне, но следовать примеру своей многочисленной северной родни я не хотел и продолжал во всех безударных слогах произносить предательское по отношению к моей малой родине столичное «а» и «и».

Но оканье — ладно. Его ещё можно было как-то, пусть нелепо, объяснить — влиянием той же родни, регулярно инспектировавшей нашу совместную жизнь в столице, или, скажем, близостью офиса, в котором она работала, к северной границе города — мне в тех краях бывать не доводилось, но кто знает, может, там сохранился анклав дремучего нордического оканья, а она возьми да и понахватайся его в обеденный перерыв у кассирш из местных столовок.

Но никакого, даже неразумного, объяснения для звонких конечных согласных не было. На севере, как, впрочем, и на юге, так не говорили. Так что ни родня, ни гипотетический говор, чудом уцелевший в бывших промзонах, были тут ни при чём. Зато эта конечная звонкость была в порядке вещей в других языках, ни один из которых ни я, ни она в школе так и не выучили.

Получалось, что усвоенное ею произношение вовсе не было диалектальным, а представляло собой самую настоящую химеру. Только вот зачем ей понадобилось создавать такого фонетического монстра, я понять не мог и, проделав ещё несколько раз фокус с передразниванием её речи, на который она, как и тогда, по дороге из леса, не обратила никакого внимания, решил припереть её к стенке прямым вопросом.

— Ты про что? — спросила она с удивлением.

Я повторил свой вопрос в полной уверенности, что она его поняла, но зачем-то притворяется.

— Звонкие? Оканье? — она медленно произнесла пару слов, среди которых было и злосчастное «молоко», и «город» с «градом». Только не окая, а преувеличенно акая и оглушая конечные согласные почти до шипения. Произнесла и рассмеялась. В общем, обратила всё в шутку или просто не поверила.

Как ни старался я убедить её в том, что с её речью что-то происходит, она лишь отшучивалась, придумывая самые невообразимые диалектизмы со словами: «А так

я не говорю?» В конце концов, ей надоело, и мы, замолчав, разошлись по разным комнатам. Я — с удивлением, не понимая, почему она не хочет признать очевидный факт, она — не знаю с какими мыслями, возможно, уверенная, что я всего лишь хотел разыграть её и, может быть, несколько озадаченная тем, что мне так долго удавалось сохранять серьёзный и настойчивый тон: актёрствовать я толком не умел, и все попытки разыграть кого-нибудь обычно проваливались почти сразу, как только у меня на лице помимо моей воли появлялась глупая улыбка.

Особой молчаливостью она никогда не отличалась. Её речь была шумной, многословной и по длительности уступала разве что пленарным докладам Кастро в его лучшие годы. Она знала об этом, но сдерживать себя не могла. Так что слушать приходилось больше мне, но я, как, наверно, какой-нибудь старый соратник команданте, приспособился и без ущерба для политического единства в нашей маленькой партии умудрялся во время её пламенных спичей думать о своём, листать журнал, а то и смотреть краем глаза телевизор. Впрочем, даже если какая-то часть из её выступлений, скажем, о планах на ближайшие выходные или о предстоящем ремонте квартиры, оставалась за пределами моего сознания, она не обижалась. И этой замечательной чертой своего характера, как мне кажется, выгодно отличалась от лидера острова свободы.

Но теперь, с нововведениями в её речи, мои навыки старого соратника начали давать сбой. От того, что она говорила, я ещё мог отвлечься, но от того, как она это делала, отвлечься было гораздо сложнее. Её гласные и конечные звонкие прямо-таки разрушали привычку, на выработку которой было затрачено столько лет. Едва я начинал присматриваться к изображению в телевизоре или думать о ерунде, не связанной с темой её внепланового (а других у неё не бывало) выступления, как какая-нибудь «о» или какое-нибудь «д» выдёргивали меня из рассеянного блуждания по экрану или по странице текста. К чему вообще нужно было говорить всё, что она говорила, спрашивал я иногда её, но пока только в мыслях, прилагая усилия, чтобы моё раздражение никак не дало о себе знать. А ведь раньше такого никогда не было. Я не то что через силу переносил её треп. Нет. Он был мне приятен. Даже если я пропускал половину мимо ушей. А теперь стало регулярно всплывать это «к чему?», которое, с тревогой понимал я, касалось не только её речи, но чего-то более глубоководного между нами, о чём не хотелось даже догадываться.

Но, в конце концов, другие должны были что-то заметить? — осенило меня однажды. — Другие? С работы и пятничных вечеринок? Из магазинов и баров? Из квартиры напротив? Из квартиры сверху? Из квартиры снизу? Другие — с образцовым выговором и идеальным интонационным рисунком речи, готовые растерзать за малейшую языковую и не только оплошность. Другие — чьими усмешками выслан ад, а косыми взглядами дорога к нему, — они-то должны были рано или поздно что-то заметить и как-то отреагировать?

Но нет, ничего подобного не происходило. Когда мы бывали в гостях, она много и охотно говорила, прибавив к оканью и звонкости конечных согласных ещё парочку новшеств (например, заменив все «ы», в которых, признаюсь, и мне постоянно чудилось что-то людоедское, на «и»), и никто, совершенно никто не обращал на это внимания. Её искажённая речь и равнодушие к этому окружающих приводили меня в ступор. Все смеялись в тех местах, где нужно было смеяться, позёвывали, когда она принималась занудствовать, или перебивали там, где не перебить было невозможно. Словно ничего с её произношением не случилось. Если кто и выглядел из нас двоих дико, так это, пожалуй, я со своим маниакальным взглядом, вечно прикованным

к слушающим её людям. Меня всё не оставляла надежда на то, что вот сейчас на чьём-нибудь лице появится кривая ухмылочка в совершенно неподходящем для ухмылки месте или кто-нибудь вдруг от удивления поднимет бровь или, на худой конец, неожиданно внимательно прислушается к тому, как она говорит, и ответит не попадая, как это теперь часто происходило со мной. Но никакого намёка на смущение, никакого желания поправить её произношение ни у кого, кроме меня, не возникало.

Я был единственным, кто замечал все эскапады её речи, и это моё одиночество озадачивало меня даже больше, чем сами эскапады. Странно было слышать то, что не слышали другие, странно было видеть безмятежность на лицах людей, обычно возбуждавшихся и терявших терпение в гораздо менее скандальных ситуациях.

С каждым днём я понимал её всё хуже и хуже. Она продолжала не верить в изменения своей речи. Её речь продолжала меняться. Однажды мы договорились встретиться после работы в кафе возле станции метро. Она произнесла название кафе и время нашей встречи. Я кивнул, и мы разъехались по работам. Однако вечером ни её, ни кафе, о котором она говорила с утра, на месте не оказалось. Я едва нашёл станцию метро, на которой, судя по её утренним словам, должна была состояться наша встреча. Хотя не уверен, что даже станция была правильной. Побродив немного по району, который, как многие места в столице, представлял собой арену для соревнования сразу нескольких строительных бригад, работавших каждая в своём уникальном стиле, я спустился под землю, чтобы вернуться домой.

Я столкнулся с ней в тот момент, когда она входила в подъезд. Она сразу заговорила, стала упрекать меня, что я забыл про нашу встречу, что она вынуждена была просидеть одна полвечера и что можно было хотя бы предупредить. Некоторые части её речи, впрочем, я уже не мог разобрать и, оборвав её ламентации, переспросил название кафе. Она произнесла название. Второй раз. Медленно, по слогам и с раздражением в голосе. И оно, это название, оказалось совсем не тем, которое осталось у меня в памяти после нашего утреннего разговора.

А потом я вдруг понял, не знаю как, что она не была ни в каком кафе и не выходила из метро. И не потому, что хотела наврать или что-то скрывала от меня, а потому, что в её речи эти слова уже имели какое-то другое значение. По её дальнейшим жалобам, не смолкавшим всё время, пока мы поднимались к себе в квартиру, опять же, довольно смутным и неразборчивым, место, в котором она провела весь вечер, скорее походило на сквер, метро — на автобус или на такси, а может, просто на пешую прогулку. И уж не знаю, имело ли ещё слово «ожидание» в её языке то же значение, что и в моём. И самое главное — был ли я тем, кого она называла сильно искажённым вариантом моего имени.

И я начал вспоминать, как последнее время мы мучительно не совпадали в простейших вещах: в вилках, тарелках, стульях, столах, свитерах, дверях, замках, которые в её речи куда-то сместились, поменяли значение, обрели дополнительные смыслы. Отчётливо помню, как однажды за завтраком попросил её передать мне ложечку, а она, ни секунды не раздумывая, протянула мне нож, как в другой раз, когда я принёс ей попрошенное ею одеяло, она посмотрела на меня с недоумением, встала и сама достала из шкафа подушку. И всё это сквозь пелену какого-то дикого и всё более и более непроходимого произношения, под аккомпанемент непривычной для моего уха интонации и без каких-либо следов ударения. Да-да! От ударения она избавилась и произносила все слова монотонно и холодно, избегая встречаться со мной взглядом.

На людях мы почти не разговаривали друг с другом, чтобы избежать неловких ситуаций. Однажды мы просидели весь вечер на чьём-то дне рождения, не перекинувшись ни словом. Вдруг одна из её знакомых спросила о наших планах на отпуск. Мы, позабыв о нашем негласном договоре, кинулись отвечать вместе, потом, услышав друг друга, одновременно замолчали, я сделал жест рукой (в надежде, что хотя бы жесты в её системе координат сохранили своё прежнее значение), приглашая её рассказать о планах, налил себе что-то из первой попавшейся под руку бутылки и, откинувшись в кресле, принялся угадывать по репликам подруги о наших планах на отпуск. На понимание её речи я уже не надеялся и с завистью смотрел на тех, кто её понимал. Т.е. на всех остальных.

Я слушал её речь и думал, что так, наверно, могли бы говорить славяне, случайно забредшие на экватор во времена великого переселения народов или перенесённое в бассейн Днепра племя бедуинов. Сквозь напластования странных звуков иногда пробивалось что-то едва знакомое, на чём мы когда-то говорили друг с другом. Но чем дальше, тем этого знакомого становилось всё меньше. Её речь менялась буквально на глазах. Она избавлялась от окончаний, превращала значимые слова во вспомогательные, тасовала части речи в предложении, как колоду карт. И всё это без каких-либо усилий, без боязни что её не поймут или высмеют, не обращая, совсем не обращая внимания на тоску, которую у меня вызывали её языковые игры.

Домой мы шли молча с чувством, которое испытывают случайные прохожие, сравнивавшиеся друг с другом и продолжающие двигаться в одном направлении с одинаковой скоростью. Но замедлить ход или прибавить шаг, чтобы оторваться друг от друга, никто из нас не осмеливался. Прошное держало нас вместе сильнее, чем все приличия и языковые нормы.

В отпуск, про планы на который я ничего и не понял тогда, сидя в гостях, мы так и не поехали. Вернее, она поехала со своей подругой. Возможно, даже той, которая спрашивала про отпуск. На меня свалилась какая-то работа, из-за которой я вынужден был остаться, но я-то знал, и она, думаю, догадывалась, что это был лишь предлог и что, не случись завала на моей работе, он бы обязательно случился на её работе. Потому что провести две недели вместе, слушая и почти не понимая друг друга, было бы пыткой для нас обоих.

Признаюсь, я с ужасом ожидал её возвращения из отпуска. Её и её речи. Мне представлялось что-то нечеловеческое и доисторическое. Что-то, десять тысяч лет тому назад перебравшееся с Чукотки на Аляску по обмелевшему Берингову проливу, спустившееся через обе Америки к мысу Горн и теперь возвращающееся обратно в Евразию тем же путём. Мне представлялся чудовищный диалект, вобравший в себя всё самое страшное, что было в языках Нового Света до открытия его Колумбом. Что-то совершенно непонятное и далёкое. Каменные истуканы острова Пасхи. Каракули в пустыне Наска. Город посреди джунглей. Речь, поросшая лианами, кишашая змеями и скорпионами. Речь-призрак. Речь-гробница.

Когда она вошла в квартиру после двух недель отсутствия, я, чтобы подольше не слышать изменений в её языке, заговорил первым. Я говорил, а она снимала обувь, вешала куртку, смотрелась в зеркало, поправляла волосы, а потом присела на банкетку и непривычно внимательно стала прислушиваться ко мне. При этом она следила за моей артикуляцией, а когда я делал паузы, переводила взгляд на мои глаза. Наконец, минут через десять, она прервала меня и с кристально чистым столичным

выговором, которого я не слышал от неё уже много месяцев или даже, может быть, не слышал никогда, сказала, что я как-то странно произношу слова.

Я посмотрел на неё с удивлением. И даже не знаю, к чему оно больше относилось: к её речи, внезапно исправившейся после двухнедельной поездки, или к замечанию в мой адрес.

Она ответила мне таким же удивлённым взглядом и, всплеснув руками, воскликнула:

— Что стало с твоими гласными? Ты же не выговариваешь нормально ни одного окончания!

Я попытался собрать из первых попавшихся слов предложение, чтобы доказать свою языковую состоятельность, но вместо этого молча опустил на банкетку рядом с ней и стал раздумывать обо всём подряд, но больше всего о покинувших меня гласных. Она тоже сидела молча и о чём-то думала: возможно, об окончаниях, на которые раньше никогда не обращала внимания, возможно, о нескладывающихся отношениях между моим и её отпуском. Нам больше нечего было сказать друг другу, но впервые за последний год наше молчание не было неловким. Никто из нас не порывался нарушить тишину, немедленно взяться за какое-нибудь неотложное дело или уткнуться в первый попавшийся под руку текст. Мы просто молчали и не чувствовали от этого никакого дискомфорта.

Наконец, она встала, медленно прошла по коридору, остановилась в дверях и, обращаясь по своему обыкновению сразу ко всем вещам в комнате и немного ко мне, задумчиво сказала:

— Ладно, обойдёмся без гласных как-нибудь.

Александр Вергелис

Плавки

Рассказ

В портфеле находились: расчёска, очечник, электробритва. Был там и особый пакетик — полиэтиленовый, но не прозрачный.

Расчёской он, само собой, расчёсывал волосы — расчёсывал так, чтобы жидкие соломенные пряди прикрывали белизну ранних залысин. В очечнике (он говорил, как бабушка — *очешник*), разумеется, покоились очки — пожалуй, слишком большие для его узкого лица. Он страдал дальноркостью, которую в шутку именовал дальновидностью, однако хорохорился и окуляры надевал только на работе, усевшись перед монитором.

Электробритва пускалась в ход по дороге на службу: обычно он брился за рулём, в утренних пробках, поглядывая в узкое автомобильное зеркальце заднего вида, в котором, как две крыжовины в компоте, сонно плавали его бесцветные зрачки. Не то чтобы он не успевал совершить этот ритуал дома — а впрочем, пожалуй, что и не успевал: был медлителен, что всегда раздражало шуструю Ангелину, часто повторявшую, что её благоверный скор только при исполнении супружеского долга. Она вообще любила пошутить на эту тему. «Шумахер ты мой», — с досадой бросала мужу, отдувавшемуся в подушку. То же самое говорилось во время совместных поездок на автомобиле, когда он, по мнению жены, не проявлял должной резвости за рулём. Фамилия знаменитого гонщика часто рифмовалась весёлой Ангелиной с выражением «иди ты на хер» и постепенно стала домашним прозвищем, почти вытеснив его собственное имя Кирилл, которое ему самому «активно не нравилось».

Утренние сборы на работу начинались с мытья в душе (через день), приготовления и поглощения завтрака (овсянка или яичница), завершались же чисткой зубов и одеванием. По утрам, с недосыпу, кусок не лез в рот, но ел Кирилл-Шумахер обильно, терпеливо запасаясь калориями впрок — на работе из экономии почти никогда не обедал, если не считать обедом бутылку ацидофилина или шоколадный батончик, запиваемый пакетированным чаем. Сократить время завтрака было невозможно, и в неизменном, устоявшемся с годами утреннем распорядке пяти минут на бритьё не оставалось. К тому же шмелиным жужжанием электробритвы можно было разбудить чутко спавшую Ангелину, а он предпочитал покинуть жилище до её пробуждения.

Вергелис Александр Петрович родился в Ленинграде в 1977 году. Публикуется как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов» и других. Лауреат нескольких литературных премий. Автор книги стихов «В эпизодах» (2010). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 7.

Впрочем, жена вторую неделю жила на даче, и это, кстати, означало, что вечером после работы он обязательно поедет туда же, ибо остаться в городе одному было никак нельзя. Когда дача приобреталась (главным образом на деньги от продажи его холостяцкой комнаты), в сердце проклюнулась надежда, что летние вечера будут целиком принадлежать ему. Однако в начале дачного сезона Ангелина настояла, чтобы после работы муж ежевечерне «дул на фазенду» — мало ли чем он там занимается без неё, мало ли что там устроит в квартире. Про женщин не думала: знала, что кишка у него тонка, водить домой баб, да и вообще не верила, что кто-то может у этого чудика завестись, но друзья детства и юности — эти хитроглазые недобитки, эти выползки из проклятого прошлого, эти призраки холостяцкой жизни — могли его, бесхребетного, куда-нибудь затащить.

Иногда он спрашивал себя: зачем, почему так легко расстался он со своей свободой, которую, впрочем, никогда не ценил, а напротив — тяготился ею как чем-то постыдным. Ведь можно было бы и пожить гражданским браком, присмотреться, приохотиться, а там и решить. Но Ангелина сразу поставила условие: или в загс или никак. Ему, вечно голодному по женской части и крепко запавшему на выдающиеся Ангелинины прелести, выбирать не пришлось. В самом начале, правда, он попробовал было найти компромисс, пустившись в многословные рассуждения о необходимости «узнать друг друга получше», для чего было бы «весьма целесообразно просто пожить вместе, как делают все». Но «все» — это не про Ангелину. «Я себя не на помойке нашла», — отрезала она, и это был аргумент.

Итак, сегодня он снова поедет на дачу. Его ждал чахлый огородец с ядовито-зелёной будкой посередине, который царившая там усатая и костистая Мама именвала домиком Ниф-Нифа. Фирменный фамильный сарказм был обращён на бесталанную голову зятя, в узком лбу которого никак не умещались те пресловутые семь пядей, кои должны были бы обеспечить её дочери «достойную жизнь». Между тем сама Ангелина, всегда вполне реалистично оценивавшая свои матримониальные шансы и сделавшая правильные выводы из опыта первого замужества, супругом, в общем и целом, была довольна: да, звёзд с неба не хватает, достоинствами не блещет, но — стабильный, хоть и не великий доход, а главное — образцовое послушание. Иной раз она, по наущению ли беса, из желания ли прощупать границы мужнего смирения, перегибала палку — да так, что даже Мамины усы шевелились недоумённо и укоризненно. В такие минуты Шумахер надувался, иногда взбрыкивал, а всё больше отмалчивался и напряжённо сопел, что умиротворяло отходчивую Ангелину.

Хотя, конечно, такая медлительность и нерасторопность могли вывести из себя кого угодно. Например, по подсчётам Ангелины, на дачу муж мог бы приезжать и пораньше, но тот всякий раз обстоятельно, «с цифрами в руках» объяснял, куда делись те сорок минут, которые он, по её подозрениям, «потратил неизвестно на что». Набор объяснений был невелик, но вполне надёжен: задержка на работе, пробки на выезде из города, очередь на заправке. На крайний случай приберегалась поломка машины — этой оранжевой, как апельсин, коробочки, как её презрительно называла Мама. Состояние его «подруги юности» — пожилой малолитражки с удивлённо выпученными круглыми фарами — было таково, что рассказ о поломке выглядел бы вполне убедительно. Впрочем, не столько правдоподобие рассказа, сколько невинный, почти детский вид рассказчика убеждал Ангелину в том, что муж говорит правду, и вина его заключается не во лжи, а в поразительной способности — даже, пожалуй, таланте — притягивать неприятности. Мужнее «неумение врать» (Ангелина считала себя большим психологом) было ещё одним положительным качеством в глазах женщины, измученной предыдущим браком, в котором были «только ложь и обман».

Он не особенно и врал — он всё больше юлил и лукавил, уснащая свои рапорты приправами из полуправд и сюжетных натяжек. Конечно, он мог бы приезжать несколько раньше. Но в то же время и не совсем мог! Необходимость загородных ночёвок тяготила, но и открывала новые возможности. По дороге можно было остановить машину у леса и — нет, даже не погулять — просто несколько минут постоять в хвойных чертогах, послушать птиц, выкурить запретную сигаретку... И — насладиться мыслью о своей тайной свободе.

— Люблю природу и свободу, — уже почти стихами говорил Шумахер вслух не то самому себе, не то воображаемому собеседнику, размахивая на ходу бледными тонкими ручками с розовыми остренькими локотками.

Первое, что дарило жгучее наслаждение, когда он, лихо хлопнув дверцей и сойдя с нагретой солнцем трассы, ступал под еловые своды в шелестящие сумерки — сырой запах леса, запах жизни и смерти, свежей листвы, подножного праха: прелых листьев, гнилого дерева, плесени грибниц. Он дружески охлопывал сосновые стволы, поднимал голову, глядя в голубую высь, как смотрят дети в глаза взрослым, потом приседал на корточки, с увлечением щипал заячью капусту и разглядывал нижний ярус лесного мира: сплетённые корни, зелёные ворсинки мха, копошащихся насекомых.

Но этой пассивной, созерцательной свободы со временем ему стало маловато — в нём зарождался бунтарский дух, жажда действия наполняла его маленькое сердце. И в один прекрасный апрельский вечер, когда Шумахер, направляясь на дачу, проезжал через Сестрорецк, голову ему вскружила одна дерзкая мысль.

Пьянящая сладость запретного удовольствия ждала его там, где на холодных волнах качались чайки, где бездельники-рыболовы возились со своими удочками. Настанет день, когда он сделает нечто, о чём никто не узнает. Да, он выполнит правило летнего распорядка, он поедет на дачу. Но не просто поедет! Он кое-что захватит с собой. И по дороге с работы кое-где остановится. Что именно захватит и где остановится, никто, кроме него, знать не мог. Это была его тайна. Тайна была заключена в особом пакетике — полиэтиленовом, но не прозрачном, — находившемся в портфеле вместе с расчёской, *очешником* и электробритвой.

О, что это будет за остановка! Предвкушать он начал загодя, когда, озираясь по сторонам, тайно посетил магазин спортивных товаров. В кулаке у него таились свёрнутые трубочкой сторублёвки. Это были обеденные, точнее — ацидофилиновые деньги, наэкономленные за счёт его маленького желудка. Ангелина еженедельно снимала с его зарплатной карты, которой завладела уже через неделю после свадьбы, заветную тысячу. Эту тысячу с юморком, унаследованным то ли от отца-танкиста, то ли от предыдущего мужа-милиционера, она называла «денежным довольствием». Деньги на бензин для коробочки выделялись отдельно. Эти шли по статье «транспортные расходы». Других расходов Шумахеру не полагалось, носки-трусы и прочие необходимые вещи Ангелина покупала мужу сама.

В особом пакетике — само собой, полиэтиленовом, но не дай Бог не прозрачном — лежали новенькие, с этикеткой на белоснежной ниточке, плавки. Сколько тайной радости, сколько волнений вызывало это дивное слово! Сколько заветных воспоминаний пробуждало оно: запах нагретой солнцем резины, песок в сандалиях, варёная кукуруза с солью, чайный далёкий крик, студень из медуз в сачке, мама, не такая строгая и пока ещё с папой... Плавки — плавать, плавиться на солнце, плавно погружаться в счастливый сон после огромного, сияющего, звенящего, упоительно-утомительного дня на море. Да разве только море! Летом ездили с родителями в Озерки, где был песок и были сосны. Ангелину при одном упоминании о купании в каких-либо озёрах передёргивало: грязь, толчея, чужие почти голые бабы... Фу! Ему что, мало дачного

душа? Да бочка для дождевой воды чище, чем все эти озёра! Подцепит там заразу, лишай какой-нибудь, так не то что в постель — на порог не будет допущен! В будке собачьей ночевать будет! Если уж купаться, то на море — например, в Сочи. Но разве с таким мужем куда-нибудь поедешь? Да и когда? Как оставить парники, земляничные гряды? Если хоть на неделю ослабить борьбу с сорняками-трифидами, всё зарастёт так, что мама не горюй! Словом, какие там купания!

Мечтать о купании было постыдной, ребяческой глупостью. О тайном, приватном купании, задуманном в обход семейной жизни, — преступлении. Мучительным наслаждением было время от времени вынимать из ящика рабочего стола полиэтиленовый непрозрачный пакет, осторожно заглядывать в его сокровенный сумрак. Вот они — синие, как само море, с кармашком для ракушек и камушков, подобранных на дне. Это не просто плавки. Это больше, чем плавки. Это — залог его торжества над обстоятельствами, символ его тайной свободы. Знамя борьбы, до поры хранимое от постороннего глаза. С каким нетерпением ждал он тёплых дней — даже в детстве так не хотелось лета, как сейчас, в возрасте, именуемом зрелостью! Коллегам Шумахер говорил, загадочно улыбаясь: вот настанет июнь... И что? — спрашивали коллеги, — возьмишь отпуск? Как раз-таки отпуск брать не хотелось: тогда пришлось бы круглыми сутками маяться на даче с Ангелиной и Мамой.

Нет, нет, — качал он головой, — вот настанет июнь...

И вот, июнь настал — да какой! — с яростным солнцем, с душными тёплыми ночами — как будто нарочно для него перенесённый в город неким волшебником откуда-то с юга, с Чёрного моря, шумевшего где-то в области детских воспоминаний. Такая погода стояла уже неделю, и вода в Разливе, должно быть, уже нагрелась. Сначала он думал надеть плавки с утра и носить их весь рабочий день под штанами: так удобнее, не надо переодеваться, озираясь и скача на одной ноге в каких-нибудь сомнительных кустах. Но потом решил: пусть дождутся своего часа, полежат в портфеле. Ждали ведь почти три месяца, подождут ещё немного.

С самого утра на работе всё валилось из рук. Сидя в своем «кабинете» — узком ущелье между шкафом с канцелярскими папками и давно не мытым окном, за которым чадила вечная автомобильная пробка, — он не мог думать ни о чём другом. Мысль о предстоящем событии стискивала сердце, увлажняла ладони, высевала на лбу мелкую зернь пота. Мысль эта и мучила его, и окрыляла. С того самого часа, когда он отправился в спортивный магазин, покой оставил его. Сразу возник вопрос: где хранить. Дома держать плавки было бы безумием — от орлиного глаза Ангелины ничто не укроется. В портфеле — тоже не вариант, портфель она время от времени проверяла. Хранил в «кабинете», а именно — в нижнем ящике маленького стола, прикрыв старой канцелярской папкой. Особым удовольствием было, придя утром, выдвинуть ящик, приподнять папку и увидеть пакетик — полиэтиленовый, но не прозрачный. Удовольствие тут смешивалось с чувством тревоги, с чувством вины и ещё с целым набором чувств, для которых он не мог бы подобрать название.

Душевное равновесие было утрачено, однако с тех пор что-то в нём изменилось, что-то новое проросло внутри. И как-то иначе стал он к себе относиться, будто чувствовал: при плавках он — не совсем он. При плавках он — нечто большее. Было, конечно, немного стыдно — всё это походило на супружескую измену — да так, в общем, оно и было: узнай Ангелина о его тайных планах, иначе как предательством она бы это не назвала. Со временем Шумахер стал привыкать не только к тайномыслию, но и к постоянным угрызениям совести. Он дивился своей выдержке, тому хладнокровию, с которым просчитывал детали предстоящего преступления. Но когда заветный день был назначен, самообладание изменило ему — ночами он плохо спал,

в присутствии Ангелины отмалчивался, боясь выдать себя неосторожным словом. В последнюю ночь перед «Операцией Пи», как Шумахер это про себя называл, подремал он дай Бог часа два, да и те промучился кошмарами — снилось, будто он продавец в рыбном отделе, и что губастые осетры и карпы, плавающие в мутной, похожей на огуречный рассол воде, с ним разговаривают...

Сонный, нервный, по пути на работу он чуть не угодил в аварию, потом едва не задавил бабку на переходе. Кондиционер в «кабинете» не работал, пот катился со лба и крупными каплями падал на бумаги. Рабочий день казался бесконечным. И всё-таки, несмотря ни на что — ни на особенно ядовитые придирки начальства, ни на язвительные реплики коллег, — на душе у Шумахера было легко, воздушно. Думал он об одном: только бы коробочка не подвела: нормально завелась, не заглохла, что с ней иногда случалось. Но машина не подкачала — задорно рыкнула, заурчала и понесла его, счастливого, навстречу мечте.

Итак, в портфеле его находились: расчёска, *очешник*, электробритва и особый пакетик — полиэтиленовый, но не прозрачный. Он всё рассчитал: на купание потратить не более получаса — на первый раз хватит. Волосы, пожалуй, не мочить — могут не успеть высохнуть. Хотя на такой жаре, да ещё если опустить стекло, чтобы обдувало ветром... Одним словом, плевать, можно и с головой. А впрочем, нет, лучше не рисковать, Ангелина может учуять запах озёрной воды — нюх у неё, как у собаки.

За этими размышлениями незаметно пронеслось время, и вот уже справа заблестела позолоченная вечерним солнцем вода, над которой суетились сливочно-белые чайки. «Как на море», — сладко подумал Шумахер, и через минуту уже парковал свою апельсиновую малолитражку на площадке возле пляжа, где на высокой стеле застыли в вечном взлёте два бронзовых виндсерфера. Шумахер огляделся. Городские многоэтажки, шоссе, вода, деревья, ещё высокое солнце — всё вокруг казалось ему почти идеальным, если не считать группу тунейдцев, судя по густому загару, завсегдатаев этого места, сидевших на усеянной подсолнуховой шелухой траве. Один — самый противный, кругломордый — посмотрел своими свинячьими глазками на его машину, потом на него и, усмехнувшись, что-то хрипло сказал приятелям, которые дружно загоготали. Было немного не по себе, но ещё в школе он выработал «систему психологической защиты», не раз помогавшую ему в подобных ситуациях: не давать воли эмоциям, смотреть сквозь врага, относиться к нему как к пустому месту (разумеется, если враг не переходит к активным действиям). Да и что они сделают — кругом люди. Как будто почувствовав эту его уверенность, тунейдцы вскоре переключились на разомлевшего пьяненького товарища, который разлёгся прямо на заплёванной семечками траве. Пока они тормозили его, щипали за голые бока, обдували дымом, Шумахер смотрел вверх, туда, где бронзовые юноша и девушка ловили ветер любви и свободы двумя парусами-крыльями. Глядя на эту скульптурную пару, хотелось мыслить себя таким же молодым, вольным и смелым. Таковым он, пожалуй, в эти минуты и был — до того мгновения, когда ощутил неприятную тянущую слабость внизу живота. Обеденный ацидофилин в этот день слишком долго стоял на раскалённом подоконнике... Шумахер с тоской поглядел на прибрежные кусты, но быстро сообразил, что в таком месте обязательно должен быть туалет. Туалет оказался рядом — сразу за пляжем. Несколько секунд он раздумывал, взять ли с собой или оставить в машине портфель, но, представив себе грязный пол, на который придётся его поставить, махнул рукой и засеменил по направлению к серому домику.

Вернувшись, он не сразу понял, что произошло. Всё было так же, как и было, только загорелые тунейдцы куда-то делись, оставив после себя на примятой траве созвездие плевков, окурков и нескольких пустых бутылок. И ещё. Как-то странно

выглядела машина — что именно изменилось, было не понять, он напрягал зрение, тревожно вглядываясь в стекло левой дверцы, но очки были там, в портфеле, в *очешнике*. Только подойдя к автомобилю, Шумахер совершенно спокойно, без волнения констатировал, что боковое стекло грубо высажено, а дверца приоткрыта. Внутри, на водительском сидении в хрустальной россыпи осколков покоилась половинка дырчатого кирпича, а вот портфеля внутри не оказалось. Он валялся метрах в пяти — распотрошённый, почти что вывернутый наизнанку. Чуть поодаль чернел *очешник*, в раскрытом виде похожий на выеденную раковину мидии. «Это они, они...» — думал Шумахер, озираясь по сторонам и не видя главного... Пакета — полиэтиленового, непрозрачного — нигде не было. Даже очки вскоре обнаружились — вмятые в песок, с погнутой дужкой, но в общем целые. Даже кошелёчек, в котором ничего не было, кроме мелочи, нашёлся, а вот пакетик с плавками исчез.

Шумахер долго бродил вокруг с портфелем под мышкой, он вглядывался в лица отдыхающих, как будто надеясь прочитать в их глазах ответ на свой единственный вопрос. И вздрогнул, увидев уже знакомое лицо, — нет, не лицо, а омерзительную скотскую морду. Тот самый, круглорожий, сидел на траве, сложив по-турецки ноги, и смотрел на него. Вернее — сквозь него. Или вообще никуда не смотрел — судя по всему, он был чудовищно пьян и еле держал голову. Статуэтка Будды — вот кого он напоминал. Это, конечно, его рук дело... Их рук дело... Это они... Они!

«Вы! Ты! Сволочь! Где? Где?» — беззвучно кричал он изнутри своего мучительного молчания, схватившись за сдавленное спазмом горло. — «Где пакет, гадина? Где? Вот я тебя... В полицию! В полицию!» Он огляделся, но единственным существом в форменной одежде, находившемся поблизости, была рыжеволосая мороженщица в голубом фартуке и голубой же кепке, меланхолично катившая мимо свой морозильный ларь. Толстые подошвы тапок звучно шлёпали её по круглым пяткам, на одной из которых болтался полуотклеившийся пластырь телесного цвета. Шумахер долго провожал глазами этот маленький трепещущий на ветру флажок. Хотелось лечь прямо здесь, на бетонных плитах, свернуться криветкой и заскулить, как в детстве, от обиды и отчаяния, от абсолютного одиночества. Он вцепился обеими руками себе в волосы, под ноги ему упал пустой портфель да так и остался лежать в пыли.

Прошло минут пять. Шумахер медленно обвёл взглядом вечерний пляж. Он смотрел на всех этих рыхлых мамаш с их бесноватыми чадами, на всех этих высохших городских патрициев и их тучных матрон, на всю эту картину жалкого вечернего отдыха почтенных горожан и усмехался. В усмешке его была печаль и усталость. И когда он, стремительно обнажив утлый торс, рванул вниз тесные брюки — рванул вместе с семейными, в цветочек, трусами, могло показаться, что на несколько секунд всё вокруг замерло, — даже чайки как будто прекратили свой гвалт, даже шоссе перестало гудеть. Он быстро выпутался из упавших на песок одежд и зашагал к воде — нагой и свободный. Он не слышал, как загоготала за спиной обугленная солнцем шпана, как завохтали женщины, как чей-то скрипучий голос призывал к порядку... Он вошёл в воду, лёг на грудь и медленно поплыл в сторону солнца.

Он плыл так долго, что никто из находившихся на пляже не мог сказать точно, вернулся ли он назад. Никто впоследствии не мог с уверенностью утверждать, осталась ли на обочине шоссе оранжевая, как апельсин, малолитражка с разбитым стеклом, или в тот же вечер исчезла. Рыбаки рассказывали, что изредка вечерами, обычно в ненастную погоду, видели совершенно голого мужчину невыразительной наружности, ищущего что-то на берегу. Вёл он себя смирно, к людям не приближался. Впрочем, кто-то видел, как однажды он с криком бросился на одинокого купальщика и попытался сорвать с него плавки — синие, как море.

Терентий Кондратенко

Пятая эссенция

Есть непостижимое свойство классических стихов, известных нам наизусть: помимо самого сообщения, которое зачастую легко «пересказывается своими словами», они несут нечто, сдвигающее наше понимание классического текста в область недоумения, и мы принуждены его снова и снова разгадывать. И тогда стихотворение обретает свой чудесный статус, оказываясь в зоне непостижимой смутности, оно как бы яснее, оставаясь всё более и более загадочным.

Баратынский именовал недоумение условием нашего существования, «манкостью бытия».

Вот и в стихах Терентия Кондратенко я различил подобный ключ.

Сочинитель словно бы погружает со-знание читателя в область непроященного (смутного) и очень ясного одновременно (как будто оптически сфокусированного). Время высказывания, которое порождает стихотворение, парадоксально не завершается, а пребывает в становлении и приобретает грамматическую форму настоящего совершаемого, свойственную только поэзии. Так, несомненно, и должно быть в стихах.

Именно этот маркер и позволяет нам судить о них как об эссенции наших переживаний, именно в нём заключена точность и оптическая, и психологическая, и именно таким образом рождается понимание, невозможное без сочувственного волнения.

Николай КОНОНОВ

* * *

я хотел сказать миру
что никто мне не нужен
мир мне ответил
что я нужен всем
новый день обещает
новую жизнь
в синей дымке тает
кровавый рассвет

* * *

Солнечные лучи,
вновь выходящие из-за облаков,
своими тяжелейшими ударами
смущают воспалённую черепную коробку.
Контузия, снова контузия, и вот
уже сам окружающий мир совсем не так привычен взгляду, как
взгляд привычен миру.
Взгляд пуст и ошарашен.
Мир, обыденно величавый,
теперь совершенно чист.

* * *

Главное в этом дне —
солнце, палящее и вездесущее;
огромный шар в огне
так и норовит, падла, рухнуть.
Сигареты кончаются, хотя
когда бы им начинаться?
Новое слово как бы нехотя и скрипя
приходит на ум,
захватывая, порабощая,
принуждая изрыгать
себя
на нелинованную и свежую
бумагу. Какая всё-таки
мерзость эта ваша,
да и, чего лукавить,
моя, поэзия.

* * *

Вечная весна рвётдесятьими валами палитру
апрельского акрила или майской акварели
во имя тебя или меня, во имя старой силы,
неизведанной и, наверное, безымянной.
Вечная весна, бесконечно долгая в этот кроткий
и краткий миг, говорит с нами, слышишь? Её
неживой язык, вибрации и хрип сквозь изодранное
полотно трупной глотки?
Вечная весна, ощущаемая даже пустотой, заполняющая
её, поющая фибрами больной души, сулящая
исцеление и освобождение — она здесь, слышишь?
Не слышать это пение невозможно.
Вечная весна рвёт девятью валами стены
Иерихона, который ты выстроил. Трубы поют
всё громче, и скоро эти стены рухнут,
останется только ветер, мчащийся куда-то на север.
Вечная весна — оголтелые крики или драка
до крови, побег, побег от действительности,
где юность и девственность живут всего три
месяца, уступая место опытности и развращению.
Вечная весна зовёт за собой, но не может
не оттолкнуть своей дикостью. Ей знаком покой,
но её язык ничтожен и не передаст её и его (покоя)
сути. Её язык просит движения и смерти, жизни.

Вечная весна как вещь в себе, проживая
собственную вечность, теряет что-то,
что уже было потеряно. Утраченное
в вечности теряется ли действительно?
Вечная весна рукоятью ножа врезается
в плоть ладони, пальцев, но не ранит —
уже убитое проскальзывает мимо,
нож не имеет лезвия.
Вечная весна как девиз или метафора,
объединяющая сила, постулирующая
собственное бесконечно гордое и потому печальное,
но всё же живое одиночество.
Вечная весна посреди тёплой зимы
или дождливого и холодного лета,
запах петербургской парадной и
неоднократно воспетых парижских бульваров.
Вечная весна — и ночью не все
кошки серые, но в своей кошкости
непрерывно однородные, как из пробирки;
это не столько стих, сколько наблюдение.
Вечная весна, обещание новой любви
или старой депрессии, катится по
железнодорожному полотну как
паровоз без машиниста.
Вечная весна и паровоз — это,
конечно, всего лишь стих, а не
наблюдение. Отсутствие машиниста так же
метафорично, как идущий в никуда поезд.
Вечная весна, уход к тьме глубинных начал
и непреодолимая воля к росту над собой,
путь к саморазвитию через саморазрушение,
самостиранье, грунтовку уже использованного холста.
Вечная весна, метафора, приходящая извне,
но живущая и проживаемая внутри.
Вечная весна, девятым валом сметающая
лёд и холода, сковывающие что-то снаружи. Или нет.

* * *

сон окутывающий разум
сходит и испаряется как утренняя
роса
оставленные сном позиции
последовательно шаг за шагом
занимает утро или другое
время суток
жизнь представляет собой этот круговорот
достаточно тривиальный и моментами утомительный
ночь не означающая сон в этом смысле
является своего рода пятой эссенцией
жизни и даже свободы
отрицающей тривиальность
и саму сменяемость

Александр Васькин

«Второй съезд — кто кого съест»*

Съезды советских писателей глазами их участников

Совесть писателя должна быть в полной мере совестью народа.

Константин Паустовский

В советское время (от оттепели до перестройки) одной из действенных мер воспитания населения было проведение всякого рода съездов, слётов, собраний и пленумов. Месяца не проходило, чтобы в Москве или Ленинграде не собралось какое-либо важное совещание. Съезжались на свои съезды со всей страны колхозники, художники, кинематографисты, учителя, композиторы и, наконец, писатели. Алексей Кондратович (заместитель А.Твардовского в «Новом мире») в этой связи отметил в дневнике 24 марта 1970 года: «Сегодня открылся Российский съезд писателей — мероприятие парадное, как все наши съезды и даже многие совещания. Нигде в мире не бывает столько съездов и совещаний, как у нас, — и так тянется уже шестой десяток лет. И давно всё это формальность, впрочем, довольно дорогая». А дорогая по той причине, что иногородних делегатов, коих обычно набиралось несколько сотен, требовалось за государственный счёт доставить в Москву, разместить в гостиницах, накормить, обеспечить им культурную программу (Большой театр и Третьяковка), и наконец отправить восвояси, снабдив сувенирами и дефицитом.

Главным в стране был съезд коммунистической партии. Начиная с 1961 года съезды КПСС проводились каждые пять лет, их решения объявлялись постулатами, которые надо было претворять в жизнь. В СССР везде где ни попадая — на фасадах домов, в красных уголках заводов, фабрик и жэков — висел один и тот же лозунг: «Решения съезда КПСС — в жизнь!» Менялся только порядковый номер съезда. В частности, на XX съезде КПСС устами Никиты Хрущёва было произнесено, что «Искусство и литература Советского Союза могут и должны добиваться того, чтобы

Васькин Александр Анатольевич — писатель, культуролог, историк. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский государственный университет печати. Лауреат Горьковской литературной премии (2009), лауреат конкурсов «Лучшая книга года», лауреат Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского (2019), автор множества публикаций и книг. Печатался в журналах «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2022, № 4.

* Глава из книги «Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки», готовящейся к печати в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Повседневная жизнь человечества».

стать первыми в мире не только по богатству содержания, но и по художественной силе и мастерству». В принципе, ничего плохого в поставленной цели нет, другой вопрос — насколько она реальна в сложившейся обстановке. Так же, как и перспектива построения коммунизма...

Мучали бестолковыми, пресными собраниями и писателей, которые порою находили в себе силы отбиваться: «Кончилось лето, и из Союза и ЦДЛ посыпались повестки и приглашения. Сегодня приглашают на собрание секции драматургов с повесткой дня “Драматурги столицы навстречу XXV съезду партии” с примечанием “Ваше присутствие обязательно” и с просьбой сообщить по телефону, если я не смогу быть. Ещё там будет выбор делегатов на московскую писательскую конференцию. Всю жизнь мечтал», — записал в дневнике 25 сентября 1975 года Александр Гладков. И когда только они время находили — сочинять, ведь не все воспринимали участие в заседаниях как неизбежную и мешающую творческому процессу повинность (и даже оброк!), для некоторых это было огромной честью, особенно если выбирали в президиум. Не добившись успеха в литературе, такие писатели устремлялись к номенклатурным высотам, где мест всем не хватало.

О чём обычно велась речь на писательских съездах? «Красной нитью сквозь все речи ораторов проходит мысль о благотворном значении могучей жизнеутверждающей силы литературы социалистического реализма, о патриотическом долге писателя, как верного помощника Коммунистической партии в её гигантской работе на благо трудящихся, на благо человечества», — из статьи газеты «Правда» от 19 мая 1959 года о Третьем съезде советских писателей.

А Второй съезд «помощников партии» (т.е. писателей), ознаменовавший робкое начало оттепели, открылся 15 декабря 1954 года в Большом Кремлёвском дворце и продолжался более десяти дней. Участником его был и Юрий Нагибин, отметивший в эти дни в дневнике: «Позорный дурман грошового тщеславия. Сам себе гадок... Выбрали — не выбрали, назвали — не назвали, упомянули — не упомянули, назначили — не назначили. Я, кажется, никогда не доходил до такой самозабвенной ничтожности». Далеко не все советские писатели были готовы на столь глубокий и подробный психологический анализ, способностью к которому продемонстрировал в своём дневнике Юрий Маркович. Многие полагали, что ради этого и нужно жить — чтобы поощрительно «упомянули» в основном докладе.

Важным было и то место, которое отводилось писателю на традиционном съездовском банкете. Здесь так же рассаживали по рангу. Верхушка Союза писателей и приближённые к ней литераторы пили и закусывали в Георгиевском зале (во главе стола сидели члены Политбюро), остальные же — в Грановитой палате: «Не забыть, как мы вскакивали с рюмками в руках, покорные голосу невидимого существа, голосу, казалось, принадлежавшему одному из тех суровых святых, что взирали на наше убогое пиршество со стен Грановитой палаты. Покорные этому голосу, мы пили и с холуйством, которое даже не могло быть оценено, растягивали рты в улыбке (основной банкет шёл в Георгиевском зале, и нам он транслировался по радио)». Нагибин называет торжественный приём, которым по традиции заканчивались писательские съезды, «убогим пиршеством». И это в те не очень сытые времена. Скорее всего, Юрий Маркович имел в виду, что писательский банкет выглядел убого по сравнению с роскошными пирами русских царей, которыми и прославилась Грановитая палата, а не с пустыми полками продуктовых магазинов.

А у делегата Константина Яковлевича Ваншенкина (он пришёл на приём с женой, поэтессой Инной Гофф) и спустя много лет осталось совсем иное мнение: «Настоящий, солидный, сидячий ужин, с несколькими переменами блюд, множеством напитков, с официантами за спиной. Что называется, на старый лад. Столы были нумерованные. Нам с Инной места достались не в Георгиевском зале, а в Грановитой палате, — не потому, что я был молод, рядом с нами сидели и маститые. Мне здесь даже

больше нравилось, в близости к другим, под картинно расписанными сводами» (из мемуаров «Писательский клуб»). Думаю, что понравилось бы многим... Что же касается столь противоположных взглядов Юрия Нагибина и Константина Ваншенкина на одно и то же событие, то оно лишний раз подтверждает, насколько разными были писатели, вынужденные состоять в одном-единственном союзе.

Константину Ваншенкину было с чем сравнивать — в те годы в Москве в некоторых ресторанах ещё остались мастера дореволюционной заправки и закуски, помнящие искусство сервировки и кулинарии. Не будем забывать и о другом: молодые писатели не жили в таком довольстве и сытости, чтобы снисходительно оценивать кремлёвскую кухню. Но вот приём закончился: «Хотя никто не давал никаких сигналов или рекомендаций, столы неожиданно быстро начали пустеть. Лишь отдельные художники слова проявляли склонность задремать, уронив голову между бутылок. Но и их тоже можно было понять: в кои-то веки попали сюда, в святая святых не только отдалённой, но и самоновейшей истории, и захотелось отметить этот факт от души. Но им уже помогали те, в чьи обязанности это входило».

А Ваншенкину пришлось самому выполнять эти «обязанности». На выходе он увидел Виктора Некрасова, потерявшего ориентацию. Виктор Платонович и в другие-то дни позволял себе выпить и вообще любил это дело. А тут съезд! Грех не отметить. Ваншенкин взял Некрасова под руку и довёл аж до гостиницы «Москва», заслужив благодарность уже на следующий день: «Низко тебе кланяюсь, — сказал он серьёзно и действительно поклонился в пояс. И тут же, засмеявшись, добавил: — Сейчас прошёл Василий Семёнович Гроссман. Спрашивает: “Кто это вёл вас вчера в Кремле?” Отвечаю: “Ваншенкин”. А он: “Я-то думал, охранник”. Дело в том, что на мне была длинная болгарская дублёнка, ничуть не являющаяся тогда модной или престижной вещью, — скорее наоборот».

У многих писателей смешались в душе одновременно и восторг, и ошеломление от того, что они, благодаря съезду, впервые очутились «в святая святых не только отдалённой, но и самоновейшей истории». Ибо для остальных советских людей Кремль после долгого перерыва (почти тридцать лет) открыли лишь в июне 1955 года, когда любой желающий мог попасть за его стены с 9 утра до 8 часов вечера. Так что делегатам съезда писателей была предоставлена в декабре 1954 года уникальная привилегия. И они её оценили. И даже тот факт, что вместо полагающихся на таких мероприятиях гардеробщиков одежду писателей принимали и выдавали в Большом Кремлёвском дворце простые солдатики (что отражало в какой-то мере пока ещё полувойенную обстановку в Кремле), не смутил делегатов, ибо многие из них лишь совсем недавно сняли гимнастёрки и сапоги.

Когда Ваншенкин пишет, что к съезду они уже «привыкли», он не иронизирует. Съезд продолжался долго, даже очень. Никогда позже советские писатели на столь длительный срок уже не собирались. Да и по числу участников — 738 человек — этот съезд остался рекордным в истории советской литературы. Оно и понятно: предыдущий съезд собирался два десятка лет тому назад. С той поры выросло новое поколение советских писателей, к которому и принадлежали Ваншенкин, Нагибин, Некрасов. Им не с чем было сравнивать...

А Первый съезд союза писателей, послуживший образцом для всех прочих творческих организаций, открылся в Москве 17 августа 1934 года в Доме Союзов. В съезде приняло участие 376 делегатов с решающим правом голоса и 215 с совещательным. Участников съезда задарили цветами и подарками, кормили в «Метрополе», бесплатно водили на Козловского и Лемешева в Большой театр, возили по Москве на такси. В большей степени это поразило делегатов из провинции, а вот Вениамин Каверин обратил внимание на другое — у входа в Дом Союзов и внутри у каждой двери стояли чекисты в форме, проверяли документы: «Их было слишком много, и кто-то из руководителей, очевидно, догадался, что малиновый околыш

как-то не вяжется с писательским съездом. На другой день билеты проверялись серьёзными мужчинами в плохо сидящих штатских костюмах» (из книги «Эпилог»). Очень символичное соседство, которое уже скоро самым печальным образом скажется на самих же писателях.

За двадцать лет много воды утекло — из почти шестисот участников Первого съезда было репрессировано более двухсот человек, т.е. одна треть. Немало писателей полегло на фронтах войны. В итоге из всех делегатов Первого съезда во Втором участвовало 123 человека. Среди уцелевших участников первого съезда был и Вениамин Каверин. Сравнивая Второй съезд с Первым, он уместно вспомнил строки Гавриила Державина: «Где стол был яств,/ Там гроб стоит...» Правда, сами советские писатели передавали из уст в уста другие строки: «От первого до второго — от Горького до Суркова», подразумевая, что основной доклад в 1934 году делал Максим Горький, а в 1954-м — Алексей Сурков. Фигуры в литературном мире несопоставимые. Но по рангу и занимаемым должностям Алексей Александрович Сурков Горького обогнал по всем статьям — Герой Соцтруда, лауреат двух сталинских премий, депутат Верховного Совета, первый секретарь СП СССР в 1953—1959 годах. В литературе он остался как автор одного из самых известных стихотворений о войне — «В землянке» — и как адресат стихотворения Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», которое автор посвятил Суркову в 1941 году.

О Суркове, как и о многих писательских начальниках, остались разные отзывы. Припоминают ему активное участие в травле Бориса Пастернака, которое, судя по всему, не прошло для него бесследно. Василь Быков в своих воспоминаниях «Долгая дорога домой» рассказывал, как в составе писательской делегации, руководимой Сурковым, отправился в Рим. Обрато ехали они в поезде, ночью не спали, пока не допили всё купленное в вагоне-ресторане шампанское: «В соседнем купе Алексей Сурков, тоже в подпитии, скупко рассказал, как он в Брюсселе хотел покончить жизнь самоубийством: такие обязанности навешали на него в Москве, что за невыполнение их ему грозила Лубянка. История была связана с Пастернаком. Западная пресса обвинила Суркова в клевете на Нобелевского лауреата, и советское правительство инициировало судебный процесс, чтобы Сурков мог оправдаться. Но, кажется, из этого ничего не вышло». Своё мнение у друзей Суркова. Очень ценил его Константин Симонов.

На памятном заседании Секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года, где рассматривалось «дело» Александра Солженицына, Сурков обратился к нему с требованием: «Вы должны сказать: отмежёвываетесь ли вы от роли лидера политической оппозиции в нашей стране, которую вам приписывают на Западе?» На что получил смелый ответ: «Алексей Александрович, ну уши вянут такое слышать — от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции? Как это вяжется?» Сурков, наверное, сам не понял, что сморозил: из его слов следовало, что в СССР имела политическая оппозиция! Откуда она взялась? Её ведь всю извели ещё в 1930-х годах. Об этом пишет Каверин, но это будет тринадцать лет спустя, а пока Вениамин Александрович, сидя в зале Большого Кремлёвского дворца, сравнивает Первый и Второй съезды: «Если в самых общих чертах сопоставить эти съезды, окажется: что на Первом (при всех отклонениях) речь шла всё-таки о “собственно литературе”, а на Втором — о её вторичном, агитационно-административном существовании».

И далее: «Вместо того, чтобы направить литературу по предуказанному пути, Союз писателей занялся развитием, разветвлением, укреплением самого себя, и это сразу же стало удаваться. Я был свидетелем, как он в течение десятилетий терял связь с литературой... Разрастаясь, размножаясь — с помощью элементарного почкования, он породил огромную “окололитературу” — сотни бездельников, делающих вид, что они управляют литературой. Между понятиями “писатель” и “член Союза” давным-давно образовалась пропасть».

Близкие по духу мысли обуревали и представителя более молодого писательского поколения Валентина Пикуля: «Отдельно существуют писатели, творящие литературу, и отдельно от них существует Союз писателей, нечто вроде бывшего корпуса жандармов, которые действуют по салтыково-щедринскому шаблону: “Ташши и не пушшай!” Конечно, эти людишки в сталинских френчах, десятками лет сидевшие наверху, держались не за литературу, а за своё место в президиуме, чтобы смотреть на всех сверху вниз, как барышня на сороконожку. Недаром же их называли “застрельщиками литературы”, как будто литература — это полигон, где испытываются на прочность писательские шкуры...» (впервые опубликовано вдовой писателя Антониной Пикуль в его биографии, вышедшей в серии «ЖЗЛ»).

Вениамин Александрович Каверин — признанный классик советской литературы, один из самых экранизированных писателей, один лишь его роман «Два капитана» дважды обретал кинематографическое воплощение. До войны он жил в Ленинграде, вторую половину жизни — в Москве, в Лаврушинском. Искренность Каверина, его желание сохранить человеческое достоинство и безжалостный взгляд на систему, которая складывалась на его глазах, создали ему авторитет куда более значительный, нежели звезда Героя Соцтруда, которую он так и не получил. Мстили ему изощрённо — например, не включили его произведения в многотомную «Библиотеку мировой литературы для детей», ту, в которой каждый том имел свой цвет. Казалось бы — Каверина-то, с его «Двумя капитанами», замечательными сказками для детей! Но нет, кому-то перешёл дорогу. А на деле, кого только в этой серии нет. И какая это, позвольте заметить, «Библиотека...» в таком случае? Исповедью Каверина является его «Эпилог», написанный без надежды быть опубликованным, поражающий свежестью мыслей и смелостью воззрений. Что касается его оценки советских писателей, то вспоминаются слова Михаила Светлова, что «у нас не Союз писателей, а Союз членов Союза писателей».

Анну Ахматову делегировали на Второй съезд с правом решающего голоса. Выборы происходили в ленинградском отделении СП, некий чиновник из горисполкома высказался, что Ахматову надо послать в Москву «непременно», ибо «она большой патриот». Рассказывая об этом собрании, Анна Андреевна смеялась: «Мне кажется, я всегда была патриоткой, а не только теперь». На ленинградцев изменение отношения власти к поэтессе произвело неоднозначное впечатление: «Вчера обливают помоями, сегодня превозносят... Возмущает меня эта беспринципность несказанно. Как было с Шостаковичем; публично высекли и тут же послали в Америку», — отметила в дневнике 15 декабря 1954 года Любовь Шапорина. Появление Анны Андреевны вызвало большой интерес у делегатов из провинции, она позднее рассказывала Лидии Чуковской: «Ко мне подходили поэтессы всех народов. А я чувствовала себя этаким пиковой дамой — сейчас которая-нибудь из них потребует: “Три карты, три карты, три карты”».

О сложившемся интересном пасьянсе размышлял и драматург Евгений Шварц, также присутствовавший на Втором съезде. Рядом со Шварцем сидел Корней Чуковский, литературным секретарём которого драматург был когда-то давно, ещё в довоенном Ленинграде. У них появилась прекрасная возможность вспомнить молодость. Шварц сочинил экспромт: «Филиал Чукоккалы № 14. Во Дворце 15 декабря. Не всякий Швеиц Попадает во дворец. Е.Шварц, б. секретарь К.Чуковского». Далее Шварц описывает начало съезда: «Огромный зал. Ровно в четыре появляется Костя Федин, седой, строгий, стройный. Он ведёт под ручку Ольгу Дмитриевну [Форш]. Она медлительно спускается по проходу к столу президиума. И не успевает она стать на своё место, как из дверей налево, противоположных тем, из которых вышли Федин и Форш, появляется президиум ЦК в полном составе. Зал стоя аплодирует. Президиум отвечает залу тем же».

Появление Хрущёва, Маленкова и всего Политбюро на открытии съезда писателей призвано было обозначить его важность в идеологическом плане, однако

у Александра Твардовского оно вызвало скепсис: «16 декабря. Что-то трогательное в присутствии руководителей партии и правительства на съезде: пришли — помочь вам иным образом не можем, а так — вот вам и Кремль, и все мы налицо» (из дневника). Пройдёт три года, и Хрущёв уподобит деятельность советских писателей дальнбойной артиллерии, «которая должна прокладывать путь пехоте. Писатели — это своего рода артиллеристы. Они расчищают путь для нашего движения вперёд, помогают нашей партии в коммунистическом воспитании трудящихся». Тут ещё важно, чтобы снаряды были не холостыми, ибо в этом случае они просто бесполезны: шуму много, а толку нет, — дополним мы Никиту Сергеевича. Кому-то его сравнение покажется грубоватым, но это на первый взгляд. На самом деле таким причудливым образом первый секретарь и «отец оттепели» выразил свою искреннюю предрасположенность и даже привязанность к литераторам, ибо художников, как известно, он обзовет нехорошим словом в 1962 году на выставке в Манеже. Уж лучше тогда быть артиллеристами...

Шварц продолжает: «Размахивая руками и глядя в рукопись, начинает Сурков свой трёхчасовой доклад... В шесть часов был объявлен перерыв, и самая загадочная и могущественная часть нашего президиума удалилась и не вернулась больше. И я, утомлённый всеми происшествиями дня, стал постепенно засыпать под монотонные вопли помахивающего кулаками Суркова. И оглянувшись, увидел, что я не одинок... Вот у самого докладчика язык стал отказывать... Всё выше вздымает кулаки Сурков, всё ниже наклоняется к докладу, к его листкам и, наконец, — о счастье — провозглашает последние фразы. Аплодисменты...» Речь Суркова так «въелась» в атмосферу съезда, что её ещё долго вспоминали. Через два года Лидия Чуковская была свидетельницей утомительной сцены и описала в дневнике, как сатирик Виктор Ардов изображал выступление Суркова на съезде: «Я каталась со смеху; обоймы имён, причём каждая кончается рефреном: “И Мирзо Турсун-Задэ”». Этот рефрен с упоминанием классика советской таджикской литературы в шутку повторяли многие...

А Маргарита Алигер 17 декабря 1954 года сочинила такой стишок, оставшийся в «Чукоккале»:

На Втором, на Всесоюзном съезде
С Верой Инбер мы сидели вместе.
И доклад Суркова полной мерой
Мы хлебнули вместе с Инбер Верой.
Спать хотели, пить хотели вместе
На Втором на Всесоюзном съезде.
И в альбом Чуковскому Корнею
Написали это вместе с нею...

А тем временем стоявший на трибуне и машущий кулаками (то ли на писателей, то ли на опостылевший ему доклад) Алексей Сурков сыпал цифрами, словно на заседании Госплана. Общее количество членов Союза писателей СССР с 1934 года выросло почти в два с половиной раза, достигнув 3695 человек. В то же время объём произведённой советскими писателями продукции оставлял желать лучшего — темпы его прироста значительно отставали от довоенных. Число новых произведений, выпущенных членами Союза писателей, едва превысило 4500, что всего лишь в полтора раза превышало объём 1934 года. Отсюда следовал вывод: советские писатели работают недостаточно продуктивно, в отличие, например, от строителей и металлургов, постоянно перевыполняющих производственный план. Вот у кого надо поучиться писателям — у своего народа. Обмен опытом ещё никому не вредил.

Среди лучших произведений, созданных за отчётный период, на съезде были названы «Жизнь Клим Самгина», «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Пётр Первый» и другие романы советских классиков старшего поколения. Примечательно, что «экономический» подход к оценке творческого уровня литературных произведений

был распространён довольно широко. Так, во время не менее скучного предсъездовского собрания в Таврическом дворце в Ленинграде 6—7 декабря 1954 года среди делегатов царило схожее настроение. Доклад читал Всеволод Кочетов. «Просидела три часа, уши завяли. Кочетов, автор “Журбиных”, читал доклад два часа, я запомнила крылатые слова: “Говорят, хорошая книга равна выигранному сражению. В Ленинграде триста литераторов. Сколько же у нас будет выигранных сражений!.. О высоких качествах нашей литературы свидетельствуют многочисленные сталинские премии”», — отметила Любовь Шапорина в уже цитированном ранее дневнике. Борьба за качество литературы переросла в гонку за премиями.

В советское время первым номером всяких съездов и собраний всегда был «основной доклад», продолжавшийся несколько часов подряд: и три, и даже пять. Такими вот ритуальными докладами втирали очки начальству и промывали мозги присутствующим. И не дай Бог было нарушить сложившуюся годами эту косную и бюрократическую традицию. В кинокомедии «Карнавальная ночь» товарищ Огурцов, которому не удалось в новогоднюю ночь прочитать доклад «коротенько, минут на сорок», говорит: «За это дело... За срыв доклада...», — подразумевая грядущие кары на голову борющейся с ним прогрессивной молодежи. Т.е. сорвать доклад означало совершить жуткий антиобщественный поступок (а, быть может, и антисоветский!).

Доклад Алексея Суркова назывался оптимистично — «О состоянии и задачах советской литературы». Какое у неё могло быть состояние после двадцати лет сталинизма и послевоенной ждановщины? Полуживое, если использовать характеристику Вениамина Каверина. Хорошо о литературных нравах выразился Анатолий Рыбаков: «Не думай, подумал — не говори, сказал — не публикуй, опубликовал — пиши покаянное письмо». Кстати, по поводу покаяний это не шутка. Александр Твардовский 24 ноября 1954 года приводит такой разговор с украинским поэтом Петрусем Бровкой, посоветовавшим ему: «Выступи на съезде. Ты должен это сделать. Выступи, признай ошибки и дай перспективу советской поэзии». — «Какие же ошибки?» — «Ну, какие там есть». — «Какие же?» — «Да всё равно какие. Признай»...

Свои доклады озвучили азербайджанский поэт Самед Вургун («Советская поэзия»), киевлянин Александр Корнейчук («Советская драматургия») и другие. Общий вывод заключался в том, что надо и дальше творить в том же духе, совершенствуя и «обогащая» метод социалистического реализма. Новая политическая конъюнктура, заключавшаяся в том, что восхваление Сталина постепенно уступало место его разоблачению, требовала от писателей прекратить создание бесконфликтных произведений — это когда в романе есть два персонажа: очень хороший (секретарь райкома) и просто хороший (председатель колхоза). Формирование культа личности, в котором писатели принимали непосредственное участие, теперь в очень завуалированной форме объявлялось «приукрашиванием действительности», с которым нужно было бороться, причём с той же силой. Литераторы должны были умудриться увидеть «во всей сложности и полноте подлинную правду жизни как она складывается в современных международных условиях, в условиях развёртывающейся борьбы между лагерем империализма и лагерем социализма и демократии», что следовало из приветствия ЦК КПСС Второму всесоюзному съезду писателей. Внешняя угроза всегда очень удобна для нагнетания истерии, а если этой угрозы нет, её можно выдумать.

Обстановка, в общем, типичная для любого советского съезда: скука и тоска, а ведь речь идёт о собрании самых передовых советских писателей. «Два дня вышло из строя. Пустопорожний президиум перед пустопорожним съездом», — отметил 4 декабря 1954 года Александр Твардовский, будто в воду глядел. Таким же мог быть разговор и на съезде колхозников или шахтёров. Но шахтёры вряд ли отважились бы «прикладывать» с трибуны своих коллег, как это принято у писателей. Например, Сурков, «обратившись к Маршаку и Михалкову, сидящим в президиуме, воскликнул,

грозя пальцем: “А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры для детей!”», — свидетельствует Шварц, запомнивший ироническую реакцию Чуковского, который, «услышав это, сделал томное лицо, закивал головой и продекламировал подчёркнуто грустно: “Да, да, да, это национальное бедствие!” то ли в шутку, то ли всерьёз».

«Съезд, дорогой и громоздкий, мог быть организован хитрее и искуснее. Слишком много обиженных...» — отметил Евгений Шварц. И решил, не тратя время попусту, не просиживать штаны на заседаниях, а гулять по Москве. Кстати, Шварцу тоже досталось, от докладчика Бориса Полевого. Это был «удар под дых» за формализм, в котором обвиняли драматурга. И Евгению Львовичу стало невмоготу: «И без того тяжёлый, многопудовый съезд наш в жарком Колонном зале стал трудно переносим. А тут ещё прибавилась и тяжесть на душе...» Тяжесть усугубилась горем — скоропостижно в 57 лет скончался прозаик и драматург Михаил Эммануилович Козаков (отец актёра Михаила Козакова). На съезд он так и не попал — ему стало плохо на улице. Похоронили Козакова на Немецком кладбище. Зловредная вражеская пропаганда получила на руки лишний козырь: съезд ещё не кончился, а его участники уже уходят из жизни!

В это трудно сегодня поверить, но Михаил Козаков умер оттого, что не получил билет на съезд. 23 января 1955 года Юрий Карлович Олеша вспоминал в дневнике, что Козаков, не услышав своего имени в списке делегатов, заплакал. Критик Юзеф Ильич Юзовский присутствовал при этом, уточняя: «Слёзы у него просто брызнули!» А гостевые билеты на съезд выдавали в ЦДЛ накануне его открытия. И Козаков «высказывал тревогу, дадут ли ему гостевой билет (мы — я и Сельвинский, — будучи делегатами, даже посмеивались над этой тревогой)... Вот таким я видел его в тот вечер, когда у него случился инфаркт. К сердцу, напрягшемуся для борьбы, и без того раскалённому в долгой борьбе за жизнь, он подпустил слишком близко — да просто приложил к нему! — горячительные образы Шолохова, билетов, которые могут дать, могут не дать, — и оно разорвалось. Боже мой, зачем это?» — писал Юрий Олеша.

Из доклада Алексея Суркова тем не менее писатели узнали и кое-что интересное. В частности, о том, что жив-здоров писатель-эмигрант Борис Зайцев, выступивший на радио «Освобождение» — так в 1954 году называлась радиостанция «Свобода»: «Враги нашей родины и нашей литературы не дремлют. По случаю нашего съезда из мусорной корзины истории был вытащен белый эмигрант Борис Зайцев, исторгнувший в бессильной злобе в свой белогвардейский микрофон словесную отраву». То ли Алексей Александрович сам регулярно слушал вражеские голоса, то ли нашлись люди повыше, кто рецензировал его отчётный доклад, но так впервые «вражеский голос» угодил в официальный советский бюрократический оборот. Думается, что среди делегатов были и те, кто сам накануне послушал Зайцева, мысленно с ним согласившись, так и другие, кто после съезда побежал покупать радиоприёмник, надеясь хоть из него узнать альтернативную точку зрения на происходящие в СССР события.

15 декабря Корней Чуковский, вернувшись со съезда, отметил в дневнике: «Впечатление — ужасное. Это не литературный Съезд, но анти-литературный съезд». С унынием, навеваемым бесконечными докладами, писатели боролись привычным методом — перекурами. Но в Большом Кремлёвском дворце к такому не привыкли, потом, правда, пришлось смириться. Специальные сотрудники — дежурные распорядители — привыкли запускать и выпускать из зала людей после звонка. Но писатели нарушали многолетнюю инструкцию. Теперь всё зависело от того, кто на трибуне: «Скучный выступающий — повалили курить, объявлен интересный — обратно», — вспоминал Константин Ваншенкин. Следующие заседания проходили уже в Колонном зале Дома союзов. Там уже чуть повеселее: «Длинные обзорные доклады, отчёты, вспыхивающие сшибки в прениях, бурлящие фойе и буфет, часто

меняющаяся стенгазета съезда, возле которой тоже толпы, остроты, обиды, знакомства, встречи, объятия».

В стенгазете писательского съезда делегаты могли прочитать эпиграммы друг на друга, наиболее острые, само собой, были направлены против членов президиума. Например, такая, на Николая Грибачёва: «Его не выбрали на съезд, а Колька слушает да ест!» Сохранилась она благодаря Олеся Гончару, в памяти которого (и в дневнике!) осталась ещё и поговорка «Второй съезд — кто кого съест». А ещё прозвище Самеда Вургуна «копчёный тигр». И совсем не весёлые слова Михаила Шолохова в адрес Ильи Эренбурга: «Если вы мечтаете о парижских каштанах, не забывайте, что вы едите русский хлеб!» А почему нельзя мечтать о парижских каштанах и есть хлеб? Припомнилась и строка из стихотворения Сергея Михалкова: «А сало... русское едят!»

Стенгазета ещё и потому часто менялась на съезде, что в ней, как вспоминал Каверин, «кто-то осмелился заметить, что съезд проходит "шолоховато"». В «Чукоккале» об этом также говорится: «В начале Съезд шёл довольно гладковато, а потом пошёл шолоховато». Газета провисела всего несколько часов, но прочитать её успело немало писателей. Выступление Михаила Шолохова не назовёшь скучным, мало того, оно вызвало большой резонанс. Нашлись среди писателей смельчаки, выразившие открытый протест против этой «хулиганской» речи, как назвал её Каверин. В стенографическом отчёте съезда, впоследствии опубликованном, была указана следующая реакция делегатов при появлении Шолохова на трибуне: «Длительные, бурные аплодисменты. Все встают», — но Каверин утверждает прямо противоположное: «Это — ложь. Встали — не все. Оставшиеся сидеть и были те, кто впоследствии основал "Литературную Москву" и поддержал Солженицына, когда он обратился со своим знаменитым письмом к Четвёртому съезду».

Сборник «Литературная Москва», изданный московскими писателями в 1956—1957 годах, — знаковое событие оттепели. Два его выпуска вобрали в себя всё лучшее и живое, что тогда начало прорастать в советской литературе. И потому второй сборник оказался и последним. Отдел культуры ЦК сигнализировал: «В ряде произведений, включённых в выпущенный в начале 1957 года второй сборник "Литературной Москвы" (члены редколлегии Эммануил Казакевич, Маргарита Алигер, Вениамин Каверин и другие), отражено стремление к односторонне-обличительному изображению жизни. В рассказе Александра Яшина "Рычаги" все коммунисты сельской партийной организации — люди бесчестные и лицемерные. Сюда же следует отнести рассказы Юрия Нагибина "Свет в окне" и Николая Жданова "Поездка на родину"». Закрытие альманаха свидетельствовало об обратном: в нём была изображена реальная жизнь советского народа, а не та отлакированная, что видна исключительно из съездовского президиума.

Выступление Шолохова вызвало возмущение не только у Каверина: «Это было, так сказать, нападение на всю литературу справа. Всю жизнь он притворялся исконным казаком и на этот раз появился на трибуне в высоких сапогах и как бы с казацкой нагайкой, размахивая ею направо и налево...» Крепко досталось от Шолохова критикам, «в таком же базарном тоне был обруган Симонов. Утверждая, что этот писатель не что иное, как "голый король", Шолохов сказал: "Неохота нам, Константин Михайлович, будет смотреть на твою наготу, а поэтому, не обижаясь, прими наш дружеский совет: одевайся поскорее поплотнее, да одежду выбирай такую, чтобы ей век износу не было"». Из стенографического отчёта съезда, пишет Каверин, вымарали не только протест партийной части собрания против речи Шолохова, но и его упрёк Симонову: «Костя, подтяни штаны». «Прошёлся» Шолохов и по Илье Эренбургу и его «Оттепели». «Это была первая из тех речей Шолохова, которые, без всякого сомнения, были прямым результатом его творческого бесплодия», — замечает Каверин. А в опубликованной в 1960 году речи Шолохова на съезде слов «Костя, подтяни штаны», и правда, нет.

Протест против Шолохова озвучил старый писатель и классик соцреализма Фёдор Гладков — «белый как мел, держа бумагу дрожащими руками». Это стоило Гладкову таких нервных усилий, что он заболел и не мог уже вспоминать об этом эпизоде своей жизни без содрогания. Через четыре года он оказался в кремлёвской больнице в одно время с Чуковским, в соседней роскошной палате. 29 апреля 1958 года Корней Иванович записал их разговор: «Сейчас зашёл к нему и ужаснулся. Болезнь искромсала его до неузнаваемости. Последний раз я видел его на Втором съезде писателей, когда он выступил против Шолохова. По его словам, с этого времени и началась его болезнь. Он, по его словам, не готовился к съезду и не думал выступать на нём. Но позвонил Сулов: "Вы должны дать Шолохову отпор". Он выступил, страшно волнуясь. На следующее утро ему позвонили: "Вашим выступлением вполне удовлетворены, вы должны провести последнее заседание..." Это его и доконало, по его словам».

После выступления с осуждением Шолохова Гладков получил десятки оскорбительных писем не только с руганью, но и прямыми угрозами «уничтожить» его. Когда он рассказывал это Чуковскому, то не мог сдерживать эмоций: «Гладков весь дрожит, по щекам текут у него слёзы — и кажется, что он в предсмертной прострации. — После съезда я потерял всякую охоту (и способность) писать. Ну его к чёрту. Вы посмотрите на народ. Ведь прежде были устои, такие или сякие, а были, а теперь — пьянство, разгул, воровство. А высшие власти...» А вскоре после этого разговора, в декабре 1958 года, переживший инфаркт Фёдор Васильевич Гладков, автор романов «Цемент» и «Энергия», дважды сталинский лауреат, скончался. А ведь он был всего на год моложе Чуковского. Вот что значит — протестовать против Шолохова.

Вызывающее поведение Шолохова заставило задуматься и Евгения Шварца: «Вглядываюсь в этого небольшого человека, вслушиваюсь в его южнорусский говор с "h" вместо "г" — и ничего не могу понять, теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь... Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезд. Да попросту говоря — лучший. Никакая история гражданской войны не объяснит её так, как "Тихий Дон"... И никак не видно было сегодня ни по внешности, ни поговору, ни по тому, что он говорил, — что это вот и есть автор "Тихого Дона"...» Многие до сих пор не могут совместить два этих образа в одном: автора «Тихого Дона» и человека Михаила Шолохова. Несовместимость эта проявлялась в т.ч. и в дни таких вот писательских съездов, когда Шолохов, в общем-то не часто появлявшийся в столице, т.к. всё время жил и писал в Вешенской, приезжал в Москву. Ему бы и дальше там сидеть, что снизило бы накал претензий наиболее впечатлительной писательской общественности. Но «партийный долг писателя» вновь и вновь выносил его на трибуну. Получалась прямо-таки советская версия истории про доктора Джекила и мистера Хайда.

А вот в ЦК КПСС были прекрасно осведомлены о причинах столь странного несоответствия выдающего советского писателя и преданного партии человека: судя по документам, в это время Михаил Александрович вновь переживал обострение хронического заболевания, того же, каким страдал и Александр Фадеев, и ряд других советских писателей. Но не у всех из них болезнь протекала именно в такой форме. В Российском государственном архиве новейшей истории хранится интересный документ, из которого следует, что в сентябре 1955 года Секретариат ЦК КПСС поручил 4-му Управлению Министерства здравоохранения СССР организовать лечение «т. Шолохова М.А., поместив его с этой целью в больницу, а также обязал т. Шолохова выполнять все предписания врачей». Однако это решение не было выполнено: «Здоровье писателя катастрофически разрушается, и он теряет всякую способность к творческой деятельности. В настоящее время он находится в состоянии тяжёлого запоя, скандалит, оскорбляет близких, носит с собой оружие. Прошу ЦК КПСС обязать начальника 4-го Управления Министерства здравоохранения СССР

т. Маркова А.М. организовать в принудительном порядке лечение т. Шолохова М.А.». Это письмо за подписью заведующего отделом культуры ЦК КПСС Дмитрия Поликарпова было направлено Михаилу Суслову 13 декабря 1956 года, с которым тот «ознакомился». Надо полагать, что аскет Суслов испытывал вполне искреннее желание вернуть выдающегося советского писателя в чувство, ибо сам он пил только по праздникам.

С болезнью Шолохова справиться не могли не только в писательской поликлинике, но и в кремлёвской больнице. Письмо Поликарпова было основано на медицинском заключении, составленном в Четвёртом управлении Министерства здравоохранения СССР: «На почве хронической алкогольной интоксикации у тов. Шолохова М.А. развиваются цирроз печени, кардиосклероз, общий атеросклероз и гипертоническая болезнь. Обычные увещания и попытки заставить тов. Шолохова М.А. провести необходимое лечение успеха не имели...» (3 сентября 1955 года). А попытки предпринимались довольно неожиданные, например, Шолохову настоятельно рекомендовали отложить в сторону бутылку с коньяком и заняться «физкультурными играми на свежем воздухе», чему он упорно противился, быть может, по той причине, что играть было не с кем, а выпить можно и одному. Ведь в этом и есть один из признаков алкоголизма. Зная о том, насколько больным человеком был Михаил Александрович, его всё равно выпускали на съездовскую трибуну, бесстыдно используя.

Творческая судьба многих писателей, и не только советских, связана с такой болезнью. Уместно привести мнение Василя Быкова: «В довольно драматическом и божественном писательском быту немалую проблему создавал алкоголь. Частые поездки, хождение в гости, заседания и съезды почти никогда не обходились без дружеских застолий, нередко длительных и чрезмерных. Не всегда они заканчивались мирно — иногда вспыхивали свары, что стоило нервов...» Не только нервов, но и истинного позора и собственной дискредитации.

Но вернёмся на съезд, к Евгению Шварцу. Что касается оценки союза писателей, то в своей знаменитой «Телефонной книжке» он даст ему следующую убийственную характеристику (10.6.56): «Все прошедшие годы прожиты под скалой “Пронеси, господи”. Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумлёнными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная молодость других: им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать. Кое-кто уцелел и даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других, тупую ненависть третьих. Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее. Во всяком случае, я вряд ли дотяну до новых и счастливых времён. Молодые — возможно...». Евгений Львович предчувствовал — он умер в 1958 году, а лучшие времена наступили, в т.ч. благодаря его пьесам: «Дракон», «Тень», «Голый король» и другим. Думается, что этот самый Дракон сидел на этом съезде едва ли не в каждом писателе, не говоря уже о президиуме.

А Чуковскому стало плохо — он вообще зря пошёл на этот съезд, вызвавший в его душе так много переживаний, ему бы надо было последовать примеру Бориса Пастернака: «19 декабря. Не сплю много ночей — из-за Съезда. Заехал было за Пастернаком — он не едет: “Кланяйтесь Анне Андреевне”, вот и всё его отношение к съезду. Я бываю изредка — толчея, казённая канитель, длинно, холодно и шумно». На одном из заседаний Корнею Ивановичу даже дали слово, встретили автора «Бармалея» аплодисментами, горячо: «Читал я длинно, но слушали и прерывали аплодисментами. Но того успеха, который был на I съезде, не чувствовал — и того

единения с аудиторией». В итоге после перенесённых волнений 24 декабря он на съезде «сомлел», т.е. потерял сознание. Пришлось приводить в чувство.

Если бы основной доклад на съезде делали Твардовский, Шварц, Казакевич, Паустовский, несомненно, перекуров бы было меньше. Но кто бы выпустил на трибуну Паустовского? Ему-то слово и не дали — хотя оно было бы более ценным и нужным в декабре 1954 года, чем выступление Шолохова. Константину Георгиевичу не отказывали, а всего лишь записали его в конец списка делегатов, просившихся на трибуну. Это был испытанный приём по затыканию ртов: попробуй, дождись своей очереди! А когда прения предложили прекратить (по «просьбе» тех же делегатов), ряд писателей обратились в президиум съезда к Симонову с просьбой дать слово Паустовскому, который «хотел говорить <...> о праве искусства на независимость, без которой оно превращается в рупор пропаганды», — пишет Каверин. А вот Шолохов превратить искусство в «рупор пропаганды» был не прочь. Заканчивая свой доклад на бравурной ноте, он заявил: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которому мы служим своим искусством».

А делегаты уже засыпали от тоски:

Скучно. Поздно. Время — за ночь.
Дым табачный очи ест...
Голоснём, Корней Иваныч,
И закончим этот съезд!

Призывал в «Чукоккале» поэт Александр Жаров 25 декабря 1954 года.

Итог подвёл Александр Твардовский, но не с трибуны, а в дневнике 27 декабря 1954 года: «Две недели съезда, который сам себя съел, т.е. изжил, обнаружил свою никчёмную громоздкость, которая стала очевидной даже для тех, кто, может быть, ждал от него чего-нибудь».

После Второго съезда последовал Третий (1959), Четвёртый (1967), Пятый (1971), Шестой (1976), Седьмой (1981) и, наконец, Восьмой, последний (1986). И все они, в общем, были похожи друг на друга по форме и содержанию.

Мы уже побывали на банкетах и приёмах по случаю съездов, а теперь узнаем, где и как жили писатели, приезжавшие в Москву из союзных республик. Размещали их в гостинице «Москва», построенной к 1935 году в Охотном ряду (в советское время — проспект Маркса) и полагавшейся по статусу депутатам Верховного Совета СССР и РСФСР. Таким образом демонстрировалась важность писательских съездов, участники которых приравнивались к депутатам. В «Москву» после окончания пленарных заседаний отправлялись не только иногородние писатели, но и их коллеги со столичной пропиской, дабы продолжить общение в неформальной обстановке. Благо что гостиничные «прения» не подвергались уже никакому регламенту. Здесь писатели чувствовали себя более раскованно.

«Москва» особенно была дорога писателям старшего поколения, жившим здесь в военные годы. Поздней осенью 1941-го, когда во многих московских домах отключили отопление и электричество, столичных писателей переселили в эту гостиницу. Здесь же разместили эвакуированных из Ленинграда литераторов, например, Ольгу Берггольц, поразившуюся, что москвичи не знают всей правды о блокаде. Приезжавшие с фронта писатели так же могли получить номер в «Москве». Так что вспомнить было что. Однако, не смотря на то, что гостиница «Москва» была самой вместительной в столице, обнаружилось, что одной её недостаточно для размещения участников не только писательских съездов, но и многих других, число которых с началом оттепели росло год от года. И тогда в Зарядье начали строить одну из самых больших гостиниц в Европе — «Россия». Открылась она в 1967 году к радости в т.ч. и гостей столицы.

Ну а как расценивали возможность пожить в «России» писатели? Казалось бы — новая гостиница с пятью ресторанами, один из которых разместился на 21-м этаже, позволяя жующим гражданам ещё и рассмотреть город-герой с птичьего полёта. Живи и радуйся! Но нет. Выбор между «Москвой» и «Россией» подтверждал номенклатурный вес писателя. Здесь тоже «сортировали» литераторов по рангу. Один из самых известных советских писателей, что так и не переехал в Москву, а остался жить на своей малой белорусской родине (оставшись ей верным до конца), Василь Быков рассказывает про 1967-й год: «В Москве собирался [Четвёртый] съезд СП СССР, из Минска мы поехали большой группой. Перед открытием, как обычно, толпились в тесных коридорах на Воровского, получали направления в гостиницы. Это было важное и сложное дело — размещение по гостиницам. Поселяли с большим разбором, в зависимости от веса, который имели те или иные писатели и организации в глазах начальства. Одних (руководителей, депутатов, народных) селили в гостинице "Москва", других, без титулов и заслуг — в "России". Получив направление в гостиницу рангом ниже, шли жаловаться Маркову или Воронкову или посылали к ним Шамякина (И.П.Шамякин, один из руководителей Союза писателей Белоруссии — *А.В.*) с ходатайством. Шамякин ходатайствовал тоже с большим разбором, не допуская уравниловки. Я получил номер в "Москве", Адамович — в "России".

Затем Быков с Адамовичем узнали от Анатолия Гладилина об открытом письме Александра Солженицына съезду писателей — в защиту свободы творчества и против цензуры. Они также поставили свои подписи. Потом позвонили Солженицыну, с которым ещё не были знакомы. Александр Исаевич предложил встретиться. Договорились повидаться в гостинице «Москва», в номере Быкова.

Солженицын пришёл к Быкову и Адамовичу уже на следующее утро. «Купили выпивку», — сообщает Василь Владимирович, приготовивший для такого торжественного случая ещё и фотоаппарат. Александр Исаевич немного припозднился. Поговорили откровенно, как единомышленники. Солженицын сказал, что рад познакомиться с белорусами лично, что читал их книги, разделяет их пафос. Поведал он и о своих литературных планах. В конце разговора сфотографировались на память.

Застать Быкова на его месте во время съезда было нелегко: в зале он появлялся редко, большую часть времени проводя в кулуарах или в буфете. Туда стекалось немало писателей: докладная скучища кого угодно могла довести до буфета. Но вот незадача: если еды было навалом, то выпивка отсутствовала как таковая. Литераторы негодовали: «Особенно возмущался Виктор Астафьев — я к тому времени был уже с ним знаком и мы хотели обмыть встречу. Да не было чем. И Виктор громко, повергая в смятение вышколенную гэбистскую службу, возглашал, что без водки не победили бы в войне — даже с громовыми призывами политруков. "И белорусские партизаны это знают — правда, Василь?" — шутливо обращался он ко мне. Я согласился...»

Встреча с Александром Солженицыным и Виктором Астафьевым, что жил в ту пору в Вологде, стала для Василя Быкова главным событием съезда. Но как же быть, если обмывать нечем? Находчивые писатели и здесь доказали свою близость к народу: «Шикарной закуски в Кремле было навалом, а спиртного ни капли. В гостинице, наоборот, буфеты ломились от выпивки, а закусить было нечем. Как всегда, с закуской в стране была напряжёнка. Утром за завтраком мы долго решали задачу: как пронести на съезд бутылку... А проверяли нас на каждом шагу, во всех дверях, возле которых гэбисты обычно дежурили парами: пока один проверял документы, сверяя фотокарточку с оригиналом, второй производил «визуальный обыск», бдительно приглядываясь к карманам и к тому, что в руках. Выход нашли самый простой — выпить в гостинице, а закусывать бежать в Кремль». Вот и правильно!

Так и сделали. И уже в благостном утреннем настроении белорусские делегаты двинулись на съезд, однако всю обедню неожиданно испортила охрана: «Мы не успели перебежать проезд Спасской башни на зелёный свет светофора и остановились.

Но один из делегатов (не из нашей компании), старый туркменский писатель, пошёл на красный свет и был задержан гэбистом в форме, который грубо рванул старика за плечо и стал отчитывать. Этого не выдержал Григорий Бакланов, оказавшийся рядом. Я никогда не видел Григория таким разгневанным: он бросился защищать старого туркмена на глазах десятков прохожих, возмущённо стыдил гэбиста. Но тот тоже пришёл в ярость, потребовал у Бакланова пропуск, стал орать: "Я его сейчас порву, и ты больше не увидишь свой съезд!" На что Бакланов ответил с вызовом: "Ну порви! Порви! Что же ты не рвёшь?" Тот, однако, не порвал, — видно, добрый попался... Этот поступок Бакланова многое мне объяснил в его характере, твёрдом и упрямом... Среди нас в смелости и принципиальности не уступал ему разве что один Алесь Адамович. В принципиальности Григория Бакланова мы уже имели возможность убедиться.

Кстати, Григорий Яковлевич вспоминал, что в гостинице «Россия», в полуподвальном этаже, во время съездов была организована распродажа всякого рода дефицита для писателей: на прилавках были разложены «богатства», за которыми устремлялись по вечерам делегаты с жёнами (днём нельзя — заседания!). «И какие страсти разгораются, какие обиды. Кто-то будет осчастливлен, кто-то уязвлён: как в кремлёвском зале».

На этом съезде, свидетельствует Василь Быков, всё шло «как обычно, произносились речи, привычно скучал президиум. В кулуарах было интересней». И вновь «гвоздём программы» стал Виктор Некрасов, ещё не покинувший СССР, «в облике парижского клошара — в нестиранной тенниске, старых джинсах, в разношеннх сандалетах на босу ногу, — из них торчали пальцы с жёлтыми старческими ногтями». Столь «свободный» стиль одежды Некрасова воспринимался как вызов: «Зато его сразу окружили молодые, и из их тесного круга на лестнице доносились весёлые голоса и смех. Гэбисты в штатском вынуждены были притворить дверь в зал. Важно, что встречи и знакомства продолжались и после съезда, в гостиницах и ресторанах. В один из вечеров на квартире у Валентина Оскоцкого познакомился с очень уважаемым мною критиком Игорем Дедковым. Он давно жил в Костроме, в Москве появлялся редко».

Одним из незабываемых событий съездовской канители стало открытое письмо Александра Солженицына. Автор разослал более двухсот его копий в президиум и делегатам съезда, а также в редакции советских газет и журналов. Отпечатанный на машинке текст он дополнял от руки фамилией адресата. Однако опубликовали его во многих странах Европы, но только не в Советском Союзе. Это был, наверное, первый такой случай бескомпромиссной борьбы за свободу слова. Благодаря тому, что письмо прочитали по «вражеским голосам», его содержание быстро стало известно не только советским писателям, но и многим читателям.

Само собой, делегатом Александр Исаевич никак не мог стать, а потому обратился напрямую к съезду, главным образом, конечно, к верхушке Союза писателей, 16 мая 1967 года. Солженицын просил обсудить «нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь». А также прекратить его преследование по политическим мотивам и бессовестную клевету, что лилась на него со страниц советских газет.

Трудно себе представить, чтобы письмо Солженицына было бы оглашено на съезде или даже самого его автора допустили бы на трибуну — уже сама эта фантастическая возможность нарушила бы цензуру, ставшую основой существования не только Союза писателей, но всей советской идеологии. Солженицын написал то, о чём думали многие, тот же Паустовский, так и не получивший слово на Втором съезде. А ведь просили немногого: хотя бы передать право литературным журналам самим решать, что и как публиковать (издания эти находились под тяжёлым спудом

партийного контроля: и главные редакторы, и их замы, и заведомыми должны были состоять в КПСС).

18 мая 1967 года письмо Солженицына прочитал Фёдор Абрамов и отметил в дневнике: «Документ исторический. Вероятно, он войдёт в историю наравне с письмом Чаадаева, а что касается парада, то он безнадежно испорчен. Как будут чувствовать себя делегаты съезда, имея у себя в кармане такое письмо? Аввакум середины XX века требует отмены всякой цензуры, действенной защиты писательских прав и помощи себе. Да, великое мужество надо иметь, чтобы решиться на это. Боюсь за Солженицына. Неужели и он станет жертвой исторической закономерности — лучший погибает, процветает мещанин? Сегодня, видимо, не один я плохо спал. Сегодня, видимо, не один я не могу работать. Солженицын обращается к твоей совести. Но что делать?»

Долго размышлял над письмом и прочитавший его Анатолий Жигулин: «Боюсь за Солженицына», отметил он в дневнике 21 мая 1967 года. Да, многие так и не сомкнули глаз, прочитав обращение Александра Исаевича. Одни сопереживали, иные мучались совестью, другие, от которых зависела судьба писателя, искали повод загнать его в угол. Александр Трифонович Твардовский 7 июня 1967 года описывает перепалку литературных генералов, возникшую на первом после съезда заседании секретариата Союза писателей: «Салынский: “Зачем же мы будем его отдавать врагам. — Грибачёв: А он и есть враг, зачем он нам”». Обращает на себя внимание используемая риторика, словно на дворе не 1967-й год, а 1937-й.

Солженицыну не удалось добиться выполнения ни одного своего требования, да вряд ли он на это рассчитывал. Но он сумел совершить то, чего ранее до него никто не решался сделать: сорвать съезд, т.е. «парад», как его назвал Абрамов. А съезд этот, к которому активно готовились, поскольку проходил он в юбилейный год пятидесятилетия ВОСР (Великой октябрьской социалистической революции), должен был иметь «показной, победный характер» по словам Александра Гладкова, выразившего надежды либеральной части общества: «Общее мнение: Синявского и Даниэля, а также арестованную за январскую демонстрацию молодёжь тихо выпустят» (из дневника). Но «общее мнение» ошибалось. Никого не отпустили.

А упомянутые литераторы Андрей Донатович Синявский и Юлий Маркович Даниэль провинились тем, что посмели публиковаться за рубежом, за что и были арестованы в 1965 году, а в следующем году осуждены по часто применявшейся в отношении слишком свободолюбивых писателей статье «антисоветская агитация и пропаганда». Виновными себя не признали. Отбывали они срок в колонии строгого режима. Процесс широко освещался в советской печати. Многие коллеги Синявского и Даниэля, а также учёные, деятели культуры не побоялись выступить в их поддержку, в т.ч. Павел Антокольский, Белла Ахмадулина, Валентин Берестов, Юрий Домбровский, Анатолий Жигулин, Лев Копелев, Юрий Левитанский, Юрий Нагибин, Булат Окуджава, Давид Самойлов, Корней и Лидия Чуковские, Варлам Шаламов, Виктор Шкловский, Илья Эренбург и другие.

Анатолия Жигулина заставили снять свою подпись: «6-го мая я подписал, точнее — написал под диктовку Л.Лавлинского письмо-отказ от подписи под письмом о взятии на поруки Синявского и Даниэля. Пугал меня Лавлинский люто. Начинать с совести, с Ленина. И переходил к прозе: издавать не будут, на работу не возьмут ни меня, ни Ирину (жена — А.В.). И за границу, мол, хотели тебя послать, а ты... А у меня должна быть 10-го вёрстка. Цензура... Что касается заграницы, то вопрос этот сразу отпал. Я сказал, что мне туда ехать не в чем — нет ни ботинок, ни костюма...» (из дневника 9 мая 1966 года; Упомянутый Леонард Илларионович Лавлинский — инструктор отдела культуры ЦК КПСС в 1965—1970 годах, впоследствии заместитель главного редактора журнала «Дружба народов»). Приведённый Жигулиным разговор —

вполне обычный для того времени. Как видим, техника кнута и пряника в работе власти с советскими писателями применялась широко.

5 декабря 1965 года в день советской Конституции (ещё старой, сталинской) на Пушкинской площади собрался пусть и малочисленный, но громкий несанкционированный митинг в поддержку арестованных литераторов, на котором и прозвучало знаменитое требование: «Уважайте собственную Конституцию!» Что же касается январской демонстрации, о которой пишет в дневнике Александр Гладков, то она прошла 22 января 1967 года опять же «на Пушкине» и закончилась арестом её участников. Этот знаковый день считается одним из истоков правозащитного движения в СССР.

А в качестве главного «общественного» обвинителя вновь выступил Михаил Шолохов, произошло это на 23-м съезде КПСС в Кремле весной 1966 года: «Попадись эти молодчики с чёрной совестью в памятные 20-годы, когда судили не опираясь на строго разграниченные статьи уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием... (бурные аплодисменты)... Ох, не ту бы меру наказания получили бы эти оборотни!» Между прочим, один из этих «оборотней» — Юлий Даниэль — фронтовик, прошёл войну, был ранен.

После освобождения из лагеря в самом начале 1970-х, Андрея Синявского с супругой Марией Васильевной Розановой отпустили во Францию, где он стал профессором русской литературы в Сорбонне. С 1978 года они издавали ставший авторитетным за рубежом журнал «Синтаксис: публицистика, критика, полемика». Даниэль остался в СССР, жил переводами, печатался анонимно. Реабилитировали писателей в 1991 году.

А в 1967 году на писательском съезде имени осуждённых литераторов если и не назывались с трибуны, то по крайней мере были у всех на слуху. Как и письмо Солженицына. И съезд оказался сорванным. В чём это выразилось? Павел Антокольский записал в дневнике 25 мая: «Вчера после моего двухдневного пребывания на съезде мы вернулись сюда с твёрдым намерением больше туда не являться. Заранее можно было представить ничтожный характер этого съезда. Но действительность превзошла все эти представления. До чего глупо, бездарно и бессодержательно всё, что там говорится и делается. Никто в зале не сидит, все слоняются из угла в угол по этим огромным дворцовым залам или гуляют (несмотря на жару) по Кремлю...» К Антокольскому мы ещё вернёмся.

За два дня до открытия съезда Солженицын навещал больного пневмонией Чуковского. В противоположность захворавшему дедушке Корнею Александр Исаевич выглядел «румяным, бородатым, счастливым». Поговорили. Гость «ясноглазый и производит впечатление простеца», рассказывал, а больной слушал. Мудрый Чуковский назвал его требования отмены цензуры «безумными», ибо «государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду». Старый литератор был провидцем. А эти его слова можно использовать в качестве эпиграфа.

Но «безумные» требования Солженицына поддержало немало его коллег, направивших в президиум съезда обращение: «Письмо А. И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет, и просто отмолчаться. Позиция умолчания неизбежно нанесла бы серьёзный ущерб авторитету нашей литературы и достоинству нашего общества». Среди подписантов: Паустовский, Каверин, Тендряков, Искандер, Трифонов и другие, почти 90 смелых человек. Тогда даже чтобы закорючку свою поставить под коллективным письмом, и то нужно было набраться отваги. Не все решались. Григорий Бакланов вспоминает в мемуарах, как они с Владимиром Тендряковым поехали на его машине собирать подписи в поддержку Солженицына. Встретив Александра Яшина, предложили и ему подписать:

«Нет, — сказал он, — не обижайтесь, ребята. Не подпишу». Его громили, просто-таки изничтожали за его «Вологодскую свадьбу». «Вы не знаете силы этой системы». И рассказал, к слову, анекдот, как позвали слесаря чинить кран. Починил он на кухне, потёк кран в ванной. Починил в ванной, опять потёк на кухне. «Нет, не возьмусь, всю систему менять надо...» До полной смены всей системы нужно было ещё дожить, правда, кончилось все её полным сломом.

В то же время некоторые писатели переживали, что им не предлагают поставить свою подпись под очередным коллективным воззванием. «В шестидесятые годы появились так называемые подписанты. Они выступали в защиту пострадавших... Подписывать тогда было престижно», — таково мнение сотрудницы «Нового мира» Натальи Бианки, муж которой, прозаик Александр Письменный, «страдал, что ему никто ни одно письмо не предложил подписать».

Письмо Солженицына ещё раз подтвердило, что иногда и один в поле воин. И стоит лишь кому-то начать, произнести то, о чём думают другие или говорят на кухнях и в курилках, как то тут то там слышатся голоса поддержки, перерастающие в хор. В 1967 году таким человеком оказался Александр Исаевич, взявший на себя смелость назвать всё происходящее своими именами. И как обычно бывает в таких случаях, чем больше скрывают, тем сильнее интерес у общества к тому, что замалчивают. Наталья Бианки вспоминала, как в редакции «Нового мира» ей по секрету дал почитать это письмо критик Юрий Буртин: «Будь осторожна, тебя за чтением никто не должен увидеть!» Фамилию Солженицына он не назвал, опасаясь прослушки: лишних разговоров в кабинетах старались не вести. Бианки закрылась на ключ, читает. Вдруг стучит в дверь Юрий Трифонов: «Я ведь знаю, что ты у себя. Открой». Открыла. Трифонову тоже дала почитать. Проходит несколько часов. И возникает страшный скандал. Оказывается, Трифонов пошёл к Твардовскому, а тот ему сам предложил письмо прочитать. А Юрий Валентинович возьми и скажи, я, мол, уже читал в редакции.

Твардовский «стал кричать и требовать крови», — рассказывал Наталье Бианки Трифонов, отказавшийся назвать её фамилию: «Кто мог представить, что он выдаст такую реакцию, а тем более учинит такой скандал?.. Если можешь, прости меня». Само письмо Юрий Буртин уже успел положить обратно в сейф. Возмущение Александра Трифоновича вполне понятно — получается, что о письме, которое читать можно только под одеялом, уже знают все в редакции. Мало того, что прослушивают телефоны, так ещё и это! Никакой конспирации! И как письмо могло покинуть сейф? Наталья Бианки готова была принять на себя положенную ей кару, но на следующий день Твардовский заболел. И история позабылась. Постепенно прошла и её обида на Трифонову.

Изучение дневников и писем советских граждан той поры показывает: разве что ленивый не читал это письмо в самиздате или не слушал его по «вражеским голосам». Официальное табу на оглашение послания Солженицына на съезде (притом что его делегаты с текстом были ознакомлены, благодаря его автору) ознаменовало новый этап в развитии не только советской литературы и искусства, но и общества в целом. Отныне на совершенно законных основаниях существовало как бы две реальности: официальная и настоящая, подлинная, как бы кому ни хотелось.

И опять, как и в 1954 году, на борьбу, теперь уже с Солженицыным, отправился Михаил Шолохов. Судя по тому, что писатель ещё был в неплохой физической форме, кремлёвские врачи переборщили со своими диагнозами: гипертония, цирроз и т.д. От водки, как говорят в народе, ещё никто не умирал. Шолохов не только выступил на Четвёртом съезде 27 мая 1967 года, но и 8 сентября 1967 года обратился в секретариат Союза писателей СССР с письмом: «У меня одно время сложилось впечатление о Солженицыне (в частности после его письма съезду писателей в мае этого года), что он — душевнобольной человек, страдающий манией величия. Но если это так,

то человеку нельзя доверять перо: злобный сумасшедший, потерявший контроль над разумом, помешавшийся на трагических событиях 37-го года и последующих лет, принесёт огромную опасность всем читателям, и молодым особенно. Если же Солженицын психически нормальный, то тогда он по существу открытый и злобный антисоветский человек. И в том и в другом случае Солженицыну не место в рядах ССП. Я безоговорочно за то, чтобы Солженицына из Союза советских писателей исключить». Призывая к исключению, Шолохов и предполагать не мог, что в недалёком будущем Солженицын так же, как и он, получит Нобелевскую премию. В каком-то смысле встав с ним в один ряд.

Это письмо получило огласку, найдя не только поддержку у тех почитателей Шолохова, которые когда-то травили старого Фёдора Гладкова, но и вызвало гнев у сторонников иного мнения. 10 марта 1968 года Александр Гладков отметил: «После выступления Шолохова на съезде писателей почтовое отделение в Вёшенской было завалено посылками в его адрес с томами его сочинений, которые отсылали ему. Дали указание, подобные посылки задерживать в Ростове, но и там образовались залежи. По особому секретному циркуляру эти посылки стали вскрывать и книги передавать в библиотеки». Какая занятная подробность, вероятно, библиотеки Ростовской области ломились от книг Шолохова...

Так же, как либеральная часть писательского сообщества требовала свободы, так и консерваторы ждали дальнейшего закручивания гаек. Причём с немалой силой. И подобное происходило почти на каждом съезде. В итоге последние всегда брали верх, даже будучи в меньшинстве, ибо их влияние было сосредоточено в президиуме и выше по властной вертикали. И тогда у либералов порою опускались руки. 24 марта 1966 года Александр Твардовский размышляет: «Там, где нет автономии, искусство умирает, как у нас... и в Китае. Оно не может быть придатком, “помощником”, — оно может оказывать действительную помощь, могучую, безусловную, но не в качестве “помощника” по должности, по штатному расписанию. По должности “партийное” искусство — прибежище всего самого подлого, изуверски-лживого, своекорыстного, бездейного по самой своей природе (Вучетич, Серов, Чаковский, Софронов, Грибачёв, — им же несть числа). Удивительное дело: как только является художник честный, талантливый, любящий, верящий, — его “накрывают”. Шолохов — ныне бывший писатель, поддерживающий своё официальное благополучие лишь своим постыдным самоустранением (да кабы ещё только самоустранением) от сегодняшней судьбы искусства и литературы».

И ещё одни важные для себя мысли записал в тот день Александр Трифонович: «Это те слова, которых уже не нужно говорить, если так думаешь, — их может заменить молчание... И странное, нет не странное вовсе дело, испытываю — радость освобождения от необходимости врать, натягивать». Но желающих врать у нас всегда хватает...

У украинской делегации были свои думы. Олесь Гончар 24 мая в дневнике отметил: «Доклады сделали этот съезд серым. Но, может, ещё услышим живое слово». И далее: «Выступал. Было сложно и бурно. Говорят, вбежали распорядители, подумав, что кто-то прибыл из начальства. Есть и весёлое. Монголы подарили портрет Горького. Поставили на столе. Из зала пришла в президиум записка: “Примите срочные меры: портрет Горького закрыл Гамзатов”». О выступлении М.Танка: «Это не тот танк, наезжает на бровку» (имеется в виду поэт Петрусь Бровка. — *А.В.*). Кто-то бросил фразу: Ох, эти хохлы: мы им разгромили Сечь, а они теперь завоёвывают Кремль. Ему ответили: — Не надо нам Кремля, не хотим ничего завоёвывать, верните нам Большой Луг вольностей». Выступление Олесь Гончара похвалил Твардовский: они были тётками, Гончара на русский лад официально именовали Александром Терентьевичем.

Выступление Шолохова Олесю Гончару так же пришлось не по душе: «Противно. Выгораживал цензуру, пытался доказать, что свобода творчества писателям не нужна.

Не побрезговал демагогией. Оганьбив себя». Какое сочное выражение, свидетельствующее о богатстве русского и украинского языков! В Большом русско-украинском словаре «гоньба» переводится как «преследование зверя на охоте». Охотником, надо понимать, Гончар считает Шолохова, преследующего Солженицына.

А вечером Гончар с другими гостями из Киева «слушали у друзей записанные на плёнку ростовские колокола. Грандиозно. Бетховен на колокольнях России». Познакомился он и с Андреем Вознесенским: «Чистая душа — такое впечатление. Бывает, вот так видишь, что главное, определяющее в человеке — чистота. Потом всё остальное. После жары, духоты в дни съезда наступило вдруг похолодание. И верю, по народной примете, что это похолодание временное, весной оно наступает каждый раз, когда цветёт калина. А в Кремлёвском саду она именно зацвела. Бело, чисто. Поэтому и похолодало».

Для того, чтобы попасть на съезд в Кремле, литератору по заведённым правилам требовалось пройти сито выборов в первичных писательских организациях. Здесь порою разыгрывались подлинные драмы. Посидеть на съезде хотели многие, да только посылали не всякого. А участие в съезде украшало биографию советского писателя независимо от места его проживания. К тому же избрание делегатом съезда было куда лучше для писателя, чем неизбрание. Дело даже не в почёте и уважении, а в том, что если избрали тебя, то это значит, что не избрали кого-то другого. И вот тому, другому, очень плохо. Не зря Евгений Шварц отметил в дневнике 12 октября 1954 года: «Выберут делегатом на съезд — хлопотно. Не выберут — ещё хуже». Хлопоты были связаны с необходимостью участвовать в бюрократическом процессе, в частности, для сказочника Шварца — готовить содоклад о положении детской литературы в Ленинграде. Это ему надо было?

Особенно заманчиво выглядело избрание на съезд для писателя из союзной республики, например, Средней Азии и Закавказья. Многие из них получали не только красивый, специально изготовленный значок, который можно было прикрепить на лацкан парадного пиджака и приехать в таком виде в родной кишлак или аул, но и возможность побывать в столице нашей родины. Шварц в этой связи писал, что телефонный переговорный пункт в гостинице «Москва» напоминал встревоженный улей: приезжие писатели-делегаты звонили в Тбилиси, Баку, Сыктывкар с рассказами о том, как тепло их принимает советская столица. На каких только языках ни говорили они! Здесь же в почтовом отделении стучали наперегонки молотки, забивая деревянные ящички с посылками, отсылаемыми домой. Описывая творившееся вокруг, Шварц подобрал яркий эпитет — «громоздкость происходящего», как будто речь идёт о чём-то огромном и одновременно пустотелом.

Писатель из Белоруссии Иван Петрович Шамякин (по совместительству он был ещё и председателем Верховного Совета БССР) на одном из съездов так же поразился увиденному: «Мне было больно слушать скучные речи. А в отеле соскучилась Маша (жена — А.В.). Правда, занятие у неё было маленькое, приятное. В отеле был открыт сувенирный и продуктовый магазин для делегатов. Товары в основном импортные. Там продаются отличные товары. И всё это без наценок, в красивейшей сувенирной упаковке. В холле есть почтовое отделение с необычной организацией приёма посылок: специальные фанерные ящики, скотч. Упаковка — три-четыре минуты. Конвейер». В первый день жена сказала ему, что отправила домой четыре посылки. Шамякин ужаснулся: «Что ты! Что они скажут о нас?» — «Одна дама в соболях из Сибири громко хвасталась, что послала двадцать посылок. Я не боюсь, что они скажут» (из дневника).

В РСФСР долго не было своего национального Союза писателей, его учредительный съезд состоялся в 1958 году в Москве. В президиуме уселось и правление нового союза во главе с Леонидом Соболевым (в 1970 году его сменил Сергей Михалков). Соболев — моряк до мозга костей и ещё один дворянин в союзе писателей, выпускник

кадетского корпуса, гардемарин, участник Моонзундского сражения, автор романа «Капитальный ремонт». Примечательно, что Соболев, как и Федин, был беспартийным писательским вожаком. Но это была беспартийность такого рода, что ей могли позавидовать даже сами большевики-ленинцы. Известна фраза Хрущёва, брошенная им во время встречи с писателями на правительственной даче в Семёновском 19 мая 1957 года, что он ручается головой за беспартийного Леонида Соболева, а за коммунистку Маргариту Алигер и руки не подымет.

Анатолий Алексин вспоминал: «Был такой Леонид Соболев, беспартийный, но страшно подобоострастный. При личном контакте с властью он всегда разыгрывал сердечный приступ от избытка чувств, вызывали “скорую”, — ну и когда в очередной раз повторилась та же история, Маргарита Алигер громко сказала: “Когда же прекратятся эти спектакли!” Хрущёв тогда разъярился и с трибуны кричал: нам беспартийный Соболев дороже партийной Алигер! Потом позвал Маргариту на трибуну: давайте мириться. Протягивает ей руку. И она ему — генсеку! — не подаёт руки! При Сталине расстреляны были бы все, кто это видел! Позже Алигер позвонила ему, уже опальному, поздравила с семидесятилетием. Он расплакался» (из книги «Перелистывая годы»).

Во время своего выступления Хрущёв, не знавший, видимо, в лицо Маргариту Иосифовну, обрушился на неё с публичными нападками, сравнил писательницу с водородной бомбой по размерам ущерба делу социализма. А она встала и подошла к «отцу оттепели», мол, поглядите на меня: «Я не так уж страшна!» Хрущёв смутился, начал мямлить. Вот тогда-то он и сказал, что Соболев ему ближе, нежели Алигер, автор знаменитой поэмы «Зоя», удостоенной Сталинской премии в 1943 году. А про звонок опальному Хрущёву с поздравлениями рассказывал его зять Алексей Аджубей: «Ну, раз поздравила, значит, не очень обиделась, — с грустью и неиссякающей виноватостью сказал давно уже смещённый со всех постов лидер. И разрыдался».

Запомнилось Анатолию Алексину и выступление Хрущёва на российском съезде: «Помню и хрущёвский, мягко говоря, сумбурный доклад на съезде писателей России: сравнение писателей с автоматчиками, незаслуженные упреки в адрес Эренбурга, восхваления реакционера Грибачёва и всё прочее. Когда доклад завершился, Александр Корнейчук, решив, что пробил час, взлетел на трибуну и, захлёбываясь восторгом, вскричал: “Да здравствует великий вождь и борец за мир Никита Сергеевич Хрущёв!” Хрущёв ему не аплодировал. Он в тот момент — было видно из зала! — приносил свои извинения Эренбургу. А на завтра здравица Корнейчука в газетах не появилась».

В 1958 году на первом съезде писателей РСФСР выдвигали делегатов уже на следующий общесоюзный форум. Кого выбирали писатели и какими критериями руководствовались? Всегда ли посылали самых достойных? Здесь большое влияние оказывали партийные органы, заранее «согласовывавшие» списки писателей, которых можно или нельзя выдвигать на съезд. В марте 1965 года в Кремле открылся Второй съезд Союза писателей РСФСР. 4 марта Александр Гладков записал: «В газетах речь Шолохова при открытии съезда писателей. Шолохов мелок и пуст».

На съезде всероссийском ожидалось выдвижение делегатов на Четвёртый всесоюзный съезд. Здесь и случился тот самый «инцидент», когда Константин Ваншенкин прямо с трибуны укорил секретаря Союза писателей СССР Георгия Маркова, что в списке делегатов нет известных писателей: «Вот я по первому только впечатлению не нахожу здесь А.Бека, М.Луконина, А.Рыбакова, В.Солоухина, Ю.Трифонов, Ю.Друниной... Но зато здесь есть Агния Кузнецова. Я полагаю, она в этом списке лишь потому, что является супругой Георгия Мокеевича Маркова... Георгий Мокеич, ну нельзя же так...» Марков сидел тут же — в первом ряду. Лицо его сделалось «свекольного» цвета. В итоге самого Ваншенкина обвинили в... бестактности.

В тот день отважных литераторов, кроме Ваншенкина, в Колонном зале

не нашлось. Но они были за его пределами. И среди них — очень уважаемый писательской молодёжью, не раз «битый» за свои стихи и статьи, и за них же награждённый премиями и орденами (что не спасло его от увольнения из Литературного института в 1949 году), бывший «космополит», «формалист» и «распространитель снобизма и буржуазных взглядов на поэзию» Павел Григорьевич Антокольский. 15 марта 1965 года он напрямую связал съезд с происходящим в стране и обществе «непрерывным снижением культуры». Поэт отметил, что «Разливанное море “среднего” представлял собою съезд писателей РСФСР. Отсюда такая ярость в защите своих насиженных мест, такая ненависть ко всему, что хотя бы на полголовы выше. Выборы делегатов на Всесоюзный съезд писателей показали это с угнетающей ясностью. С тех пор прошло уже почти десять дней, кажется, и вот, перечитывая список выбранных делегатов, я отдаю себе отчёт в закономерности состава. В нём нет Симонова, Евтушенко, Луконина, Аксёнова, Алигер, Шкловского, Макашина, Фиша, Матусовского, — т.е. нет цвета и гордости нескольких писательских поколений. Вместо них — всякая черносотенная или просто подлая рвань без лица и без имени. И это тоже пример планомерного, едва ли не сознательного, хорошо организованного снижения культуры».

Спустя полгода Павел Григорьевич вновь удручённо обращается к теме писательского съезда: «Я полагаю, например, что, в сущности, весь Съезд писателей РСФСР, все его внутреннее обоснование, весь этот зубовный скрежет был проявлением всё той же глубокой гаммы обиды неполноценных», — отметил в своём дневнике Антокольский 17 сентября 1965 года.

Обиделась даже Ахматова. На том российском съезде писателей 1965 года Анну Андреевну избрали в президиум, что было расценено писательской общественностью положительно. 4 марта Давид Самойлов записал: «Вчера открылся съезд писателей. Речь Соболева свидетельствовала, что у нас в расцвете татарская и марийская литература. В президиуме рядом с Ильичёвым (Л.Ф.Ильичёв, секретарь ЦК КПСС — А.В.) — Анна Андреевна. Вечером я посетил её в номере гостиницы “Москва”. Она — усталая, прибранная, с новыми зубами. Рассказывает об Италии... “На съезде меня дважды обманули: [не сказали], что я буду сидеть в президиуме и что там есть лестница...”» Лестница в Большом кремлёвском дворце — красивая, но длинная — подняться по ней пожилым советским писателям было трудновато.

Писательские съезды широко освещались центральной прессой: интервью, фотосессии, киносъёмка документальных кадров для журнала «Новости дня» о том, как делегаты прогуливаются между заседаниями по ковровым дорожкам Кремлёвского дворца или Дома Союзов. Так было и в этот раз. Константин Ваншенкин запомнил такой случай: «В фойе Колонного зала Анна Ахматова, старая седовласая матрона, только из президиума, — на писательском съезде (1965) перерыв. Кругом фотографы — снимают всевозможные искусно выстроенные “живые сценки” или стационарно запечатлевают наиболее вальяжных. Агния Барто подходит и говорит: “Анна Андреевна, можно с вами сфотографироваться?” Та отвечает своим низким голосом, почти басом: “Я сегодня не в лице”». А вот с Ольгой Берггольц Анна Андреевна охотно сфотографировалась...

К Шестому съезду 1976 года стариков-писателей почти не осталось, чтобы заполнить ими президиум, — Ахматова ушла из жизни в 1966-м, Чуковский в 1968-м. Разве что Константин Федин, 1892 года рождения. С 1959 года по 1971 год он был первым секретарём Союза писателей СССР, а затем его избрали председателем правления. В президиуме съезда: Олесь Гончар, Расул Гамзатов и Мустай Карим. Услышав от докладчика известную фразу: «Люди, будьте бдительны!» — Карим говорит Гончару: «Надо бы: “Люди, будьте добрыми!” Тогда исчезнет потребность во всём остальном». Мустай Карим приводит башкирскую пословицу: «Не говори ту правду, — если она и действительно правда, — либо люди не поверят...» А вот ещё одна мелочь

повседневности: разговор у газетного киоска: «Правды» не имеется, «Россия» продана... Остался «Труд» за 2 копейки...

Какой бы съезд ни собирался — при Хрущёве ли, при Брежневе или Горбачёве, — литераторы по-прежнему оставались голодными. Словно пост соблюдали всё предшествующее съездам время: «Писательская публика, скапливающаяся у закрытых высоких дверей, выглядела так, будто все эти дни ничего не пила и не ела. Наконец двери открыли, толпа, теснясь, хлынула в прекрасный зал, уставленный столами с явствами и винами. Большинство повалило вперёд, поближе к начальственным столам, а мы пристроились сразу — почти у входа. Одни тут же приступили к делу, другие, подисциплинированной, ждали первого официального тоста», — запомнил Константин Ваншенкин торжественный приём очередного съезда в Георгиевском зале Кремля. В те годы ритуал приёмов предусматривал, что спиртное разливали не только официанты — на столах стояли бутылки с алкоголем, и писатели-участники банкетов могли налить себе, каждый сколько хочет.

На Восьмом съезде писателей 1986 года, проведение которого неслучайно совпало с начальным этапом перестройки, вовсю обсуждалась и ставшая насущной проблема сухого закона: «Это ж надо! — восклицал один из ораторов. — В такой пьющей стране, как Россия, и чтобы завтра никто и в рот взять не мог!» Лигачёв, сидевший в президиуме, и ухом не вёл. Сколько ни звучало металла в лигачёвских предупреждениях, партии пришлось отступить. И первого трезвенника, который когда-то лежал на пороге ресторана, а потом рьяно боролся за трезвость, часто стали замечать в изрядном подпитии», — вспоминал Геннадий Красухин, вероятно, имеющий в виду руководителя общества писательской трезвости. В перестройку такие странные общества стали насаждать по всей стране: на заводах, фабриках, в научных институтах. А тем временем очереди к вино-водочным магазинам становились всё длиннее.

Закуска в буфете Большого Кремлёвского дворца, если верить Григорию Бакланову, продавалась неплохая: «Нежнейшие сорта рыб, икра, настоящие, нецеллофанованные сосиски, вкус которых обычными советскими гражданами давно забыт». Сосиски действительно были не те, что продавали в гастрономах, а из спеццеха Микояновского комбината, куда привозили спецмясо с подмосковных спецхозах. Ассортимент кремлёвского буфета предусматривал исключительную экологическую чистоту продуктов. А вот спиртного в съездовском меню не было!

Тем не менее Восьмой съезд запомнился писателям не только отсутствием в буфете Большого Кремлёвского дворца водки, но и внезапным ухудшением здоровья самого большого литературного начальника — Георгия Маркова. Как выразился Олесь Гончар, «Маркову стало погано». Георгий Мокеевич почувствовал себя плохо на трибуне, свой доклад он прервал на 12-й минуте, как подсчитали наиболее подготовленные делегаты (вероятно, они имели под рукой секундомеры, поскольку всю жизнь писали о спорте). Сидевший поблизости Григорий Бакланов видел всё своими глазами: «На VIII съезде ожидалась перемены, шло закулисное шептание: “Маркова будем валить...” Однако началось всё, как всегда: Марков вышел на трибуну, положил перед собой доклад... И вот он ровным голосом читает скучнейшее это произведение канцелярской мысли, отпечатанное без единой помарки на лучшей финской бумаге.

Но всегда настанет момент, которого более всего ждёт зал: начинается распределение по рангам, называют имена, книги. И всё обращается в слух: “Упомянут? Не упомянут?..” И упомянутые в докладе, оглашенные, вскоре выходят, смущая несолидным поведением кремлёвскую охрану в дверях: правительство сидит в президиуме, а эти бродят... Помимо сиюминутного удовольствия, эдакого поглаживания по самолюбию, быть упомянутым в докладе означало и нечто более вещественное: переиздание книг, прочие, прочие блага. Упомянут, значит, ты есть — в отличие от тех, кого как бы и нет. И упомянутые ели [в буфете] с аппетитом, принимали поздравления.

Ели, хотя и без аппетита, и неупомянутые, презирая упомянутых, всем своим видом давая понять, что им это вовсе и не нужно».

Вспомним, с чего мы начали эту главу, — с цитаты из дневника Нагибина 1954 года про «позорный дурман грошового тщеславия» по поводу «упоминания». За три десятка лет ничего не поменялось. А Сергей Михалков в том же году сочинил очень меткий стишок, попавший в Чукоккалу:

Те, кого упомянули, —
Те ушли или уснули,
Те ж, кого тут не назвали, —
Терпеливо преют в зале.
Те, кого докладчик ест, —
В кулуарах кроют съезд.

Этот стишок сочинился сам по себе, на съезде, дойдя до нашего светлого времени как невинная шутка, отразившая, тем не менее, суть противоречивой советской эпохи.

Геorgia Маркова не свалили. Восьмой съезд писателей СССР не пошёл по сценарию майского 1986-го года Пятого съезда кинематографистов СССР, на котором были свергнуты корифеи советского кино: Сергей Бондарчук, Станислав Ростоцкий, Лев Кулиджанов. Перестройка в кино наступила раньше, чем в литературе. Возможно, что свою роль сыграл сердечный приступ первого секретаря.

«Прошёл съезд писателей, — записал в дневнике 8 июля 1986 года Сергей Есин, — который принёс много разочарований. В выступлениях отчётливо читались собственные обиды, нежели стремление ратовать за общее дело <...> Всё было бы нормально, если бы разговоры подкреплялись литературой». Евгений Шварц в 1954 году сделал вывод о делегатах Второго съезда: «Слишком много обиженных». Спустя тридцать два года теперь уже Сергей Есин пишет про «собственные обиды» делегатов, преобладающие над всеми остальными проблемами. Наверное, это логично для творческих людей. И неистребимо.

В день, когда Сергей Есин писал эти строки, он встретил на почте Бакланова (они жили по соседству, в районе Ломоносовского проспекта). Григорий Яковлевич рассказал подробности того, «как Г.Марков ещё на пять лет остался Марковым». Оказывается, что всё решил член Политбюро ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачёв — земляк Георгия Мокеевича, который «полон сил, и он повесится, если не будет выбран». В итоге первым секретарём Союза писателей избрали Владимира Карпова, подхватившего из ослабевших рук бывшего начальника едва не упавшее «знамя», т.е. доклад, который он и дочитал. А Марков до 1989 года оставался председателем правления. В своём дневнике Олесь Гончар записал эпиграмму, сочинённую на главного писателя после основного доклада на одном из съездов:

Основательно и ярко,
В ход пуская тормоза,
Просверкал товарищ Марков,
Как без молнии гроза.

Почувявшие ветры перемен поэты и прозаики забузили ещё годом ранее, на Шестом съезде писателей РСФСР, в декабре 1985 года. Произошедшее на нём было, с одной стороны, внове, с другой — явилось закономерностью накопившегося недовольства и раздражения: «Впервые в присутствии сидевшего в президиуме правительства писатели вели себя свободно, демонстративно выходили из зала во время заседания, подавали реплики, перебивали выступающих, топали ногами, "захлопали" Михаила Алексева, Егора Исаева и других официальных ораторов», — свидетельствовал Анатолий Рыбаков.

Анатолий Наумович в это время пытался пробить публикацию своего романа

«Дети Арбата», ещё 29 октября 1985 года он обратился с письмом к секретарю ЦК КПСС Александру Яковлеву, в котором сообщал: «Я хочу, чтобы роман был опубликован прежде всего в моей стране». Однако Яковлев от решения вопроса отстранился. Ситуация со стороны напоминала 1967-й год, когда Солженицын безрезультатно требовал издания своих произведений. Не помог Рыбакову и съезд писателей РСФСР, на котором Евгений Евтушенко хотел с трибуны призвать к изданию «Детей Арбата». С ним провёл соответствующую беседу министр культуры Демичев.

Общее впечатление от съезда Рыбаков сформулировал следующим образом: «Паноптикум. Софронов вдруг запел на трибуне. А в остальном обычная говорильня». Водно из своих последних посещений съезда Анатолий Наумович ушёл оттуда раньше времени. По пути в раздевалку он наткнулся на Георгия Маркова: «Пустые разговоры, нужно книги писать, — молвил Георгий Моисеевич, обнадёжив: — Анатолий Наумович, приносите мне ваш роман, я его прочту, пригласим товарищей, давших отзывы, обсудим». Однако времена уже начались другие, таким же был и ответ Рыбакова: «На ваших обсуждениях, Георгий Моисеевич, погиб роман Бека, а потом и сам Бек. Мне ещё надо пожить». — Его бабье лицо выразило растерянность: — «Как хотите... Я от души». Через несколько дней Анатолий Рыбаков с женой уехал в Будапешт.

На этом съезде отсутствовали самые разные писатели, например, Владимир Дудинцев, — его не облагодетельствовали даже пригласительным билетом. Но вряд ли он сильно расстроился — что там можно было услышать? Книги надо писать, как справедливо выразился классик соцреализма. Разве что не удалось купить разного дефицита, без которого остались писатели, не приглашённые на съезд... А вот Фёдору Абрамову и Игорю Дедкову талоны вручили: «Пришлось пойти, стоять в очереди вместе с Абрамовым, проходить тройной (!) контроль (всюду дюжие молодцы), болтаться в подвальном помещении гостиницы от парфюмерного киоска к книжному, от книжного — туда, где продают рубашки, японские зонты, дамские сумки, лезвия, платки, магнитофоны и т. д. Купил всякой ерунды — всем в подарок. Унизительное, однако, занятие. При входе в последние двери тот пропуск отобрали и порвали, чтобы, не дай Бог, по второму разу не пошли... А сколько народу сбежалось — едва ли не весь аппарат большого и малого Союзов». Куда же без аппарата...

Не менее яркие впечатления остались у Игоря Дедкова от приёма в Кремле: «Народу толпилось много, и мы стали толпиться позади всех. Зал огромный, а посреди наша оживлённая толпа, состоящая из групп и группок беседующих людей... Тут были знатоки приёмов, и не случись на нашем пути Володя Личутин, не знаю, где бы мы и пристали, потому что, казалось, ни к какому столу уже было не приступить... И налито нам слегка было, и копчёной колбасы отыскано, и Фёдор Абрамов, неподалёку за тем же столом оказавшийся, нас к тому же опекал, и дело приёма пошло для нас как следует: многого мы и не желали, а с хорошими людьми почему рядом не постоять и лишним словом отчего не перемолвиться? Где-то за рядами голов впереди вдоль сцены, задёрнутой хорошо видным нам занавесом, стоял стол для высшего начальства, и все наши столы были к нему перпендикулярны. Из-за того стола раза три раздавались какие-то обращающиеся к нам голоса, но мы не очень-то брали в толк, о чём это и кем это там говорится... Помню лишь голос зычный и молодецкий Егора Исаева; уж очень этот голос мне успел надоест своей настырностью и приторностью...» А абсолютно новым для съезда было то, как писатели, сидевшие в зале, «захлопывали» выступавших на трибуне ораторов — литературных генералов, тех, кто сидел «за занавесом». Новая эпоха потребовала и новых героев...

Юрий Каграманов

Квентин Тарантино как зеркало Новой американской революции¹

Называть кинорежиссёра, по мнению многих американцев, первого номера в своей профессии, зеркалом происходящей в стране революции позволяют последние три его фильма: «Джанго освобождённый» (2012), «Омерзительная восьмёрка» (2016) и «Однажды в Голливуде» (2019; в расширенном варианте, преобразённом в минисериал из четырёх серий, — 2021).

Уже первым из этих фильмов Тарантино внёс вклад в дело революции, начавшейся только спустя несколько лет (её началом считают 2016 год, когда резко обострилось противостояние, условно говоря, республиканского и демократического лагерей). Как известно, художественная мысль играет немалую роль в подготовке революций. Так было, например, в России. Бунин в «Окаянных днях»: «Как отделить реальность от того, что даёт книга, театр, кинематограф?» В России в этом плане ведущую роль играла книга, в Соединённых Штатах, каковы они есть сегодня, — кинематограф.

В авангарде Американской революции сегодня идёт воинствующий негр. Освобождённый Джанго — его прообраз. Один из критиков заметил, что в фильмах Тарантино стилистика важнее содержания. Не знаю, в какой мере можно отделить одно от другого, но если это так, то «Джанго» — последний из его фильмов, к которому сказанное применимо. Содержание в нём есть, но оно заимствовано — это голливудский миф о старом Юге, где жестокие плантаторы обращаются с неграми-рабами хуже, чем со скотом. Тарантино только заострил этот миф и придал ему обычный свой фарсовый акцент: плантатор у него законченный садист, а негр из бывших рабов вырастает в грозного мачо, изничтожившего плантатора со всеми его домочадцами. Его играет мужественного вида красивый мулат (в других своих фильмах, когда ему нужен чернокожий, Тарантино выбирает почему-то некрасивого). Образ, принятый на ура бээлэмовцами (участниками неомарксистского движения BLM, «Чёрные жизни важны»), задающими тон в сегодняшней Америке. У них не могли не вызвать восторга слова белого врача, освободившего Джанго и внушающему ему, что «это его мир и надо быть безжалостным».

Хотя бээлэмовцам могло здесь кое-что не понравиться. Почему, например, в фильме во множестве рассыпано запрещённое ныне слово «нигер» (оно считается недопустимым даже в фильмах на историческую тему, где его употребление, казалось бы, естественно)? Или почему освобождённый Джанго вырядился как паяц —

¹ Свой взгляд на Новую американскую революцию я изложил в статье «Время (и бремя) чёрных? О новом витке расового вопроса» («ДН», 2021, № 8).

не дань ли это старому представлению о забавнике Джиме Кроу, которое чернокожие не без некоторого на то основания считают расистским?

Что касается плантатора, то, если такой, как в фильме, и существовал на старом Юге, он был так же нетипичен, как была нетипична Салтычиха для помещичьего сословия России. Наверное, «Унесённые ветром» (роман и фильм), хотя они и обходят некоторые острые углы, более правдиво передают состояние нравов на старом Юге. А негр-мститель, чтобы войти в образ мачо, должен был бы, с упреждением более чем в сотню лет (действие фильма приходится на годы перед Гражданской войной), познакомиться с современными голливудскими фильмами.

Между прочим, будущего режиссёра при его рождении мать назвала Квентином в честь Квентина Компсона, персонажа двух фолкнеровских романов, выходца из плантаторской среды Юга. Очевидно, это тот случай, когда имя не оказывает мистического влияния на поведение человека. Впрочем, Тарантино находится в возрасте творческой зрелости, и кто знает, какие фильмы ещё у него впереди.

Следующий фильм «Омерзительная восьмёрка» выходит уже в преддверии великого раскола, совершившегося в американском обществе и побудившего Тарантино «растекаться мыслью» куда шире, чем в предыдущих его фильмах. Примечательно, что сюжет этого вестерна, как и предыдущего истерна, тоже связан с той Гражданской войной, только в «Джанго» действие происходит в канун её, а в «Омерзительной восьмёрке» немного позже.

Впечатляет долгое вступление к фильму: по заснеженной пустыне едет, запряжённый шестёркой коней, белых и чёрных (символика!), дилижанс. Сопровождаемый тревожной музыкой. Разыгрывается метель, которая на протяжении фильма будет только усиливаться.

Сразу приходит на память известный образ: «ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек» (если кто не помнит, это слова К.П. Победоносцева, относящиеся к дореволюционной России, точнее, к одному из её ликов). Только лихой человек здесь не один, таких здесь сразу восемь — укрывшихся от выюги в придорожной таверне.

Судя по всему, Гражданская война ещё не завершилась. У всех присутствующих есть какие-то старые счёты. Доходит до того, что пространство таверны делят на две части: одну для северян, другую для южан. И сам режиссёр делит свои симпатии или, скорее, антипатии между теми и другими. Американское «царство» разделилось «на ся» — раздвоился и Тарантино.

Центральный персонаж здесь тоже негр, тоже бывший раб, но хорош он или плох, предоставляется судить зрителю. Он, как началась война, бежал на Север и вступил в армию генерала Гранта, где, по его утверждению, дослужился до майора, но точно известно, что он был уволен из армии «за трусость». На Запад он подался, чтобы заняться «охотой за головами» (был на Диком Западе такой экзотический род занятий: выследить объявленного в розыск преступника, самолично убить его и предъявить, кому следует, труп, получив за него мзду; тем же заняты и некоторые другие из «омерзительных»). На него завязан самый острый эпизод фильма: «майор» подвергает мерзейшему унижению, перед тем, как прикончить, белого человека, южанина, сына известного генерала армии конфедератов. Как мог отреагировать на этот эпизод зритель? Наверное, он вызвал восторг у наиболее оголтелых из числа чёрных революционеров, смущение у других чернокожих и тех белых, что парализованы чувством вины за деяния предков, и подспудный гнев у многих белых, вынужденных скрывать его до поры до времени.

Примечательно, что так называемая «техническая» критика, преобладающая в кинематографическом сообществе Америки, предпочла обойти этот эпизод — самый, повторю, острый в фильме — молчанием.

Ещё примечательно музыкальное сопровождение этого эпизода: один из присутствующих неумело наигрывает на фортепиано рождественскую «Тихую ночь»

(Stille Nacht, Heilige Nacht); кстати, премьера фильма была показана в канун католического Рождества. Зовёт ли автор фильма, по его же выражению, «в сторону ангелов»? Не даёт ответа.

Двойственное впечатление оставляет и заставка к фильму: в продолжение двух с половиной минут камера задерживается на скульптурном изображении распятого Христа. Что, между прочим, «технической» критикой было «не замечено» — вероятно, из нежелания «отпускать» Тарантино в лагерь традиционалистов. Но Тарантино туда и не рвётся, его Христа мы не можем понимать как напоминание, что «ходим под Богом» (и с этой высоты оценивать всё происходящее далее в фильме); и ещё как то, что «пилигримы», высадившиеся в Плимут-рок 21 декабря 1620 года, «посвятили континент Христу». Но позволительно и усомниться в действенности этой фигуры на кресте, затерявшейся в ледяной пустыне и полусасыпанной снегом. И всё же очевидно, что автор, скажем так, озабочен нездешним. Ибо, как сказал бы русский поэт:

Слышен всё чётче в музыке бури
Нечеловеческий ритм и лад.

Даниил Андреев

Великолепна музыка Эннио Морриконе, уносящая в высоту и происходящему на земле придающая мистериальное звучание, но «последнего слова» она, естественно, не скажет: слова не в компетенции музыки¹.

Между тем, в таверне мы наблюдаем «ад на земле»: недолгое пребывание здесь гостей завершает обычное для фильмов Тарантино «мочиловое», ни единого из «омерзительных» не оставляющее в живых; но если в предыдущих его фильмах жестокость скорее фарсовая, то теперь она в каждом случае психологически мотивированная. Так или иначе, но смерть каждого — заслуженная.

Есть старое речение: «О семи праведниках миру стояние, и о семи злодеях приходит конец ему». О восьми — тем более.

А за окном — выюга злится, выюга плачет.

Перед самым концом фильма «майор», который всё носится с будто бы адресованным ему лично письмом Авраама Линкольна, даёт его прочесть одному из «омерзительных», южанину, уже тяжелораненому, как и сам «майор», и обречённому на смерть. В письме сказано: «Именно такие, как ты, изменяют мир к лучшему. Твои успехи на войне — заслуга всей твоей расы». Скорее всего, письмо липовое, как и майорское звание чернокожего, но что-то подобное Линкольн действительно говорил. Прочитав, южанин комкает письмо и бросает его на залитый кровью пол. Как этот жест понимать? Как выражение досады бывшего конфедерата? Или это «приговор», который сам автор фильма выносит расхожей идее об особом мессианском призвании чёрных? Можно понимать и так и этак.

Следующий фильм, «Однажды в Голливуде», по замечанию одного консервативного критика, «свободен от негров»; действительно, чёрных лиц здесь не видно (что по нынешним временам уже неполиткорректно). Тарантино в этом фильме пытается осмыслить целокупно опыт американской жизни за минувшее полу столетие; разумеется, посредством художественных образов. Для русского зрителя этот фильм должен быть интересен весьма и весьма: мы судим об американской жизни по её поверхностным течениям, недостаточно зная о глубинных и придонных.

Место и время действия фильма указаны точно: Голливуд, год 1969-й. И это не случайный выбор: здесь фиксируется некая герма (межевой столб в античности) или, иначе, «грозовой перевал», если воспользоваться названием романа Эмили Бронте, после чего по-своему великолепное здание либеральной Америки пошло трещинами и вся её история пошла наперекосяк. 8 августа того года произошло событие, имевшее символическое значение: группа хиппи, принадлежавшая к коммуне, как она себя

¹ Но истина, выраженная в слове, должна быть музыкальна.

называла, возглавляемой неким Чарльзом Мэнсоном, забралась в дом знаменитого режиссёра Романа Полански и учинила там кровавую резню, зверски убив его беременную жену актрису Шэрон Тейт и всех других обитателей дома. Потрясающим в этом событии было то, что убийцами оказались хиппи, о которых уже сложилось впечатление как о блажных, но безобидных существах, чудиках, призывающих «делать любовь, а не войну». Шокирующим был перепад — от света (ложного) к мраку.

К месту процитировать Блока:

И когда вам мерцает обманчивый свет,
Знайте — вновь он сойдёт во тьму.

Поэтесса Джоан Дидион: «Многие люди в Лос-Анджелесе считают, что шестидесятые кончились внезапно — 9 августа 1969-го». Это день преступления, о котором речь. В год пятидесятилетия громкого преступления Голливуд выпустил сразу пять фильмов на тему (я посмотрел три из них: кроме фильма Тарантино это «Так сказал Чарли» М.Хэррон и «Призраки Шэрон Тейт» Д.Фаррадса — тот и другой можно обойти вниманием). А Тарантино, не довольствуясь снятым фильмом, несколько позже написал ещё и роман с тем же названием (его первый опыт в литературе)¹. Это сильно разбавленный сценарий, его же перу принадлежащий, но и прочесть его не лишне: кое-какие краски на его страницах дополняют общую картину.

И фильм, и роман — *contra* хиппи и хиппизма. Если кто не знаком ни с фильмом, ни с романом, скажу, что Тарантино предложил альтернативный вариант известной истории, заставив убийц ошибиться: привёл их в дом, соседний с домом Полански, где живут двое крепких мужчин, которые не дали себя убить, напротив, сами порешили непрошенных гостей. Думаю, что Тарантино не потому так поступил, что захотел «спасти», теперь уже только виртуально, Шэрон Тейт с её друзьями, а потому, что захотел «своими руками» расправиться с хиппи. С обычной для него, только теперь уже не фарсовой, а идущей «от души» жестокостью.

Заметим, что при первом знакомстве мир хиппи источает, по крайней мере в фильме, некоторое обаяние: его олицетворяет одна из хиппарок, не лишённая какого-то дикарского изыска. Похоже, что Тарантино готов был посочувствовать идеалам равноправия и противостояния истеблишменту, которые исповедовали творческие хиппи... Однако очень скоро стало ясно, что все эти копающиеся в мусоре, жрущие кислоту, больные триппером и говорящие нараспев беглецы от общественных норм — всего лишь кучка неблагодарных дармоедов». Отвращение к ним усиливалось по мере того, как они «заполняли город, подобно саранче».

А начинающая актриса, восьмилетняя Труды (в фильме это один из самых удавшихся образов), говорит о них: «Хиппи кажутся... довольно сексуальными, довольно гадкими... и довольно страшными». Страшное выползло из среды хиппи, подобно тому, как из пёстрого цветника (изначальное самоназвание хиппи — «дети цветов») выползает вдруг ядовитая змея. Противостояние не просто истеблишменту, но миру цивилизации у отдельных особей из становища хиппи переходило в желание насолить своим противникам по-крупному. Таков был Мэнсон, гаденький «шибздик», бывший уголовник, сколотивший «коммуну» из более чем сотни душ, в основном женского пола, откликнувшихся на его призыв: «Helter-skelter!» Что значит «устроить кавардак», «перевернуть всё вверх дном».

Тарантино ополчился на хиппарей не зря. Это они, «дети цветов», вбили клин в тело американского общества, давшего трещину, которая со временем только расширялась и привела к нынешнему глубокому расколу. Как в своё время и в России, культурный раскол предшествовал расколу политическому и социально-экономическому¹.

¹ Тарантино К. Однажды в Голливуде. — М.: Individuum, 2022.

Далеко не все хиппи остались верны «революционному» босячеству. Большинство из них так или иначе вписалось в существующие структуры, в частности образовательные, сохранив, однако, кое-что важное из того, что было в них заложено «творческими хиппи», как их назвал Тарантино, а именно, желание окунуться в Лету и выйти на берег нагими и не обременёнными наследием веков — знаниями, искусствами и т.п. Подобные чувства бывшие хиппи, с течением времени овладевшие университетскими кафедрами, успешно передавали новым поколениям, что в настоящем возымело дичайшие последствия: в большинстве университетов США обучение идёт под знаком отречения от евроамериканской цивилизации как будто бы порочной в своих основаниях и следствиях (и сливают этот бред в средние школы)².

И если бы только Америки эта беда коснулась! Тарантино констатирует факт, когда пишет, что «из-за хиппарской хрени весь мир слетел с катушек».

Хиппизм также поучаствовал в рождении гибрида — так называемой калифорнийской идеологии, сложившейся на пороге текущего века и соединившей, как пишут, «свободный дух хиппи» (свободный — от цивилизационных «стеснений») с предпринимательской энергией яппи (молодых людей, увлечённых профессиональной карьерой и материальным успехом). В первую очередь это относится к людям Силиконовой долины, строителям «нового мира», непонятного им самим. От хиппи у них — стиль и тонус внутренней жизни.

Вторая тема фильма-романа — Голливуд. Вводная к роману, обращённая к читателю, «жаль, что вас там не было» уже как будто настраивает на лад ностальгии. Сам Тарантино в 69-м не мог там быть по причине малолетства, но он, судя по всему, увлечён прошлым кинематографической столицы (вообще же он один из самых больших знатоков истории кино). В фильме (особенно в фильме) представлен «волшебный край» в кинематографическом варианте. Это образцовая и в то же время фантазийная Америка, символ её благоустройства. Впечатляет эпизод, где каскадёр Клифф починает антенну на крыше дома, откуда открывается вид на окрестности — некая благодать разлита в утреннем воздухе. Тарантино умеет задержаться на незначительной, казалось бы, детали, которая в его руках оказывается многоговорящей.

Но и отношение к Голливуду, как в целом к Америке 69-го года, у Тарантино двойственное. Если говорить конкретно о Голливуде, то подавляющая часть того, что здесь снимается, — всего лишь «киношка». И мир «звёзд» — ярмарка тщеславия, в которой современные бекки шарп жаждут заблестать любой ценой. И если говорить об основных персонажах фильма-романа, то «спасённая» усилиями Тарантино Шэрон Тейт — пустельга (вообще-то её сделал таковою Тарантино, реальная Шэрон Тейт была всё-таки талантливой актрисой), и актёр Рик Далтон — пустельга, и каскадёр Клифф, несмотря на некоторые симпатичные черты, по строгому счёту — пустельга. В романе открывается ещё более неприглядная картина голливудских нравов. Тарантино приходит к мысли, что здесь правит бал «команда разрушителей». Даже Роман Полански «начинал задумываться о том, что Голливуд пробуждает худшее в людях». Хотя сам этому споспешествовал³.

¹ О правомерности такого взгляда применительно к России сошлюсь на мнения П.Б.Струве, С.Л.Франка и других наших мыслителей.

² Прот. Георгий Флоровский, будто отвечая на подобный бред, писал, что достижения цивилизации не должны восприниматься надгробными плитами, в них надо уметь опознавать творческий огонь и проявления воли человеческого духа.

³ На 1969 год Полански был знаменит снятым в предыдущем году фильмом «Ребёнок Розмари». Сейчас редкие киноманы смотрят этот фильм или помнят его, поэтому стоит сказать о нём совсем коротко. Беременную женщину околдовывает нечистая сила, и в результате она рождает нечто, от чего в первую минуту со страхом отворачивается (зрителю это *нечто* не показывают). Но её убеждают, что ребёнок — плоть от плоти её, и она, преодолев страх, обнимает его и целует. Символика прозрачна: современное общество способно родить только уродца, и надо принимать и любить его таким, каков он есть.

Тарантино подчёркивал, что его фильм — не о Голливуде и не о банде Мэнсона, но «о 69-м годе», то есть об Америке 69-го года. Нынешние красные (республиканцы) хотели бы вернуться в «счастливое вчера» — как раз в 60-е годы, ход которых был нарушен в конце десятилетия. Конечно, та эпоха куда как предпочтительнее нынешнего хаоса: всякая сложившаяся, уравновешенная внутри себя жизнь лучше распада, способного породить одни только диссонансы (в какой-то степени это относится даже к безбожной советской эпохе). Но не говоря уже о том, что «нельзя дважды войти...» и т.д. полезно постфактум отдавать себе отчёт в ущербности той, минувшей, эпохи (да и никакая эпоха не может не быть ущербной). И ещё в том, что переход к какому-то новому эону может быть болезненным.

Жозеф де Местр писал: «Когда душа человека теряет опору в мягкости (*mollesse*, что можно перевести также как «изнеженность»), а перезрелая цивилизация порождает неверие и гангренозные пороки, она (относится, видимо, и к душе, и к цивилизации. — Ю.К.) должна пройти повторную закалку посредством кровопролития»¹. Это жестокая мысль, но, увы, она находит подтверждение в истории, как далёкой, так и относительно недавней. Возможно, у Тарантино есть чувствилище, позволяющее ему интуитивно прийти к тому же: без обильного кровопускания у него нигде не обходится. И если в прежних подобных сценах можно было увидеть своего рода гиньоль (хотя какой же это гиньоль, когда в роли кукол выступают живые люди?), то в последних двух фильмах жестокость у него продуманная и целенаправленная.

Предчувствие полновесной Гражданской войны? (Американцы, знакомые с историей, ныне со страхом оглядываются на события Русской революции.) Но может быть, мешочки с искусственной кровью, употребляемые на съёмочных площадках, способны послужить «заместителями» реальной крови?

Конечно, не у одного Тарантино видим проявления жестокости, её хватает и во многих других фильмах, но у него она особо «чувственная», назовём её так. Убиваемые в его фильмах не сразу умирают, они ещё некоторое время корчатся от боли, стонут или кричат дурными голосами, кровища брызжет из них во все стороны. Историки культуры могли бы сказать: *culpa temporis et non hominem* — виновато время, а не человек (автор в данном случае). Ими подмечена закономерность: после избыточно чувственной эпохи неизбежно наступает смакование жестокости; так было, к примеру, в европейском XV веке. Попробую объяснить это так: чрезмерное внимание к плоти кончается тем, что ей начинают мстить за то, что она не вечна.

Основными носителями «злости поднебесной» выступают у Тарантино, как, впрочем, и в реальности, насельники того, что называется дном: люди последнего разбора, бандюганы, кромешники, кошунники, для которых, как говаривали в России, «чужая жизнь полушка, а и своя копейка». Он вообще равнодушен к этой категории людей или, если угодно, нелюдей. В этом отношении Тарантино — реплика, через века, Франсуа Вийона, между прочим, человека того же XV столетия. Вийон был заморожён тем, что он называл «адам на земле»; вместе с тем в подонках его пленял темперамент, явственнее была в них пульсация «живой жизни». И Тарантино, похоже, находит или находил в этой среде «настоящую жизнь», кромешники у него — яркие или по крайней мере ярые. И они «называют вещи своими именами» — в их представлении, конечно: у них полон рот матерщины, которая в нём не умещается и вылетает изо рта даже независимо от того, что рот говорит.

Что важно в настоящих условиях: когда начинается революция, то, что было «на дне», всплывает наверх. Опять-таки кое-что тут подсказывает русский опыт. Первыми носителями революции стали у нас уголовники, выпущенные из тюрем, быстро

¹ *Maistre J. de. Considerations sur la France. Lion. 1934, p. 43.*

опьяневшие от вина и крови, психопаты из жёлтых домов, всякого рода вырожденцы, дышащие завистью и злобой. И что примечательно: воздух революции пробуждает мерзость в людях, которые до поры сами не подозревали, что они её в себе несут. В Америке пока имели место отдельные всплески уличного насилия, но законопослушные граждане, естественно, задаются вопросом: не будет ли дальнейшего их разлития?

Некоторый поворот мысли — в «Однажды в Голливуде»: там жестокость проявляют персонажи, которые хотя бы с натяжкой можно назвать положительными; но там хоть они проявляют её в порядке самозащиты.

Тарантино, в последних двух фильмах выросший в большого художника, пытается опознать высший, метафизический смысл разлившегося или, вернее, ещё только разливающегося зла. В «Омерзительной восьмёрке» чернокожий «майор» до того, как убьют его самого, ставит себя в позицию грозного ветхозаветного Адонаи: «И свершу над ними великое мщение, наказывая с яростью, и узнают, что Я Господь, когда совершу мщение Моё над ними» (Иезекииль, 25 : 17). Аллюзия, зародившаяся у режиссёра уже в ранний период его творчества: эту же цитату из Ветхого Завета приводит чернокожий стервятник из давнишнего фильма «Криминальное чтиво» (его, кстати, играет тот же низколобый, антрацитовый черноты актёр, что играет «майора»). И тут Тарантино судит надвое: то ли чернокожий считает себя орудием Бога, то ли сам заступает место Бога в Его «отсутствии». Вы вольны думать и так и этак.

Тарантино угадывает, что жизнь человека, как и вся человеческая история, — трагедия: за периодами восхождения приходят неизбежные срывы, иногда глубокие падения (христианский богослов прибавит: трагизм истории не бессмыслен, в нём приоткрывается потусторонняя правда). Тарантино говорит о «ребячестве» подавляющего большинства фильмов прежнего Голливуда, что может быть отнесено ко всей американской массовой культуре в её основной части и что отвечает определённому психологическому «срезу» народа Америки. Тарантино убеждён, что не будет возвращения идилизма, и если он допускает движение «в сторону ангелов», то вряд ли представляет их теми пухленькими купидончиками, какими они представлены в европейской культуре последних веков; скорее в его оптике был бы уместнее тот строгий ангел, с которым пытался бороться библейский Иаков.

Русская параллель: вскоре после революции Ф.А. Степун писал, что она обнажила «вулканические недра жизни», поэтому нельзя вернуться к бытовому идилизму так, как если бы ничего не случилось.

Знаменитый историк Теодор Моммзен писал: «Мировые события, идя на землю, бросают вперёд свои тени»¹. Контур «идушего», пока ещё очень расплывчатый, кого-то смущает, кому-то представляется страшноватым.

¹ Цит. по: *Иванов В.И.* собрание сочинений. Том 1. Брюссель. 1971, стр. 84.

Юлия Ефременкова

Янтарь

Светлогорские записи

Январь 2021

Две недели провели в Зеленоградске. Сначала жили в двухэтажной «делюкс» квартире с подвесными потолками, евроремонтом из девяностых, велотренажером, теннисным столом и окнами, из которых были видны красные крыши низких домов, гаражи, уродливая пятиэтажка и море. Каждое утро к пятиэтажке тянулись кошки и бабушки в платочках с кульками-пакетами, палочками, в галошах, шли такими тяжелыми походками, что ясно: все же это не Кранц, не немецкий город, а русская провинция, русский санаторий, русские бабушки, Россия. Из пятиэтажки иногда выбегали две женщины в приталенных пуховиках с капюшонами, на каблуках, в тонких колготках. Прятались у забора, курили в сторону моря, гладили кошек. К обеду поток бабушек прекращался, и пятиэтажка заваливалась грузным парализованным телом в окна, заслоняя и красные крыши низких домов, и море, как накопленная за долгие годы усталость, из-за которой нет сил рассмотреть даже то, что под носом.

Вопрос — а где это я? — задавала себе постоянно. Очень странное ощущение, словно попали в другую реальность. Особенно странно, когда выезжаешь поздним утром на машине из Берлина, едешь сначала по солнечной пустой Германии — зеленые ровные поля, аккуратная геометрия деревень, безлюдные улицы, — потом въезжаешь в туман, в Польшу, тяжело дышащую, но не столько из-за карантинного предписания везде носить маски, сколько из-за сильного смога от отапливания домов углем, здесь не сложно представить великий смертоносный лондонский туман 1952 года.

Семь часов дороги, и выныриваем из тумана сразу в Россию. Пустая граница, вежливые пограничники, все легко и просто, зря переживали, волновались, не нужен карантин, тесты на коронавирус. Главное, не везти с собой европейского мяса и больше трех литров алкоголя.

На первой же калининградской заправке вышли, чтобы купить сигарет и убедиться: Россия. Ветлицкая пела: «Посмотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду

Ефременкова Юлия Валерьевна родилась в Одинцове Московской области в 1983 году. Окончила факультет истории, политологии и права РГГУ. Печаталась в журналах «Берлин. Берега», «Крещатик», «Дружба народов». Участвовала в XVI Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Живёт в Берлине.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 10.

рыдать». Пожилой мужчина в черном одиноко сидел за столом, как за школьной партой, и читал книгу, успела прочитать на обложке лишь «Доктор...». Сон? Живаго?

Зеленоградск на первый взгляд — смесь Симеиза и Бинца. Повсюду котики, рождественские украшения, глинтвейн, запах пирогов с капустой и картошкой. Православный храм апостола Андрея Первозванного и лютеранская кирха Святого Адальберта. Памятник Ленину у здания в стиле фахверк и памятник зеленоградской кошке. На пешеходной улице легко поверить, что это Кранц, курортная Пруссия, Европа. Во дворах же лужи, шашлыки, сараи, южные крымские дома, требующие ремонта. В бывшем доходном доме Фридриха Баста, построенном в югендстиле, теперь детский сад, украшенный героями «Союзмультфильма»: Леопольд и кот Матроскин. Антикварные лавки, кофейни, рестораны. Променады с тренажерами, качелями и велодорожкой. Современные элитные новостройки. Развивается город, строится. Спортом занимаются даже бабушки в платочках, рассекают на велотренажерах волны.

Первые дни было страшно. Сидеть в ресторанах. Идти в кино. Не соблюдать в магазинах дистанцию. Заходить в банк. В соляную пещеру. Перебирать янтарь в руках незнакомки. Веселиться. Сплошные новые фобии. А разговоры? Незнакомые люди постоянно заводили разговоры:

— Молодые люди, вы янтарь-то здесь не собирайте, это моя территория.

— Девушка, а хотите, я вас возьму к себе на работу? Продавцом. Сто тысяч буду платить! У вас хорошо получится, я вижу! Пойдете?

— Девушка, не хотите со мной искупаться в море? Я абсолютно безопасен — со свежими антителами. Могу поделиться.

— Девушка, а можно вас спросить? Вот я ехал-ехал, потом летел-летел, и вот я здесь, на море, и вот вы тоже здесь, на море. И в чем смысл? Смысл же должен быть?

— Ну что? Маски снимаем? Все же уже переболели? Все же у нас в кораблике свои?

— Тетенька, ты еще долго будешь кататься на качелях? Ты сколько вешишь?

— Девушка, а сфотографируйте меня у елочки, пожалуйста. Вот так. И вот так. Я не улыбаюсь — у меня зуба нету. Да и сфотографировать некому. А хотите, я вас тоже? А-а-а, вас есть кому? Ну хорошо, дай Бог вам здоровья.

— Ой, молодые люди, а вы знаете, как янтарь-то выглядит? Мы вот только приехали, первый день как на пляже, ходим, ищем в песочке, а чего — не знаем. Что? Вы нам янтарь подарите? Какие вы щедрые. Да вы что, не надо. Ой, спасибо вам, с наступающим!

Волна выбросила янтарь к ногам. Я еще не знала точно, что это янтарь, но женщина, которую другая женщина представила профессиональным искателем янтаря, сказала:

— Вы нашли королевский янтарь. Поздравляю! Благословляю вас на дальнейшие поиски.

С того момента просто так гулять по пляжу стало невозможно. Муж выходил на охоту рано утром, внимательно ковырялся палкой в водорослях, я же избрала другую тактику: ожидание чуда, то есть волны. Собрали за две недели рюмку.

1 февраля 2022

В субботу после урагана Мари на побережье Балтийского моря пришел шторм Надя, а моих соседей, тихую семейную пару из Подмосковья, в апарт-отеле в Светлогорске сменили трое из Твери. Круглый лысоватый мужичок в куртке-дубленке

с сигаретой за ухом. Длинноволосая девушка в белых сапогах на каблуках. Девушка с нарисованными бровями в норковой шубе. Приехали они около десяти вечера, и несмотря на то, что в Калининградской области после девяти торговля алкоголем запрещена, мужичок с девушкой в норковой шубе отправились на поиски коньяка и вернулись через час с тремя бутылками водки. Я как раз дочитывала бунинского «Захара Воробьева» из сборника «Русский жестокий рассказ», когда в мою дверь вставили ключ, потом начали колотить, дергать за ручку и кричать: «Ленка, открой, сука». Я открыла и увидела маленькие заплаканные глаза на широком лице, красную короткую шею, толстые пальцы, рядом — мокрый мех, длинные ресницы, приклеившиеся от удивления к нарисованным бровям.

— Ой, ой! А где Лена?

— Дура! Говорю, не наш этаж. Простите, ошиблись. Спокойной ночи!

Спокойной ночи не получилось. Шторм Надя выл в окна, рвал ветки, кидался шишками в стекла, соседи роняли стаканы, мебель, орал: «Козел, я тебе ничего не дам — дашь, иди сюда, сука, пошла вон — сам пошел, козел жирный — что ты сказала, ты повтори — Лена, помоги, отвали...» Я закрыла глаза — посреди жаркой пыльной дороги лежало богатырское тело Захара Воробьева, он уже выпил больше трех литров водки на спор за час и, неудовлетворенный количеством выпитого, купил еще бутылку и пошел, как корабль в открытое море, в бесконечные русские поля. Умирать.

«А ну, вставай, чего разлегся? Ты чего здесь лежишь?» Ор соседей проник в мой сон, и Захар Воробьев ожил, открыл глаза, отряхнулся, поднял гигантское нечеловеческое тело и раздавил ногой троих из Твери.

Утром стало известно, что шторм Надя повредил новый променад в Светлогорске, несколько зданий, повалил деревья, обесточил несколько домов, а соседи сломали дверь, стол, полку для обуви, разбили посуду и индукционную плиту. Хозяин апартаментов — невыспавшийся, бледный — стоял напротив аквариума с рыбами и, не сводя с них глаз, сказал, то ли про ураган, то ли про гостей из Твери:

— Нда-а, двенадцать часов в Светлогорске, и столько убытков.

На следующий день ветер стих, небо очистилось, кошки разлеглись на зеленой траве, из которой пробивались подснежники, солнце полилось по крутой мощеной дороге, по верхушкам сосен, я вспомнила, как Захар Воробьев широко шагал, чтобы не дать солнцу обогнать себя, и пошла быстрее, хотя спешить было некуда. Спустилась к морю. Оно еще гудело, обдавало брызгами набережную, люди работали, убрали променад, разгребали последствия шторма, а чайки висели над ними, издавали вопли, похожие на истерический смех: «Так вам и надо, так вам и надо».

10 февраля 2022

Море успокоилось, и изуродованный после шторма пляж заполнился людьми. В шапках, куртках, с пакетами, детскими ведрами, на полусогнутых, они ковырялись палками в песке и водорослях. Две женщины лет семидесяти, с тщательно раскрашенными лицами, медленно обходили людей и, дирижируя перчатками, давали советы.

— Здесь же Виктор Петрович прошелся, вот на этом месте просидел с полчаса, после него, молодой человек, без шансов, только если мелкота какая.

— Вы не спешите, внимательнее смотрите, раскрывайте водоросли, они там запутываются, прячутся, я уже вот два заприметила.

— Ах, какой молодец, ну какой малыш, посмотрите, Вера Андреевна, какой профессионал! Сколько уже нашел!

— Да, как мой Юрочка, когда ему шесть было, никаких качелей и игрушек не надо, пойдем, ба, на пляж, пойдем копать, сокровища искать. Молодец, малыш, ищи-ищи.

— Да это не янтарь, девушка, дорогая. Стекло. Точно не янтарь, я уж уверена.

— Вы бы, мужчина, пластиковые бутылки и мусор с такой жадностью собирали, как янтарь. Посмотрите, сколько приплыло.

— Ох ты, Господи. Какая красота! Ну ничего себе, какой огромный. Поднимешь, Вера Андреевна? А то я, боюсь, потом не разогнусь.

— Где, где?

Вера Андреевна погладила меховую жилетку, поправила берет и взглядом опытного стрелка прицелилась в песок, кивнула головой подруге и аккуратно начала опускаться за янтарем, но не успела. Маленькая рука с острыми выкрашенными в черный цвет ногтями ловко перехватила темно-рыжий, размером с пол-ладони, янтарь.

Вера Андреевна растерялась, зависла в полусогнутом положении и лишь спустя несколько секунд распрямилась, возвысилась над похитительницей и, словно певица на сцене оперного театра, обвела взглядом пляж, а убедившись, что зрители есть, с каждым словом набирая громкость, заголосила:

— Ловко! Нет, вы видели? Видели? Нина, вы видели? А вы видели? Ну шустрая! Девушка, вы хотя бы извинились. Должна же быть культура! Уважение. Ну как же так? Зачем так хапать? Хапать-то зачем? Да так нагло! Рады, что обогнали меня? Увели из-под носа?

Девушка молча разжала кулак и положила янтарь на место. Вера Андреевна села на корточки, осмотрела пляж, зрителей было мало, с опущенными головами люди продолжали копать и не обращали на нее внимания, она положила янтарь на ладонь, покрутила его, показала подруге и вернула девушке.

Когда живешь две недели в курортном городке, особенно в феврале, незнакомые быстро становятся знакомыми. Здесь, как нигде, мучает дежавю. Сегодня, вчера и еще несколько раз на прошлой неделе на улице Штрауса на встречу мне шел мужчина в расстегнутой куртке, и каждый раз он обращал на себя внимание белой рубашкой и бодрой походкой, какой ходили мальчишки в моем детстве весной, перепрыгивая через мартовские ручьи и бумажные кораблики. За этим мужчиной всегда выползает толстый рыжий кот и трется о забор полуразрушенной виллы. У круглосуточного магазина «Фрегат» всегда кто-то в черном пуховике и капюшоне стоит на крыльце и курит. У тренажеров в парке, у «Спящей Мари» разные женщины, но похожие друг на друга так, что сливаются в одну — пенсионерку в спортивном костюме, делают упражнения, растягивают ноги, машут руками. Одни и те же похожие люди, на одних и тех же местах, словно всем им, как шахматным фигурам, определили место. И мой ход влечет за собой их ход. Я стояла сегодня на пляже, смотрела, как серфингисты ловят волны, и не заметила, что море приблизилось ко мне, залило ботинки, совсем немного, но от неожиданного холода я отскочила и задела спиной кого-то и по голосу сразу узнала кого.

— Ой, ну осторожнее надо быть. С морем-то. Накроет и не заметит.

Вера Андреевна под ручку уже с другой подругой медленно шла по пляжу и поправляла берет.

14 февраля 2022

В пятницу в Светлогорске выпал снег, но быстро растаял, обнажил зеленую, почти майскую траву. На следующий день солнце припекало так, что отвернувшись от моря и прислонившись к стене, люди выстроились на набережной и, подставляя себя солнцу, снимали шапки, расстегивали воротники, замирали, отбрасывая тени, как рядом стоящие фонарные столбы. Курорт сменил тишину затянувшегося сна на тихий

час послеобеденной неги. А к вечеру — дождь, снег, ледяное крошево полетело брызгами под ногами прохожих, и по променаду спешили, кутаясь в шарфы. Ветер, сырость, и вдруг волна студеного воздуха с запахом весенних цветов.

То, как часто и вольно, вне календарных законов здесь меняются времена года, завораживает. Нет правил и нет границ. Импровизация, рваный ритм: март, ноябрь, февраль, ноябрь, май, капель, сапоги, топ-топ топают малыш, скачет по сугробам, превращающимся в ручьи, песком засыпает только вылезших муравьев, тянет санки по траве, которая превращается в лед, небо голубое, красный кленовый листок, нет, все же сосулька, хаотичный мимолетный мир. Либо отдаешься вневременному погодному потоку, либо стонешь, как поляк Паша.

Поляком его прозвал владелец апарт-отеля, в котором я прожила почти три недели, за то, что Паша работает в Олыштыне, а на выходные приезжает в Светлогорск. Каждый раз, когда мы встречались, Паша говорил: «Сколько можно, в прогнозе не было дождя»; «Невозможно, обещали плюс пять, но это же минус два»; «Взял с собой зонт, а из-за него ветер меня чуть не унес»; «Хоть на улицу не выходи, вспотеешь, а потом и вымокнешь»; «Но было же солнце! Было же хорошо. Десять минут!»; «Она меня сводит с ума. Они. Жена и Балтийская погода. Еще немного, и переехали бы в Варшаву, а потом, может, и в Барселону, но нет, сказала, из Калининградской области не уедет никогда».

Разговоры про погоду в Светлогорске ведут с большим интересом, чем про олимпиаду и ковид. Каждый новый знакомый для приличия два-три раза охает, узнав, что в Берлине не просто куэркеры, как были в Калининграде, а все гораздо запутанней и мудреней, и переходит на рассказы о прошедших балтийских штормах и о том, какой прогноз на завтра. «До обеда солнце, давайте перенесем встречу на вечер, если возможно». «Нет, через час меня на рынке уже не будет, видите, дождь усиливается, но если увидите, что стихнет, — возвращайтесь за творогом, буду на месте». «Что вы говорите, бустер? не слышала такого слова, а представляете, мой племянник с друзьями поехал в ураган в Зеленоградск, они переоделись в шорты и на набережной устроили пробежку против ветра, их обдало волнами, такое вот купание получилось, посмотрите в инстаграм, там столько репостов». «Да не будет войны, что вы, посмотрите, какого цвета море, какая война при такой погоде».

Море зеленое, тихое, почти летнее, белый сарафан, в рюкзаке полотенце и купальник, бутылка воды, Томас Манн «Волшебная гора», но торфяного цвета туча все меняет за минуту, нужно достать плащ, нет, пуховик и варежки, панамка улетает, защитным коконом накрывает, уводит в безвременье, двенадцать месяцев превращаются в один.

26 Мая 2022

В Светлогорске летнее время совпадает с берлинским, не нужно переводить часы, а цветение отстает, запаздывает, и маргаритки, одуванчики, тюльпаны моложе немецких. Весну, которую пропустила, проболела, не заметила в Берлине (сакура вроде цвела, но быстро облетела, и сирень не держала в руках, не рвала, не нюхала в парке, не ставила в вазу на обеденный стол у окна), вторым шансом прожила здесь. На лесной «тропе здоровья» у распускающихся ландышей и незабудок, под соснами и каштанами, с майскими жуками и сороками, божьими коровками и ежами, подъедающими молоко за кошками, с рыбаками на закате под разрушающейся дюной, с мамой и книгой про ушедшее детство «Фарфор» (Юрия Каракура), у старых вишл с кустами рододендрона и гномами, у Тихого озера на качелях, наблюдая, как в сумерках

зажигаются синие и розовые фонари, и автобус из Отрадного бережно выпускает на брусчатку женщину, она бежит, гремит каблуками, вдруг замирает у камышей и начинает квакать, передразнивать лягушку.

На сломанных тайных лестницах в яблоневых садах. Спрятанная, словно в волшебную шкатулку — от мира и войн.

Если не идти по променаду и улице Ленина, а сокращать дорогу, сворачивать, петлять между вечными заборами, калитками, домофонами, кодовыми дверьми и вывесками «объект охраняется», то выйдешь к дому женщины или семейной пары, которые после моего вопроса «а мы здесь выйдем?» спросят «а вы откуда?», и если ответить, что из Москвы и Берлина, начнут разговор про нищенскую пенсию и большой стаж работы, траты на лекарства, мази, а если дополнить «мы часто живем в Светлогорске», расскажут, что вон тот особняк принадлежал бизнесмену и депутату такому-то, а теперь он сидит, нет, эмигрировал, а вот в той старой вилле теснились семьи с детьми и животными, потом расселили их, вилла брошенная, покореженная, власти ждут, наверное, что сгниет или рухнет, но немцы строили прочно, на века для праправнуков, мы-то знаем, сами немного немцы, хоть и поволжские; раньше в Светлогорске был везде лес с ягодами и грибами, без кодовых дверей и заборов, а сейчас, да, слишком много домов, ресторанов, теснота, суета, как, наверное, в какой-нибудь Ницце.

За три недели два дня были теплые, почти летние. Дни будние, рабочие, но на курортном вокзале из калининградской электрички вышла толпа. Вода плюс десять, солнце печет, на набережной продажа пива и горячей кукурузы, женщины в нарядных платьях и босоножках, дети в плавках и шлепках, девушки укутываются в пледы и фотографируют, как лысый мужчина с волосатой спиной окунается в воду, визжит, пишет палочкой на песке: «За ВДВ» — а женщина в слитном желтом купальнике и резиновой шапке медленно заходит в море, плавает минуты три, выходит и наступает пяткой на буквы В, Д и В, потом долго стоит к солнцу лицом, сохнет. Трое ребят в рубашках с лентами «Выпускник» гордо идут босиком по пляжу, и сразу вспоминается кадр: Евпатория, конец мая, желтый песок золотом отливает на солнце, плеск волны, музыка Таривердиева, первая любовь, вся жизнь впереди, но конец тридцатых годов, скоро война, фильм Калика «До свидания, мальчики».

Янтарь в тот день море раскидывало щедро. Первый, с ладонь, выплыл прямо под ноги, но мужчина, которого я уже встречала в кафе «Круассан» (хмурый, сосредоточенный на экране айфона, расплатившись за обед, ушел, не оставив чаевые, и официантка, проверив папку для счета, изменилась в лице и выронила ложку для торта), бросился за янтарем и опередил меня в ловкости.

— Поймали?

— Конечно! Вы бы не успели, так что без обид.

— Ой, а смотрите, вон еще! Вон там! Какой большой! Я такого никогда не видела. Нет, левее, левее.

— А этот небольшой, ерунда, без обид, — и быстро спрятал находку в сумку. — Если хотите найти крупный, мой вам совет, когда обнаружили жилу, стойте на месте и ждите, ждите.

Без обид, но с горящим от возмущения лицом, я сняла кроссовки и пошла по воде. Ледяная вода обжигала ноги и выбрасывала часто фантики, стекла, крышки от бутылок, презервативы. За пять минут собрала полный пакет мусора. Женщина в желтом купальнике и резиновой шапке все продолжала стоять, жадно поглощать солнце, я обошла ее и увидела обертку «Русский шоколад. Пористый. Молочный», подняла, и тут волна уложила прямо к ногам: темно-рыжий, крупный, в форме сердца янтарь. Спасибо.

Максим Гуреев

Андрей Битов. Мираж сюжета

Главы из будущей книги

Сон Битова

Сны — репетиция ада.

Андрей Битов

Битов любил записывать свои сны, находя в перечислении причудливых событий и описании ведомых и в то же время неведомых персонажей недоступное наяву ощущение пространства, времени и среды, видение объема и цвета такими, какими они могут быть лишь внутри текста, который окружает писателя, нависает над ним девятым валом и грозит поглотить его, оставить на дне бескрайнего и бездонного океана, название которому — русский язык.

«Ему приснился мерзкий, жуткий, душный сон. Он таких еще не видел. От ужаса он проснулся. Но, как ни силился, не мог вспомнить сна: забыл начисто. Душно было, вот что», — читаем в «Улетающем Монахове».

Не о духоте ли внутри текста идет речь?

Вполне возможно.

Или вот еще: «Приснился ему страшный сон, будто ему надо сдавать нормы ГТО по плаванию, прямо около института, в ноябрьской Неве...» — обнаруживаем в «Пушкинском доме».

И тут же постигает разочарование, недоумение — а где же океан? ведь Нева никакая не бездна, но, с другой стороны, и не река, по утверждению ряда гидрологов, а то, что она может нависать, сливаясь с низким питерским небом, забираясь при этом не только за воротник, но и в душу, знают все, кто хоть раз посетил «вторую столицу» в *несезон*.

Угрожает.

Давит.

Грозит перстом Александрийского столпа.

Вынуждает сознаться в содеянном, и Битов не выдерживает, дает признательные показания самому себе: «Надо мной нависает текст, как козырек над подъездом... Надо мной нависает текст, как питерское обложное, свинцовое небо. Надо мной нависает текст, как судьба. Значит, я боюсь текста».

Все правильно, и стыдиться тут нечего, потому как страх сей естественен, ведь писатель, он же сочинитель, рискует быть погребенным заживо, но он чаёт этого погребения, потому что не может без него жить, что для человека непосвященного кажется проявлением душевного нездоровья, является неразрешимым парадоксом, когда по доброй воле вход в подземелье автор сам заваливает огромным камнем, который, по словам Евангелиста, будет в урочный час отвален неведомо кем.

Утром 12 января 1997 года Битов записал свой сон:

«Будто я скачу верхом на белой лошадке по заснеженной Краснопрудной мимо своего дома в сторону вокзалов — будто сам же вижу себя из своего окошка...»

(«Померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье, кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым» — это цитата из «Похорон доктора», написанных еще в 70-х, видимо, сон повторяется, не отпускает, он не прожит окончательно.)

«Кто-то», видящий сам себя!

Из сна 1997 года становится ясно, что этот «кто-то» и есть автор (в книге слова «автор» и «сочинитель» — это он, Битов).

В «Фотографии Пушкина» (1985 г.) Битов уже наблюдал нечто подобное за собой: «Спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается внизу), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки... Так я буду сидеть, предаваясь, лентясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст».

Сны, имеют свойство развеиваться, затуманиваться, растворяться во времени, которое в них течет иначе, нежели наяву. Стало быть, если не запишешь сновидение сразу, не остановишь ход призрачных событий хотя бы и на листе бумаги, не надейся, что утром следующего дня память сохранит их. Знание о том, что сновидение было, наличествует, а вот самого сна нет и в помине.

И тогда ничего не остается, как придумывать сновидение заново, домысливать его, строить предположения, как бы все могло произойти, но не произошло.

...Будто сам же вижу себя из своего окошка.

За окном мороз и солнце, день чудесный.

Сон, вроде, во всех смыслах хороший.

Чуть неясна степень загрязненности снега и лошадки (отнесем это на счет экологии), — приписал утром 12 января после безуспешной попытки вспомнить подробности Битов.

И всё.

Сон на этом закончился, и началась явь, которая никуда не делась. Она терпеливо дождалась, когда настанет пробуждение.

Итак, морозный зимний день.

По старой Стромынской дороге в сторону Николаевского вокзала едет всадник.

Оказавшись в Красносельском урочище, которое он узнает по колокольне Покровского храма, что стоит на берегу Ольховецкого ручья, всадник замирает, он испытывает недоумение и даже страх, ведь раньше никогда не бывал в этой местности, но откуда-то знает ее, например, хорошо помнит эту построенную Осипом Ивановичем Бове церковь.

Такое довольно часто случается во сне: незнание обстоятельств не освобождает от узнавания образа и повторения действия, пусть даже и автоматического, интуитивного, на ощупь, но подсознательного повторения, согласно механической памяти, неведомо когда и для чего сохраненной.

А всадник меж тем подъезжает к храму, спешивается, привязывает лошадь к ограде и заходит внутрь, в тепло и полумрак, заполненный какими-то людьми. Тут совершается отпевание. Покойник — скорее всего, отец большого семейства, потому как у его гроба теснятся дети разных возрастов и женщины с заплаканными лицами, — возлежит величаво, даже надменно. Его закрытые глаза устремлены в закопченный свечным нагаром потолок, под которым собрались херувимы. Высокий худощавый священник поет «Со святыми упокой», голос его дрожит, а лица его не разглядеть, поскольку оно теряется в косматых клубах ладана, летающего, как вата, на сквозняке.

Приезжий встает поодаль, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим со стороны. Картина открывается, право, бесприютная, горестная, безрадостная: лишь головы да затылки, платки да воротники, уши да заиндевевшие окна, а еще висящий в левом приделе, как раз за гробом, образ Иоанна Предтечи, на котором пророк смотрит на свою же отрубленную голову, а палач-спекулятор занес над ним обоюдоострый меч.

Приезжий размышляет: выходит, что Иоанн Креститель видит себя уже после свершения над ним казни по приказу Ирода Антипы. Вот ведь как! Живого и мертвого пророка Предтечу Господня разделяет краткий миг, мгновение, вспышка, время, сжатое и одновременно растянутое, когда можно находить сновидение, находящееся внутри другого сновидения, бесконечным, длящимся целую жизнь.

Однако сон, если это не безвременная кончина, имеет свойство заканчиваться.

После того, как отпевание завершается, гроб закрывают, и все начинают выходить из церкви, стараясь не смотреть друг на друга, не оглядываться назад, чтобы не видеть, как священник прикладывается к образу Иоанна Крестителя, висящему справа от царских врат, дабы не испытать большую жалость ко Крестителю Господню, нежели к лежащему в гробу гордому мертвецу.

«Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем, и служанки мои чужим считают меня; посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается; устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивело жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня: поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперсники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался с кожей около зубов моих. Помилуйте меня, помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои!» — сказано в Книге праведного Иова.

Приезжий не понимает, о каких словах идет речь и можно ли их считать откровением или они и есть тот самый «непроходимый текст», который всякий раз является автору во сне.

— Кого хоронят, матушка? — спрашивает приезжий у проходящей мимо него женщины в кацавейке, крестообразно перепоясанной черным платком наподобие парамана.

— Сочинителя, батюшка мой, сочинителя, — отвечает она.

Значит, все сошлось, и сейчас, на глазах приезжего, отпели олицетворенный текст, некое повествование, участником которого невольно стал он сам, проезжая по Краснопрудной улице мимо бывшего дома Министерства путей сообщения 1956 года постройки, где из окна комнаты на четвертом этаже на него смотрел человек.

Кто был этот человек, и почему он стоял у окна в эту минуту?

Вероятно, это и был сочинитель (писатель Андрей Битов в нашем случае), который сообщил о себе в третьем лице следующее:

«Ночью он, как обычно, проснулся и, лежа на спине, разглядывал призрачный свет на потолке. Он, как всегда, думал, что до сих пор может понимать этот отсвет, и радоваться ему, и ощущать таинство почти так же, как в детстве. Просто смешно, но даже сейчас, если не глядеть на пергаментную грудь и руки и не двигаться, то есть не чувствовать слабость, а так вот спокойно и прохладно лежать и смотреть в потолок, он мог представить себя ребенком. Когда одеяло почти не давит, и не жарко, и ты один, а на потолке тот же отсвет, — это было точно то же ощущение, как в детстве. И если так смотреть на потолок, а потом закрыть глаза, он мог словно бы перемещать себя по комнате и поворачивать кровать: то он лежит головой к окну, то к двери... то он лежит лицом в комнату, то к стенке. А на самом деле он лежит и лежит себе на спине и не шевелится».

Вот, например, и уснувший тоже лежит в гробу не шевелясь, а подходящие к нему люди страшатся этой неподвижности, не верят в нее, надеются на скорое его (мертвеца) пробуждение, название которому — Воскрешение мертвых.

Наш же сочинитель, лежа на спине и заложив руки за голову, незаметно для себя засыпает...

Продолжение воображаемого сна.

...Когда приезжий вышел из храма на улицу, уже стемнело.

Снег перестал, и сквозь образовавшуюся в облаках треугольную дыру Всевидящего Ока выглянула луна, осветившая пустой церковный двор и деревянный мост через Ольховецкий ручей.

Отвязал лошадь и стал выбираться на Стромынскую дорогу.

Вспомнил, как однажды в детстве, когда он с матерью был в эвакуации, точно так же ночью брели они по лунной дороге, проложенной небесным прожектором. Сейчас уже и не скажет, куда они шли, выбиваясь из сил, по пояс в снегу, а луна своим бледным, мерцающим светом прокладывала им путь. Но потом произошло страшное: мать вдруг куда-то пропала, исчезла, бесследно выпав из сновидения, и он — будущий всадник, он же будущий сочинитель и автор, он же грядущий покойник — остался один. Вернее, один на один с собственной тенью, которая извивалась в такт его нелепым, беспомощным движениям, повторяла очертания снежных бесформенных истуканов, вытягивалась или, напротив, укорачивалась по мере движения луны по глухому, как крышка гроба, зимнему небосводу...

Разгулялся ветер между гигантских сталинских домов на Краснопрудной, и как только он поднялся-разошелся, поземка понесла по льдистому насту опилки и проволоку ветвей, лоскуты разохшейся коры и обрывки газет.

Заголосил вихорь.

Сощурил свои монгольские глаза так, что и не различить зрачков.

Интересно, что в романе «Пушкинский дом» Битов описывает ветер не как обезличенное движение воздушных масс и уж тем более не как некое мистическое явление, исходящее из заросших усами и бородой пересохших губ Тучегонителя-Тетраграмматона, но как живое существо, склонное к неистовству и припадкам, умилению и умиранию. У ветра может быть имя, например, Ездра или Иов, Пётр или Георгий, Максимус или Ардалион, Андрей или Иоанн, Модест или Димитрий, Олег или Константин.

«На город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно и легко и пришедшись к земле в касание... Ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на город... описав таким образом нестеровскую петлю... Он влетал в большую залу и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные страницы — несколько страниц прилипло к луже под окном...

Порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые, в это измочаленное и мертвое утро, одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе», — читаем в книге.

Потом закрываем книгу.

Сквозняком захлопнуло окно в комнате, оттого Битов и проснулся.

Открыл глаза и обнаружил себя лежащим на спине.

Занавески жили своей жизнью.

Тянуло холодом.

Все-таки пришлось встать и подойти к окну. Тут Битов облокотился на подоконник, закурил, а всадника было уже почти и не разглядеть, разве что на самом горизонте, где-то в районе Ленинградского вокзала маячила одинокая точка.

Точка как штрих, как матрица, как молекула, как корпускула (так бы сказал Ломоносов) пространства, из которых это самое пространство и состоит, из их бесчисленного множества. Если его (пространство) разъять, то каждый отдельно взятый эпизод даст толчок к новому повествованию, к новому тексту, который окажется внутри другого текста, как сон внутри сна, что и называется *лимбом*.

В «Божественной комедии» *лимбом* Данте называет первый круг ада, где пребывают добродетельные нехристиане, то есть, исходя из наших рассуждений, вымышленные герои, персонажи, которых нет, но которые существуют внутри реально написанного и даже изданного текста.

Святой Григорий Богослов замечает: «Иные не имеют возможности даже и принять дара (крещения) или по малолетству, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств... они не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны; потому что, хотя и не запечатлены, однако же и не худы и больше сами потерпели, нежели сделали вреда. Ибо не всякий, недостойный наказания, достоин уже и чести; равно не всякий, не достойный чести, достоин уже наказания».

Это вопрос грани, рубежа, предела¹, перейдя который, сочинитель становится частью вымышленного мира, одной ногой ступая в ад, однако осознает это он лишь

¹ Limbus (*лат.*).

во сне, который не может быть ни свидетельством, ни доказательством чего-либо, не может послужить уроком или назиданием, потому как не оставляет после себя никаких следов, кроме смутных воспоминаний и тлеющих впечатлений.

Читаем у Достоевского: «В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека».

И снова цитата из «Пушкинского дома»: «Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений, — ветерок, аура... солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опасная прозрачность наблюдалась в воздухе».

Точнее и не скажешь: «опасная прозрачность», крошечная опасность, опасность, исходящая отовсюду.

А что же наш всадник по фамилии Битов?

Белая лошадка отныне вылеплена из снега или, как вариант, превратилась в гипсовый памятник белой лошадке, который со временем, что и понятно, значительно загрязнился, закоптился на задах Ленинградского вокзала — там, где некогда были конюшни и ямские избы при Стромынском тракте, а сам сочинитель, он же автор, уже стоит на перроне и готов перейти рубеж между неподвижной платформой и плавающим на выкрашенных черной краской пружинах тамбуром вагона, что пахнет углем и креозотом.

Под платформой гуляет «стылый морозный ветер». Он в подземелье.

До отправления «Красной стрелы» остается несколько минут.

Автор делает шаг и заходит в вагон, идет по коридору, освещенному подслеповатыми пластмассовыми светильниками, оказывается *в купе* перед окном, выходящим в непроглядную привокзальную тьму. «Закрыто на зиму», — выведено белой краской на потрескавшихся крашенных-перекрашенных рамах.

Автор смотрит в это более напоминающее сработанную из черного мрамора мемориальную доску окно и видит в нем отражение своей головы, лежащей на откидном столике, как на серебряном блюде, преподнесенная Иродиаде.

Тут-то и вспоминается, конечно, образ Иоанна Крестителя, который висит с правой стороны от царских врат в Покровской церкви на Ольховце в Красном селе.

Вагон меж тем вздрагивает, трогается с места и начинает свой разбег.

«Приостанавливая разбег, — размышляет сочинитель, продолжая смотреть на свою голову, — мы хотим еще раз подчеркнуть, что для нас литературная реальность может быть воспринята реальностью лишь с точки зрения участника этой реальности».

Ну что же — участник наличествует: всадник, автор, Битов, лежащий в гробу покойник, Иоанн Предтеча, пронизывающий ветер, наконец.

Неужели и ветер является участником текста?

Да! Ведь мы помним, что Битов наделил его качествами живого существа, нарисовал таким безумцем, эпилептиком (борода «возбужденного» Фёдора Михайловича развивается на ветру вполне уместно): «Морозный ветер, с особой силой раздувшийся к ночи, нахлестал его по щекам, тут же, не выходя из подворотни.

Подворотни не было, как не было улицы — все был один большой двор, по которому метался, свиваясь в сухие злые смерчки, ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло, в каком-то смысле ему было некуда дуть — он дул всюду. Снег уже начинал прикрывать эту пустыню, с шорохом прокатывался по оставшимся лужицам асфальта».

Литературная реальность тоже имеет место быть: Краснопрudная улица, Ленинградский вокзал, Галилея, где ловко орудует обоюдоострым мечом палач-спекулятор, Стромьинский тракт. Чем не местность «странного протекания времени», о котором автор сказал бы так: «оно было неравномерным и как бы прерывистым, оно тянулось, вытягивалось... и вдруг рвалось» (особенно когда палач-спекулятор опускал свой меч).

Время обрывается, и в эту его остановку вписываются многие эпизоды и события, многие жизни, целые эпохи вписываются, соединяя несоединимое, превращая сон в реальность и наоборот.

Рассматриваемая на этих страницах иконография Усекновения главы Иоанна Предтечи, восходящая ко второй половине XVI века, передает состояние этого предела, *лимба*, когда Пророк и Креститель видит себя уже после свершения над ним казни, а живого и мертвого Иоанна разделяет краткий миг, время, сжатое и одновременно растянутое до длины целой жизни.

Ад же (сам по себе термин чрезвычайно маркирован) оказывается неизбежным результатом подсознательного высвобождения страхов и запретных мечтаний, рассуждений «вопреки» и опасных табу, которое происходит во сне, когда допустимо и позволить себе, и смочь.

Разрыв времени — это и есть остановка сна, переход из одной реальности в другую, каждая из которых имеет свою закономерность, свою последовательность, установленную логикой событий.

Вот, кстати, еще один термин — «логика событий»!

В «Пушкинском доме» находим такую мысль в этой связи — «более правильной последовательности, чем временная, все-таки нет: в ней содержатся не только нами открытые закономерности, но и те, которые мы не улавливаем до сих пор».

Перечисление событий в хронологическом порядке логично и достаточно информативно, оно легко считывается здравомыслием, не претендующими на знание *дословесного* и *предсловесного*. Однако обратная последовательность, обратная хронология, когда тайное становится явным, потому что время имеет свойство течь назад, куда более подходит нашему повествованию об авторе, которого уже нет, но при этом он есть в собственных его текстах.

Так и смотрит Битов на свое отражение в черном окне вагона, на отражение, за которым проносятся назад мачты привокзального освещения, мосты и эстакады, на отражение, которое движется в пространстве, пересекает местность сна, а он — автор — при этом остается неподвижным, находясь в другом измерении и времени.

Как уже было замечено выше, окно напоминает сработавшую из черного мрамора мемориальную доску, на которой написано: «В этом доме с середины 70-х годов XX века по 2018 год жил русский писатель Андрей Георгиевич Битов» (адрес сообщается в примечании: улица Краснопрудная, 30—34 с.1).

Получается, что ровно через 21 год после зимних событий сна 1997 года, зафиксированных сочинителем в записной книжке, тоже зимой произошли события, которыми надо было заканчивать эту книгу — отпевание раба Божьего Андрея в Покровской церкви, что в Красном селе у ручья.

Но мы, сообразно всему вышесказанному, начинаем ее (книгу) ими (этими событиями).

Отпевание тогда совершал московский протоиерей Владимир Вигилянский, литератор, обитатель Переделкина, настоятель Татьянинской Университетской церкви.

Был он высок, сед и худ.

При пении «Со святыми упокой» голос отца Владимира дрожал, а лицо его терялось в клубах ладана, который в виде бесформенных ошметков рваной ваты летал по храму, кувыркался в потоках сквозняка, ведь дверь постоянно то открывалась, то закрывалась, и люди то входили, то выходили, не находя себе места на этом печальном мероприятии. Томились, ведь оказались наедине со страшной и торжественной тайной, постичь которую суждено было лишь усопшему.

«Панихида была довольно торжественна... были сказаны слова, были произнесены намеки — они еще более возбудили скорбящих некой посвященностью и причастностью к мужественному и немногочисленному противоречию неисчислимым силам зла, — читаем у Битова. — Голоса дрожали взволнованностью при приближении к намеку, обеспеченная опасность еще более спаивала всех, и смерть уже ничего не значила... Никто здесь не пришел поплакать над старым телом, которое еще вчера было живым, никто не пришел к человеку, который жил свою жизнь и потерял ее — все пришли к человеку, что-то когда-то написавшему, и скорбь походила на воодушевление по поводу, что он никогда уже ничего больше не напишет. И оратор, сумевший более прозрачно намекнуть, потуплялся так гордо и скорбно, будто это были его собственные похороны, и сходил явно с кафедры, хотя ее и не было».

Потом к гробу стали выходить участники церемонии и говорить речи.

По большей части это были воспоминания о покойном, из которых складывался типический образ большого русского писателя — проницательного и многоопытного, мудрого и боголюбивого, пострадавшего за правду (как без этого!) и пьющего. Иначе говоря, под сводами Покровского храма обретала свои явственные очертания полная и окончательная замкнутость Битова, его, говоря языком театральных терминов, «публичное одиночество».

Вероятно, предвидя этот «дикий шепот затверженных речей» (сказано по-лермонтовски хлестко и безжалостно), еще в конце 60-х годов автор предупреждал: «Замкнутость и полная открытость. Последнее — и есть писатель. О нем мы знаем всё и ничего. Поэтому так пристально (с той же неподвластной жадностью, что подглядывание в чужой листок...) начинают после его смерти устанавливать, кто же он был: письма, воспоминания, медицинские справки, — и не достигают успеха. Этот человек, проживший так открыто, так напоказ, так на виду, — оказался самым скрытым, самым невидимым и унес свою тайну в могилу».

После таких слов и садиться-то за биографию писателя Битова Андрея Георгиевича получается как-то нелепо, глупо, коль скоро сам главный наш герой предостерег от подобного рода бессмысленных, по его утверждению, затей.

И это было бы правдой, если бы не один секретный ключ, заповеданный нам автором и, увы, незамеченный, «прозванный», как бы сказал «завывающий баритон» Игорь Северянин, — тот самый временной зазор, равный промежутку между жизнью и смертью Иоанна Предтечи, между сном и явью, *либлом* и пробуждением, между едущим в купе «Красной стрелы» автором и отражением его головы, несущейся сквозь ночь, между 1997-м и 2018 годом, и, наконец, между всадником и наблюдающим за ним из окна сочинителем, как за самим собой. Зазор и червоточина, промежуток и путь, расстояние и вспышка, что открывают нам Платоновского «сокровенного человека»,

который скрыт и невидим на поверхности, но в то же время (в другом измерении и среде) реален и доступен (в своих текстах в первую очередь), давая тем самым возможность повествовать о себе хотя бы и устами иного сочинителя.

Но Битов вновь предостерегает: «Автобиографичность прозы — вещь очень обманчивая для тех, кто, угадав эту автобиографичность, совмещает автора и героя. Это область как раз самая фантастическая. Твоя жизнь — неизбежно глубже твоих знаний. Ибо, чем больше и глубже ты знаешь, тем ты подвижнее в этом знании и свободнее. Да и прав на эту деформацию у автора больше».

Подвижность и деформация как нарушение перспектив линейного повествования и отказ от классических схем реалистического письма. Однако не отрицание его, а наполнение новым содержанием, его художественное переосмысление.

Таким образом, речь будет идти о том Битове, которого видит автор, а вслед за ним и мы — читатели. Это будет повествование как бы о Битове-мираже, о вымышленном Битове, но им же самим и вымышленном, что нас (с нашими ошибками, домыслами, предположениями) оправдывает, с одной стороны, а с другой — освобождает, развязывает руки в моделировании обстоятельств, образов и поступков нашего героя.

В Петербург Андрей Битов прибыл без пяти восемь утра.

Он вышел на площадь Московского вокзала, закурил и отправился домой, пешком ему было минут десять, не больше...

Дом Битова

Странное это чувство — время!

Андрей Битов

«...Это — Дом, это — крепость, населенная дружными, любящими людьми, наделенными многими, все реже встречающимися качествами. Они красивы, воспитанны, не лгут друг другу, охотно и без жалоб несут все тяготы и обязанности, добровольно принятые на себя ради семьи; здесь совсем нет хамства и грязи, и здесь все любят друг друга... — читаем в главе "Версия и вариант" из первого раздела "Пушкинского дома". — Они живут мужественно, чисто и достойно, пока кругом на лестничных площадках и дворах все ссорятся, разводятся, матери-одиночки "водят к себе", пьют, дерутся, и дети всё реже узнают в лицо отца... — они живут хорошо. Их много, и они вместе — большая семья, какие сейчас встречаются лишь в романах».

Выходит, что такого дома и такой семьи нет, их не существует, они есть лишь плод долженствования, они деформированы (по воле автора) до неузнаваемости, и если даже составить в один ряд воображаемые портреты родственников, то никто из их потомков никого не признает, и потребуются пространные подписи под каждым изображением, чтобы хоть как-то свести это собрание воедино — кто кому кем приходится, кто на ком женат, кто за кем замужем, кто чьим ребенком является. Но даже и в этом случае по-толстовски фундаментальное: «они живут ради семьи, они живут — в семье, семья — форма их выживания» — ничем иным, кроме как декларацией намерений, не будет, тем более что многих из них уже нет в живых, и не у кого спросить, как же они жили на самом деле, а сама по себе *формула выживания* имеет великое множество привходящих и весьма лукава сама по себе.

Ростовы и Болконские, Громеко и Живаго, Головлёвы и Епанчины, Карамазовы и Артамоновы, Мелеховы и Каренины *выживали* по-разному, превращая русский

классический роман в хаос, в безуспешную попытку оформить, облагородить стихию хотя бы и родственными связями, *обрамить* ее этими семейными мифами, старинными и благообразными портретами работы Элизабет Виже-Лебрен из коллекции князей Юсуповых. В конце концов, «эпос частной жизни», по словам Белинского, он же одинокий голос человека, побеждал, торжествовал, семьи рушились. Оказывалось, что Толстой и Горький, Достоевский и Салтыков-Щедрин, Пастернак и Шолохов писали «не о том».

Вернее сказать, получалось у них «о другом»...

Потому что писали *со всей беспощадностью к самим себе*, как Битов подмечал, из самих себя и своих же семейных историй и обстоятельств пытались вышагнуть, неизбежно при этом заступая одной ногой в ад, о чем было рассказано в предыдущей главе.

Чтобы совершить такой поступок, чтобы смочь, следует понять, откуда надлежит вышагивать, от чего отталкиваться, потому подолгу и пристально наблюдали со стороны за собой, за своей семьей, за своим домом.

Изучали предысторию.

Пытались ответить на вопрос: «Кто все эти люди, именующие себя родственниками?» — чтобы потом вывести их в образах ярких, но не имеющих к действительности никакого отношения, написать картину необыкновенную, фантастическую, чудовищную. Читаем у Достоевского: «Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву».

* * *

Все началось с разложенных на письменном столе фотографических карточек, снятых в различных ателье города, в разные годы, летом и зимой, во время работы и на отдыхе, за праздничным семейным столом (скорее всего, кем-то из участников застолий), также среди изображений были и так называемые «моменталки», «щелкнутые» неведомо кем и где. Некоторые из фотографий были подписаны, выдавая орфографию и почерк своего времени, некоторые же, напротив, казались сделанными вне времени, мутные, засвеченные, нерезкие, с аккуратно вырезанными ножницами забытыми участниками того или иного портрета, той или иной постановки, со следами нелепой цензуры.

Битов смотрел на эти изображения — а ведь это и была его семья, родственники по линии мамы и отца. Недоумевал: «Куда делись все эти дивные лица? Их больше физически не было в природе... Куда сунули свои лица родители? За какой шкаф, под какой матрац?»

Карточки можно было менять местами, перекладывать, переставлять кадры, как на монтажном столе, пытаясь сложить из них фотороман или кинороман, коллективный фотопортрет или киноикону.

В 1986 году такую «Киноикону» Битов и написал, вернее, сложил:

И будто ржавой фильмы плеск,
Мир тонет в штопаном тумане.
Забор, дорога, поле, лес,
С коровой на переднем плане.

Жуёт корова по слогам,
Квадратно бьётся пульс на вые,
И драгоценно по рогам
Стекают капли дождевые.

Никак мгновение не поймать,
Так миг отрыва капли краток.
Так, значит, киноаппарат,
Так, значит, кинооператор.

Сосредоточен и красив,
Его волнует диафрагма,
Он заслоняет объектив,
Как сына — старенькая мама.

Он так изображенью рад!
Его экран в заплатках манит...
За ручку водит аппарат,
Вот он уже киномеханик.

Никто кино смотреть нейдёт,
Хоть фильма выше всяких критик.
Но кто-то сверху дождик льёт...
И, значит, у него есть Зритель.

Из-за застрехи чердака,
Кривой из-за дождя кривого,
Смерть так понятна и близка —
Как расстояние до коровы.

Он зрит в чердачное окно
И слышит снизу плач ребёнка.
Так начинается кино.
И в это время рвётся плёнка.

Попытаемся склеить эту пленку, используя «эффект Кулешова»¹:

- автор;
- великие предки (они же праотцы из праотеческого ряда иконостаса);
- автор;
- его мать и отец;
- автор;
- возникновение текста;
- снова автор;
- похороны литературного персонажа...

Таким образом, содержание последующего кадра будет полностью менять смысл кадра предыдущего, в чем заключается, по утверждению Альфреда Хичкока, «настоящее искусство создания идей».

Автор — Андрей Георгиевич Битов — родился 27 мая 1937 года на 8-й Советской улице (бывшая 6-я Рождественская, что за Московским вокзалом) в квартире бабушки Александры Ивановны Кедровой.

По крайней мере, начало *фильмы* видится таким.

С этой квартирой связано первое воспоминание Андрея о себе.

¹ Кулешов Лев Владимирович (1988—1970) — кинорежиссер, педагог, теоретик кино.

Вот он видит себя идущим по таинственному коридору, который уже со временем он наполнит деталями, коих изначально, скорее всего, не было, но их не могло не быть: сундук, висящий на стене велосипед, над велосипедом — рога, а под рогами — подкова «на счастье».

В руках маленький Андрей почему-то держит сахарницу (откуда она взялась в коридоре?). Он проходит в ванную и здесь высыпает сахар в раковину. Он понимает, что совершает преступление, за которое будет наказан. Сахар сыпется как снег и исчезает в желтоватом водовороте, а из-за стены доносятся звуки фортепьяно — это музицирует бабушка. Опять же со временем Андрей узнает, что это Шопен, и будет говорить, что «ненавидит» его, потому что он звучал в этой квартире на 8-й Советской улице постоянно и по умолчанию был частью быта семейства Кедровых.

Что же до фамилии *Кедровы*, то является она непростой и простой одновременно.

Во-первых, к *кедру* — дереву семейства сосновых — никакого отношения она не имеет.

Во-вторых, является фамилией священнической (поповской в простонародье), что в годы советской власти по понятным причинам не афишировалось. Эта фамилия (Кедров, Кедрин) присваивалась выпускникам семинарий и духовных академий в честь византийского хрониста рубежа XI—XII веков Георгия Кедрина — составителя «Исторического синопсиса» — первого фундаментального сборника трудов Георгия Амартола, Иосифа Флавия, Псевдо-Симеона Логофета, Георгия Синкелла, Иоанна Скилицы — выдающихся хронистов Древней Церкви.

Прапрадед Андрея Битова по материнской линии — Василий Петрович Кедров (1789—1846) — выпускник Санкт-Петербургской Духовной академии, в столицу Империи прибыл из Киево-Печерской Лавры (по утверждению Битова). После окончания Духовной академии в 1819 году он служил в Ведомстве учреждений Императрицы Елизаветы Алексеевны. В 1824 году В.П.Кедров был назначен клириком Гатчинской госпитальной церкви во имя Апостола Павла в должности иерея, а в 1826 году стал настоятелем-протоиереем Александро-Невской церкви при Гатчинском Сиротском институте, преподавал Закон Божий. Скончался в 1846 (1845?) году и был похоронен на Старом Гатчинском кладбище в семейном захоронении.

Его сын — Константин Васильевич Кедров — родился в Гатчине в 1827 году. Окончил Сиротский институт, где служил его отец, а затем шесть лет учился в Главном педагогическом институте в Петербурге на историко-филологическом отделении. Согласно аттестату, «отличался благонравным поведением, превосходными способностями и неутомимым прилежанием». По окончании учебного заведения был награжден золотой медалью по ходатайству министра народного просвещения графа С.С.Уварова. В 1848 году К.В.Кедров был определен учителем греческого языка в Новгородскую классическую гимназию, но уже в 1851 году вернулся в Петербург, где начал преподавать русскую словесность и русскую историю в Мариинском институте и русский язык в Училище правоведения.

В 1867 году Константина Васильевича назначили постоянно присутствующим членом Учебного комитета при Святейшем Синоде и экстраординарным профессором Историко-филологического института Университета, который располагался на Университетской набережной в строении 11, там, где сейчас находятся Филологический и Восточный факультеты СПбГУ. В 1872 году К.В.Кедров стал директором Историко-филологического института, а в 1880 году он был удостоен чина тайного советника.

Константин Васильевич был женат на Марии Николаевне Орловой (1832—1899 гг.), дочери протоиерея Николая Мефодиевича Орлова, настоятеля Сергиевского всея артиллерии собора, что на Литейном проспекте (ныне не существует).

К.В.Кедров умер 1 мая 1903 года на вечерней конференции Института (в это время как раз шли бурные споры об изменении устава Историко-филологического института).

Константин Васильевич успел сказать лишь: «Теперь приступим к решению этого вопроса...» — и потерял сознание.

В некрологе сообщалось: «Как гранитный утес стоял он среди бурливого моря, и шумливые волны бессильно разбивались об него! Сколько метаморфоз пережили мы с нашей средней школой, сколько лиц меняло за это время свои убеждения, старательно применяясь к господствующим веяниям. Константин Васильевич оставался всегда верен своим принципам и убеждениям... Скончался известный лингвист и педагог, директор Императорского Историко-филологического института, Константин Васильевич Кедров. Смерть пришла к нему внезапно, застав его среди горячей и оживленной работы. К.В.Кедров умер среди собрания профессоров, председательствуя в конференции, умер на своём посту».

К.В.Кедров был похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга (его имя было присвоено Обществу взаимопомощи бывших студентов Историко-филологического института).

Константин Васильевич имел трех дочерей и трех сыновей.

Елена Константиновна Кедрова умерла в младенчестве в 1880 году.

Александра Константиновна Кедрова — член Общества попечения о бедных и больных детях.

Антонина Константиновна Кедрова (1864 — после 1940) окончила Высшие педагогические курсы в Петербурге. Во время Гражданской войны с мужем — Афанасием Михайловичем Бухтеевым, генерал-майором Корпуса гидрографов, членом Особой полярной комиссии при Императорской академии наук — и дочерью Марией оказалась в эмиграции в Сербии.

Модест Константинович Кедров (умер в 1901) — офицер Русского флота. Служил на крейсере «Владимир Мономах», когда в 1890 году на нём совершал плавание в Японию будущий Император Николай II. Был женат на Ольге Владимировне Верховской — дочери адмирала Владимира Павловича Верховского, начальника Главного управления кораблестроения и снабжения, кавалера орденов Белого орла и Святого Александра Невского.

Василий Константинович Кедров (1872—1917) — выпускник физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, помощник начальника Отряда подводного плавания Балтийского флота, начальник 7-го дивизиона эскадренных миноносцев, капитан 1-го ранга. Погиб 14 ноября 1917 года в бою на эсминце «Бдительный».

И наконец — дед Андрея Битова, отец его матери, Ольги Алексеевны, Алексей Константинович Кедров (1859—1916).

Согласно семейному преданию, Алексею, как и его братьям Модесту и Василию, прочили военно-морское будущее, но в младенчестве Алёше повредили руку, что впоследствии привело к «сухорукости». Путь в Морской корпус, таким образом, ему был закрыт. В 1884 году Алексей Кедров со степенью кандидата окончил возглавляемый его отцом Историко-филологический институт.

В «Исторической записке...» П.К.Тихомирова от 1905 года читаем: «С 1 февраля 1883 года по 1 августа 1884 года <А.К.Кедров> состоял преподавателем русского языка и отечествоведения в Техническо-дорожном училище Грязе-Царицынской железной дороги.

1 января 1885 года назначен сверхштатным преподавателем истории во 2-ю С.-Петербургскую гимназию. С 15 октября 1885 года утвержден преподавателем Мариинской женской гимназии в Ведомстве Императрицы Марии, оставаясь во 2-й гимназии. 12 августа 1888 года утвержден штатным преподавателем истории во 2-й С.-Петербургской гимназии.

Высочайшим Приказом 5 мая 1891 года командирован с ученой целью за границу на два года и потом в Москву на 1 год. 24 сентября 1900 года назначен директором Ташкентского Реального училища».

Этот эпизод из жизни своего деда (которого он, кстати сказать, никогда не видел, но *о котором* был премного наслышан, потому как в доме был «культ деда») внук прокомментировал следующим образом: «Мой дед, который позже в Петербурге директорствовал в гимназии, там (в Ташкенте) служил. Был директором реального училища. По отъезде в Петербург (в 1912 году) дед был награжден Золотой звездой эмира Бухарского».

После возвращения в Петербург до своей смерти работал директором 7-й Санкт-Петербургской гимназии Эвальда, что на Кирилловской улице (рядом с 8-й Советской).

Алексей Константинович был женат на Александре Ивановне Кедровой (урожденной Алисе Эбель).

Об этой удивительной женщине — любимой бабушке будущего писателя — следует сказать особо.

Алиса Эбель (1880—1955) родилась в Петербурге в немецкой семье лютеранского вероисповедания, предположительно происходившей из Бремена (по другой версии — из Штеттина в Пруссии).

В 1896 году Алиса окончила гимназию, а через четыре года частную музыкальную школу (по классу фортепиано) Иосифа Боровки (Осипа Александровича Боровки) и Вильгельма Виссендорфа (Василия Васильевича Виссендорфа), впоследствии ведущих педагогов Санкт-Петербургской Консерватории.

С Алексеем Кедровым, который был старше ее на двадцать один год, Алиса Эбель познакомилась в 1899 году.

Андрей Битов сообщает: «Они плыли вместе на пароходе (она навещала каких-то дальних родственников в Бремене; они были уже натурализовавшиеся в Петербурге). Он (дед) познакомился с необычайно красивой немкой (моей бабушкой). Вот эта бабушка у меня в памяти, она была моя любимая бабушка... Дедушек у меня не было, они все умерли до моего рождения».

Ольга Алексеевна Кедрова (дочь Алексея Константиновича и Александры Ивановны, мать Андрея Битова) в своих воспоминаниях несколько уточняет эту информацию, утверждая, что встреча мамы и папы на борту парохода произошла в рейсе Штеттин — Санкт-Петербург.

Взаимные чувства вспыхнули.

Из письма Алексея Кедрова Алисе Эбель: «Я Вас люблю, Алиса, такую, как Вы есть. Нет никаких сомнений. Все, все — и сами Вы, и Ваша вера, и привычки — для меня все дорого и свято. И каждая строка письма от Вас, и все, что Вы зовете недостатком, дороже мне всех добродетелей земли. Ах, дайте мне свободу; я напишу еще раз Вашей маме, что прошу ее принять мое признание, что она обещала не препятствовать моему счастью, когда узнает, что Вы его хотите. А если это бесполезно, то я приеду и увезу Вас. Можно ли верить своим чувствам? А разве существует на свете сила, способная заглушить чувство, раз оно есть? Для меня, я знаю, ее нет».

В ответ Алексей получает от Алисы короткую записку, в которой она сообщает, что «готова бежать с ним».

Однако осенью 1900 года Кедров получает назначение в Ташкент, куда и уезжает от своей возлюбленной с тяжелым сердцем. Его угнетает и разлука, и то обстоятельство, что мать Алисы категорически против их альянса.

Из письма Алексея Алисе: «Вы боитесь, что Мария Рудольфовна Вас не поймет. А вы пробовали, Алиса, говорить с мамой с убеждением... Тогда Вам станет ясно, мир или война».

Мир в этой истории наступил в 1902 году.

Выйдя замуж, Алиса Эбель перешла в православие и стала Александрой Ивановной Кедровой («ее отец был, по-видимому, Иоганн, я не знаю, почему она стала Ивановной», — Битов).

Вскоре после свадьбы молодые супруги уехали в Ташкент, где, по словам директора местного Реального училища Алексея Кедрова, «дело было в полном ходу, живое дело! 330 мальчуганов хотят жить с пользой для себя и для других и будто говорят мне: “послушай, Ты о нас заботься, Тебе нас вверили, Ты не можешь пренебречь нами”».

Ташкент начала XX столетия Алексей Константинович описывал в своих письмах так: «Ташкент — город не дурной; одноэтажные постройки все спрятались в саду из тополей, акаций и лип, — прибавить сюда яркое солнце и голубое небо <...> Население подвижное <...> Нигде не приходилось видеть столько Петербургских лиц, так неожиданно встретить старых петербургских знакомых; и все здесь временно, чтобы, сделав дело, через 3—4 года исчезнуть <...> некоторые привыкают <...> и, уехав, снова возвращаются назад.

Восточный характер придает городу оригинальность: караваны верблюдов, восточные лица, пестрые наряды и величественная чалма — все своеобразно. Как красиво они обвивают огромнейшим полотенцем прикрытую ермолкой голову, причем у безграмотных один конец полотенца свободно свешивается на плечи, а у образованных концы старательно запряты. Ведь это полотенце, собственно говоря, погребальный саван, который каждый правоверный, боясь умереть в пути, носит у себя на голове. На балу у генерал-губернатора туземцы в своих праздничных нарядах были красивее всего...

У меня теперь своя квартира из четырех комнат (*Касьяновская улица 8*)... знакомые приходят полюбоваться чудным видом, который открывается у меня с террасы, терраса над обрывом, внизу вьется река, на другом берегу лесок, а вдали гряда покрытых снегом гор; — до них 90 верст — это Чимган — летняя резиденция ташкентцев».

29 октября 1902 года в семье Кедровых родилась дочка.

Из письма Кедрова отцу: «Как только жена встала с постели, мы дочку окрестили и в память нашей бабушки назвали Марией <...> Дочурка, кажется, тоже здоровенькая, маленькая и краснощекая <...> Жизнь несколько переменялась: со службы тороплюсь домой купать Марусю, а ночами уже привык спать урывками, так как каждые три часа происходит побудка. Ни няни, ни мамки у нас нет — здесь трудно найти хороших людей, — и нянчимся сами <...> Теперь больше чем когда-нибудь мечтаем о поездке летом в Петербург <...> с моей стороны будет сделано все возможное, чтобы хоть на лето поехать в родные края».

В Ташкенте у Алексея Константиновича и Александры Ивановны родилось четверо детей.

Мария Алексеевна (1902—1930), Алексей Алексеевич (1906—2004) — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий клиникой госпитальной терапии Ленинградского педиатрического медицинского института, участник Великой Отечественной войны (в семье его звали «дядя Аля»), Екатерина Алексеевна — концертмейстер, пианист, в семье ее звали «тётя Киса», Ольга Алексеевна (1905—1990) — юрист, мать Андрея Георгиевича и Олега Георгиевича Битовых.

Для семьи Кедровых-Битовых Ташкент станет особым городом.

Здесь в эвакуации с мамой и бабушкой окажется в 1943 году маленький Андрей.

Сюда в командировку придет Алёша Монахов, герой романа-пунктира Битова «Улетающий Монахов», чтобы убедиться в том, что «не было уже того Ташкента. Недавнее землетрясение, как бунт времени, окончательно погребло его детство, дав понять, что место для родины — еще или уже не родина. Не было того Ташкента — и это же надо! — родители его в чудом уцелевшем закоулке. Словно родина — это они <...> повернув в родительский проулок, он такой вдруг ощутил непроглотимый, но и неисторжимый ком в груди, но он не задохнулся и не заплакал».

Но это будет еще нескоро, а пока вернемся в начало XX века, а точнее, в 1912 год, когда Алексей Константинович получил предписание покинуть Ташкент, в котором он провел двенадцать лет, и вернуться домой.

В Петербурге он настоял на том, чтобы Александра Ивановна поступила в консерваторию. Во время обучения и после завершения консерватории Александра Ивановна подрабатывала тапером в кинотеатрах, а также как переводчик (немецкий и французский языки она знала в совершенстве).

С 1918 по 1922 годы А.И.Кедрова совмещала преподавательскую деятельность в консерватории с заведованием отделом Информбюро в Смольном.

Ольга Алексеевна вспоминала: «В Консерваторию мама поступила 12 сентября 1912 года, сдав экзамены на три пятерки. Ей был 31 год. Диплом свободного художника получила 18 апреля 1915 года, когда папа был уже серьезно болен. Папа умел думать вперед и обеспечил маме возможность встать на ноги в те далекие трудные годы, которые в перспективе видел, как историк. Он сам читал и объяснял маме все книги по теоретическим предметам для поступления в Консерваторию. Их разговоры о "контрапункте" мы — дети — ненавидели. С войной 1914 года папино здоровье подкосилось <...> 17.12.1914 года был первый тяжелый приступ грудной жабы, а потом снова 30.12, 7.1.1915 и в феврале тоже. А мама сдавала выпускные экзамены. В мае 1915 года папа с мамой ездили в Кисловодск на нарзанные ванны.

В ночь на 18 февраля 1916 года папа скончался.

31 января 1916 года мама записала в дневнике: «Голубчик ездил с Олей на "Онегина", так как она из-за кори не попала, когда я была с детьми». Эту поездку я очень хорошо помню. Ехали мы на саночках вдвоем. Невский был разукрашен флагами, а извозчик все терял кнут с похмелья. А в театре мы сидели в партере, близко, и папа мне подарил коробку шоколада. Горда я была предельно «и не знала я, и не ведала» о том, что случится так скоро».

Алексей Константинович Кедров умер в возрасте 57 лет от грудной жабы (стенокардии).

Спустя почти сто лет его внук напишет: «Дед, по-видимому, знал, у него "грудная жаба" была, как теперь и у меня, что он не жилец <...> Шла Первая мировая, жизнь была нелегкая, он сказал, что в будущем году все будут висеть на фонарях. Вот эту фразу мне передали по памяти. Как историк, он был прав, но он взял и в 16-м году помер».

Деда внук никогда не видел, и ему ничего не оставалось, как воображать деда, представлять его себе таким, каким бы он мог быть.

Читаем в романе «Пушкинский дом»: «Лёва отработал “гипотезу второго отца”, оставалась еще “гипотеза деда”. У сына родился отец. У внука рождается дед <...>

Когда в семье пошли разговоры о деде, еще до его возвращения; когда Лёва всматривался в его прекрасные фоточерты <...> гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты <...> Лёва достал и прочитал некоторые работы деда <...> не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовской мысли и удивиться ей <...> Дед, для Лёвы не оставалось сомнений, был безусловно Великий Человек, и, в этом звании, очень хорошо получалось так: Дед и Внук».

Получался какой-то неведомый дед, вымышленный, не имевший к реальному никакого отношения.

После революции его арестовали, поскольку был «из бывших», причем имел отношение как к духовенству, так и к научной интеллигенции, сидел, вышел, вновь попал в заключение, посему завеса секретности над ним была обязательной и даже необходимой, а недосказанность и намеки приветствовались, поскольку добавляли к образу деда черты героические и даже эпические.

Вполне возможно, что в воображении автора переплетались образы реальные и вымышленные, происходила аберрация сознания, внутри которой совпадения уже носили характер неслучайности, но более системы или даже закономерности (времена и нравы тому во многом споспешествовали). Например, полный тезка прадеда автора Ленинградский протоиерей Константин Васильевич Кедров, клирик Троице-Измайловского собора, был действительно арестован в 1935 году, выслан в Казахстан, где и скончался в 1941 году.

Битов замечал: «Меня часто спрашивали, откуда я взял своих дедов в “Пушкинском доме”. И я терялся ответить. Выдумал я их, потому что их мне не хватило! Выжили бы мы семьей, родился бы я, если бы они дождались меня как внука? Сомневаюсь. Сочинять же надо так, чтобы читатель мог подумать, что так оно и было. Не было ничего фантастичнее нашей реальности. А чтобы реалистично вышло, надо выдумать так, чтобы на правду было похоже. Посмертной славы не бывает, если хоть кто-нибудь не вспомнит, хоть бы и автор. Я — памятник своих дедов, хотя вроде еще и не буфет».

Реальной же во всей этой истории была, пожалуй, лишь бабушка — Александра Ивановна. Впрочем, места в «Пушкинском доме» ей не нашлось, однако внук оставил о ней воспоминания: «Я вырос в дореволюционной семье, вот это единственное, что я могу сказать. Они добросовестными были специалистами. Слава Богу, что у них до революции умерли их отцы, потому что тогда судьба всей семьи не совпала бы с судьбой страны. А так вдова с мелкими детьми, учительница музыки... Более русской женщины я не видел. Честно говоря, потому что о том, что она немка, я узнал, когда стали возвращаться (из ссылки) ее сестры из Казахстана, они носили еще фамилию Эбель, родовую. Они вернулись, я помню этих несчастных старушек. Вот вернулись и сидят две нищие старухи на сундуке в прихожей — вот это я помню. Потом они жили-жили у нас в доме, а бабушка была профессор консерватории, она была уже очень важная, даже, по-моему, орден получила какой-то, Трудового Знамени или что-то такое... (и вновь аберрация памяти — орденом Трудового Красного знамени была награждена тетка Битова Мария Иосифовна Хвиливицкая (о ней еще пойдет речь ниже), а Александра Ивановна Кедрова была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и Почетной грамотой

Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. — *М.Г.*) Она была главой семьи <...> у нас был матриархат, была коммуналка из родных <...> в доме существовал какой-то культ бабушки, она была у нас такой Сталин без тирании».

В годы Великой Отечественной войны Александра Ивановна оказалась в эвакуации с консерваторией в Ташкенте, где она работала над переложением узбекского музыкального фольклора для фортепьяно, а также составила «Методические указания к преподаванию общего курса фортепьяно» для учащихся музыкальных школ.

По возвращении из эвакуации она продолжила преподавать в Ленинградской консерватории.

Скончалась Александра Ивановна в 1955 году в возрасте 75 лет (похоронена на Шуваловском кладбище).

Читаем у Андрея Битова: «Бабушку, Александру Ивановну Кедрову <...> я вспоминаю очень часто <...> Особенно часто я ее стал вспоминать, когда меня наконец выпустили за границу. Каким-то образом Германия оказалась первой и наиболее посещаемой заграницей. И вдруг я свою бабушку стал чувствовать через немцев. То есть она была идеальным русским человеком, которого я знал в своей жизни, — по красоте, чистоте <...> но она была все-таки немка. Была какая-то особая добросовестность в движениях, но ничего, переходящего в пародию (в ее сестрах это было виднее). Вот мне вспомнилось, например, как она держалась за сумочку. Только на Западе, в Германии, я понял, что за сумочку действительно надо держаться — там паспорт и валюта. И ключи, может быть. И пусть уже не было ни паспорта, ни валюты, но привычка держаться за сумочку осталась. Все пропадет, все сгорит, но это должно остаться. Чисто западное — твои документы и твой счет — половина бытия. Потом помню, как она меня воспитывала внутри этого самого сталинского советского времени. Она как профессор получала много по тем временам — четыре с половиной тысячи сталинских рублей — это было серьезное финансовое положение. Она подарила мне маленький сейфик — с ключом, с сеточкой, с перегородочкой — такой сундучок кованый. И туда она мне сбрасывала новые никелированные монетки, которые почему-то не любила тратить. А когда у меня набирался полный сундучок, она мне их обменивала на бумажку. Вот такая система. И только потом я понял, что это навыки совершенно не советской жизни, и более того — даже не русской.

Также — это к вопросу о зажиточности — мне попались бумажки, где она вела еще дореволюционные подсчеты расходов. Я зарабатываю, но я никогда не буду подсчитывать. И мои жены не очень этим занимались, хотя, как женщины, они и отвечали за хозяйство, и старались экономить. И вот когда я вижу: «Петрушка — 3 копейки, хлеб — 4 копейки», и пишется это в столбик... А какой у нее был стол! Он до сих пор у меня. Я с ним живу, вожу за собой, он весит полтонны, наверное. Дед сделал на заказ такой дубовый стол. За ним ничего не удастся написать, он всегда завален, но это такой раритет! Хорошо помню, какой на нем царил порядок у бабушки, где что стояло <...> все аккуратно разложено: перевязанные ленточками какие-то письма, документы. И там лежало — «после смерти сжечь». Что-то личное, о чем она не хотела, чтобы знали. Мы выполнили ее последнюю волю. Тут порядочность была.

И вот еще что очень важно. Заканчивая факультет композиции, она написала Глазунову диплом — сонату «Снег» (Александр Константинович Глазунов (1865—1936; композитор, дирижёр, профессор Санкт-Петербургской консерватории. — *М.Г.*) Навсегда утратой мужа, такое минорное сочинение. И вот подошло ее семидесятилетие — а она почти ровесница Сталина, на год его младше. Только что мы

пережили празднования в честь вождя. А у нас в доме существовал какой-то культ бабушки <...> И торжественно отмечался ее юбилей. Мы заказали переписать эту сонату на красивой бумаге, переплели в синий сафьян и подарили ей ее сочинение дипломное. Она особенно была польщена этим. Человек хочет оставить после себя то, что он сделал. А она композицией не занялась. Это ее единственное сочинение. Через четыре года, умирая, она попросила дать ей ее сонату. И умерла, ее обнимая».

* * *

Прежде чем мы перейдем к рассказу о родителях нашего героя, благо их фотографические карточки лежат на столе рядом, и соединение их в единый («монтажный», как говорят в кино) сюжет не составит большого труда, мы обратим внимание на изображение автора, сделанное в сочельник 2002 года, причем им же самим и сделанное.

Из записных книжек Битова: «Сочельник. Сон. Собственные похороны. Унылое совковое кладбище. Я на коленях перед собственной плитой. Серая, цементная, сырая. Рядом со мной провожающие, родители <...> На плите по сырому, еще не посветлевшему цементу, выцарапано гвоздем “Битов А.Г.”, даты (забыл посмотреть) и под — две татарские фамилии творцов этого памятника. Пытаюсь молиться, почему-то “упокой, Господи, душу...” — пытаюсь перечислить всех, почему-то начинаю с Николая. Произнося это имя, удивляюсь, почему, и добавляю — второго. И смеюсь над собой, и думаю: если еще осталось чувство юмора, зачем умирать? Взгляд падает на икону — и это Богоматерь. Молюсь Ей, как умею <...> Проснулся я внутри Бога <...> и понял, что проснулся трезвым. Пели птицы, светало, в чужом доме. Стал я Бога искать, потому что проснулся, так где же Он? А как же Его найдешь, если ты сам внутри Его? Только вырваться. Пошел. А как не пойдешь? А как ни пойдешь — всё поперек. И тебе больно, и Ему неприятно. Вроде щекотки. Пришлось остановиться. Так и стою. Успокоился, застыл. Вокруг постепенно пещера образовалась. Вроде меня что-то обтекало и цементировалось. Постепенно и не пошевелиться стало — вот лежу и горю как свечка. В лужицу превращаюсь. Вроде содержимого бутылки, но без бутылки. Обрел форму. Высох. Клопы, говорят, так делают. Лет по 300 крови не пьют. Стал я таким клопом веры <...> Проснулся еще раз. “Хорошо, но нескромно”, — так мне один знакомый алкаш сказал. Все думали, что от чахотки умер. А на самом деле алкоголик был. Непьющий, правда. Тоже Палычем звали. У Сергеича не получалось, он даже старался пить, а не получалось. А у Палыча прекрасно получалось — вот он и не пил. Потом и не нужно стало. Совсем ненужно. Ничего. *Их утербе* — сказал. И всё. А Сергеич — тот свою жизнь пропил. До дна. Опять спать захотелось. Ты тут посиди. Я быстро <...>

Раздалось легкое урчание, и лицо его уплыло в воронку сна. Завтра. Завтра уже не будет. Потому что утро уже было. Кто не просыпается днем? Кто там “застигнут ночью Рима был”? Скромнее надо. По-простому. По-народному. Народность — это поленица. Укладка слов — язык. Серенькое полешко без огня сгорит <...> пробормотал он и спал снова».

И снова этот пронизательный взгляд автора на самого себя со стороны.

Сочинитель смотрит на Битова.

Битов — на сочинителя.

Лёва Одоевцев из «Пушкинского дома» видит своего двойника или партнера, как он его называет, а двойник присматривает за ним.

Они по очереди то входят в сон, то выходят из него, попадая попеременно то на «совковое кладбище», то «в чужой дом», то «внутрь Бога», как Иона в чрево кита, то в «бывший особняк», то на Краснопрудную улицу, то в гроб.

Содержание последующего кадра полностью меняет смысл кадра предыдущего.

Автор смотрит на фотографию Константина Васильевича Кедрова и на свою фотографию в детстве, на изображение Алисы Эбель и на себя в годы юности, на портрет Алексея Константиновича и на свой портрет в бытность работы над романом «Пушкинский дом» — и, действительно, от кадра к кадру, от эпизода к эпизоду смысл меняется, и без последующего события (пережитого, осмысленного) невозможно уразуметь событие, предшествующее ему.

Так и с людьми, членами семьи в нашем случае, которые дополняют друг друга задним числом, а посему хронология неизбежно рушится, попытка же восстановить ее согласно календарю и архивной пагинации приводит к конфликту со временем, и Битов восклицает в конце концов: «Странное это чувство — время!» — и добавляет: «Это довольно сложно — не перепутать память со временем!»

Наяву существует память.

Во сне — время, вернее, его проблески, миражи, сгустки и пустоты, перевертыши.

Например, такие.

В дневнике от 18.2.2001 года Битов записал: «Снилась мать. Я с ней поссорился: “Ты же мертвая! Оставь меня!” Сон вывернулся: когда-то она просила меня оставить ее». — И далее: — «Мать уже в конце 80-х, больше чем через 10 лет после смерти отца, спрашивала, что это он нас никогда не навещает, я же знаю, что у него другая семья, я давно все ему простила. Склероз — это всего лишь утрата временной последовательности, а не самих событий».

Временная последовательность, состоящая из проблесков и пустот...

Действительно, когда в конце 80-х Андрей перевез Ольгу Алексеевну в Москву из Ленинграда, она просила оставить ее, хотела побыть одна — «одиночество мне по душе», «так хотелось поодионочествовать», хотела, но уже не могла быть одна, ожидание мужа забрало все ее силы.

А потом и ее не стало.

Но обо всем по порядку...

Дом Битова II

Я — потомок самого себя.

Андрей Битов

«Он придвигал и отодвигал листки, выравнивая их края <...> Он читал эти вдохновенные, обрывочные и “для памяти” записи — и не понимал, что имел тогда в виду. Это его теребило и мучило: он не мог отдалиться тому, что им владело сейчас — ему непременно необходимо было вспомнить, что он имел в виду тогда, — и не мог. Он отодвинул заметки и взялся за стопку “планов” работы.

Их было уже много — первый, другой, третий... Это были следы его “возвращений”. Планы становились все отчетливей, и под конец, он нашел даже просто копию — патологически ровный, тщательный и мертвый почерк, — автор в своем роде обретает мощи давно почившего текста, не узнает его, находит его чужим, каким-то другим, удивляется, как мог его написать некогда, впадает в панику, — ужас подкрался к нему

не до конца: Лёва решительно встал и отвернулся от того, что в темном углу, от этой годуновской кашицы во рту. “Заново! Заново!” — немо вскричал он, как Шаляпин: “Чур, чур, дитя!” Новый план! — и не заглядывая, не останавливаясь, начинать все снова, сейчас!..

Чистой бумаги не было. Ящик стола был заперт».

В воспоминаниях Битова есть рассказ о дедовом столе, который «весит полтонны», и с которым он никогда не расставался, так вот, главный ящик этого стола-великана, стола-истукана, стола-капища и стола-кенотафа всегда «запирался на ключик — хотя в принципе у нас все было в квартире открыто».

Что же в нем хранилось?

Семейные реликвии?

Старые фотографические карточки?

Драгоценности или давно уже не работающие часовые механизмы?

А может быть, в нем таились «листки бумаги» — те самые «вдохновенные, обрывочные и “для памяти” записи»?

Остановимся на последнем.

Думается, что и автор предпочел бы их, потому как из них складывается текст, будь то бабушкины письма или дневниковые записи матери, переписка родителей или испещренные мелким нечитаемым почерком школьные тетради, а еще счета и визитки, адреса и телефоны, имена и пометки про tempo, так сказать.

Это была семейная традиция, идущая еще от бабушки — Александры Ивановны, и продолженная ее дочерью — Ольгой Алексеевной, — вести дневник, записывать мысли, фиксировать события, оставлять комментарии, беседовать со своим двойником, наполняя таким образом одиночество содержанием, доводя ту или иную мысль до своего логического завершения. Например, такую мысль (из дневника Ольги Кедровой от 3 июля 1978 года): «Существование Бога порождается неуверенностью, неизвестностью, неудовлетворенностью. Это помогает поверить в исполнимость желания, в возможность и свои силы, поддерживает надежду, укрепляет волю. Собственно, Бог — это все, что не понятно, тайна происхождения земли, которую никто не может разгадать; — это нравственное начало, наш внутренний духовный мир. У каждого свой. Бог не вне нас, Он в нас, как вера в необходимость и силу добра, силу любви, в горячие желания, которые должны исполняться, если сила желания и все устремления к нему огромны. Это и есть молитва. Сосредоточенностью на одной молитве накапливаешь свои же собственные силы, обретаешь опору терпению и уверенности.

Меня всегда огорчают попытки считать все в жизни подчиненным, или возможным уложить в какие-то твердые, обязательные схемы, причины, усредненную норму, всегда примитивные и топорные, делающие человеческую жизнь плоской. Будто возможно объяснить все тайны рождения, судьбы, смерти, жизни — с ее радостями, любовью и печалью? Жизнь тем прекрасна, что она у каждого своя, вся из тысячи случайностей — встреч, удач — на самых серьезных поворотах; в изменчивых отношениях близких людей друг к другу, в качелях хорошего и плохого внутри человека и у каждого по-разному. Бессмысленно это исключать. Думает человек все-таки сам, лучше или хуже, и живет, как кому удастся. О таком заветном избегают говорить даже близкие люди, по-видимому, удерживает боязнь несовпадения, непонимания...

И загробная жизнь есть. Любовь не имеет конца. Это память и капля мудрости раставшей жизни, след от нее, *наследство*».

Мысль, полученная в наследство.

С другой стороны, мысль и есть текст, а способность ее записать — поступок.

Из дневника Ольги Алексеевны: «Что за потребность странная у меня писать <...> желание какое-то ненормальное писать не о главных фактах, не весело и объективно о внешней жизни, а выворачивать те мысли, фиксация которых во всяком случае не нужна, а очень часто вредна».

«Вредные», «несвоевременные» (по-горьковски) мысли имеют свойство перерождаться, то есть объяснять поступки, находить истинные смыслы, соделывать тайное явным. Вот откуда возник эпизод с «проснувшимся внутри Бога» автором. Скорее всего, сын беседовал с матерью, вернее сказать, слушал ее рассуждения о непостижимости, апофатичности Божества, с которыми мог соглашаться, а мог и не соглашаться. Не придавал им особого значения, потому что боялся впасть в «примитивность и топорность» (произнесенные слова порой не передают мысли, но создают картину плоскую, потому как лежат на поверхности). Однако со временем текст, вышедший из разговора, из ни к чему не обязывающей беседы, окреп, наполнился содержанием и сложился в виде образов.

Оформился в виде разложенных на дедовом столе фотографий предков и их потомков, в число которых попадет и автор. В виде карточек родителей нашего героя: его мамы — Ольги Алексеевны Кедровой, и его отца — Георгия Леонидовича Битова.

* * *

Оле Кедровой было семь лет, когда семья вернулась из Ташкента в Петербург.

В 1916 году она поступила в гимназию, и в это же время под влиянием родителей увлеклась музыкой. Александра Ивановна вспоминала (сохранена авторская орфография): «Люблю слушать Олину игру. Если бы она побольше работала, она бы играла *очень* хорошо. Ея игра толкова, сознательна и с настроением; учить она умеет, только, к сожалению, не работает ежедневно, а больше как случится».

Однако вскоре в жизни девочки произошли события, изменившие ее жизнь безвозвратно: в 1914 году началась Первая мировая война, в феврале 1916-го умер отец, а в 1917 году произошла революция, принесящая тиф, голод, лишения.

Ольга Алексеевна рассказывала о том времени: «Трудно сейчас себе представить, какая непроглядная путаница нас окружала и была в наших головах».

Осмысление всего произойдет лишь с годами, а пока были лишь эмоции, страх, отчаяние и растерянность — что делать? куда идти? кому верить?

Действительно, кого могла винить двенадцатилетняя Оля Кедрова в том, что детство ушло так скоро и так трагично, что прежняя жизнь, к которой привыкла и была уверена в том, что она навсегда, осталась только во снах и воспоминаниях? Угрюмых рабочих и нетрезвых матросов?.. крестьян и нищих паломников?.. страшных неповоротливых городских или скользких, словно они обитатели водоемов, приказчиков?.. наконец, вечно сонных священников или сияющих как елочные игрушки статских советников, что фланировали по Невскому?..

Никого...

«Никто не виноват, что жизненность воплощается в наше время в самых отвратительных и прежде всего подлых формах. Никто не виноват, потому что все виноваты, а когда виноваты все, прежде всего виноват ты сам», — напишет спустя почти жизнь Андрей Битов.

Виноват сам, потому что приходишь один и уходишь один, потому что принимаешь решения сам и поступок совершаешь сам, потому что за все отвечать придется самому.

Однако и решение можно не принимать, и поступок не совершать, и надеяться на то, что отвечать за тебя будет кто-то другой, но это есть ложь, о которой в «Пушкинском доме» сказано так: «Изобличенная ложь — это уже не ложь, это драма <...> А как раз неразоблаченная ложь, то есть видимая правда, и есть ложь, и она — трагедия».

Круг замкнулся, потому что «род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки <...> Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1).

Из дневника Ольги Кедровой:

«1917 год. Революция. Я была во втором классе школы. Окончила школу в 1922 г.

1925 г. Кончила Университет и уехала в Мелитополь (среднее образование длилось тогда всего 7 лет, плюс университет 3 года. — *М.Г.*); работала в прокуратуре и Окружном Суде, сначала секретарем, потом инструктором.

1926 год. Вернулась к маме в Ленинград, работала в суде.

1928 г. Мариша (старшая сестра — Мария Алексеевна Кедрова. — *М.Г.*) познакомила меня с Г.Л. (Георгием Леонидовичем Битовым. — *М.Г.*)».

Мария Алексеевна — еще один член семьи Кедровых, о котором следует сказать особо.

После революции она пошла работать, чтобы помогать матери содержать семью. В 1924 году была арестована (ее фамилию обнаружили в записной книжке гимназической подружки, задержанной по делу отца — бывшего полицеймейстера Петербурга). Ольга Алексеевна вспоминала, что, будучи студенткой юридического факультета, ходила хлопотать за сестру в прокуратуру на Литейный (за что ее чуть не отчислили). В конце концов Маришу выпустили.

В 20-х годах она устроилась работать на стройку Сясьского ЦБК (Волховский район Ленинградской области) — одну из крупнейших строек того времени. (На момент пуска комбината в 1928 году он стал первым промышленным гигантом в СССР по производству целлюлозы.) По семейным воспоминаниям, на этот шаг ее вынудило бедственное положение семьи, а на комбинате платили хорошо. Тяжелые условия труда, обстановка на производстве, к которой молодая женщина из интеллигентной петербургской семьи была не готова, подорвали здоровье Марии Алексеевны, она заразилась туберкулезом и скоропостижно умерла в 1930 году.

В дневниках Ольга Алексеевна часто вспоминала старшую сестру, не могла простить ни себе, ни семье, что ее отпустили тогда на Сясьстрой, откуда она не вернулась.

И вновь здесь никто не был виноват.

Такова была та самая «жизненность». О ней («жизненности») спустя годы напишет сын Ольги Алексеевны — Андрей, о тех самых невыносимых обстоятельствах, воплотившихся «в самых отвратительных и подлых формах».

Семья как кафкианский «Замок» — Das Schloss.

Как единство и залог роста.

«Нам посчастливилось не расставаться до самого 1955 года. Семья не рассыпалась, она росла», — в дневнике Ольги Кедровой.

Можно предположить, что семья у Битова — это тот самый большой ящик дедова стола (образ дома, коммунальной квартиры), что «запирался на ключик», а члены семьи (по старшинству) являются хранителями этого *ключика*, который очерчивает

свой круг, замыкает свои законы, свой стиль, свою *формулу выживания*, которая имеет великое множество *привходящих и весьма лукава сама по себе*.

«Это даже и хорошо, — мыслится Битову, — что дед умер до революции, потому что в противном случае судьба семьи категорически не совпала бы с судьбой страны».

И вот дед автора заточен в ящике собственного стола, скрыт от посторонних взглядов, потому что многодетная его, гимназического учителя, вдова — *мещанка* (так она сама называла себя) — была куда более социально приемлема в стране победившего пролетариата, нежели вдова буржуазного (какого же еще!) историка, филолога, сына профессора, директора Императорского историко-филологического института и тайного советника.

Об Алексее Константиновиче не забыли, конечно, миф о нем («Лёва цитировал своего деда, якобы лично сказавшего ему однажды, что Россия — заповедник, последний очажок, сопротивляющийся прогрессу», — *это* в «Пушкинском доме») был составной частью *жизненности*, частью *формулы выживания* семьи, в которой он физически отсутствовал, но в то же время был незримым участником всего происходящего, сначала на 8-й Советской улице, а потом и на Аптекарском проспекте города Ленинграда.

Но вернемся в 1928 год.

Олю Кедрову и Георгия Битова познакомила Мария Алексеевна.

Вернее сказать, они были знакомы давно.

Дело в том, что Горя (так Георгия звали в семье) и его брат Борис (Борис Леонидович Битов (1904—1979); композитор, пианист) учились в 7-й гимназии Эвальда, что на Кирилловской улице, директором которой был Алексей Константинович Кедров.

Ольга Алексеевна вспоминала: «С ревом один раз он (Горя. — *М.Г.*) был доставлен к директору — моему отцу: всадил перо в руку, так как его толкнул сосед. Папа велел не реветь и, на извозчике, отправил в больницу на перевязку. В Гимназической церкви Горя видел директорских детей <...> Бросив школу (в 6 классе), плавал на шаланде юнгой <...> Бориса же потом А.К.Глазунов принял в консерваторию, но и ее он тоже бросил <...> В 20 лет Горя начал учиться: сдал экстерном экзамены за среднюю школу, в 1922 году поступил в Институт гражданских инженеров, много читал».

До поступления в институт кем только ни был: юнгой, торговым агентом, табельщиком, кочегаром.

После окончания института с 1925-го по 1927 год работал конструктором-чертежником на Сясьстрое.

Место притяжения против собственной воли или необъяснимое совпадение времени и среды?

Ответа нет — лишь факты, обстоятельства, побудительные мотивы.

Итак, на Сясьском ЦБК Горя знакомится с Ией Ходасевич (подругой Марии Кедровой), которая просит Битова отвезти документы.

Горя направляется в Ленинград и впервые попадает на 8-ю Советскую в дом Кедровых, и Сясьстрой незаметно, мистически, исподволь входит в жизнь семьи, и все начинает происходить так, как должно происходить, постепенно двигаясь к неотвратимой развязке.

«Приезжай, здесь очень интересный молодой инженер», — telefонирует старшая сестра младшей сестре.

И Ольга приехала.

Находим у Андрея Битова: «Мама моя невестилась тогда. И отец потом вспоминал, что видел маму много раньше <...> видел, как разряженные барышни сходили со ступеней директорского крыльца в гимназии. Знакомства не было, но память сохранила картинку. Отец учился в гимназии деда, отца матери» (все подтверждается воспоминаниями Ольги Кедровой, приведенными выше, разве что Гимназическая церковь и ступени директорского крыльца разнятся — пресловутая абберрация памяти, выбор ракурса, остановка времени — не что иное, как...).

В апреле 1929 года Ольга Алексеевна и Георгий Леонидович поженились. Согласно существующей версии, одним из условий замужества стала неременная защита Горей Битовым диплома, что и произошло в феврале 1929 года.

Автор подмечает с добродушной усмешкой: «С детства помню, что отец говорил матери, что, если бы не революция, они бы не поженились: "Ты бы вышла замуж за какого-нибудь дворянчика"».

Вопрос о том, кто же такой был сам Горя Битов, кроме того, что бросил школу в шестом классе и работал на Сясьстрое, назрел, думается, сам собой.

Попробуем на него ответить.

Георгий Леонидович Битов родился в 1902 году в семье Леонида Ивановича Битова (1872—1928) — управляющего текстильной фабрикой в Петербурге, получившего в 1915 году титул почетного гражданина города (но уже Петрограда), и Евгении Адольфовны Поджук, дочери подданного Австро-Венгрии Адольфа Поджука (предположительно, происходил из города Лемберга (Львова), из земли Галиция и Лодомерия), о которой нам известно, что была она женщина сурового нрава, по-русски говорила с трудом и скончалась в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Внук так писал о своем деде по отцовской линии: «После революции у него было что-то прикоплено. Когда НЭП объявили, он вздохнул, а потом, когда НЭП прикрыли, умер. Видимо, от разочарования. Его отец (Иван Яковлевич Битов 1840—1916) владел лесосплавом на Севере (в Олонце), потом он его прогулял (уже в Петербурге), и дед не мог простить отцу, что тот не дал ему образования. Он был очень способный. Сохранилось очаровательное письмо, которое хранил мой отец, где смотритель училища Череповца просит прадеда оплатить хотя бы семестр, потом деда перевели бы на казенный кошт. Фото прадеда не сохранилось, но есть фото деда».

И вновь на столе, который мы теперь можем смело назвать монтажным, появляются фотографии другого деда. Не менее загадочного, чем первый. При том что первый (по маминой линии) таится в этом столе-реликварии.

Теперь образ деда из «Пушкинского дома» наполняется битовскими чертами, получает, как говорит сочинитель, «тавро Битовых»: «Этот бритый череп, ватник, возраст самый неопределенный, от пятидесяти до ста, а главное, это красное, щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодоухотворенностью <...> И оно молчит, тупо, лень губы разлепить <...> Под кожей старикова лица что-то пронеслось: замешательство, припоминание, оторопь, успокоение, — очень быстро. Лицо ничего не выражало».

Ничего не выражающее лицо.

И тут в голову приходит следующая мысль: когда Битов наблюдает за собой со стороны, то невольно придает своему лицу выражение задумчивое, одухотворенное, чтобы не выглядеть праздно не дай бог, притом что в эту минуту помыслы могут быть в высшей степени ничтожными или даже глупыми. И напротив, лицо автора ничего не выражает, когда происходит отложение двойника, когда сочинитель попадает в совершенную пустоту, которая ничего не выражает, потому что в ней нет времени.

«Люди пьют время», — как предполагает Битов.

А еще вкушают его.

Потребляют время.

Испытывают к нему странные чувства, как к некоей загадочной субстанции, которая, по словам Ольги Алексеевны, «улетучивается большими кусками... быстро и необратимо утекает».

Опять же, могут его терять и находить, видеть его во сне в аллегорической форме.

Читаем у Битова: «Снилась ему широкая река, как бы та самая, что течет у их института, но и не та самая. Она неожиданно и не вовремя вскрылась ото льда и оказалась густой, как клей. Над ней стоял тяжелый пар, и все сотрудники института, невзирая на положение и возраст, должны были плыть через нее, для сдачи норм ГТО. Многие уже плыли, нелепо и медленно вытягивая белые руки из густой слизи. И лишь он да еще один доктор, благородный старик с длинной бородой, которого все за глаза звали Капитаном Немо, жались и прятались между свай, и Капитан Немо все дрожал и подсовывал бороду под плавки. А у самого берега, болтаясь на медленной, густой волне, как поплавок, лежал на спине, в полном своем костюме и с орденскими колодками, заместитель директора по административно-хозяйственной части и, глядя на них неправдоподобно круглыми и застывшими глазами, манил их картонной рукой».

Этот «страшный сон» про нормы ГТО в ноябрьской Неве уже был частью нашего повествования, когда разговор зашел о бесконечности, безначальности и океанской бездне русского языка, по воле случая замененной рекой, которую при желании и переплыть можно.

Однако один мифический дед с бородой, именуемый Капитаном Немо, так и не решился на этот безумный поступок. А другой — с орденскими колодками — уже совершил его, полностью уподобившись при этом легендарному кораблю Нагльфару, целиком сделанному из ногтей мертвецов. По крайней мере, ощущал себя совершившим его...

«Лёва ощутил большое и легкое пространство своего тела. Оно было сейчас — весь этот ДОМ. Озаренный, плыл он сейчас в ночи, как прекрасный корабль, прорезая общий бесшумный мрак» («Пушкинский дом» — *М.Г.*).

А ведь и вправду — на фотографиях, аккуратно разложенных на столе, были изображены по преимуществу мертвецы, в которых со временем превращались живые члены фамилии, семьи, обитатели Замка (*Das Shloss*), ДОМА, и, наоборот, запечатленные на фотографических карточках люди — оживали.

Происходило чаемое воскрешение мертвых, и сбывалось реченное через пророка.

Андрей Битов вспоминал: «В общем, я всегда искал ее (фамилии. — *М.Г.*) корни, но Битовых почти никогда не встречал. И тут вдруг по соседству с Анапой обнаружил целый аул с 200-летней историей, набитый Битовыми. Оказалось, что они — черкесы... Я, например, знаю, что я до пятого колена в роду Битовых. Это черкесы. Битов — такая русская фамилия, которой нигде нет. Есть Батов, Бытов, Бутов — все время меня путали. А оказалось, в пушкинские времена еще спасли от национальной грызни и вывезли ребенка малого. Это был Яков Битов, или Якуб, сын Бита. А он уже своего сына называет Иваном и получается Иван Битов, а там уже нечего делать. И вся линия баб пропадает, поскольку у нас она не запоминается, по мужской линии дается отчество <...>

По внешнему виду я и сам родился азиатом <...> По рассказам мамы, профессор (Морев или Мориц?), принимавший ее (мои?) роды, спросил не без ехидцы:

“Ольга Алексеевна, я забыл, разве ваш муж нацмен?” (Вот отголосок “дружбы народов”! Нацмен — это не преждевременное влияние английского, это аббревиатура “национального меньшинства”)... У нас абсолютно русская семья, традиционная петербургская, в нескольких поколениях, где было много врачей <...> Мои деды все перемешались с петербургскими немцами, и поди найди вот эту *каплю Битову*».

Отец — Георгий Леонидович Битов этой последней *каплей* для Андрея и стал.

Читаем в дневниках Ольги Алексеевны: «После свадьбы, отпразднованной у мамы на 8-й Советской, утром по Невскому, на извозчике, мы ехали на Казанскую (Плеханова. — *М.Г.*) и кем-то из Гориных сослуживцев были засечены. За прогул Горя получил выговор в приказе, но встречен был поздравлениями сослуживцев. В доме 6 на Казанской у нас было две комнаты (спальня и столовая), окнами и в Зимин пер., и на Казанскую, а еще кухарка Настя. Поразила я: невероятным количеством шапок на полке в шкафу, привычкой пить воду из горлышка графина и есть стоя; забрасыванием на печку воротничков, если оказывались без пуговицы. Белье из шкафа, неизменно, доставалось левой рукой, правая, обязательно, была в кармане.

В мое рождение мама привезла мне чайную чашку с клубничным вареньем. Меня не было дома, и Горя все варенье съел сам (я очень тогда обиделась)...

В квартире на Казанской Битовы поселились, когда у них отобрали казенную, при фабрике, а хозяин, уезжая в Швейцарию (на время, как тогда думали), оставил ее, с полной обстановкой, Гориному отцу, как управляющему. В письменном столе Горя нашел толстенное обручальное кольцо, хотел его продать, но по дороге потерял <...> Обратно к маме мы переехали, когда умерла Мариша».

И вновь эпизод, пройти мимо которого невозможно.

Эпизод, известный в романе «Пушкинский дом» как «эпизод с кольцом».

Раздел второй «Герой нашего времени». Глава «Фаина»: «Он вернулся и в тупости сидел на диване, открывал и закрывал сумку — шелкал замком. Наконец заглянул внутрь: пудреница, огрызок карандаша, платочек... Завязан узелком. Развязал узелок и обнаружил кольцо. Вспомнил, как она тихо сняла его с пальца. Примерил. Оно не лезло ни на один палец. “Ну и что же, сама говорила, что оно стоит пятьсот рублей, — как-то сухо подумал он, — мы можем три раза сходить в ресторан, — прокрутилось в нем безучастно, как в арифмометре. — Что же я могу поделывать, раз у меня нет денег...” И он сунул кольцо в карман. Завязал обратно узелок на платочке. Закрыв сумочку. Отнес ее и задвинул за настольную лампу. Отойдя, еще раз посмотрел — точь-в-точь. Уселся ждать, странно спокойный...

В скупочном пункте приемщик повертел в руках кольцо и сказал: “Пятьдесят рублей”. — “Нет, пятьсот!” — чуть не закричал Лёва. — “Нет, не может быть! Жулик, ну, конечно, старый жулик!”

И он мчался в другой пункт. В другом пункте был уже не приемщик, а приемщица; она бросила кольцо на весы, такие точные весы (“Ну, конечно же, тот был жулик, — радостно подумал Лёва, — даже не взвешивал!”); приемщица тщательно, без конца подталкивая нежную гирьку, взвешивала, потом шелкала на счетах, — у Лёвы все сжалось и замерло внутри. “Сорок девять рублей”, — наконец сказала она.

Он остолбенело стоял, держа перед собой кольцо, и оно тускнело на глазах. “О Господи! медяшка!” — воскликнул он и в сердцах чуть не выбросил в урну, но что-то вдруг, какая-то неясная мысль остановила его...»

Сакральный предмет становится средоточием страстей, и читатель не может знать, что восторжествует — правда или кривда. Более того, не знает этого и сам автор, потому как порок таится во всем, он где-то рядом, он кроется в мелочах, и ему (автору)

лишь остается следовать за текстом, уверовать в него, потому что он изначально нравственен и праведен.

На самом ли деле Горя потерял тогда кольцо, ведь он не мог не знать, кому оно принадлежит, и, совершив первый шаг, взяв чужую вещь, решился ли на второй — продал ее?

Так и Лёва Одоевцев из «Пушкинского дома», оказавшись наедине со своим знанием (он украл кольцо Фаины), единственным свидетелем своего поступка, он сделал своего двойника и свою совесть. Но если договориться с двойником еще возможно, то совесть в этих переговорах — «бесперспективное» звено.

Не совладал с искушением или с гневом Лев Николаевич Одоевцев?

Не совладал с искушением или с удалью Георгий Леонидович Битов?

Да и можно ли вообще с ним (с искушением) совладать?

Автор дает на этот вопрос такой ответ: «От искушения ведь и можно лишь выкрутиться, преодолевать — нельзя. Преодолевать — потерпеть поражение, потому что признать. Не признать искушение — победить его! И в Писании так! <...> И взалкал Иисус не от долготы сорока дней, а от окончательной готовности исторгнуть сюжет, уже не интересующий его. Ведь ни одного испытания не выдержал Он, не хотел выдерживать — все отверг: и превращать камни, и прыгать на них, и владеть ими. Вот эта-то невнимательность к искушению, бережливость ненасильственных сил, нежелание демонстрировать силу — и была уже зрелость и сила Христа, чтобы можно было уже идти к людям, не желая себе. Нет другого способа преодолеть искушение — лишь не увидеть его!»

Отвернуться, отвести взгляд, отвести его, сделать вид, что ничего не произошло, затопиться совершенно при этом и определить свое состояние в данном случае по-пушкински — «то робостью, то ревностью томим». А еще попытаться скрыть от себя самого *самого себя*. Ведь попытка — не пытка, как известно...

В своих воспоминаниях о муже Ольга Алексеевна замечала: «Бедный, он всегда хотел что-то утаить. А я никогда не копалась в подробностях его личных дел. Люди не святые. Вопрос только в том, куда они доходят. Но это дело уже личных к себе требований. У каждого свои мерила, свое воспитание, свои исходные семейные отпечатки <...> Может быть, Горя и вовсе не прятался, а просто освободил меня от разборки *лишних* писем. Жил он в своих мерилах и требованиях».

После защиты диплома Георгий Леонидович работал инженером-расчетчиком, хотя, конечно, мечтал заняться настоящей архитектурой. Мечте суждено было сбыться лишь после войны. В декабре 1944 года Георгий Битов вернулся в Ленинград из Ревды (Свердловская область), где находился в эвакуации с институтом Гипрометиз (проектирование специализированных цехов и заводов по производству металлоизделий, после войны работал в Гипрометизе — проектирование предприятий черной металлургии), и в 1948 году совместно с ленинградским архитектором Яковом Свирским (1902—1990) приступил к работе над проектом санатория «Металлург» в Сочи.

Андрей Георгиевич писал: «Мой отец <...> как глубоко и убежденно беспартийный человек, не сделал карьеры, конструировал ведомственные здания и сооружения по своему профилю — черной металлургии. Но творческая неовплощенность как архитектора, очевидно, мучила отца, и как подарок судьбы он воспринял заказ на строительство санатория Минчермета в Сочи, который и сегодня выделяется на фоне городского пейзажа своим классическим стилем, явно тяготеющим к античности. Это было его детище, его лебединая песня, в которую он вложил все свои силы и дарования».

О работе Георгия Леонидовича над сочинским проектом свои воспоминания оставила и Ольга Алексеевна: «Горя рассказывал о своих мечтах спроектировать большой спортивный комплекс, с бассейном, показывал зарисовки <...> сетовал мне, что поздно добрался до того, что надо было начинать раньше <...> Сочинский санаторий дал ему тот взлет и страсть, которыми он завершил свою жизнь, был счастлив <...> это было даже не увлечение, а долгая любовь и к санаторию, и вообще к Сочи <...> В 1953 году мама и я на обратном пути из Кисловодска заезжали в Сочи и несколько дней там гостили. Горя снял нам комнату, водил на стройку, был очень предупредителен, и мама говорила мне, что совсем не представляла себе, каким большим делом он занят».

В 1956 году санаторий был введен в эксплуатацию, и Георгий Леонидович вернулся в Ленинград.

На этот раз навсегда.

* * *

Золотое кольцо из квартиры на Казанской улице действительно было потеряно.

В противном случае Лёва Одоевцев продал бы его за пятьсот рублей (такова была его цена, по словам Фаины). Но этого не произошло, эта «медяшка» на самом деле и пятидесяти не стоила.

Можно утверждать, что в тексте произошла своего рода сублимация автором поступка отца, потому что текст, как мы уже замечали выше, изначально нравственен и праведен. Потеря кольца Горей стала в чем-то «отведением взгляда», возможностью преодолеть искушение, не замечая его. Потому-то Одоевцев и впал в такую ярость, в такое отчаяние, поняв, что его обманула не столько Фаина, сколько он сам себя обманул, будучи изначально абсолютно уверен в том, что пресловутая *кривда* его не коснется, обойдет его.

Не обошла.

Коснулась.

А Фаины нет, не коснулась, потому что она (Фаина) сделала вид, что не заметила воровства (якобы потеряла), а потом покаялась, призналась, была мудрее и опытнее своего поклонника, сильнее его в своей слабости, *смирнее*, что ли (хотя это слово невозможно представить в ее лексиконе).

Автор размышляет в этой связи: «Идиотская российская мысль о том, что счастье уже было, что именно то и было счастьем, что было. Мол, не пропущено... Смирение бунта».

А ведь в конце жизни Георгий Леонидович смирился.

Многое было прожито и пережито, а, став членом семьи, Горя усвоил законы (правила) выживания внутри корпорации, где нравственным и полезным признавалось то, что полезно для корпорации, для семьи, для ДОМА.

Сын рассказывал об отце: «Отец пришел в семью матери примаком (примак — зять, принятый в семью жены тестем либо тещей в дом на одно хозяйство. — *М.Г.*). Его отец был управляющим. Для меня слово "управляющий" звучало унижительно. По линии мамы в семье были профессора».

Из дневника Ольги Кедровой: «Очень разнозвучные мы писали друг другу письма и много жили врозь, ездили врозь. Такое было сложное и нелегкое время. Жаль, что жизнь нас не очень-то щадила. Век такой нам достался... А Горя был добрый человек. Но веры в добро, людей, возможности в своей профессии, в Бога, во все, что закрывает,

спасает от всего непостижимого разумом, у него не было. Трудно было ему жить <...> от жизни прятался, уходил в фантастику, популярные познавательные журналы. Знал он много, помнил. Но и это его перестало интересовать, когда болезни стали одолевать. Уходил от жизни Горя тихо, постепенно и долго. Мне очень его жаль».

Уже после кончины Георгия Леонидовича, наступившей 28 мая 1977 года (к тому времени он перенес три инфаркта), его супруга обнаружила такое стихотворение:

Знаю, наперёд знаю,
Эти вопросы не решают,
От них уходят волей-неволей,
Думают до головной боли,
А если коснутся в разговоре,
Улыбнутся, — к чему споры.

За плечами уже лет немало,
Много ли их ещё осталось,
Если и сейчас не знаю ответа —
Зря я прожил все эти лета.

Чего-то хотел, добивался,
Как и все в человеческом роде,
Так же радовался, боялся,
Горевал, плакал, сомневался.

* * *

Для сохранения в повествовании необходимой коллизии правильно было бы сказать, что ящик дедова стола заперт до сих пор, потому что ключ от него давно утерян в бесконечных переездах. Но это было бы неправдой, вернее, полуправдой, потому что ключ действительно давно потерян, однако ящик давно открыт. То есть его когда-то открыли, а ключ потеряли или выбросили, чтобы не возникало искушения превратить семейную реликвию в хранилище «семейных скелетов», которым место в шкафу.

А за столом работает писатель Андрей Битов (хотя никогда он за ним, конечно, не работал), или вот, как сейчас, на нем разложены семейные фотографии, многие из которых нам уже знакомы. Впрочем, встречаются и персонажи таинственные, к семье имеющие отношение опосредованное или, напротив, прямое, но коль скоро они попали в стол, а теперь уже и на столешницу, обитую зеленым сукном, то они требуют своего расследования.

Например, кто вот этот «красавец, эlegant, благородный сердцеед»?

Ответ находим в «Пушкинском доме»: «Дядя Диккенс (Дмитрий Иванович Ювашов. — *М.Г.*), или дядя Митя, прозванный Диккенсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь перечитывал, и еще за что-то, что уже не в словах, — воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, — сидел. В первую мировую, юношей, прапорщиком, был он, значит, царский офицер, в гражданскую — вдруг стал красный командир, демобилизовался позже всех и было пошел по административно-научной части, но отбыл в Сибирь незадолго до Лёвиного рождения, откуда, как кадровый офицер, был отозван на фронт и отвоевал Вторую мировую <...> Обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканья — все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то, и это в ответ, и мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать, а потом — не говорил ни того, ни этого, потому

что ни то, ни другое, ни третье того не стоило — вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания».

Автор сравнивает фотографическую карточку молодцеватого офицера в звании майора, снятую в Выборге 21 июня 1940 года, и выведенный в тексте романа образ Дмитрия Ивановича Ювашова (на ум, конечно же, приходит его фактический однофамилец Иван Павлович Ювачёв — отец Даниила Ивановича Хармса, — большой оригинал, офицер, каторжанин, литератор, богослов — это к слову о питерской *облигаторности*).

Что же касается до молодцеватого офицера, то это Азарий Иванович Иванов (1895—1956) — композитор, педагог, аккордеонист, участник Гражданской, Финской и Великой Отечественной войн, ученик Александры Ивановны Кедровой, а по семейному преданию — ее возлюбленный. Хотя в те старинные времена (30—50-е годы) ящик дедова стола был заперт, а ключ от него не был утерян, посему последнее предположение не может иметь никакого фактического доказательства.

Разве что такие воспоминания Ольги Алексеевны: «Аза (так Азария Ивановича звали в семье. — *М.Г.*) появился на 8-й Советской в наши университетские с Алёшей (Алексей Алексеевич Кедров — брат. — *М.Г.*) годы и вскоре стал “заводилой пирушек”. Приводил к нам своих приятелей-казанцев (он был родом из Казани) <...> Мама любила такие сборища <...> табу лежало на тех отношениях, рушить которые заведомая мука другому. Так было с Азой, мама прямо мне сказала: “Ты молода, скоро уедешь, оставь его...”»

На 8-й Советской Азарий Иванович занимал маленькую *квартирку*, которую автор описал в «Пушкинском доме»: «Она была забавна, выделенная из большой квартиры <...> на месте ванной получилась кухонька, вместо “сортира” (“туалет” — более неприличное слово, чем “сортир”, — говаривал дядя Диккенс) — душ; оставшемуся последним унитазу — деться было некуда, и он встал в передней, под вешалкой <...> Так что, первое, что мы видели, входя, был унитаз <...> необыкновенной белизны и изящества — та же, излюбленная дядей Диккенсом, линия “либерти” наблюдалась в его томных утренних изгибах. Кто сживал на нем? — дядя Диккенс уверял, что “особы”, а теперь он сам, по собственным словам, сживал, завесившись старой, избитой молю, барской шубой, доставшейся ему тоже по какому-то случаю <...> все отличалось невероятной чистотой осознанного эгоизма: пол был выскоблен по-деревенски, и дома дядя Диккенс хаживал часто босой».

Этакая келья монаха-отшельника, в которую маленький Андрей, или маленький Лёвушка (не суть важно), забирались «тайком, через запрет», листали запретные *порнографические* книжки, не имея сил оторвать моргающего своего взгляда от иллюстраций известного свойства.

Но вернемся к дедову столу-жертвеннику.

Тут же рядом с фотографией Азы на зеленом сукне лежит еще одна миниатюрная фотокарточка, на которой изображен стриженный под машинку испуганный пятилетний мальчуган.

На обороте надпись, сделанная перьевой ручкой, — «Ревда. 1942 г. Июль»...

О том, кто изображен в этом кадре, речь пойдет в следующей главе нашей книги.

Кадр Битова

И кадры другого фильма — из собственной жизни — с периодичностью вспыхивали в нем, и чем темнее и глубже были провалы забытых эпизодов, тем ярче запомнившийся между ними кадр.

Андрей Битов

«Есть человек, а есть его “манера” жить. Манера складывается с детства, нечаянно. В жизненной суете она затемняет, заслоняет сущность самого человека. Переставешь ее (сущность. — *М.Г.*) видеть за привычным раздражителем неисправимой “манеры”. А сколько в жизни потеряно, если нет простоты», — пишет в дневнике Ольга Алексеевна.

Есть манера, *mode de vie* (образ жизни), а есть стиль и вкус, проявляющиеся в простоте обывденного. Автор извлекает эту самую *сущность* из себя, потому как она и есть единственный предмет его сочинений, как угодно при этом именуя сей процесс извлечения: хирургическое вмешательство, погружение в текст без всякой надежды вновь очутиться на поверхности, самокопание, препарирование собственного подсознания, собственного сна.

Битову снится сон, который состоит из четырех кадров.

Кадр первый: ему 4 года, и он сидит на кровати в пустой комнате, окна которой зашторены. Дверь в комнату закрыта, и он хочет расплакаться от страха и одиночества, но не может, потому что все слезы высохли полностью, окончательно пересохли, то есть от того лицо его горит, и он прячет его в ладонях.

Кадр второй: дверь открывается, и в комнату вбегает мама. Она снимает его с кровати. Берет на руки. Выносит из комнаты.

Кадр третий: они вдвоем едут в пустом трамвае. Трамвай гремит и раскачивается на поворотах, затем разворачивается на кольце, останавливается, и они выходят.

Кадр четвертый: Андрей с мамой входят в квартиру бабушки. Бабушка включает свет в коридоре и ведет внука в столовую, чтобы накормить его. Андрей видит перед собой тарелку, из которой к потолку поднимается густой пар...

Сон заканчивается, и теперь автору придется осмыслить, откуда, из каких глубин его подсознания возникли эти четыре кадра, создавшие собой эпизод, что они значат, почему давно ушедшее детство на самом деле никуда не ушло.

Андрей Битов закуривает и произносит едва слышно: «В детстве все стыдно, немо, неоткровенно и слишком страшно». Пожалуй, это первое, что приходит на ум при виде себя беспомощным, слабым, напуганным. Но первое суждение имеет зачастую характер эмоциональный, а потому оно не вполне справедливо, не вполне истинно. Чтобы дойти до правды необходимо *размотать* события назад, воспользоваться обратной хронологией, увидеть то, что не лежит на поверхности и очень часто находится под спудом умолчания, как бы извлечь из корзины выброшенные туда за ненужностью срезанные кадры пленки и сложить из них историю, повествование, которое должно быть интересно себе в первую очередь...

27 мая 1937 года в семье Битовых-Кедровых родился второй сын — Андрей (первый сын — Олег — родился 2 июня 1932 года).

Из дневника Ольги Алексеевны: «К мальчугану уже привыкла. Он так же некрасив, как был когда-то Олег, но на него не похож. Черномаз-черноглаз и похож

на китайчонка. Голос у него жалобный и очень маленькие ушки <...> Пока у него характер прескверный <...> Дела идут хорошо. Китайчонок меня ничем не огорчает. Он пухлый и пока спокойный, и я к нему очень уже привязалась <...> Если за ним имя Андрюша уже утвердилось то, думаю, не будем его менять <...> детский доктор вполне доволен Андрюшей и пока никаких признаков болезней не находит <...> Рада возврату домой, но волнуюсь, что забыла, что надо делать с таким маленьким существом».

К тому моменту в квартире на 8-й Советской проживали Александра Ивановна, ее дети — Екатерина, Алексей и его «гражданская жена» Мария Иосифовна (с 1934 года), внук Олег Битов, зять Георгий Битов и Азарий Иванов (он же *Аза*, в семейном изводе).

Сюда, в эту большую семейно-коммунальную квартиру, 3 июня 1937 года и вернулась из роддома Ольга Алексеевна с маленьким Андрюшей.

«Значит, так. Я, по-видимому, родился, раз я есть до сих пор, но, когда и где — ни малейшего представления. Родители мои появились позже меня и то поначалу довольно смутно и изредка, и лишь потом, уже в школе, возникли в обязательном порядке», — так напишет автор о самом себе, чем поставит читателя в крайне затруднительное положение. Хотя, может быть, сделает это специально, чтобы взгляд искушенного читателя отвернуть в сторону одного известного персонажа и не менее известного сочинителя: «...Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — бог ведает; лицом он на них не походил: по крайней мере, родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: “Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца”. Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприятно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сидение на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами: «не лги, послушествоуй старшим и носи добродетель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками».

Получается, что слова, вынесенные в эпиграф третьей главы («Я — потомок самого себя») ни в коей мере не жеманный экивок, но, по словам Николая Васильевича, «кавыка», «хвост», преизрядным образом выписанные автором заблаговременно, чтобы создать между явью и вымыслом своеобразный люфт-лимб, вот он — «ни малейшего представления», который будет дозволительно наполнить миражами и реальностью одновременно (и при этом никто не будет знать, что на самом деле является выдумкой, а что — правдой, кроме автора, конечно же).

А мы меж тем рассуждаем дальше: в любом случае автор узнает о себе из уст родителей, близких, родственников, имевших возможность наблюдать за ним

со стороны, то есть на определенном этапе он (сочинитель) смотрит на себя их глазами, и эта привычка смотреть на себя со стороны (отстраняясь, рисуясь, додумывая действительность) входит в него, становится его манерой.

Обрывки воспоминаний и рассказов про эти воспоминания — кадры, эпизоды, не связанные друг с другом, но создающие иллюзию общности: маленький Андрюша высыпал сахар в рукомойник, бабушка сидит за роялем с закрытыми глазами, папа, делающий ремонт в комнате, улыбается, тетя Киса тоже улыбается, но почему-то при этом высовывает язык, Олег плачет.

30 июня 1940 года Кедровы-Битовы переехали на Аптекарский пр., 6 (семья росла, увеличение жилплощади свершилось), где они проживут вплоть до расселения дома в 1978 году.

38 лет (минус два года эвакуации) — время двух поколений семьи, когда каждое из них существует в своем настоящем, раздвигая время, совмещая пласты, которым в конечном итоге никогда не сойтись.

Читаем у Битова: «Настоящее — неделимо. Оно — все. Мы можем взглядывать на его пульсирующую плоть и видеть, что оно — живо. Эта его жизнь помимо нас — окончательная измена, ибо настоящее — не имеет к нам отношения, а мы приучили себя к принадлежности, препарировав прошлое».

Это *прозекторская времени*, в которой текст становится заключением о вскрытии, об этом препарировании.

Из дневника Ольги Алексеевны от 1976 года: «А дальше пошли кадры самой блокады: проруби в Неве, из которых и я возила воду (как опрокинулись санки у самых ворот, и те, что шли мимо, сочувственно остановились: "бедная!"); довески хлеба, схватываемые тощими подростками на улице у булочных; подвалы-бомбоубежища, откуда мы тащили за четыре угла одеяла заснувшего Андрюшу, а нас вдруг разобрал смех <...> ужасные дымящиеся развалины после налетов и качнувшийся портрет, когда грохотало возле дома. По разметкам датами расставлялась в ряд правда, которая 35 лет назад была увидена своими глазами. Уйдет мое поколение, и останется шагреновая кожа истории, которую будут знать одни архивы».

В начале июля 1941 года Олег и Андрей Битовы, как и большинство ленинградских детей, были отправлены в детские лагеря, в Мошенское и Любытино (Олег в пионерлагерь, Андрей в летний детский сад, соответственно). Ни Ольга Алексеевна, ни Георгий Леонидович не могли и предположить, что их сыновья в самое ближайшее время окажутся на оккупированных территориях. Однако если Олега отец успел вывезти достаточно оперативно, то Андрюша «застрял». В это же время пришел приказ об эвакуации Гипрометиза, на котором работал Георгий Леонидович, в Ревду. Отсутствие младшего сына в Ленинграде не позволило Горе забрать семью с собой (отказаться от эвакуации он тоже не мог), и в Ревду он уехал один.

По воспоминаниям Ольги Алексеевны, эта поездка в летний детский сад в Любытино как-то сразу не задалась. Ехать в детский сад Андрюша не хотел, не хотел расставаться с мамой, «увозили его насильно <...> издалека видела, как он сопротивлялся, раскинул руки в дверях автобуса, не давая себя внести. А вернуло его домой настоящее чудо».

Произошло это так: в очереди Александра Ивановна случайно услышала, что женщина, стоявшая перед ней, уезжает в Любытино за своим сыном. На просьбу привезти с собой еще одного ребенка она ответила согласием, но при условии оформления нотариальной доверенности. А дальше все происходило как во сне: «...Секунда в секунду я подъехала к дому в Сапёрном переулке, когда нога нашей

судьбы уже стояла в открытой дверце автомобиля <...> Разговоров не было никаких, взяла доверенность и тут же уехала <...> Прибежала она ко мне на службу в расстегнутом пальто, предупредить, что Андрюша очень травмирован, кричал и сопротивлялся, когда его силком отрывали от воспитательницы, наотрез отказался ехать в поезде. Она ему: мы же едем к маме, а он — “это мы еще посмотрим”. Вместе добежали до Сапёрного. Оставленная на пороге, я увидела Андрюшу в широченной кровати, постепенно и беззвучно красневшего на белой подушке, до вишневого цвета. Молчали мы оба, пока не оказались в пустом трамвае <...> Мама приготовила Андрюше еду, которую он обхватил обеими руками (что, вероятно, стало неосознанной необходимостью в Любытино)».

Все сошлось!

Явь воплотилась во сне!

Кадры совпали и наложились друг на друга, отчего изображение стало объемным, стереоскопическим, позволяющим его рассматривать с разных сторон и видеть то, что в предыдущем кадре было недоступно для взгляда.

Например, то же событие автор описал так: «Блокада была для меня освобождением, и этот голод, этот холод были для меня чистым счастьем. Потому что мама была рядом, я опять был в нашей квартире на Аптекарском острове. Это для четырехлетнего ребенка все, что должно быть. Полная гарантия безопасности <...> мое следующее воспоминание — не мое, а накладное (наложение кадра. — *М.Г.*). Я помню его по рассказу матери. Мы едем с ней в трамвае, я на нее обижен на всю жизнь. И тогда мать снимает с себя кольцо (опять кольцо! — *М.Г.*), дает мне поиграть, и я на этом примирился. Собственно говоря, с этого кольца кольцо и начинается».

Трамвай развернулся на кольце.

Георгий Леонидович кольцо потерял.

Лёва Одоевцев кольцо украл.

А кольцо Фаины ничего не стоило.

Однако в воспоминаниях Ольги Алексеевны о кольце нет ни слова. Более того, она замечает: «...Молчали мы оба <...> осмотревшись кругом, он (Андрей. — *М.Г.*) что-то первое мне сказал. Не помню что».

Вот и возникает вопрос: а было ли оно в том трамвае на самом деле или возникло позже по ходу действия, в результате наложения друг на друга кадров-воспоминаний?

Обиженное лицо Андрюши — проплывающие за окном вагона дома — Андрюша осматривается вокруг себя — пустой трамвай раскачивается на поворотах — Андрюша старается не смотреть на мать, потому что обижен на нее, — кольцо на пальце матери — взгляд Андрюши замирает на нем — мать видит этот взгляд — Андрюша переводит взгляд с кольца на синий берет матери.

Блуждающий, немотивированный, не объяснимый с точки зрения взрослой логики детский взгляд на деталь, на объект, на предмет, попавшийся на глаза случайно. В трамвае таким объектом становится вовсе не никелированный поручень, не обитое вагонкой сиденье и даже не контроллер с надписями «тормоз», «ход» и деревянной рукояткой, на которой лежит рука вагоновожатого, такой деталью становится кольцо на пальце матери.

Сакральный предмет.

Ключ к пониманию смыслов.

Украшение.

Семейная драгоценность, лежащая в старом дедовом столе.

Синий берет в тон сапфирового кольца.

Во сне такие яркие цветовые пятна усиливают «чрезвычайное сходство с действительностью» и в то же время «чрезвычайную редкость и неповторимость ситуации».

Читаем у Андрея Битова: «Однажды, во сне, увидел я самого себя (не в третьем лице, как бывает, не в роли героя сна — я уже был во сне, а я-он вошел...) — это было достаточно страшно, вернее, должно было быть страшно, потому что страх был подавлен другим, одновременно возникшим, но гораздо более сильным в этот момент чувством — любопытством. Это было горячее, сладострастное любопытство, и я его тотчас, во сне, определил как женское (вообще в этом сне я как-то очень быстро соображал, то есть спал с включенным сознанием, что само по себе тоже нечасто). Я быстро оценил чрезвычайную редкость и возможную неповторимость ситуации, я никогда не видел себя до этого, если не считать зеркальных отражений, а их, как я тут же понял, можно не считать, то есть я видел себя впервые. Помню, что я прекрасно сознавал, что все это происходит во сне, подумал и о том, нет ли тут зачаточного симптома раздвоения личности, но еще яснее помню я свою убежденность в подлинности двойника, что я могу совершенно доверять этому зрению и что все, что я сейчас успею пронаблюдать, потому что, чего я не знал, так это продолжительности аудиенции (то есть не проснусь ли я внезапно), — я должен вобрать и впитать в себя как губка. Такое пористое, засушливое любопытство настолько владело мной, что я даже не тратил силы, чтобы скрыть его для приличия (помню, это парадоксальное соображение мелькнуло во сне; что себя-то как раз и можно стыдиться и пытаться вести себя перед собой скрытно). «Так вот я какой? именно таким меня видят другие?»

* * *

20 августа 1941 года Александра Ивановна и Екатерина Алексеевна Кедровы были эвакуированы в Ташкент с Ленинградской консерваторией. Иждивенцев и членов семей не взяли, потому как места в эшелоне были строго лимитированы.

Ольга Алексеевна вспоминала: «Мама, прощаясь, горько плакала, просила ее простить, что отрывается от меня и детей. Уволили меня 27 августа 41-го года по подписанному Молотовым постановлению об обязательной эвакуации из Ленинграда женщин, имеющих больше одного ребенка, а 31 августа дети и я сидели уже в поезде, не ведая, что никуда мы не поедem. Это несостоявшееся путешествие длилось шестнадцать дней».

Все началось на Финляндском вокзале: сначала эшелон долго не выпускали, затем он пошел, но из-за бомбежки был вынужден вернуться в Ленинград. Затем было предпринято еще несколько безуспешных попыток вырваться из города, но, когда немцы заняли Мгу (51 км от Ленинграда) и перерезали железнодорожные пути, эшелон расформировали, и всех распустили по домам.

Из дневника Ольги Кедровой: «Бросив свою поклажу в распахнутом товарном вагоне, мимо дымящихся развалин и торчащих кирпичных труб сгоревших домов, пешком с Васильевского острова пришли мы обратно домой <...> Пошла блокадная зима... Я помню: толстый лед по всему полу коридора и кухни; заклиненную льдом дверь в ванную с нестиранным бельем; маленькую печурку в маминной (единственно жилой) комнате, около которой на ножной скамеечке Андрюша нараспев тянул без конца: «я голон-ный, я голон-ный» <...> красное ватное одеяльце на столе с завернутым в нем супом и заведенным будильником — когда можно его съесть».

В конце марта 1942 года, с подачи Георгия Леонидовича, приславшего в Ленинград из Ревды запрос на вывоз в эвакуацию жены и двух сыновей, была предпринята вторая попытка покинуть блокированный город.

Путь в Ревду длился 21 день.

Еще из дневника: «С Горей встретились в сумраке, на дороге: Андрюша и вещи на телеге, мы с Олегом рядом, пешком. Не знаю, как стерпел он (Г.Л.Битов. — М.Г.) это зрелище... Прибыли мы не очень симпатичные: грязные, усталые, чужие <...> Собственно, блокада и попытки вывезти из нее детей Ревдой закончились. Но кочевье и война продолжались, все мы были не вместе и не дома <...> За полтора года бытия в Ревде переменяли мы четыре жилья <...> Несколько месяцев работала воспитателем старшей группы детского сада, чтобы подкормить Андрюшу и быть вблизи него. Помню мороз, доходивший до —47, и Олегушку в сереньком, неописуемом костюмчике из одеяла <...> Странное явление память: от случайного щелчка оживает какая-то точка, ширится, светлеет, обрастает неотвязными картинками — отдельными, яркими, как цветная фотография. А между ними провал — все стерлось».

Величина этих провалов может варьироваться — доходить до десятилетий или же, напротив, равняться мигу, внутрь которого вписывается незабываемый эпизод, который повторяется снова и снова.

Автор вспомнил, как однажды в детстве, когда он с матерью был в эвакуации, они ночью брели по лунной дороге, проложенной небесным прожектором. Сейчас уже и не скажет, куда они шли, выбиваясь из сил, по пояс в снегу, а луна своим бледным, мерцающим светом прокладывала им путь. Но потом произошло страшное: мать вдруг куда-то пропала, исчезла, бесследно выпала из сновидения, и он — будущий сочинитель — остался один. Вернее, один на один с собственной тенью, которая извивалась в такт его нелепым, беспомощным движениям, повторяла очертания снежных бесформенных истуканов, вытягивалась или, напротив, укорачивалась по мере движения луны по глухому, как крышка гроба, зимнему небосводу.

Это *видение* автора мы уже приводили в начале нашей книги, но лишь теперь стало ясно, откуда оно, столь яркое, как «цветная фотография», появилось на этих страницах.

Появилось и исчезло.

Затем, вполне возможно, появится вновь, ведь провал между кадрами-вспышками не может быть бесконечным и непреодолимым, а образы, возникающие по ходу повествования, заполняют мнимую (с возрастом на память надеяться не приходится) пустоту новыми поворотами сюжета, мыслями и коллизиями.

Так, в Первом Разделе «Пушкинского Дома» — «Отцы и дети» — образ отца Николая Одоевцева становится отправной точкой в раскрытии внутреннего конфликта главного героя романа Льва Николаевича Одоевцева, для которого оппозиция с собственным отцом имеет метафизический и в чем-то мистический характер.

Андрей Битов пишет: «Лёвушке казалось, что он отца не любит. С тех пор, как он себя помнил, он был влюблен в маму, и мама была всегда и всюду, а отец появлялся на минутку, присаживался за стол, статист без реплики, и лицо будто всегда в тени. Неумело, неловко пробовал заиграть с Лёвой, долго выбирал и тасовал, что же сказать сыну, и наконец говорил пошлость — и Лёва запоминал лишь чувство неловкости за отца, не запоминая ни слов, ни жеста, так что, со временем, каждая мимолетная встреча с отцом (отец всегда был очень занят) выражалась лишь в этом чувстве неловкости, неловкости вообще <...> Часто и понемногу видя отца, не знал Лёва даже, какое у него лицо: умное ли, доброе, красивое ли...»

Об истоках этой отстраненности и взаимного непонимания пишет Ольга Алексеевна. В частности, воссоединение семьи в Ревде стало одновременно радостным и мучительным событием.

Читаем: «Несостоятельный в тех трудных условиях, неприспособленный, был он (Горя. — М.Г.) недоверчив, замкнут в себе, было ему жить трудно вообще, а тогда тем более. Как-то он мне сказал: “Вас трое, я — один”».

Такое противопоставление могло возникнуть в голове совершенно одинокого человека, отставленного от семьи (и отставившего самого себя от нее), смирившегося с этим *отставлением*, не имевшего, по словам Ольги Алексеевны, «веры в добро, людей, возможности в своей профессии, в Бога», обреченного жить в «слабой позиции». Но если у взрослых подобного рода самоидентификация вызывала жалость и стремление помочь, то у детей, инстинктивно тянущихся к сильному, деятельному, позитивному, — лишь отторжение. Вот откуда у Лёвы Одоевцева это неприятие отца: он стесняется его любить, потому что, как ему кажется, любить его не за что.

Автор, вне всякого сомнения, видит в своем главном герое и себя, и своего отца — Георгия Леонидовича Битова — одновременно, отождествляет себя с ними, совмещает несовместимые, на первый взгляд, образы в надежде разобраться в собственных чувствах.

У Евангелиста сказано: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам».

Но лишь со временем, с обретением житейской мудрости и опытности сочинитель сможет распознать *творчество* отца, стать его *сотворцом*...

А пока идет война.

Из «Постскриптума» Андрея Битова: «Я смотрел в окно <...> я увидел отца, и он назвал меня по имени. По-видимому, это первое воспоминание об отце, поскольку он был эвакуирован с заводом до начала моей памяти. Затем опять отрезок памяти стерт...»

И автору ничего не остается, как смотреть на миниатюрную фотокарточку, на которой изображен стриженный под машинку испуганный пятилетний мальчуган.

На обороте карточки надпись, сделанная перьевой ручкой: «Ревда. 1942 г. Июль».

Смотрит он на нее сквозь короткофокусную линзу («как в линзе — короткий фокус слёз»), что позволяет увидеть не только перепуганного ребенка, но и людей, его окружающих, обстоятельства и события...

В ноябре 1943 года Ольга Алексеевна с детьми переехала в Ташкент, где в эвакуации находились ее мама и сестра.

В это же время Георгий Леонидович убыл из Ревды в долгосрочную командировку сначала на Украину, а затем в Подмоскowie.

В Ленинграде они встретятся лишь в декабре 1944 года.

Ольга Алексеевна вспоминала: «Формальное разрешение на наш отъезд в Ташкент маме помог получить ее старинный знакомый — депутат Верховного совета Романовский. И вот опять дорога. До Свердловска нас провожал Горя. По льду замерзшего пруда у плотины тащили саночки с вещами. В Свердловске пересадка <...> За бутылочку спирта проводница впустила нас в вагон, неосвещенный и набитый узбеками; все двери подошедшего поезда наглухо были закрыты <...> Приехали мы сюда (в Ташкент. — М.Г.) на девять часов раньше срока <...> Носильщик вывалил нас на площадь, подозвал ишака. Нашего закоулка ишачник не знал. Обступили нас какие-то узбеки <...> Все это вижу ярко: деревья, улицу, мамину комнату без двери

с занавеской из простыни <...> круглую печку, в которой на углях варился мною обед, окно в сад <...> базар и персики. Приносить их можно было только в жесткой таре, а откусывать — наклонившись. Как их, такие, люблю!»

Взгляд автора на самого себя в пятилетнем возрасте найдет свое отражение в рассказе «Бабушкина пиала», написанном в 1963 году.

Взгляд сквозь призму воспоминаний, наложенный на рассказанное родителями, на обрывки-вспышки памяти. То есть прием, с которым мы уже столкнулись, описывая эпизод в трамвае, — это объемное, стереоскопическое изображение, когда знание первоисточника (дневниковых записей матери) позволяет читателю проникать в текст вслед за автором, который к моменту этого проникновения уже находится во вполне сознательном возрасте (из интервью Андрея Битова: «И когда в 43-м году мы добрались, наконец, до бабушки в Ташкент, местные спрашивали маму: “Почему вы русская, а ваш сын узбек?”), и даже становиться его (текста) неотъемлемой частью.

Читаем в рассказе: «Мне было пять. Через всю взбаламученную войной страну мы пробирались к бабушке в Ташкент. Мы уходили от блокады. Добирались мы долго и трудно, и мало что удержалось в непонимавшей детской памяти <...>

В теплушке на меня свалилась стремянка с грузным пассажиром. Это было больно. Выбежав выменивать хлеб, от поезда отстала мама. Это было страшно. Я завшивел. Это было противно. Нечего было есть. Это был голод <...>

А потом нас окружили черномазые оборванные мальчишки и предлагали поднести и подвезти. Они были стремительны и шумны и двигались с неправдоподобной легкостью. И я их боялся. А мама им не верила. И мы пошли сами, волоча пожитки, потерявшие смысл и форму. Вертявые мальчишки постепенно отстали. Мы оказались одни. Мы не знали, куда идти, а прохожие нехорошо на нас смотрели и не объясняли дороги.

А все кругом было другое: горячее солнечное небо, глиняные заборы с жирными тенями, неразрушенные чистенькие домики, сады <...> И тишина. Непривычная тишина пустых глиняных улочек.

Мы брели, не понимая куда. Собственно, не понимала мама, а я тащился за ней. Мы брели, никого не спрашивая. Мы были у цели, и мама увидела, что у нее уже давно нету сил. У нее не было сил, и она удивлялась, что мы — у цели.

И мы брели...

И вдруг, завернув за толстый глиняный угол, мы столкнулись с бабушкой. Мама издала что-то нечленораздельное, а я не узнал бабушку <...> Тут меня обняла какая-то ласковая, теплая волна и увлекла. А я подчинился и уже не заметил, как мы пришли. Но это уже было сказкой <...> ласковая и теплая волна снова подхватила меня, и я очутился в бабушкиной комнате. Там было прохладно. Чистая, высокая кровать выросла перед моим носом. Сквозь забавные соломенные штуки прыскало тоненькими струйками солнце и испещрило чистый, натертый пол. И во всем этом царила, ласкала, смеялась бабушка. Но самое главное был стол. Он прочно наступил на пол толстыми дубовыми ногами. На нем были белая тяжелая скатерть и какие-то холмики (что-то покрытое салфетками). А на виду стояла ваза с непонятными фруктами. А еще выше, на фруктах, стоял золотой стаканчик, и из него выглядывал кусочками сахар. Настоящий белый сахар.

Я стоял, ухватившись за скатерть, и смотрел вверх. И опять что-то неуловимое, подчиняющееся, теплое рассыпалось рядом со мной. Это смеялась бабушка. Она поцеловала меня в сосредоточенно заломленную голову и снова увлекла, а я забылся, подчинившись этой волне, и очнулся за столом, вымытый и переодетый. Я ел что-то

очень вкусное и смотрел на сахар <...> Опять бабушка засмеялась — и я уже пил чай вприкуску. Я брал своими руками фантастически белый сахар и пил чай из невиданной чашки. Она была без ручки, и я не мог найти, где эта ручка отломалась. А бабушка объяснила, что чашка такая и была, что это настоящая узбекская пиала.

Я пил чай из пиалы. Вокруг нее, крадучись, ходили парами странные ежики. У них были красные животы и зеленые спины, и ходили они на задних лапах.

А потом я уснул — и увидел, что всюду лежит ослепительно белый сахар. Вокруг меня, как часовые, степенными, вкрадчивыми шагами ходят парами ежики, а бабушка смотрит со всех сторон, и отовсюду слышится ее теплый осыпающийся смех...»

И вновь перед нами стол, который «прочно наступил на пол толстыми дубовыми ногами», стол, который преследует автора и в Петербурге, и в Ташкенте, и в Москве.

Среди разложенных на его столешнице фотографий на глаза попадает одна, лежащая в стороне от общей семейной стопки, как бы особняком — пожилая седая женщина как бы пытается заглянуть за наставленный на нее объектив фотографического аппарата, сосредоточилась на этом своем взгляде, губы ее плотно сжаты, и голова чуть наклонена вправо. Ее имя в своих дневниках Ольга Алексеевна упоминает довольно часто — Мария Иосифовна, но, увы, информация еще об одном члене семьи разрозненна и сбивчива, хотя эта женщина сыграла важную роль в судьбе Ольги Алексеевны, ее мальчиков и — *брата*, Алексея, именно ей в 70-х годах Битов посвятил повесть «Похороны доктора».

Мария Иосифовна (Йоселевна) Хвиливицкая (1892—1969) родилась в Могилёвской губернии в семье Оршинского мещанина Йоселя Гиршевича Хвиливицкого.

После окончания в 1915 году Высших женских (Бестужевских) курсов, а в 1921 году — 1-го Ленинградского медицинского института Мария Иосифовна осталась работать в институте на кафедре факультетской терапии, которую возглавлял профессор Георгий Фёдорович Ланг (один из основоположников советской кардиологической школы, врач, под чьим личным наблюдением проходило лечение Максима Горького летом 1936 года).

В 1924 году доцент Хвиливицкая перешла в больницу им. Ф.Эрисмана, которую в тот момент возглавил Г.Ф.Ланг и которая стала основной базой для практического обучения студентов-медиков 1-го ЛМИ. В 1931 году в эту же клинику пришел двадцатипятилетний ординатор, а впоследствии научный сотрудник и ассистент Алексей Кедров, который, став аспирантом Георгия Фёдоровича, защитил под его руководством кандидатскую диссертацию. Значительную помощь в подготовке к защите ему оказала Мария Иосифовна. В 1934 году Алексей привел Марию Иосифовну в дом на 8-й Советской (в семью Кедровых она почему-то пришла, держа в руках «желтую Венеру Милосскую», символ? знак? — к этому мы вернемся позже).

В некоторых источниках по истории Ленинградской кардиологии и госпитальной терапии профессор А.А.Кедров и профессор М.И.Хвиливицкая аттестуются как муж и жена.

Эта информация ошибочна.

Читаем в повести Андрея Битова «Похороны доктора»: «Мы имели все основания возвеличивать ее (Хвиливицкую) и боготворить: столько, сколько она для нас сделала, не сделал никто из нас даже для себя: она спасла от смерти меня, брата и трижды дядьку (своего мужа). А сколько она помогла так, просто (без угрозы для жизни), — не перечислить <...> Она была на пятнадцать лет старше дядьки, у них не было детей, и она была еврейка <...> И еще, что я узнал значительно позже, после ее смерти, она была как *жена*. Оказывается, все эти сорок лет они не были зарегистрированы <...>

Сошло время — илистое дно. Ржаво торчат конструкции драмы. Это, оказывается, не жизнь, а — сюжет. Он — неживой от пересказа: годы спустя в нашем семействе прорастет информация, в форме надгробия.

А я из него теперь сооружаю постамент...»

— Мария Иосифовна Хвиливицкая, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, участник войны, блокадница.

— М.И. Хвиливицкая — автор многочисленных научных работ и книг (выборочно):

«Экспертиза трудоспособности после удаления легкого или его части» (1957);

«Врачебно-трудовая экспертиза и трудоустройство при бронхоэкатической болезни» (1959);

«О приспособляемости организма при резекции лёгкого» (1960);

«Экспертиза трудоспособности при коронарном атеросклерозе» (1961);

«Экспертиза трудоспособности и показания к трудоустройству больных инфекционным неспецифическим полиартритом (ревматоидным артритом)» (1968);

«Г.Ф. Ланг» (М., 1969).

Все это могло бы быть высечено на воображаемом постаменте надгробного памятника (стелы с барельефным портретом), под которым лежит «моя неродная тетя, жена моего родного дяди», что установлен на шестом участке Кленовой дорожки Преображенского еврейского кладбища в Петербурге.

Но высечено все это не было, потому что подобного рода формальности претили «нашему кичливому семейству» (А. Битов). Обо всем об этом знали, как и онетитульном происхождении тетки, но молчали, а «сто процентное молчание всегда говорит за себя <...> чрезмерное восхищение чьими-либо достоинствами всегда пахнет. Либо подхалимством, либо апартеидом», — сардонически замечает автор и прибавляет: «Для меня, ребенка, подростка, юноши, у нее не было ни пола, ни возраста, ни национальности: в то время как у всех других родственников эти вещи были».

Семейная тайна, ставшая частью текста, утратила свой статус «совершенно секретно». («В нашей семье щадили друг друга, любили, берегли. А если и “заносило” кого, старались удержать. Тоже пощадно, осторожно, без “директив” <...> Тыл был у нас обеспечен, вот что спасло. Дружба семьи, независимая от того, что каждый идет своей дорогой, — это обеспеченность тыла, неослабевающего доброжелательства в любых обстоятельствах жизни», — вспоминает Ольга Алексеевна.) И сразу к уже имеющимся краскам в описании ДОМА добавляются новые.

Например, такие: семья как завод по выделке человеческих судеб, как паровой каток по закатке под сукно столешницы изображений ближних или дальних родственников, а то и вовсе чужих людей.

Интересно, что рассказ о Марии Иосифовне, а не, например, о Георгии Леонидовиче, навел на такие мысли.

Почему?

Скорее всего, потому что Хвиливицкая была не просто персонажем семейной хроники, но стала и литературным персонажем, отстраненный взгляд на которого давал возможность автору смотреть на нее, и на себя в том числе (применительно к ней), со стороны, через временную паузу, сквозь *лимб*, отлагая в сторону собственные симпатии и антипатии, собственную корневую принадлежность к семье (образ отца в «Пушкинском Доме» и Г.Л. Битов все-таки не одно и то же).

Объективность сочинителя через его отстраненность стоит рассматривать как возможность вырваться из семьи, покинуть без спроса этот *завод*, почувствовать

свободу, свое мучительное сиротство, без которых творчество невозможно в принципе. В противном случае в действительности не найдется места для романа, а текст превратится в заурядный сюжет — «неживой от пересказа».

Вновь возвращаясь к «Похоронам доктора» Андрея Битова, следует обратить внимание еще на один важный момент: на то, кому была посвящена эта повесть.

В мемории, стоящей перед текстом, сообщается: «Памяти Е.Ральбе».

Елена Самсоновна Ральбе (1896—1977), преподаватель еврейской женской прогимназии в Брест-Литовске, ленинградский архитектор, переводчик, литературный секретарь Андрея Битова, которую он называл «моя самая сокровенная читательница».

Андрей Георгиевич вспоминал: «В 1968 году на каком-то дурацком выступлении в какой-то библиотечке — вижу, сидит благородная красивая седая дама. И когда какие-то читатели что-то мне вякают, она прыгает на стуле от негодования, но молчит. А я перед этим выступлением получил письмо от читателя, самое лучшее в своей жизни. И вдруг она все-таки не выдержала и реплику подала какому-то критику из зала. После я подошел к ней: “Так это вы написали мне письмо?” <...> Знала три языка, книги иностранных авторов читала в подлиннике <...> шесть раз всего Пруста в оригинале перечитала <...> Она была намного старше меня <...> Это какое-то чудо было, счастливейшая из дружб».

Каким-то странным образом тут все сошлось воедино — Мария Иосифовна Хвиливицкая и Елена Самсоновна Ральбе — женщины из других эпох, огромного интеллектуального багажа, другой ментальной и национальной традиции, почти ровесницы, ставшие при этом в жизни автора знаковыми персонами, а именно олицетворенным *героем* созданного писателем текста и олицетворенным *читателем* его (писателя) сочинений.

Схождение это произошло не вполне по воле автора, но интуитивно, вопреки тому самому заговору *стопроцентного* молчания, когда сочинитель прикасается к сокровенному, говорит о нем *полно* и становится свободным от комплексов человеком, не боящимся ни самого себя, ни своих потенциальных читателей.

Андрей Битов размышляет: «На практике приходится вооружаться наименее разоряющим творческую энергию цинизмом в отношении читательского восприятия: за тебя или против <...> Вывод из этого может быть один: поскольку ты своё слово высказываешь первым, а потом отдаёшь его на безответный суд, слово твоё должно быть максимально полным, ты должен потребовать от себя всё за столом, с тем чтобы быть уверенным, что сделал всё, что мог, и вполне выразился. Но тихий образ незримого читателя, воспринимающего тебя в твоём смысле, остаётся. В самом начале своей работы я разработал для себя следующую утешительную теорию: одного точного понимания со стороны достаточно для того, чтобы убедиться, что ты и был точен, ибо идентичное толкование может встречаться лишь в пределах истины, — двух одинаковых безумий не бывает, они не могут встретиться или встречаются с той же вероятностью, как столкновение в мировом пространстве двух астральных тел. Тебя поняли — ты не безумен. Тебя поняли — вот доказательство твоей нормы. Читатель и писатель или писатель и читатель? Из тьмы ускользающих в глубине и тающих на поверхности смыслов этого соотношения я считаю необходимым для начала остановиться на порядке этих двух слов и предпочесть вторую комбинацию, поставив писателя первым. Хотя бы потому, что книга сначала пишется, а потом читается. Хотя бы и потому, что писатель сначала был читателем до него написанных книг. Проблемы здесь никакой нет, потому что читатель и писатель есть реальное, действительное и действующее соотношение производителя и потребителя, при котором

контакт практически равен нулю. Мы не знаем лично того человека, который нам испёк и сшил, и он не знает нас. Знакомство, мягко говоря, необязательно. Мы можем уважать чужой труд, лишь добросовестно исполняя свой, плодами которого сами пользуемся минимально».

* * *

Но вернемся в Ташкент, который, как мы помним, был особенным городом для семьи Кедровых.

Здесь появились на свет дети Алексея Константиновича и Александры Ивановны, и вот, спустя 31 год, они собрались тут снова.

Не все...

Из детских воспоминаний Ольги Алексеевны: «В Ташкенте мы жили на Касьяновской улице № 8. Дом был одноэтажный, в саду. На лесенке балкона редкостно-живая фотография папы с мамой».

И еще один кадр, который Битов будет рассматривать через 70 лет, когда окажется в Ташкенте и обнаружит, что теперь в доме его деда расположился Союз узбекских писателей.

А дом, где они жили во время эвакуации, в кадр не попал...

Исчез.

Растворился.

Затерялся.

Его теперь уже, наверное, и не найти.

«Я стою и верчу в руках пиалу <...> Я хорошо помню эту почерневшую трещину. Но вокруг пиалы не ходят парами ежики — это какой-то азиатский цветок или плод, свисающий на стебле с края чашки. Непонятный и довольно безвкусно нарисованный» (Андрей Битов, «Бабушкина пиала»).

Автор отправляет в Ташкент самого себя в образе Алексея Монахова, мол, если ему не удалось обнаружить *блаженные руины*, так пусть хоть Алёша попробует: «Монахов собрался в Ташкент совершенно неожиданно. Неожиданным было то, что он не только собрался, но и впрямь поехал <...> полумладенчество-полудетство Монахова провели они всей семьей в Ташкенте, но и после войны отец все что-то строил в Азии, какие-то громоздкие многолетние сооружения <...> Что-то у него там, смутно, было: собственный домик, чуть ли не тайная семья».

Так и вышло: персонаж обнаружил сюжетные линии, которых никогда не было в реальной жизни применительно к этой конкретной локации (Георгий Леонидович не жил в Ташкенте и ничего там не строил), но которые (линии) имели прямое отношение к тайным ящикам дедова стола, что и по сей день стоит в доме на Краснопрудной улице в Москве.

* * *

В сентябре 1944 года Александра Ивановна, Екатерина, Ольга, Олег и Андрей покинули Ташкент и вернулись в Ленинград («проскочили включенными в списки Консерватории») на Аптекарский проспект в дом 6, квартиру 34.

Сон Битова II

Он еще не вполне он: он подходит для себя еще в третьем лице.

Андрей Битов

Проснулся будто воскресший после длинного многочасового сна. Такую черно-белую пленку видел лишь в кино. Кино-погода. Кино-пейзаж. Кино-сон...

Дело во сне происходило в каком-то монастыре.

Монахи пилили дрова и складывали их на снег как в «Рублёве» у Тарковского.

Работали молча, поочередно выдергивая на себя черное, местами проржавевшее полотно двуручной пилы.

И вот теперь, проснувшись окончательно, автор недоумевал, почему его посетило такое видение, став невольно отзвуком (отсветом) событий более чем сорокалетней давности (этот сон он увидел в 1983 году), когда в блокадную зиму пятилетний Андрюша на кухне на Аптекарском пилил дрова вместе с тетей Маней (Марией Иосифовной).

Так эти события он описал впоследствии: «Она, пятидесятилетняя <...> сердилась на меня, пятилетнего <...> Она обижалась на меня до слез в споре, кому в какую сторону тянуть, пила наша гнулась и стонала, пока мы спасали пальцы друг друга. “Ольга! — кричала она, наконец, моей матери. — Уйми своего хулигана! Он меня сознательно изводит. Он нарочно не в ту сторону пилит...” Я тоже на нее сильно обижался, даже не на окрик, а на то, что меня заподозрили в “нарочном”, а я был совсем без задней мысли, никогда бы ничего не сделал назло или нарочно <...> я был тогда ничего, неплохой, мне теперь кажется, мальчик. Рыдая, мы бросали пилу в наполовину допиленном бревне. Минут через десять, веселая, приходила она со мной мириться».

Странный эпизод, право.

Недопиленное бревно с зажатой в нем пилой.

Плачущая от обиды Мария Иосифовна.

Плачущий от несправедливости маленький Андрей.

Увидеть такое во сне — к размолвке с близкими, ко встрече с навязчивым и неприятным человеком — события, столь часто происходящие в жизни, что можно предположить, что живешь на лесопилке, и пилорама не выходит из твоей головы никогда.

Потом бревно кое-как, конечно, допилили и помирились, но в воспоминаниях осталась почему-то эта *ссора* — нервы, эмоции, крики, скрежет передвигаемых по полу табуреток, стертые в кровь пальцы.

В монастыре же все было иначе: слаженная работа в полном молчании, лишь визг пилы да гулкие удары падающих на вытоптаный снег срезанных чурбаков.

Потом их складывали вдоль беленой стены.

Побелка здесь во многих местах отошла, оштетинившись позеленевшими кирпичами.

А еще в том сне присутствовал «один человек <...> один такой громоздкий, неопределенно-глиняных черт человек, который, вобрав в себя всех, обновил все стертые слова тем одним, что никогда еще не произносил именно этот глиняный рот,

что никто еще их же из этого рта не слышал», по крайней мере, таким его описал Битов в «Пушкинском Доме».

Это был Голем, скорее всего, связанный с облупившейся кирпичной стеной, пахнущей сыростью и подвалом, ленинградским двором-колодцем и гулкой парадной.

К монастырю имел отношение ангел в виде мужика в брезентовке. Его появление тут не было чем-то невообразимым и тем более неуместным, другое дело, что его внешний вид мог вызвать удивление. Ведь все привыкли к бесплотным созданиям с крыльями за плечами, а тут — обычный дядька, похожий на битовского деда и отца одновременно. Хотя было не вполне понятно, на какого из дедов, ведь ни одного, ни другого автор не знал, а вот на отца ангел походил своим бледным, узким, «таким немыслимо красивым» лицом, что оно казалось злым.

Мужика в брезентовке звали Авель в честь умерщвленного своим братом Каином пастуха овец.

Возвращение в Ленинград из эвакуации стало возвращением вовсе не к усопшему, но к чудом выжившему больному, который должен был умереть, даже умер на какое-то время, пережив клиническую смерть, но потом вопреки всему вернулся и остался на этом свете.

После всего пережитого он (этот недавно смертельно больной) был анемичен, странен, едва мог двигаться и говорить, но все-таки он был жив и бесконечно любим.

Семья же являлась частью его измученного, обескровленного, ослабленного организма, отзывалась неизбежно и тяжело на все его *нестроения*, полуобморочные состояния и припадки. А несколько лет, проведенных сначала в Ревде, потом в Ташкенте, еще более усилили эту невротическую связь, разбередили, казалось бы, давно зажившие раны.

Ольга Алексеевна вспоминала: «После заключения мирного договора Алёшу (А.А. Кедрова) командировали в Москву на конференцию. Встречая оттуда, приехал домой на открытом грузовике. Теми же днями он тяжело расхворался — за одну ночь семь раз горлом шла кровь. Не будь рядом Марии Иосифовны, предпринимавшей все, что было возможно, не выжил бы он тогда. Удивительно Мария Иосифовна владела собой: в кухне у раковины плачет, а, подойдя к двери, стоит, потом бодро входит, весело говоря с порога: “Знаешь, Ольга рассказала...” Потом он лежал в военном госпитале, его перевели на инвалидность и демобилизовали <...> Квартира наша обживалась частично, с топливом было туго. В моей комнате, обеспеченной ревдинской чугунной печуркой, мы жили впятером <...> Последними в Ленинград вернулись мамыны сестры (Эльфрида и Маргарита. — М.Г.). Аптекарский собрался полностью».

Радость тогда перемешалась с горестью, потому что надежда на то, что после пережитого апокалипсиса несправедливость и подлость, ложь и озлобленность канут в лету, оказалась тщетной.

Осознание этой тщеты, понимание того, что все это есть ни что иное как «суета сует и томление духа», придет к Ольге Алексеевне лишь в конце 70-х, когда она впервые прочтет «Книгу Екклесиаста, или Проповедника» и запишет в свой дневник, который называла «Мой безответный собеседник»: «Бывает нечто, о чем говорят: “Смотри, вот это новое”, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после <...> во многой мудрости много печали; и кто умножает познания — умножает скорбь <...> человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы

запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

Все новое — это преданное забвению старое.

Памяти нет, как нет и времени.

Бедя наступает, и лишь прожив ее, можно преодолеть ее, а не спастись бегством от нее.

Что было, то и будет...

В 1944 году Андрюша Битов пошел в первый класс.

Своему брату-первокласснику старший брат Олег посвятил такое стихотворение:

Его обманет каждый,
Терял он шапку дважды,
Всегда Андрей рассеян как никто.
А в день один прекрасный,
От дел уставши классных,
Чужое в школе он надел пальто.

Он головой качает,
Степенно отвечает,
Ведь разницы меж ними вовсе нет:
Оно совсем такое,
И только в нём другое:
Подкладка, воротник ну и немножко цвет...

Стараниями мамы Андрюша был принят в единственную тогда в Ленинграде английскую школу, директором которой был Лев Васильевич Хвостенко (1915—1959) — личность замечательная в послевоенном городе.

О Льве Васильевиче было известно, что он родился в Англии в семье горного инженера, профессора Василия Васильевича Хвостенко. В тридцатых годах семья переехала в СССР, в Свердловск, где Василий Васильевич преподавал горное дело, но в 1937 году был репрессирован и расстрелян.

В 1940 году у Льва Хвостенко родился сын — Алексей (1940—2004), впоследствии поэт, музыкант, драматург и художник (известный в ленинградских и московских андеграундных кругах 60—70-х годов как Хвост).

Переехав с сыном в Ленинград, Лев Васильевич возглавил английскую школу и семинар литературного перевода при местном отделении СП СССР. Он переводил Марка Твена, Теодора Драйзера, Оливера Голдсмита, Генри Уордсворта Лонгфелло, а также сам писал стихи.

По воспоминаниям Алексея Хвостенко, в школе его отец вел занятия неформально, на уроках вместе со своими учениками он пел нечто подобное американским блюзам, приучая таким необычным образом своих питомцев к разговорному английскому языку.

Странно, но о таком любопытном эпизоде Битов не оставил никаких воспоминаний, хотя любил этот предмет и преуспевал в нем (чего нельзя было сказать о других предметах). Нам же, со слов Андрея Георгиевича, известны другие, не менее занимательные моменты его школьной жизни.

«Вот один эпизод. Была у нас учительница Иза Ефимовна. Потребовались на урок книги о Ленине. Многие сожгли книги в блокаду. А у нас кое-что осталось, в частности рассказы Зощенко о Ленине. Но это ведь 1946 год, когда вышло постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”. И вот я приношу Зощенко в школу. У Изы Ефимовны сделались квадратные глаза, и книгу она заперла в шкафчик,

где хранились разные классные принадлежности. Сказала мне: пусть за книгой мать придет, и не говори никому. За Зошенко можно было сесть. Но Иза Ефимовна была нормальным человеком <...> Другой эпизод. Со мной в классе учился сын того самого секретаря горкома Кузнецова, которого в 1949 году судили по “ленинградскому делу” (А.А.Кузнецов — Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), генерал-лейтенант, расстрелян в 1950 году. — *М.Г.*).

Кузнецов-младший выглядел как принц, как маленький Набоков, пришедший в военную школу (Валерий Кузнецов (1937—2019) впоследствии начальник Главлита СССР. — *М.Г.*).

Его привозили на машине. Ему давали в школу большие завтраки, в которых он, в общем-то, не нуждался и охотно жертвовал нам. Я к этой раздаче всегда не успевал. Но однажды ухватил мандарин; впервые в жизни его видел. Побежал в туалет, чтобы не отняли, и там его съел. С кожурой. Не знал, что нужно очищать <...> (в школе. — *М.Г.*) я не прочитал ни одного из программных произведений. Все позже. Этим спас себе “Войну и мир”, которую освоил в 22 года, будучи студентом <...> “Евгения Онегина” целиком не прочитал <...> С “Мёртвыми душами” — то же самое <...> Поскольку я не любил, когда мне что-то навязывают, то выбирал, что читать, самостоятельно».

В 1949 году выбор Андрея пал на роман английского сочинителя Даниеля Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим».

Это было первое осознанное решение Битова на пока еще отдаленных подступах к поприщу. Он вспоминал: «Первой книгой, которую я осилил, был “Робинзон Крузо” <...> читал по буквам <...> медленность, по-видимому, научила меня главному свойству: что читать так возможно только очень качественные тексты, потому что некачественный текст таким слабоумным способом прочесть нельзя <...> Мать ходила на рынок и выменяла какое-то одеяло на две книги, в подарок на мой день рождения. Одна была “Робинзон Крузо”, вторая — “Записки охотника” из “Золотой серии”. Так началась моя личная библиотека (потом к этому списку прибавились “Три мушкетёра”. — *М.Г.*). Книги эти я хранил до последнего, но в результате подарил своему внуку. “Робинзон Крузо” дал мне три понятия, для меня очень важных: одиночество, остров и отсутствие кого бы то ни было вокруг. Это стало основным условием жизни. И оно до сих пор живо. И понятие Робинзона для меня до сих пор важно. Пристрастие к путешествиям послужило источником интереса к русским пространствам. Поскольку я влюбился в фигуру Пржевальского, я стал читать его биографию, она меня восхитила. Я искал портрет Пржевальского, чтобы повесить над кроватью, но не получилось найти, я нашел портрет нашего Робинзона, Миклухо-Маклая».

Знаменитые иллюстрации Кардовского к роману действительно давали повод говорить о сходстве главного героя Даниеля Дефо и Николая Николаевича Миклухо-Маклая. С другой стороны, внешне легендарный русский путешественник походил и на Джузеппе Верди, и на Всеволода Гаршина, и на Николая Чернышевского, и на еще одного великого итальянца — Джузеппе Гарибальди в молодости.

«А вот на кого был похож Пржевальский?»

На этот подсознательный вопрос юный Битов мог отвечать с детской непосредственностью, не думая, не шутя, не лукавя: «на Сталина», потому что его

портреты висели везде. Мысленно подписывал изображение «друга всех путешественников и физкультурников» — «Николай Михайлович Пржевальский» и вешал его над своей кроватью рядом с физической картой мира.

При желании в этом можно было бы найти некий глубинный смысл, усмотреть своеобразную иллюстрацию к гипотезе Карла Маркса и Фридриха Энгельса о неизбежности мировой революции.

Хотя ничего подобного, естественно, не было (да и желания не возникало). По воспоминаниям автора, «моим любимым предметом была география, моей любимой картой — физическая. О, эта палитра голубого и зеленого, песчаного и коричневого! Там проходила все-таки советская граница. За сибирским разливанным низменным морем, коричневая, сгущаясь в Памире, уходя в Монголию и далее <...> Тибет, Лхаса, мечта Пржевальского <...> Он так и не дошел. Я дойду! Пусть кто-то мечтал о Париже, я — о Монголии <...> Голос ли крови аюкался через полтысячелетия после ига?.. Про модную нынче реинкарнацию тогда еще не знали. Мы собирали желуди для лесозащитных полос ВСППП (Великого Сталинского Плана Покорения Природы). Желуди я любил — они были цвета Тибета».

Такова версия, откуда у Андрюши все-таки мог появиться портрет Пржевальского. Тем более что Битов позже признавался: «К Сталину я не испытывал никаких особенных чувств, а вот Пржевальского любил. Портрет его висел у меня над кроватью. И памятник верблюду в Адмиралтейском саду вызывал у меня особые чувства. Поэтому один из апокрифов рождения вождя <...> что вождь наш бастард не грузинско-княжеский, и не осетинский, не армянский, а Пржевальский (как лошадь), не вызвал у меня ни гнева, ни восторга».

Замещение одного мифологического персонажа другим произошло в детском сознании естественно и безболезненно, оно было тайной игрой в визуальную похожесть, в ассоциации, игрой, в которой Алашанские горы, пустыню Цайдам и Тибетское плоскогорье на маленькой мохнатой лошадке преодолевал товарищ Сталин, а на трибуне перед делегатами XVIII съезда ВКП(б) выступал Николай Михайлович Пржевальский (интерес к личности великого русского путешественника и военного топографа в те годы был подогрев публикацией его трудов, а также фильмом Сергея Юткевича «Пржевальский» с Борисом Тениным и Всеволодом Ларионовым в главных ролях).

Из «Постскриптума» Андрея Битова: «В том же 49-м году было 150-летие Пушкина. И был удар будущего назначения: мне поручили доклад по Пушкину. И я старательно читал Пушкина, наверняка не все понимая. Но тем не менее всех сумел утомить докладом. А это совпадало с 70-летием Сталина, и поэтому юбилею поэта придавалось особое значение. Я думаю, Сталин себя видел на фоне Пушкина. На уровне семинарии он был образованным человеком, более чем прочие члены политбюро. Он был читателем. И неглупым он тоже был. Хотя и тиран».

Позже у Пушкина я нашел замечательные строчки:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...»

В игру, затеянную невольно, в силу объективных причин втягивалось, как мы видим, и «солнце русской поэзии», полностью сокрушая своим появлением историческую хронологию и границы эпох. Действительно, если в 1937 году столетие гибели

Александра Сергеевича в СССР отмечалось как всенародный праздник («Да здравствуют музы, да здравствует разум!.. Да здравствует солнце, да скроется тьма!»), то послевоенные эксперименты со временем и персоналиями уже прочно вошли в советский обиход, стали неотъемлемой частью идеологических игр, а потому не подлежали сомнению и не дай бог критике.

1939 год — столетие со дня рождения Пржевальского.

1948 год — 60 лет со дня его кончины.

Таким образом, великое путешествие продолжалось.

Андрей Битов писал: «Страсть к путешествиям во мне воспитала мать. Она была лягушка-путешественница и, при небольших зарплатах тех лет, целый год копила на лето. Лето я проводил в Крыму, потому что, как все ленинградцы, страдал постоянными ангинами, простудами, отитами и прочими болезнями, связанными с климатом этого города.

У меня есть воспоминание, которому я не верю. То есть сомнения нет, но — не верю. Кончилась война, мне было девять лет, мама повезла мои гланды в Ялту. Я в первый раз летел на самолете. Чему тут верить — что я лечу на самолете? что кончилась война? она была всегда, до нее ничего у меня не было <...> что мне было когда-то девять лет? что сегодня я могу вспоминать события тридцати-сорокалетней давности? Но еще менее вероятно следующее, не явившееся в те мои девять лет никаким фактом ни осмысления, ни переживания.

Калитку нам отворила старушка и пропустила нас в садик. Она подала маме руку, но, как я понял, не была маминой знакомой. Мама объяснила, что мы из Ленинграда и очень бы хотели осмотреть <...> Строгая старушка, с долей сомнения измерив меня, без слов пропустила нас и прикрыла калитку. В домике было похоже на нашу квартиру — ничего меня не поразило. К старенькому автору "Каштанки" я еще не испытывал ни любви, ни неприязни.

Потом мы пили на кухоньке в пристроечке чай, совсем как дома, даже буфет был в точности такой. Мама рассказала про Петербургскую гимназию и Ленинградскую консерваторию, старушка — про своего брата, но не Антон Палыча, а другого <...> Ничего я не помню из того, что рассказывала Мария Павловна. Помню черепашку, выползшую на дорожку сада, когда мы, благодарные, прощались.

Возила мать меня и в русскую границу, в Латвию, потому что слышала, что там можно подкормиться, потому что там хорошие продукты. И там, на Рижском взморье, я запомнил этот странный осадок дореволюционной жизни, которой уже не было в Ленинграде <...> В 49-м году я впервые увидел Кавказ. Мы с матерью и с бабушкой съездили в Кабарду, в Нальчик. Я влюбился в горы до беспамятства. Я даже ходил до какого-то уровня на Эльбрус. Дальше я бредил только горами. Я даже в сугробах видел снежные горы. ("Мне понравилось то, что я ношу черкесскую фамилию. Это многое объясняло в моей биографии. Когда я впервые увидел горы, это было... как первая любовь. Моя душа рвалась на Кавказ, все мне было там близко", — из более поздних размышлений автора. — М.Г.) Я сразу поступил в альпинистскую секцию. Занимался индивидуальным спортом, пробежками, бодибилдингом. Показывал хорошие результаты по скалолазанию. И стал самым молодым альпинистом СССР в 1953 году. И попал в альплагерь сразу, как получил паспорт. Это было в районе Эльбруса».

1953 год.

Горы нависают над Великой степью, по которой на лошади Пржевальского в загробное царство Эрлик Номун-хана едет товарищ Сталин.

И вот отсюда, с высоты Косая полка (5320 м), что расположена между Восточной и Западной вершинами Эльбруса, будущий автор наблюдает за происходящим внизу.

Предпочитает пользоваться подзорной трубой или морским биноклем.

В контексте происходящего о себе он (сочинитель) предпочтет говорить в третьем лице, смотреть на себя со стороны, неукоснительно соблюдая дистанцию между собой и литературным персонажем, сном и явью.

Читаем в романе «Пушкинский дом»: «Лёва-человек — очнулся. Лёва-литературный герой — погиб. Дальнейшее — есть реальное существование Лёвы и загробное — героя. Здесь другая логика, за гробом, вернее — никакой. Действие законов завершено неизбежностью исполнения последнего — смерти. Что там, дальше, никто не знает, и никто из большинства не поделится с нами, с живущим меньшинством».

В окуляр подзорной трубы автор видит Сталина, лежащего в гробу в Колонном зале Дома Союзов.

Также он имеет возможность наблюдать, как вся страна прощается со своим вождем.

Тут каждый прощается, как может.

Вот, например, семиклассник 181-й Ленинградской школы, что располагалась в Соляном переулке (там она находится до сих пор), оставил такие воспоминания о том дне: «Мне было 13, я учился в школе, и нас всех согнали в актовыв зал, велели стать на колени, и секретарь парторганизации — мужеподобная тетка с колодкой орденов на груди — заломив руки, крикнула нам со сцены: “Плачьте, дети, плачьте! Сталин умер!” — и сама первая запричитала в голос. Мы, делать нечего, зашмыгали носами, а потом мало-помалу и по-настоящему заревели. Зал плакал, президиум плакал, родители плакали, соседи плакали, из радио неслись *Marche funebre* Шопена и что-то из Бетховена. Вообще, кажется, в течение пяти дней по радио ничего, кроме траурной музыки, не передавали. Что до меня, то (тогда — к стыду, сейчас — к гордости) я не плакал, хотя стоял на коленях и шмыгал носом, как все <...> В “Правде” появилось сообщение о смерти Сталина и о том, что смерть эта — всенародное горе. И люди заплакали. Но они плакали, я думаю, не потому, что хотели угодить “Правде”, а потому, что со Сталиным была связана (или, лучше сказать, он связал себя с нею) целая эпоха. Пятилетки, конституция, победа на войне, послевоенное строительство, идея порядка — сколь бы кошмарным он ни был. Россия жила под Сталиным без малого 30 лет, почти в каждой комнате висел его портрет, он стал категорией сознания, частью быта, мы привыкли к его усам, к профилю, который считался “орлиным”, к полувоенному френчу (ни мир, ни война), к патриархальной трубке, — как привыкают к портрету предка или к электрической лампочке. Византийская идея, что вся власть — от Бога, в нашем антирелигиозном государстве трансформировалась в идею взаимосвязи власти и природы, в чувство ее неизбежности, как четырех времен года. Люди выросли, женились, разводились, рожали, старились, умирали, — и все время у них над головой висел портрет Сталина. Было от чего заплакать.

Вставал вопрос, как жить без Сталина. Ответа на него никто не знал».

Этого семиклассника зовут Иосиф Бродский.

А вот выпускник Андрей Битов о прощании с вождем повествует иначе, чего и следовало ожидать, ведь он наблюдает за Лёвушкой Одоевцевым с высоты Эльбруса при помощи оптического устройства, выглядывает из полусна, присматривается к своему герою (читай, к самому себе) во время разбора фотографических карточек на дедовом столе: «9.00, темень. Лёву выстроили в школьном актовом зале на траурную

линейку. Вот он стоит на линейке, “учащийся выпускного класса”, полный, розовый мальчик, басовитой наружности, мечта растлителя, но и растлители повывелись в то время <...> вот он стоит. Он не вполне уверен в себе — очень уж глубока должна быть скорбь <...> Трудно описать <...> Пахнет отмерзающей хвоей. Лёве кажется, что хоронят учителя литературы: хорошо учителю — он не пережил вождя, как бы он сейчас рыдал, обгоняя завуча. Лёва увлекается воспоминаниями об этих похоронах: так же пахло хвоей, так же не смотрел он направо, где стоял гроб <...> Лёва рискует посмотреть направо — и не видит гроба. Удивляется и спохватывается: старается нагнать скорбную тучу на свое розовое и доброе лицо. Как сластолюбец, хочет он испытать скорбь — не может <...> Вся страна застыла в пятиминутном простое <...> А Лёва думает, что первый урок — физика, контрольная, к которой он так был не готов, и не может не испытывать кошунственной радости, что урок этот тем временем идет, что контрольной, пожалуй, не будет <...> Очень смущается он, поймав себя на этой мелкой нехорошей мысли. Думает, что это он один такой душевный урод среди всех этих, умеющих так глубоко чувствовать, людей. Как бы они отвернулись от него, как бы вознегодовали, с каким презрением <...> если бы только мысли его стали все видны».

Его мысли видны лишь ему самому и автору, подглядывающему за ним из-за портрета вождя, окруженного траурными венками.

А еще за Лёвушкой наблюдает и Пржевальский с хитрой своей усмешкой, что вытекает из-под его азиатского прищура (ведь в Монгольской степи всегда дует сильный ветер) атласными лентами, на которых написано «Прощай, дорогой вождь и учитель».

Вскоре портрет великого путешественника (или великого кормчего), висевший над кроватью Андрея, пришлось снять. И вовсе не потому, что настали другие времена, и Сталина его же недавние истовые апологеты принялись столь же истово выдворять отовсюду, а потому, что этот этап жизни был пройден, и наступал новый, в котором перед сочинителем неизбежно вставала задача «успеть уловить и отразить образ времени, чтобы оно не пропало в будущем <...> слив время автора и героя в одно, настоящее время, добиться некой идентичности отчаяния» (А. Битов).

Отчаяние тут следует понимать не как бесповоротное разуверение в Божественном водительстве, потому что, по словам Отцов Церкви, «не Господь оставляет вас, а вы — Господа», но как смятение автора и героя, не могущих совместить реальное и вымышленное бытование, сон и явь, как *застревание* в *лимбе*, в промежутке, где время движется хаотически.

Сон про дрова и монастырь оказался не в руку.

Ни размолвки с близкими, ни встречи с навязчивым и неприятным человеком не произошло.

Разве что появление Голема то ли в одном из дворов-колодцев на Петроградской стороне, то ли на Васильевском острове. Вернее сказать, привиделся литературному персонажу «неопределенно-глиняных черт человек» — не дед, не отец, не ангел, но скорее некая изменчивая метафора, исполненная бесконечного символизма, персонаж, который, по утверждению каббалистов, может быть как жертвой, так и злодеем, как мужчиной, так и женщиной, а порой и тем и другим, как видимым, так и невидимым, давая тем самым многую и обильную пищу для воображения.

После завершения пилки дров монахи уходили в братский корпус готовиться ко всенощной, но Авель оставался на улице. Он ходил по двору, заложив руки за спину, поглядывал на монастырские ворота, будто кого-то ждал.

До окончания вечерней службы ворота благословлялось оставлять открытыми.

Битов закрывал глаза и продолжал наблюдать прерванное сновидение — ему являлась мертвая мать и просила его, нет, строго требовала:

— Андрей, ты должен обязательно сделать то, о чем я тебя сейчас попрошу. Тебе надо исповедаться и причаститься!

— Но, мама, ты же знаешь, что мне сложно исповедоваться у наших священников, это для меня всегда большая проблема, — звучало из уст просматривающего сон о самом себе Битова.

— Ты должен это сделать в монастыре у старца Авеля! — голос усопшей был непреклонен.

Андрей тут же и просыпался от этих звучащих как приговор слов. Пытался понять, о каком монастыре идет речь — он бывал в Успенском монастыре в Небылом, что на Яхrome, на Соловках, слышал об Иоанно-Богословском монастыре в Пошупово.

Но о каком именно ему говорила мать!?

Нет, не знал, не понимал!

А пока бился над этим неразрешимым вопросом, то забывал имя старца...

По окончании всенощной ворота в Иоанно-Богословском монастыре в Пошупово, что близ Рязани, закрывались.

* * *

После окончания школы в 1954 году Андрей решил поступать в Горный институт, «потому что в его названии было слово "горы"» (к этому времени старший брат Олег, окончивший школу с золотой медалью, уже был выпускником филфака ЛГУ им. А.А.Жданова).

Однако с первой попытки поступить не удалось. «Андрюша не прошел в институт по конкурсу», — сообщает Ольга Алексеевна.

Год вынужденной пересменки стал для Битова временем «набора высоты».

Причем не столько спортивной (его альпинистские успехи впечатляли), сколько интеллектуальной. Чтение постепенно вошло в его жизнь, а в один ряд с русской классикой встали Грэм Грин, Джек Лондон, Лоренс Стерн, Герман Мелвилл, исландский автор, лауреат Нобелевской премии по литературе Хадльдоур Лакснесс.

Студентом геологоразведочного факультета Ленинградского Горного института им. Г.В.Плеханова Андрей стал в 1955 году.

Читаем у Битова: «Поступая в Горный, я сдал сочинение под названием “Мировое значение советской литературы”. Я знал набор имен, фактов и блоками этими набросал без ошибок текст».

Это, вероятно, был первый опыт написания удачного текста, который оценили читатели (приемная комиссия), но перечитывать который у автора не возникало впоследствии никакого желания. Однако мысль взяться за перо не оставила и до поры тлела, спорадически возникала и пропадала, но не уходила навсегда.

Андрей Битов вспоминал об этом времени: «В Горном институте я из любопытства приобрел сборник литобъединения его студентов за 55-й год. И прочитал там стихи Глеба Горбовского. Я был потрясен. Я думал, что вся литература кончилась в семнадцатом году. Я ничего не знал даже из советской литературы. Когда я увидел, что она может твориться на глазах, я стал пробовать сам <...> Претерпел то, что претерпел; написал то, что написал».

Университеты Битова

Человек! Это звучит горько.

Андрей Битов

Ты — танцуешь! А юбка летает...
Голова улеглась на погон.
И какая-то грусть нарастает
с четырёх неизвестных сторон...

Ударяет в литавры мужчина.
Дует женщина страшно в трубу.
Ты ещё у меня молодчина,
что не плачешь, кусая губу.

Офицерик твой,мышь полевая,
спинку серую выгнул дугой.
Ничего-то он, глупый, не знает,
даже то, что он вовсе — другой...

Может быть, это, а может быть, другое стихотворение Глеба Горбовского, опубликованное в поэтическом сборнике ЛИТО (литературного объединения. — М.Г.) Горного института, и прочитал первокурсник Андрей Битов.

Владимир Британишский, поэт, прозаик, переводчик, а в 1951—1956 годах студент Горного института, вспоминал: «Профком позволил нам “издать”, то есть напечатать на ротаторе и переплести, два сборника стихов нашего лито. Первый — в конце 55-го тиражом 300 экз., второй — в конце 56-го начале 57-го тиражом 500 экз. Первый сборник мы разослали по вузам страны (и не только геологическим), и он дошел до адресатов, я встречал много позже людей, узнавших наши имена именно по этому сборнику».

Можно утверждать, что неофициальная литературная жизнь Ленинграда второй трети 50-х годов XX века прошла под знаком студенческого поэтического движения, когда, по словам В.Британишского, «литобъединения в вузах росли как грибы <...> Главным образом, в технических: в Политехническом, Технологическом, Электротехническом <...> Дело в том, что в 1951—1953-м, в последние годы сталинского режима, в технических вузах идеологическое давление было чуть меньше, и туда шли, сознательно или инстинктивно, те, кто искал хотя бы минимума нерабства и недогматизма, в том числе — парадокс! — люди гуманитарного склада ума».

Ленинградский писатель, один из основателей литературной группы «Горожане» Владимир Губин вспоминал: «В эти годы множились литературные кружки и литературные объединения. Чудом можно считать обстоятельства, что в обществе вдруг отворилась возможность наговориться между собой по душам и что город после серийных репрессий сталинской эпохи нашел у себя резервы блистательных воспитателей и наставников литературной молодежи».

Руководителем ЛИТО Горного института был поэт, переводчик, педагог Глеб Сергеевич Семёнов (Глеб Борисович Деген), к 50-м годам уже имевший опыт ведения литературной студии в Ленинградском Дворце Пионеров в 1946—1948 годах.

Возможность издать сборник поэтов-горняков, членов институтского ЛИТО, возникла во многом и благодаря поддержке профессорско-преподавательского состава ЛГИ: профессоров М.М.Тетяева, М.Н.Годлевского, А.М.Журавского, П.А.Татаринова,

Е.А.Салье, некоторые из них в эти годы были реабилитированы и вернулись в Ленинград из мест заключения.

Читаем в книге выпускницы Горного института, поэта и мемуариста Елены Андреевны Кумпан «Ближний доступ к легенде»: «Первый сборник, включавший стихи горняков старшего поколения, которые или вообще не успели попасть в Глебовское ЛИТО, или были в нем, но давно разъехались работать по необъятным просторам нашей страны, прошел тихо и спокойно, принят был благосклонно (им-то и восхитился первокурсник Битов. — *М.Г.*). Окрыленные этой удачей, мы собрали второй сборник, который включал уже стихи ныне действующего ЛИТО (в который уже были включены стихи второкурсника Битова. — *М.Г.*). Началась длинная тягомотина прохождения нового, второго сборника через цензуру».

Однако желание начинающих поэтов, по словам Е.Кумпан, «приблизиться вплотную к жизни и вскрыть или ее неправду и ужас, или ее поэтичность и прелесть» повлекло за собой драматические и, как многим ошибочно казалось, непредсказуемые последствия. Увы, все было предсказуемо изначально, а на благое и безобидное желание горняков последовала жесткая реакция ленинградских идеологов. Зыбкая грань между «оттепелью» и «заморозками» оказалась фикцией, система мгновенно перешла в наступление.

Из доклада Первого секретаря Ленинградского горкома КПСС И.В.Спиридонова на пленуме горкома КПСС: «...Среди некоторой части вузовской молодежи стали проявляться нездоровые настроения. Эти настроения особенно заметны у некоторых студентов, участвующих в работе различного рода литературных объединений, кружков художественной самодеятельности, в выпуске газет, альманахов. Например, группа студентов II курса Института инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н.Образцова выпустила рукописный журнал “Свежие голоса”. Журнал выступил против социалистического реализма, за так называемую “свободу творчества”».

Масло в огонь подлило стихотворение Лидии Гладкой (члена ЛИТО Горного института, комсорга курса), посвященное венгерским событиям 1956 года, с которым она выступила на институтском комсомольском собрании (вскоре текст разошелся по Ленинграду в машинописном варианте и прозвучал на «голосах»):

Там красною кровью
залит асфальт,
Там русское «Стой!»
как немецкое «Хальт!»
«Каховку» поют
на чужом языке,
И наш умирает
на нашем штыке...
.....
Устало Аврора скрипит
на причале,
мертвящие зыби её укачали.

Как ни странно, но сборник выпустить все-таки удалось. Уже запущенный издательский маховик остановить было не так-то просто. Более того, несколько экземпляров были переправлены в Москву на открывшийся летом 1957 года VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Е.Кумпан вспоминала: «Там сборник и был зацапан нашими бдительными службами. Что произошло дальше — не трудно представить тем, кто помнит то время. Тем, что сборник был зацапан на фестивале, и объясняется, что гром грянул именно

из Москвы. И даже не к нам в институт сперва донесся этот гром, а обрушился на ленинградские идеологические власти, а уж оттуда ударил в кабинет нашего ректора. Ректор был маркшейдером, как поговаривали — службистом, очень далеким даже от геологии, а уж тем более — от геологической поэзии. Возможно, он вообще с трудом припомнил, что у него в институте работает какое-то ЛИТО и водятся поэты, все это было для него большой неожиданностью и неприятностью, на него посыпались “выговоры с предупреждением” и прочее».

От развязки этой истории дохнуло средневековьем и 33-м годом в Германии одновременно.

Оставшийся тираж второго сборника стихов студентов-горняков был сожжен на заднем дворе института в 1957 году!

Елена Кумпан писала: «“Аутодафе”, учиненное над нашим сборником <...> мы восприняли очень трагически, и можно сказать, что пепел нашего сожженного сборника до сих пор стучит в наших сердцах».

На произошедшее спустя годы откликнулся и Александр Городницкий, геофизик, поэт, один из создателей ЛИТО Горного института:

Наш студенческий сборник сожгли в институтском дворе,
В допотопной котельной, согласно решению парткома.
Стал наш блин стихотворный золы неоформленным комом
В год венгерских событий, на хмурой осенней заре.
Возле топкого края василеостровской земли,
Где готовились вместе в геологи мы и в поэты,
У гранитных причалов поскрипывали корабли,
И шуршала Нева — неопрятная мутная Лета.
Понимали не сразу мы, кто нам друзья и враги,
Но всё явственней слышался птиц прилетающих гомон,
И редели потёмки, и нам говорили: «Не ЛГИ»
Три латунные буквы, приклёпанные к погонам.
Ветер Балтики свежей нам рифмы нашёптывал, груб.
Нас манили руда и холодный арктический пояс.
Не с того ли и в шифрах учебных студенческих групп
Содержалось тогда это слово щемящее «поиск»?
Воронихинских портиков временный экипаж,
Мы держались друг друга, но каждый не знал себе равных.
Не учили нас стилю, и стиль был единственный наш:
«Ничего кроме правды, клянусь, — ничего кроме правды!»
Не забыть, как, сбегав от занятий унылых и жён,
У подножия сфинкса, над невскою чёрною льдиной,
Пили водку из яблока, вырезанного ножом,
И напиток нехитрый занюхивали сердцевинкой.
Что ещё я припомню об этой далекой поре,
Где портреты вождей и дотла разорённые церкви?
Наши ранние строки сожгли в институтском дворе
И развеяли пепел — я выше не знаю оценки.
И когда вспоминаю о времени первых потерь,
Где сознание наше себя обретало и крепло,
Не костры экспедиций стучатся мне в сердце теперь,
А прилипчивый запах холодного этого пепла.

Примечательно, что имя Битова не фигурирует ни в каких воспоминаниях о том злосчастном событии (околодиссидентских в том числе), хотя он был автором именно того — второго — сожженного сборника.

У Владимира Британишского находим: «Но вот Андрей Битов в интервью о тех годах выделяет не второй сборник, а первый, появление которого, как он говорит,

было событием в его биографии. Это притом, что стихи самого Битова появились впервые не в первом, а во втором, сожженном, сборнике».

Деталь интересная и требующая, как думается, комментария.

По свидетельству Битова, его появление в литературном объединении ЛГИ носило отчасти детективный, отчасти фарсовый характер.

Читаем: «И я увидел этих пишущих людей, а потом меня все-таки спросил руководитель семинара, что я пишу, и я понял, что мне будет дорога закрыта, если я не отвечу, и поскольку там все читали свои стихи, я прочитал стихи брата. Я некоторые его стихи помнил наизусть. Брат был на пять лет меня старше, учился на филфаке. Потом уже пришлось самому попотеть. И я написал поэму, наверное, ужасную, в духе раннего Маяковского <...> И потом два мои жалких стишка включили-таки в следующий сборник».

Амбиции начинающего стихотворца были удовлетворены, другое дело, что примеривать на себя гордое имя поэта девятнадцатилетний студент-горняк не решался, как и перечитывать свои вирши. Уничтожение же сборника с очевидными свидетельствами собственной творческой несостоятельности пришлось как нельзя кстати.

Битов вспоминал: «Наше литобъединение закрыли, а тираж сожгли. И будь я хоть сколько-нибудь либералом или диссидентом, я бы мог сказать, что моя первая публикация была сожжена. Но я не либерал и не диссидент. У меня есть либеральные взгляды. Это одно. Но когда начинают кучковаться, мне это не нравится. Я не хочу относиться ни к какой группе <...> Я категорически получаюсь антиобщественный элемент. Я не человек стаи. Я вообще думаю, что человек не совсем стайное животное. Вот когда он из нее выходит, то получается маргинал. Художник или преступник. Мне повезло выбрать первое, но ведь могло случиться и второе».

Следует оговориться: учеба в ЛГИ Битову давалась нелегко.

В середине 50-х это был один из самых престижных ленинградских вузов. Геологи-разведчики и нефтяники, газовики и горные строители, энергетики и машиностроители были востребованы страной, которая переживала период экстремального экономического развития. После гигантских человеческих и материальных потерь в годы Великой Отечественной войны экономика СССР работала на пределе возможностей, сохраняя мобилизационный и во многом военизированный характер. Традиционно ставка была сделана на развитие тяжёлых отраслей промышленности: топливно-энергетического комплекса, ме таллургии, тяжелого машиностроения, а разведка и добыча полезных ископаемых являлась приоритетной отраслью в этом направлении.

Абитуриентов в Горный институт влекло не только горячее желание участвовать в великом деле восстановления страны, но и «оттепельная» жажда странствий, возможность побывать на Кавказе и на Белом море, в степях Казахстана и в Сибири, на Камчатке и на Урале. Пафос гигантского пространства, доступного лишь свободному советскому человеку, манил, наполнял гордостью и милостью.

Однако если вспомнить слова Битова: «Я не при советской власти жил, а я в семье жил!» — то можно предположить, что коллективная комсомольская бодрость и *активная жизненная позиция* (существовало такое в годы оны устойчивое словосочетание) сокурсников были не вполне близки Андрею. Также выяснилось, что любовь к горам (к Эльбрусу, например) и горная промышленность — это совсем не одно и то же.

сразу их открывать, а сначала осмотрел сам стол, его поверхность. Тут было много достопримечательного, и во всех этих ножичках, стаканчиках, календариках он узнавал старых детских знакомых (мы, конечно, понимаем, что речь идет о кабинете Марии Хвиливицкой. — *М.Г.*) <...> В ящиках по-прежнему хранилась память, и ее в них прибавилось за эти годы. Он узнавал и эту стопку фотографий, и ту, и связки писем те же. Жизнь этих ящиков остановилась слишком давно. Это было грустно видеть».

А что было потом?

Потом Монахов заходил в комнату Трефилова (в этом образе угадывается дядя Диккенс и одновременно Азарий Иванов, что обитал в своей миниатюрной *квартирке*) и наконец завершал обход сего пантеона семейных реликвий в комнате матери.

В результате подобное самочинное паломничество заканчивалось обретением пачки облигаций трехпроцентного (золотого) займа, «сердце его (Алексея. — *М.Г.*) колотилось» при этом, какое-то время он мешкал, а потом забирал ее (пачку) себе.

История с *кольцом* повторялась снова и снова, это был замкнутый круг, из которого нельзя было вырваться....

Да, герой, а вместе с ним и автор, находил себя во власти этих предметов, был зависим от них, потому и чувствовал беспомощность, злился на себя, ведь падок был на искушения, искал при этом своим бесчинствам оправдания и находил их.

Рассуждал словами Митишатъева из «Пушкинского дома»: «Вы — высшая форма, вы — самые приспособленные! Вы всегда выживете! Вы не всё свое отвергнете, всё свое примете без благодарности, как должное! Не вы сознаете себя выше — *мы* знаем разницу! — в этом наша сила. Но достичь ничего нельзя — в этом наша обреченность. Бунт будет подавлен. В этом его смысл. И вы осуществите этот смысл, не подозревая о нем».

То есть: «Мы — высшая форма! Мы — самые приспособленные! Мы всегда выживем!»

Убеждал себя в том, что семья ему обязана за причиненные страдания, за несвободу, за уготованную ему роль «подопытного в огромном эксперименте», за удушающий пресс *устоев*, а кольцо, деньги или облигации — это мелочь, ничтожный выкуп, смешные средства спасения, чтобы сделать хотя бы одного человека из этого ДОМА счастливым.

Но тут какой-то Раскольников, право, получается: «Он решил отнести колечко; разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение, взял у нее два “билетика” и по дороге зашел в один плохонький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклеивалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень, очень занимала его».

А далее по тексту: «За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна».

Вот такая мысль!

Неотступная, вездесущая!

Она всему виной и бедой, она преследует, она всегда внутри тебя, и с ней ничего нельзя поделать.

Читаем в «Улетающем Монахове»: «Он думал о том, что, конечно, никогда они с мамой не станут чужими, многое образуется и вернется, но... Ему стало очень и очень грустно, но это не было неприятно. Он действительно внезапно почувствовал,

что детство ушло. И еще он думал о том, как странно мало вмещает в себя человек, впрочем, не так общо он думал, а как мало вмещает в себя *он*, и винил себя за это. Вот приходит одно — и уже не хватает на другое. Жестокость такого открытия тем не менее его не поразила. Словно ощутил он в этом неизбежный порядок вещей. И Алексей стал думать о другом <...> в последнее время ему трудно бывало возвращаться домой, вернее, труден был самый первый момент: открыть дверь, выдержать первые взгляды и приветствия, неизвестно, начнут ли что-нибудь выпрашивать и не придется ли врать».

Раздвоенность мальчика была его постоянной болью.

Быть свободным, читай, взрослым, с одной стороны, и зависеть от семьи, с другой.

Мечтать о путешествиях, о горах и умирать от рутины советского вуза (понимать, почему Пржевальский похож на Сталина, а не наоборот).

Сочинять стихи и стесняться их.

Любить женщину и не доверять ей.

И как следствие: изводить себя и ее подозрениями, винить во всем себя и в то же время ее, а еще бесконечно, до умопомрачения ждать редкие мгновения близости, вспышки счастья, этого самого счастья, увы, не приносящие.

Наконец, ревновать.

И снова «Улетающий Монахов»: «Ревность оказалась особенно ни при чем и даже противоположная любви. Вот мне кажется, что я люблю... Вот я хожу по пятам, преследую, обожаю, ненавижу, то жар, то холод, визнаю, требую, зову, мечтаю, что еще? Ревную, задаю вопросы, предъявляю права... И если я уж так теряю лицо, то чего же жду, если разобраться? Только лжи. Потому что ложь — это именно то, чего хочу я в ту минуту, когда теряю жизнь и лицо. Но как бы я не ревновал, всегда есть такой последний вопрос, которого я не задам никогда. Люди исподволь всегда боятся крушения веры и в естестве своем никогда не идут на это крушение».

Вот этот вопрос: «Может быть, я просто не умею любить?»

Он часто звучит в головах битовских мальчиков — Лёвы Одоевцева и Лёши Монахова.

Ответ на этот вопрос, пожалуй, таится в препарировании их сердечных переживаний и становится описанием безысходного безумия, в какой-то степени так называемого «синдрома Адели», когда любовная одержимость превращается в клиническое состояние, патологическая ревность становится причиной психосоматических расстройств, а предмет обожания — объектом болезненного и безнадежного поклонения.

Вполне вероятно, что как раз поэтому в апокрифической статье Одоевцева-Битова «Три пророка» в ряд с «Пророками» Пушкина и Лермонтова становится «Безумие» Тютчева:

Там, где с землёю обгорелой
Слился, как дым, небесный свод, —
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живёт.

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.

То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!

Тема сердечной иссушенности, очерствелости становится аллегорией несчастной, вывернутой наизнанку жизни, когда привычка, она же нежелание что-либо менять, входит в противоречие с юношеским максимализмом, с латентным, подспудным бунтом, тем самым, о который всезнающий Митишатьев говорит *бунт будет подавлен*. Стало быть, до этого подавления надо успеть вырваться, почувствовать себя свободным и разочароваться в этой свободе, которой, по большому счету, нет.

Битов пишет: «Тут уже было не воспоминание-узнавание, а нечто обратное и противоположное: садизм разочарования — изнанка, негатив прежних чувств <...> и тем страннее, где-то вдали, мутно, показалось ему подобие <...> потому что, обратным ходом, прежние-то чувства были спечатком с того же негатива». Однако не слишком ли сложный алгоритм поведения задает автор своим героям?

Может быть, он все усложняет при объективной попытке заглянуть в себя как можно глубже?

Может быть, все гораздо проще?

В начале 80-х годов ленинградский музыкант и поэт Майк Науменко, изрядно понизив градус экзистенциального кризиса молодых ленинградских интеллектуалов, напишет свои знаменитые «Хождения», и многое нам станет понятным, относительно битовских мальчиков в том числе:

Мальчики и девочки ходят по улицам, надеясь неизвестно на что.
Мальчики и девочки сидят на скамейках, в парадных и в кино.
Их личная жизнь зависит от жилищно-бытовых проблем,
И если бы не было этих проблем, то каждый завёл бы себе гарем.
Дома — мама и папа, в гостиницах — мест нет.
В общаге на вахте стоит вахтёр, непреклонный, что твой Магомет.
Целоваться в парадных — это так неудобно, особенно зимой.
Все члены стынут, люди ходят мимо, отсутствует душевный покой.
Летом можно оказаться друг с другом в лесу, но до леса час езды.
А если местные гопнички поймают тебя, то можно получить по ушам.
И так мальчики и девочки ходят по улицам, надеясь неизвестно на что.
Мальчики и девочки сидят на скамейках, в парадных и в кино.
Мальчики и девочки ходят по улицам, им негде друг друга любить,
И если нам с тобой негде любить друг друга, давай тогда хотя бы ходить, давай!

«Побродили, выпили свою бутылку на скамейке у залива, под большой сосной <...> подышали заливом и потихоньку двинулись к электричке. В вагоне их совсем разморило, и они проспали до самого Ленинграда. И расстались, Алексей даже провожать не пошел — время позднее, а завтра рано вставать» («Улетающий Монахов»).

* * *

Круговерть страстей человеческих, а также атмосфера поэтического неистовства во второй половине 50-х годов в студенческой среде Ленинграда не могли не накрыть Андрея.

По воспоминаниям журналиста, театрального и кинокритика Натальи Шарымовой, местом частых литературных посиделок творческой и околотворческой молодежи в то время были Публичка на Фонтанке, ресторан «Восточный» и «Крыша». Также большими компаниями — Виктор Голявкин и Сергей Вольф, Сергей Кулле и Владимир Уфлянд, Михаил Красильников и Константин Азадовский, Владимир Британишский и Глеб Горбовский любили выезжать за город — в Солнечное или в Комарово, в Пушкин или в Павловск. Битов был завсегдатаем этих встреч и поездок.

Но грянул 1957 год.

Все произошло быстро и немилосердно — Андрея отчислили из института за неуспеваемость и призвали в армию. Военную службу он проходил в строительном батальоне в поселке Чикшино (Печорский район Коми АССР, ныне — муниципальный район Печора Республики Коми).

Битов пишет: «Я был выгнан из Горного института, я прошел стройбат. Стройбат тогда был освобожденной зоной. Он находился на территории бывших лагерей. Я думаю, он и придуман-то был для того, чтобы кем-то эти пустые лагеря заполнить».

По уточненной информации, выяснилось, что в поселке Чикшино в 40—50-х годах XX века базировались леспромкомбинат № 795, строительный батальон ВС СССР, а также учреждение ШС-34/17 (колония). В 1967 году в поселке также была открыта колония усиленного режима ПЛ-350/1, где отбывали наказание так называемые первоходы, осужденные за тяжкие преступления, связанные с грабежом, разбоем, наркотиками, убийствами, насилием (срока от трех с половиной до пятнадцати лет). В 2002 году колония была расформирована.

Видимо, сама обстановка места несения службы (в стройбат в СССР могли призывать имевших судимость) произвела на солдата Битова столь гнетущее впечатление, что ему показалось, будто бы он служил на *зоне*, хотя формально этого, конечно же, не было.

Через пять лет судьбу Андрея повторит еще один молодой ленинградец, начинающий литератор, отчисленный с филологического факультета ЛГУ за неуспеваемость и призванный на службу в систему охраны исправительно-трудовых лагерей (на сей раз действительно на *зону*), Серёжа Довлатов.

Три года, проведенных в республике Коми и Ленинградской области, станут в его жизни вехой, значимым эпизодом, который во многом сформирует отношение Довлатова к литературному творчеству как к поступку, как к способности вышагнуть из повседневности, очутившись наедине с собой, со своими фантазиями, мифами и страхами.

Читаем в повести Сергея Донатовича «Зона. Записки надзирателя»: «Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко <...> Нужно было долго ждать попутного лесовоза. Затем трястись на ухабах, сидя в железной кабине. Затем два часа шагать по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто вас ожидает на горизонте приятный сюрприз. Чтобы наконец оказаться перед лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную рожу дневального <...>

Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки.

Это были своеобразные люди.

Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами <...>

В ста метрах от изолятора темнело здание казармы. Над его чердачным окном висел бледно-розовый застиранный флаг. За казармой на питомнике глухо лаяли овчарки. Овчарок дрессировали Воликов и Пахапиль. Месяцами они учили собак ненавидеть людей в полосатых бушлатах. Однако голодные псы рычали и на солдат в зеленых телогрейках. И на сверхсрочников в офицерских шинелях. И на самих офицеров <...> Ходить мимо отгороженных проволочными сетками вольеров — было небезопасно.

В нескольких километрах от шестого лагпункта был расположен поселок Чир. В нем жили сосланные тунеядцы, главным образом — проститутки и фарцовщики. На высылке они продолжали бездельничать. Многие из них были уверены, что являются политическими заключенными».

Для мальчика из интеллигентной ленинградской семьи эти три года стали, несомненно, испытанием, но тот факт, что к *зоне* Довлатов будет впоследствии возвращаться мысленно постоянно, говорит о том, что прошел он его с достоинством.

В 1965 году он демобилизовался и вернулся в родной город, который встретил его в свойственной для себя манере — прохладно.

За три года, которые Сергей отдал ИТЛ МВД СССР, здесь многое изменилось.

В частности, сформировалась и заявила о себе целая плеяда молодых талантливых литераторов: Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Виктор Соснора, Борис Вахтин, Рид Грачёв, Валерий Попов и Андрей Битов. Войти в их ряды на правах человека, прошедшего советский лагерный ад и пишущего об этом, не удалось. Бродский заметил тогда, что Довлатов, вернувшийся из армии, напоминал Льва Толстого, пережившего Севастополь, «со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде».

Очень точно подмечено — ошеломленность, — Серёжа в принципе не мог совместить жизнь *там* и жизнь здесь. Опять же он был поражен тем, что, встретившись со старыми друзьями, не смог найти с ними общего языка. «Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели, а я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы.

Я побывал на студенческих вечеринках. Рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам: Пруст, Берроуз, Набоков...», — читаем в книге Довлатова «Ремесло».

При том, что все они были практически ровесниками, Сергей чувствовал себя младшим братом, который ждет, когда старший брат обратит на него внимание и даст ему слово.

Андрей Битов тоже был младшим братом...

Вместо трех лет (с 1945 до 1967 года — срок составлял 3 года, во флоте — 4 года) в стройбате Битов отслужил год и был комиссован по состоянию здоровья (не без участия семьи, скорее всего). Показательно, что никаких воспоминаний-отголосков о том годе, проведенном на службе в *мабуте* (на армейском жаргоне — войска африканского диктатора Мабуты, где трудятся рабы, стройбат СССР), в творчестве Битова мы не находим.

И действительно, что тут вспоминать:

На фоне свершений России, на фоне крикливых побед,
Мабута, мабута, мабута, ты отблеск ГУЛАГовских лет.
Мы строим ракетные шахты, возводим объекты в лесах.
Устав заменили мы матом, таким, что застрянет в ушах.
А ну, сторонись, десантура, пока не прервали полёт!
Хмельная от пьяной свободы, мабута на дембель идёт!

Хотя Андрей гордился службой в Чикшино, вернее, полученным здесь уникальным жизненным опытом.

Особенно этот опыт пригодился, когда, вернувшись в Ленинград в 1958 году и восстановившись в Горном, он начал ездить в студенческие экспедиции и проходить практику по своему профессиональному профилю — геолог-разведчик: «Я бурил в Забайкалье <...> мы жили в землянке».

Вспоминая о том периоде своей жизни, Битов говорил: «Я пошел в Горный институт ради мамы <...> Стройбат, в который я попал, когда бросил институт, — вот это и была настоящая жизнь».

Оба этих утверждения, как думается, требуют пояснения:

1. *Ради мамы*. Условием своего замужества Ольга Алексеевна называла получение Георгием Битовым диплома, потому что для девушки из петербургской профессорской семьи это было раз и навсегда заведенным порядком вещей: отсутствие законченного высшего образования было немыслимо в принципе.

Диплом был получен, и свадьба состоялась в 1929 году.

Другое дело, что Гора Битов сетовал на то, что профессия инженера-расчетчика (по диплому) во многом отодвинула его от занятия настоящей архитектурой, настоящим творчеством, о чем он мечтал всю жизнь.

Поступление Андрея в Горный институт происходило на волне его искренней и во многом романтической горной *болезни*. Мама была уверена в том, что дает сыну настоящую мужскую профессию, которая позволит безбедно существовать при любых режимах и любых житейских обстоятельствах. Однако Ольга Алексеевна не могла не понимать, что ЛГИ им. Г.В.Плеханова — технический вуз, а профессии горного инженера, геолога-разведчика, экономиста — технические профессии.

То обстоятельство, что Андрей — гуманитарий, было сразу выведено за скобки.

Бесславное незавершение первого курса и отчисление за неуспеваемость, надо думать, открыли Битову глаза на место его обучения, но пути назад уже не было. А восстановление в ЛГИ и завершение его в 1962 году явились той жертвой, которую было необходимо принести семейным устоям.

Необычайно точно и пронзительно описывает автор в «Улетающем Монахове» свое настроение, тягостный и невыносимый морок несвободы, долженствования *раз и навсегда заведенного порядка вещей*: «Начинался кошмар. Страшнее быть уже не могло. Мама говорила. Неверное, расплывающееся ощущение поселялось в Алексее. Ему казалось: это не с ним и не о нем происходит — не происходит, снится — не снится.

Все расплзлось перед ним, как сырая промокашка <...> И этот неопределенный разрыв, ворсинки его — от этого мешался рассудок, мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора, рот ее все говорил что-то, а потом и не говорил, а только все шевелился, словно у мамы выключили звук, но не выключили изображение. Лицо ее тогда удалялось куда-то в бесконечность, становилось крохотным, неразличимым, и оттуда, издалека, что-то говорила ему мама. Отец сидел неслышно, как мышь. Какой-то другой, тоже зеленый, человек плавал в линзе, как в аквариуме. Алексей отклонил голову, линза искривилась, а человек сократился, исказился и заплывал там, как лягушка. Пузырьки в линзе увеличивались и играли зелеными краями. Мамино лицо снова приблизилось; это можно было уже проделявать, как фокус, — и удалилось. В аквариуме плавали уродливые человеко-рыбы. Разевали рты, как им и положено, молча. И все в этой комнате, едва освещенной зеленоватым водяным светом <...> Алексею показалось, что все они — странное такое семейство — погрузились в какую-то влагу и там шевелятся и существуют, на дне комнаты-банки. В аквариуме линзы заплывали водоросли, все побежало, побежало. Вдруг приостановилось: какое-то существо медленно опустилось на дно и там исчезло. И тотчас другое, точно такое же, отделилось от верхнего края и, разева рот и делая плавательные движения руками, тихо опустилось на дно — там скрылось. И опять точно такое же, сначала ноги и позже голова, выплыло, погружаясь в центр аквариума. Алексей изменял положение головы: существа начинали кривляться, уродовались, ломались <...> Что-то вспыхнуло, и побежала рябь. Мамино лицо возвратилось в исходное положение, звук у нее вдруг включился. “Понял? — услышал Алексей. — Сейчас пойдешь и сделаешь, как я сказала. Понял?” — “Да”, — хотел выговорить он и, как в страшном сне, почему-то не мог: раскрыл только рот, тот с трудом разлепился, сухой, и что-то в нем скрипнуло».

В повести эта сцена описывает разоблачение Алексея, укравшего облигации. Однако само по себе ощущение беспомощной неизбывности перед лицом МАМЫ, СЕМЬИ извлечено Битовым из собственной обреченности жертве, которую он был вынужден приносить всю свою жизнь (интересно заметить, что взаимоотношения Сергея Довлатова и его мамы Норы Сергеевны имели такую же мотивацию).

2. *Настоящая жизнь*. Жизнь в периметре (будь то стройбат или лагерь) никогда не будет *настоящей*. Она будет выдуманной озлобленным, униженным, равнодушным человеком («Человек — грешное животное. Животное — безгрешный человек. Поэтому он не развивается, остановился, замер в своем совершенстве»), загнанным силой обстоятельств в безвыходное положение, из которого есть один выход — выжить любой ценой.

Об этой цене исчерпывающе сказано у Варлама Шаламова: «Убежден, что лагерь — отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя — это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать. На всех — заключенных и вольнонаемных — лагерь действует растлевающе.

Я понял, что можно жить злобой.

Понял, что можно жить равнодушием.

Понял, почему человек живет не надеждами — надежд никаких не бывает, не волей — какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения — тем же началом, что и дерево, камень, животное.

Понял, что воры — не люди.

Понял, что человек стал человеком потому, что он физически крепче, цепче любого животного — никакая лошадь не выдерживает работы на Крайнем Севере.

Я понял, что побои как аргумент почти неотразимы.

Понял, какая страшная вещь — самолюбие мальчика, юноши: лучше украсть, чем попросить. Похвальба и это чувство бросают мальчиков на дно.

Я понял, что писатель должен быть иностранцем — в вопросах, которые он описывает, а если он будет хорошо знать материал — он будет писать так, что его никто не поймет».

Все это Битов если не знал, то понимал, чувствовал интуитивно. Скорее всего, поэтому в его творчестве и нет лагерной темы, вернее сказать, есть упоминание о ней, но нет погружения в нее.

С другой стороны, паблисити начинавшего в конце 50-х — начале 60-х молодого литератора требовало ярких вех и брутальных мужских штрихов, а стройбат в Коми АССР давал их в избытке. Однако довольно быстро Андрей понял, что это не его тема, что сфера его творческих поисков, художественных опытов и литературных переживаний лежит совсем в иной плоскости, что его *настоящая жизнь* заключается совершенно в другом, и сказать о том, что «человек — это звучит горько», можно совсем иначе.

Может быть, там, в Чикшино, автор впервые ощутил себя *иностранцем*, о котором говорил Шаламов.

Иностранец — иным образом странствующий во времени, которое меж тем ценит он не слишком высоко. Читаем у Битова: «Мы живем в пошлейшее время, когда слава стала измеряться только славой, деньги только деньгами, власть только властью, то есть и то, и другое, и третье стали товаром, предметом потребления и торга. Это не вопрос, кому все это принадлежит, а потеря качества».

Александр Мелихов

Культовое трио, или Чего нам не хватало

Знаменитых писателей много, но крайне мало писателей культовых, которых читают с увлечением даже те, кто серьезных книг или вообще не читает или просто не считает чтение сколько-нибудь важным занятием. Такие читатели читают культовых писателей не ради суетных эстетических наслаждений, мало им доступных, а ради того, чтобы извлечь какие-то важные уроки для практической жизни, которая лишь одна их всерьез интересует. Из шестидесятих годов мне припоминаются три культовых писателя — Ремарк, Хемингуэй и Камю, которых я перечисляю по нарастанию их сложности и, как следствие, по убыванию популярности.

По крайней мере, в пору моей молодости.

В этом порядке и попробую наметить те качества этих прозаиков, которые вознесли их в ранг культовых.

Мир плохой, а мы хорошие

Заслуженно популярный в шестидесятих роман Симонова «Живые и мёртвые» начинается с того, что на жарком вокзальном пятачке в Симферополе Синцов и его жена Маша узнают о начале войны. И как они на это реагируют?

«Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная, а Синцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд». Но и Маша, снедаемая страхом за оставшегося в Гродно ребенка, тоже стремится на войну. Никто их не агитирует, не запугивает — этот порыв их самое естественное движение. Потом начинаются очень хорошо изображенные военные мытарства Синцова, в которых, однако, почти не упоминается телесная сторона человеческого существования. Живые в романе почти не едят, разве что изредка погрызут что-то аскетическое, они не отправляют физиологические надобности, они не занимаются сексом, может, где-то за кадром, а мертвые никогда не изображаются так, чтобы это вызвало ужас и отвращение.

Зато главных героев, несмотря на все кошмары отступления, не покидает вера в победу: «Все, что видели его глаза, казалось, говорило: нет, не переломим! Но душа его не могла смириться с этим, она верила в другое! И хотя он вправе был верить своим глазам, вера его души была сильнее всех очевидностей. Он не пережил бы тех дней без этой веры, с которой незаметно для себя, как и миллионы других военных и невоенных людей, втянулся в четырехлетнюю войну».

Другая книга из советского военного канона — «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова — начинается буднично: «Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее?»

Далее отступление изображается в стилистике крепкого очерка, в котором едой увлекается только противный помощник по тылу. Он предлагает даже водки, а когда положительные герои отказываются, ничуть не смущается: «Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные». Он «отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба.

— Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка».

Его гурманство вызывает не зависть, а желание дать ему по морде.

И снова у живых нет физиологических отпавлений (секса тоже нет), а у мертвых нет отталкивающих травм.

В романтической «Звезде» Эммануила Казакевича в центре повествования юный Травкин — прекрасный рыцарь без страха и упрека, и, за исключением единственного труса, он всех видит почти такими же паладинами победы.

«Особенно нравился Травкину всегда вежливый и опрятный при всех обстоятельствах артиллерист с его выдающимися математическими способностями. Его батарея стреляла исключительно метко и наводила страх на немцев. Гуревич целыми днями слонялся по траншее, неотступно, с постоянством ненависти, наблюдая за немцами, и всегда снабжал Травкина ценнейшими данными. В Гуревиче он угадывал свойственный и ему, Травкину, фанатизм при исполнении долга. Не думать о своей выгоде, а только о своем деле, — так был воспитан Травкин, и так же был воспитан Гуревич. Они и называли друг друга “земляками”, ибо они были из одной страны, — страны верящих в свое дело и готовых отдать за него жизнь».

«Младший лейтенант Мещерский — стройный голубоглазый двадцатилетний мальчик в широченных кирзовых сапогах. В его чемоданчике лежало несколько книг, и в свободное от занятий время он нараспев читал разведчикам стихи, а они, сидя в полумраке овина, с серьезными лицами вслушивались в складные, округлые слова, удивляясь искусству поэта и вдохновенному румянцу Мещерского».

«Маленький юркий Голубь, семнадцатилетний паренек из Курска, сын повешенного немцами советского работника, находился непрерывно в приподнятом настроении. Его юная душа странно совмещала в себе реальную ненависть к убийцам отца с романтическими историями о следопытах, индейцах и дерзких путешественниках и, попав в эти необычайные условия, вся трепетала от восторга».

И дело настолько их захватывает, что они забывают о себе.

«Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с грозным именем “Викинг” обречена на гибель».

У положительных героев снова нет физиологии, нет сексуальных фантазий, а едой озабочен только жуликоватый Мамочкин. Он сдает напрокат двух незаконно удержанных лошадей и за это получает возможность угощать товарищей роскошной провизией. Однако за такое мошенничество Травкин грозит отправить Мамочкина в штрафбат, да и в тылу его уже разыскивает следователь.

А как начинается прогремевший у нас когда-то роман Ремарка «На Западном фронте без перемен»? (Отлично помню его в растрепанной мягкой обложке.)

«Мы стоим в девяти километрах от передовой. Вчера нас сменили; сейчас наши

желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и довольные. Даже на ужин каждому досталось по полному котелку; сверх того мы получаем двойную порцию хлеба и колбасы, — словом, живем неплохо. Такого с нами давненько уже не случилось: наш кухонный бог со своей багровой, как помидор, лысиной сам предлагает нам поесть еще; он машет черпаком, зазывая проходящих, и отваливает им здоровенные порции. Он все никак не опорожнит свой “пищемёт”, и это приводит его в отчаяние. Тьяден и Мюллер раздобыли откуда-то несколько тазов и наполнили их до краев — про запас. Тьяден сделал это из обжорства, Мюллер — из осторожности. Куда девается все, что съедает Тьяден, — для всех нас загадка. Он все равно остается тощим, как селедка.

Но самое главное — курево тоже было выдано двойными порциями. На каждого по десять сигар, двадцать сигарет и по две плитки жевательного табаку. В общем, довольно прилично. На свой табак я выменял у Катчинского его сигареты, итого у меня теперь сорок штук. Один день протянуть можно.

А ведь, собственно говоря, все это нам вовсе не положено. На такую щедрость начальство не способно. Нам просто повезло».

И в чем же заключалось везение? Продовольствия было выдано на роту в сто пятьдесят человек, а в живых осталось только восемьдесят.

Что еще волнует бойцов?

Леер «носит окладистую бороду и питает слабость к девицам из публичных домов для офицеров; он божится, что есть приказ по армии, обязывающий этих девиц носить шелковое белье, а перед приемом посетителей в чине капитана и выше — брать ванну».

А какими доблестями обладает душа отделения Станислав Катчинский, Кат? У него «необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться съестным и как лучше всего укрыться от начальства».

А как фронтовые герои проводят тыловой досуг? Они сдвигают поближе сортирные кабинки и со спущенными штанами по два часа играют в карты.

«Я до сих пор помню, как стеснялись мы на первых порах, когда новобранцами жили в казармах и нам впервые пришлось пользоваться общей уборной. Дверей там нет, двадцать человек сидят рядком, как в трамвае. Их можно окинуть одним взглядом, — ведь солдат всегда должен быть под наблюдением».

С тех пор мы научились преодолевать не только свою стыдливость, но и многое другое. Со временем мы привыкли еще и не к таким вещам.

Здесь, на свежем воздухе, это занятие доставляет нам истинное наслаждение. Не знаю, почему мы раньше стеснялись говорить об этих отправлениях, — ведь они так же естественны, как еда и питье. Быть может, о них и не стоило бы особенно распространяться, если бы они не играли в нашей жизни столь существенную роль и если их естественность не была бы для нас новинкой, — именно для нас, потому что для других она всегда была очевидной истиной.

Для солдата желудок и пищеварение составляют особую сферу, которая ему ближе, чем всем остальным людям. Его словарный запас на три четверти заимствован из этой сферы, и именно здесь солдат находит те краски, с помощью которых он умеет так сочно и самобытно выразить и величайшую радость, и глубочайшее возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более кратко и ясно».

Друзья навешают в госпитале умирающего школьного товарища Кеммериха — «полевой лазарет переполнен; здесь, как всегда, пахнет карболкой, гноем и потом», а пока Кеммерих был без сознания, у него украли часы.

Боевой друг просит Кеммериха отдать ему хорошие английские ботинки, но Кеммерих, еще не знает, что у него ампутирована нога.

Их называют железной молодежью, вчерашних школьников, но «сейчас мы старики».

«Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми, — и хорошо, что стали такими: именно этих качеств нам и не хватало».

Однако тут же намечается и какое-то утешение.

«Но самое главное — это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое претвориться в действие чувство взаимной спаянности; и впоследствии, когда мы попали на фронт; оно переросло в единственно хорошее, что породила война, — в товарищество!»

Культовое товарищество — это первый фирменный прием Ремарка: мир ужасен, но я и мои друзья благородны и трогательны — конечно, мы с ними охотно идентифицируемся. А бесплотные герои даже и качественной советской литературы настолько бесстрашнее и чище нас, что мы можем ими лишь восхищаться на отдалении — богатыри, не мы.

В советской литературе была немыслима расправа с даже и с самым маленьким начальником, а боевые друзья у Ремарка подвергают своего истязателя Химмельштоса унижительной порке. Это второй фирменный прием Ремарка: его герои беспомощны в макром мире, но из наиболее унижительных, житейских схваток они, как правило, выходят победителями. Зато в макром мире его герои даже и не субъекты войны, они практически ничего не делают по собственной воле. Они в основном только спасаются от обрушивающихся на них ужасов, а если они сражаются и убивают французов, к которым не питают никакой ненависти, то лишь для того, чтобы не убили их самих. Задачи же войны им совершенно чужды. Инициативу они проявляют только тогда, когда надо спереть какого-нибудь гуся, от которого всех прохватывает понос (Мамочкин у этих ребят был бы любимцем), или голышом, с продуктовым пайком, пробраться к недоедающим французенкам.

В общем, эти парни — не отпугивающие своей чистотой и бесстрашием рыцари, а свои в доску ребята, которых можно жалеть, любить, и ощущать себя одним из них. Можно еще и поучиться у них простому взгляду на мир. Об убитом они говорят «прищурил задницу», а о таинствах любви мечтают так: я бы целую неделю штанов не надевал!

Это живые. А каковы же мертвые?

«Двоих буквально разнесло на клочки; Тьяден говорит, что теперь их можно было бы соскрести ложкой со стенки окопа и похоронить в котелке. Третьему оторвало ноги вместе с нижней частью туловища. Верхний обрубок стоит, прислонившись к стенке траншеи, лицо у убитого лимонно-желтого цвета, а в бороде еще тлеет сигарета. Добравшись до губ, огонек с шипением гаснет».

Или вот вам отравленные газом, которые «еще несколько долгих дней умирают от удушья и рвоты, по кусочкам отхаркивая перегоревшие легкие».

Дальнейшие подобные картины опушу, щадя читателей. Туда же отправлю описание крыс и вшей, замечу только, что эти ужасы и мерзости удесятятят наше сострадание к героям. Хотя итог и без этого ясен.

Мир ужасен и отвратителен, но я и те, кого я люблю, трогательны, а иногда даже и прекрасны, какими герои Ремарка предстают в его шедевре — «Трёх товарищах», — эта формула Ремарка сохранит свое обаяние во все времена и при всех режимах.

Рыцарь-гурман и старик Сантьяго

Хемингуэй учил не побеждать, а красиво и мужественно проигрывать. Джейк Барнс из «Фиесты» не может соединиться с Брет, *tenente* Генри из «Прощай, оружие!» теряет Кэт, умершую при родах. Однако трагедии героев Хемингуэя представляли перед нами в таком обрамлении, что одни только названия напитков и улиц звучали волшебной музыкой, благодаря советской власти, которая, отрезав нас от заграницы, превратила ее в чарующую сказку: увидеть Париж и умереть!

А у Хэма вот он! И умирать не надо.

«Перно — зеленоватый суррогат абсента. Если налить в него воды, оно делается беловатым, как молоко...» «Утром я спустился по бульвару Сен-Мишель до улицы Суфло и выпил кофе с бриошами. Утро выдалось чудесное. Конские каштаны Люксембургского сада были в цвету. <...> Студенты шли мимо, кто в юридический институт, кто в Сорбонну. <...> Я сел в автобус и доехал до церкви Мадлен, стоя на задней площадке. От церкви Мадлен я прошел по бульвару Капуцинов до оперы, а оттуда в свою редакцию».

Прямо облизнуться хочется!

И мужское бессилие нам представлялось верхом позора, а у Хемингуэя и оно подается как красивая драма. «Это забавно, — сказал я. — Это очень забавно».

Такая изысканная мужественная сдержанность: «Я лег ничком на кровать. Мне было очень тяжело»; «Я заплакал»; «И ничего, ничего нельзя сделать, — сказал я».

И все-таки трагедия не мешает героям жить увлекательно и даже аппетитно. Причем не только самого Джейка, но и его любимую женщину несколько не смущает жестокость боя быков, если она преподносится красиво.

«Я учил ее следить за быком, а не за лошадей, когда бык кидается на пикадоров, учил следить за тем, как пикадор вонзает острие копыя, чтобы она поняла, в чем тут суть. Чтобы она видела в бое быков последовательное действие, ведущее к предначертанной развязке, а не только нагромождение бессмысленных ужасов. <...> Ромеро заставлял по-настоящему волноваться, потому что в его движениях была абсолютная чистота линий и потому что, работая очень близко к быку, он ждал спокойно и невозмутимо, пока рога минуют его».

Смертельный риск ради бесцельной красоты — вот стиль раннего Хемингуэя. А на страдания быков и лошадей необходимо закрывать глаза.

«Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены туго свернутые, запачканные кровью плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив их к барьеру так, что видны были обернутые красным рукоятки шпаг...

— Они, должно быть, жесткие от крови, — сказал Билл.

— Странно, — сказала Брет. — Совсем не обращаешь внимания на кровь».

И собственные трагедии не должны мешать пообедать с аппетитом.

«Мы пообедали в ресторане “Ботэн”, на втором этаже. Это один из лучших ресторанов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили “риоха альта”».

— Не напивайся, Джейк, — сказала она. — Не из-за чего.

— Я вовсе не напиваюсь, — сказал я. — Я просто попиваю винцо. Я люблю выпить винца».

Хемингуэй, подобно Ремарку, вначале тоже не избегал смертельного ужаса.

«Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: “Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе”».

И смертельной усталости: «Он хотел жить, не связывая себя ничем».

Он и любовные истории когда-то заканчивал более чем прозаически: Джульетта собирается замуж за обманувшего ее майора, а Ромео заражается гонореей от случайной подружки. Но с такой прозой жизни в культовые писатели не выйдешь: трагедия среди красивого праздника — вот главная *прелесть* Хемингуэя. В пору успеха он даже обходился одним только праздником без трагедии.

В «Зелёных холмах Африки» он охотится с большим аппетитом: свежее масло, отбивные из газельего мяса с картофельным пюре, зеленая кукуруза и консервированные фрукты, тяжелое и густое немецкое пиво...

И писать ему необходимо тоже для аппетита — чтобы жизнь не утратила свою прелесть. При этом он убежден, что истинные произведения искусства бессмертны — жаль только, что люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они будут не в моде и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалы.

Популярными писатели нынче становятся благодаря не лучшим, а худшим качествам их произведений.

В общем, служитель чистого искусства, наслаждающийся вкусной и опасной жизнью среди вод Гольфстрима и лесов Вайоминга, обзаведшийся роскошной виллой в соседстве с нищим рыбацким поселком, породившим нового героя-одиночку Гарри Моргана, который рискует жизнью и убивает уже не для красоты, а ради того, чтобы спасти от нищеты жену и детей: «Он крючком зацепил его голову и повернул ее к себе, потом приставил дуло автомата и спустил курок. Звук от выстрела был такой, какой бывает, когда палкой ударишь по зрелой тыкве».

Одиночка, как и положено у Хемингуэя, погибает несломленным, но уже в гранках Хемингуэй вложил в его растрескавшиеся губы заветные слова, на которые его вдохновила осада Мадрида: «Все равно человек один не может ни черта».

И Роберт Джордан из романа «По ком звонит колокол», тоже, разумеется, терпящий красивое поражение, служит общему делу с религиозным рвением: «В тех штабах ты чувствовал себя участником крестового похода» в защиту всех угнетенных, переживаемое там чувство уподобляется и музыке Баха, и витражам Шартрского и Лионского соборов, и полотнам Мантеньи, Греко и Брейгеля в Прадо...

Однако вера опять-таки не мешает паладину закусывать с аппетитом: «Мясо было заячье, поджаренное с луком и зеленым перцем, и к нему — соус из красного вина, в котором плавал мелкий горошек. Хорошо прожаренная зайчатина легко отделялась от костей, а соус был просто великолепный. За едой Роберт Джордан выпил еще кружку вина».

Вера и война не мешают и любить отнюдь не платонически: «Она прижалась к нему еще теснее, и его губы стали искать ее губы, и нашли, и приникли к ним, и он почувствовал ее, свежую, и гладкую, и молодую, и совсем новую, и чудесную своей обжигающей прохладой».

Это было так обольстительно после аскетизма советской литературы! Которого мы даже не замечали, пока не с чем было сравнивать.

Да наверняка это обольстительно и сейчас.

Однако в шедевре Хемингуэя — в «Старике и море» — уже не было ни десертной ложечки гурманизма.

Гольфстрим здесь не красивая декорация, а величественная и равнодушная стихия. Реквизит тоже суровый: багор, гарпун, заплатанный парус из мешковины, обернутый вокруг мачты... Летучие рыбы, морские ласточки, черепахи, поедающие лиловатых физалий вместе с ядовитыми щупальцами, тоже достоверны, как и рука, разрезанная лесой, как и куски темно-красного мяса тунца, которые, преодолевая отвращение, нужно съесть, чтобы подкрепить силы...

Гордыня несгибаемых матадоров в сравнении со смиренной несгибаемостью старика оборачивается позерством: смирение пришло к нему, «не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства».

Не знаю, насколько этот урок способен воодушевлять современную молодежь, но для тех, кому всерьез приходится бороться за выживание, он бесценен.

Трагедия бесстрастия

Камю я впервые прочел, когда еще считал главным делом своей жизни науку и не был испорчен глубокомысленными рассуждениями об абсурде и бунте, считая абсурдом лишь человеческие, но отнюдь не природные нелепости, а бунтом исключительно внезапные неорганизованные восстания. Однако слово «экзистенциализм» в ту пору было не менее модным, чем слово «кибернетика», и я еще не догадывался, что им обоим предстоит примерно одинаковое будущее:

ты старомоден — вот расплата за то, что в моде был когда-то. Без развеявшегося сакрального ореола выяснилось, что и тот, и другая не столько открывают какие-то новые идеи и явления, сколько дают новые названия давно известным.

Но лично мне эта мода принесла пользу — я разыскал том Камю в книжном клубе при Водоканале, где под прикрытием книгообмена процветала спекуляция. За Камю я заплатил десять рублей, то есть пять-семь номиналов, и не пожалел: открыв «Постороннего», я сразу ощутил дыхание мощной прозы: «Сегодня умерла мама. Или, может быть, вчера, не знаю». Дальнейшее излагается с тем аскетизмом, с каким и должно выражаться целомудренное горе.

Неприятный разговор с патроном о двухдневном отпуске, банальное сочувствие приятеля («мать-то у человека одна»), поиск черного галстука и нарукавной повязки, погоня за автобусом, тряска, бензиновая вонь — все очень узнаваемо: трагедии всегда приходят со шлейфом будничной дребедени.

Обыденная беседа главного героя с директором дома призрения, попытка оправдаться, что он не мог бы содержать мать дома, директорское утешение, что здесь ее окружали люди ее возраста, с которыми ее связывали общие интересы...

Правда, в доме призрения она первые дни часто плакала. И тут первый звонок: плакала она, де, просто с непривычки, а через несколько месяцев она стала бы плакать, если бы ее оттуда взяли. «Отчасти из-за этого в последний год я там почти не бывал. И еще потому, что надо было тратить воскресный день, уж не говорю — ташиться до остановки, брать билет да два часа трястись в автобусе».

Да, причины более чем серьезные, лучше пускай она поплачет, ей ничего не значит.

Однако герой настолько симпатичен своей сдержанностью и откровенностью, что не хочется обвинять его в черствости.

С той же невозмутимой откровенностью он отказывается в последний раз увидеть свою мать в гробу, к некоторому удивлению и смущению привратника. Его, привратника, обыденная болтовня, предложение чашки кофе с молоком. «Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком», — вкус к кофе не пропал даже у гроба матери.

Между тем другие обитатели богадельни, беззубые, с трясушимися головами, все-таки пришли на ночное бдение у гроба покинувшей их подруги.

Утром герой выпил еще одну чашку кофе с молоком, «было очень вкусно».

Чрезвычайно сильно изображена «сверкающая и захлебывающаяся солнцем» равнина, через которую по расплавленному гудрону влачится похоронная процессия, но самое впечатляющее — безнадежно отстающий еле живой друг матери Перез. В конце концов и он добредает до кладбища, где наконец теряет сознание, не то от усталости, не то от горя.

А главный герой, Мерсо, держится молодцом. На следующий же день он поехал купаться на море, в воде встретил Мари, бывшую машинистку из его конторы, которую он в свое время «хотел», потом пошел вместе с Мари на кинокомедию с Фернанделем и в темноте гладил ее грудь...

Уже из последних сил хочется его оправдать, чтобы не впасть в ханжество: матери, де, уже не поможешь, а в горе хочется забыться...

Но уж больно хорошо ему это удастся.

А затем его сосед-сутенер, прикидывающийся кладовщиком, просит Мерсо написать для него письмо к оскорбившей его любовнице, чтобы заставить ее раскаяться, а когда она ляжет с ним, он плюнет ей в лицо и выставит за дверь.

«Я сказал, что я не против». Терпимость поистине изумительная. В советской литературе такой герой был возможен лишь в качестве отпетого негодяя.

А потом после некоторых разборок с арабами на берегу моря, в которых Мерсо занимает миролюбивую позицию, он со случайно оказавшимся у него револьвером в кармане снова идет по берегу под одурманивающим солнцем и снова натывается

на тех же арабов, и один из них показывает ему нож. Мерсо имел полную возможность отступить, но в одурении от солнца и жары он выстрелил в араба. А затем и еще четыре раза.

Разумеется, этот сюжет всем знаком, но лучше еще раз по нему пробежаться, прежде чем приступить к идейной сердцевине этой действительно превосходной вещи.

Поскольку для вынесения приговора необходимо уяснить личность подсудимого, прокурор старается представить его безжалостным садистом, хотя он всего-навсего, выражаясь бытовым языком, пофигист. Он не выражает раскаяния не потому, что он чудовище, а потому, что вообще не умеет сожалеть о прошлом, которое изменить все равно нельзя. Убийство он совершил не из злобы, а в состоянии одурения от перегрева и спящего солнца, но, когда он говорит, что все произошло из-за солнца, людям это представляется глупой отмазкой, почти бравадой. А врать, рвать на себе волосы от раскаяния он не желает. И получается, что казнят Мерсо из-за его искренности.

По крайней мере, такой поворот делает сам Камю в предисловии к американскому изданию «Постороннего»: герой моего романа осужден за то, что не притворяется. Но позвольте, он все-таки осужден за убийство, а его реальная или мнимая черствость лишь послужила довеском. Или притворяться нельзя, а лущить старушек — пардон, арабов — по чему попало можно?

Все-таки всадить в уже подстреленного человека еще четыре пули как-то тоже не того, но, видимо, в сравнении с проблемой искренности-неискренности это дело десятое.

«Вот почему, — пишет Камю, — не слишком ошибется тот, кто увидит в “Постороннем” историю человека, который, отнюдь не будучи склонен к героизму, принимает смерть за правду».

Не за убийство, это мелочь, — за правду.

Камю заходит и еще дальше: «Я пытался изобразить в лице моего героя единственного Христа, которого мы заслуживаем».

Вот как из первоклассного, но не гениального прозаика выйти в культовые — нужно провозгласить нечто настолько высокопарное и абсурдное, чтобы почитатели замерли в страхе и трепете, дабы не обнаружить свое позорное здравомыслие. Ведь одно дело написать отличную повесть или маленький роман о том, как казнили аутиста, приняв его эмоциональную отгороженность за свирепость, другое — приписать ему целое нигилистическое мировоззрение, которое он выкрикивает в разговоре со священником: «Всё — всё равно, всё не имеет значения».

В этом тоже нет ничего нового: будь что будет — всё равно, всё — суета и томление духа. Каждый это слышал и читал не раз и не двадцать. Но каждый знает: захватит новая страсть, новая любовь, новая греза — и весь этот нигилизм развеивается, как дым от коптящего костра под порывом свежего ветра.

Не знаю, что находят в Камю нынешние молодые люди, но я бы рискнул им дать такой совет: читайте Камю. Ему, как, например, в знаменитой «Чуме», сильно мешает рассудочность, неотступное стремление с неукоснительной логичностью развивать не Бог весть какую глубокую идею, стремление, оттесняющее и приглушающее живые образы и ведущее к интонационной монотонности. Конечно, это можно назвать, и, скорее всего, справедливо, сознательным приемом, но мне в художественной литературе не нравятся приемы, переключающие переживание на изучение и комментирование.

Тем не менее, продолжил бы я свое обращение, Камю первоклассный, хотя и не гениальный прозаик, только не позволяйте морочить себе голову высокопарными абсурдизмами. Жизнь имеет тот смысл, который мы ей придаем, смыслом жизни является любая страсть, заставляющая забыть о ее бессмысленности. Будут захватывающие увлечения — будет и смысл, поскольку это одно и то же. И не слушайте тех, кто притворяется лишенным или на самом деле лишен таких увлечений. Не слушайте рассуждений кастратов или пижонов о бессмысленности любви.

Сборный пункт

Заочный «круглый стол»

Во времена жестких разрывов, отмены, выстраивания железного занавеса как никогда важно ощущать родство, в том числе эстетическое, вырабатывать и сохранять точки культурной сборки.

Обычно «родословную» авторов (и их героев) пытаются выстроить биографы и рецензенты. Нам было интересно свидетельство из первых рук: самоощущение, самоопределение писателей. Мы предложили прозаикам, поэтам, критикам — старшим и младшим современникам — ответить на три вопроса:

- 1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)*
- 2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*
- 3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

В этом номере — размышления Евгения АБДУЛЛАЕВА, Мариш АНУФРИЕВОЙ, Ольги БАЛЛА, Ефима БЕРШИНА, Константина КОМАРОВА, Владимира МЕДВЕДЕВА, Сергея СОЛОУХА, Александра ЧАНЦЕВА.

Евгений Абдуллаев, прозаик, поэт, литературный критик (г. Ташкент)

«Существовать — значит быть оспариваемым»

- 1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)*

Наследую?... Наверное, всем — и никому в отдельности. Всей русской литературе, всему русскому языку в его вибрирующем многообразии... Может, и каким-то другим языкам — например, английскому, который учу с детства, или узбекскому, в котором с детства существую. Так что наследую, скорее, некому хору, его то стройному, то диссонансному звучанию, нежели каким-то отдельным голосам.

Есть, конечно, какие-то очень важные для меня имена и голоса. Скажем, Пушкин. Шекспир. Достоевский. Мандельштам. Но могу ли я сказать, что наследую им? Да, в той мере, в какой они живо и ярко присутствуют в моем сознании и сознании других пишущих людей. Как-то иначе наследовать им невозможно, они ничего не оставляли «в наследство», они растрачивали себя вполную, и если в чем-то можно им наследовать, то именно в этой небрежности, в умении полностью исчерпать все рудные жилы.

Наконец, есть те, кого я встретил, входя в литературу. Кого я мог бы в какой-то мере назвать своими учителями — хотя ни к кому специально не «ходил» и не «показывал». И вообще очень многому научился у сверстников, некоторые из которых были годами даже младше меня, но уже успели набраться литературного опыта (я ведь был «поздняком»). Санджар Янышев, Вадим Муратханов, позже Глеб Шульпяков, Инга Кузнецова, Дмитрий Тонконогов, Максим Амелин, Илья Кукулин... Но были, конечно, имена и старше: Алексей Алёхин, Анатолий Найман, Андрей Волос, Сергей Чупринин... Напротив, есть те, кто младше меня, но общение с которыми, чтение которых тоже ощущаю как очень полезное, нужное, как какое-то внутреннее обновление крови. Валерий Печейкин, Борис Кутенков, Аман Рахметов...

Понятно, что тут какие-то иные, нелинейные, нежесткие связи, которые не предполагают никакого «наследования». Скорее, это то, что Бродский определял как получение каких-то знаний и опыта *by osmosis*, путем впитывания. Мне кажется, что так обычно и происходит литературный обмен веществ, а всякая претензия на наследование чего-то или кому-то — это, как правило, случай рефлексивной слепоты и филологического рукоделия.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Просто радуюсь читателю. Да, иногда возникает ощущение, что информационная среда и сам процесс чтения за последние лет пятнадцать так радикально изменились. И что молодые читатели... Да, просто проедут на своих скейтбордах мимо. Что наша боль им будет неинтересна.

Потом, конечно, замечаю: читают, как-то по-своему понимают, моих сверстников (которые сейчас входят в пору золотой осени), меня... И когда спорят, это даже больше радует. Значит, мы существуем, и пока еще достаточно ярко. Существовать — значит быть оспариваемым.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Поколение — вещь очень пёстрая, чтобы говорить о каких-то общих чертах; особенно когда находишься внутри него. Если говорить о моем поколении — а это авторы, родившиеся в конце 60-х — начале 70-х, а сегодня это наиболее... как бы сказать, чтобы не похвалить случайно себя? Скажем так, нейтрально: сегодня это очень активное, возможно, даже наиболее активное поколение. Это поколение с несколько отложенным приходом в литературу. Дебютный возраст пришелся аккурат на 90-е, когда дебют был возможен... ну, в виде какой-нибудь самиздатовской книжки в лучшем случае. Вся прежняя литературная среда порушена, журналы в основном печатают прежних своих авторов плюс «возвращенку», для каких-то новых имен почти нет места...

Это было, как сейчас понимаю, для нас очень хорошо. Нас «выдержали». Нас никто не ждал, никто не баловал никакими «Дебютами» и «Лицеями», не звал ни на какие «Липки». Этот слой тишины и невнимания, через который мы как-то протырились; это очень закалило. Мы шли без всяких надежд. И это отличает нас и от более старшего поколения, успевшего дебютировать еще при Союзе с его тиражами, — от, условно говоря, Пелевина, Быкова, Терехова... С другой стороны — и от более младших, опять же, условно, Самсонова, Прилепина, Сальникова... Они пришли в литературу, когда уже что-то было восстановлено, возникли более благоприятные условия для дебюта. Нет, речь не о том, что нашему поколению было тяжелее, — у каждого поколения свои трудности. Но если говорить о начале, о старте — то да, именно у тех, кто начинал в середине 90-х, было ощущение «старта в никуда».

Это, пожалуй, единственное общее; дальше уже различия. Авторы, как это и должно быть внутри поколения, очень разные. Стилистически это могла быть и метафорическая избыточность раннего Иличевского, и суховато-репортажная

документальность Сенчина, и затейливый минимализм Данилова, и красочный не-минимализм Степновой... На этом многоточии разговор о поколении пока закрою.

Что до будущего, то об этом говорить всегда сложно, а сейчас, когда в литературе идет гражданская война, особенно. Произошла очень сильная, болезненная встряска, и что из этого выйдет... Еще недавно вариантом будущего для современной русской литературы было интегрирование в международный литературный процесс, со всеми издержками, но и плюсами тоже. Сегодня этот вариант не то чтобы совсем исчез, но сузился до, условно говоря, Китая, Индии и стран третьего мира. И это еще не так плохо. Хуже вариант автаркии, которого не было даже у советской литературы, довольно активно переводившейся на европейские языки... Так что разговоры о будущем пока предлагаю отложить на будущее.

Мария Ануфриева, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Доктор Х», Фёдор Михайлович и «метода Флобера»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Разумеется, у меня, как у каждого человека, не обязательно пишущего, есть свои предпочтения, любимые и близкие по духу авторы, но говорить об этом в контексте «наследования» кажется как минимум не совсем скромным. Например, Достоевского открыла для себя в юные школьные годы, прочитав роман «Подросток». Захотелось мне писать прямо как Фёдор Михайлович. Смешно же, правда? Достоевский с тех пор стал одним из моих любимых авторов, но вряд ли я «право имею» говорить о том, что наследую. Или вот нравится мне фраза Флобера: «Мадам Бовари — это я». Попробовала взять ее на вооружение, когда писала свой текст. Так, в каждом герое романа «Доктор Х и его дети» есть присущие мне черты характера или привычки, вредные либо безобидные. Даже отрицательные персонажи стали мне ближе, потому что и они — это я. Очевидно, этот подход сработал, недавно по книге сняли художественный фильм с известным актером Сергеем Пускепалисом в главной роли, его оппонента, плохого человека сыграл еще один прекрасный актер Игорь Черневич. Я присутствовала на съемках, видела отснятый материал, который сейчас в производстве. Герой, которого играет Черневич, очень убедителен в кадре. Хочется верить, что, помимо безусловного актерского таланта, свою лепту в этот образ внесла и «метода Флобера». Но, повторюсь, мне не близки рассуждения в духе: «Я и мировая литература».

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

До недавнего времени я не оценивала людей по идеологическому принципу, не ограничивала общения, если взгляды были мне не близки. Старалась не замечать, искала что-то хорошее. Сейчас, когда ситуация изменилась и не замечать значит — потакать, я волевым решением убрала из поля видимости тех, кто мне неприятен по разным причинам, далеко не всегда идеологическим, поэтому что именно «оппоненты» читают и читают ли что-то вообще, кроме газетных передовиц, мне не интересно. Собственно, даже оппонентов у меня нет, ведь их наличие предполагает спор или дискуссию, а я их ни с кем не веду.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Хотелось бы порассуждать о некоем особом «копирайте» авторов моего поколения 40+ или более молодых ребят, тем более в последнее время я читаю действительно

много прозаических текстов и для семинаров Ассоциации союзов писателей и издателей, и для региональных школ, и форума «Липки». Увы, вряд ли могу сообщить что-то новое. Боюсь, что нет его, этого «копирайта», если вы имеете в виду некую характерную именно для нынешнего поколения молодых авторов систему символов, художественные находки и так далее. Конечно, встречаются в этой разногласии интересные, сильные тексты, когда авторская зрелость не вызывает сомнений, и участник того или иного семинара сам может сесть на место ведущего. Каждый раз я радуюсь, когда открываю для себя новые имена. Например, сейчас это проза Георгия Панкратова и Егора Куликова, с которой я познакомилась как раз при отборе текстов на одном из конкурсов. Георгий Панкратов уже состоявшийся автор, публиковался и в «Дружбе народов». Один из его новых рассказов выбил меня из колеи на целый рабочий день, даже отправила его сыну-подростку с просьбой прочитать. Может быть, «ДН» его и напечатает первой. Егор Куликов написал простой, но очень трогательный рассказ «Трудяга» про любовь... кого бы вы думали? Человека к трактору, а трактора к человеку. Звучит наивно, в духе соцреализма. Но нет, написано так классно, и трактор этот одушевлен с таким мастерством и любовью, что стоит поучиться тому, как автор вкладывает в текст душу.

Мы не можем знать, что сохранится в будущем, но, на мой взгляд, работают на него — и особенно сейчас — истории, написанные с любовью к людям, состраданием к тому самому «маленькому человеку», которым славится русская классика, болью за униженных и оскорбленных несправедливостью, пониманием ценности жизни. Так было, есть, и хочется верить, что будет.

Ольга Балла, литературный критик (г. Москва)

Об учителях и внутренних собеседниках

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Ох. Если бы я была или хотя бы считала себя писателем (я, как известно, «дикорастущий вольнорассуждатель», занимающийся, помимо критической и журналистской практики, дикописью и празднописью), я бы дерзнула сказать, что — в смысле внутренних, к себе самой обращённых монологов, пометок на полях всего, фрагментарного аналитизма и аналитичной фрагментарности, предпочтения эссеистики и микроэссеистики, дневника как Бесконечного Текста, вообще «промежуточных» текстов всяким иным форматам высказывания наследую Марку Аврелию, Мишелю Монтеню, Эмилю Мишелю Чорану, Василию Розанову, Фернанду Пессоа («Книге непокая»), Филиппу Жакоте, Иву Бонфуа, Лидии Гинзбург, а из ныне здравствующих — Михаилу Эпштейну. Уже одно перечисление этих имён даёт мне ясно видеть полное своё ничтожество перед их лицом, поэтому назову их просто своими учителями и внутренними собеседниками.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Конечно. И читателей, и понимающих собеседников, и соратников, и наследников — если бы я была достойна наследования. (Оппонентов — не знаю, — никто со мной вроде бы явно не спорил, кроме разве Максима Алпатова лет шесть назад, но он, кажется, ненамного моложе — хотя моложе точно.) Из собратьев по эссеизму, кто младше на поколение — от двадцати лет и далее — я бы назвала Алексея Чипигу, из молодых совсем — Елизавету Трофимову, Марка Перельмана, Александра Хана. Не в том смысле, что они знают меня (некоторые знают), — скорее, в смысле родства в мировосприятии.

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Мои сверстники — родившиеся в середине-конце шестидесятых (первыми идут на ум ныне здравствующие Игорь Вишневецкий, Александра Петрова, Лена Элтанг, Валерий Шубинский, Александр Скидан, Сергей Круглов, Илья Семенов-Басин, Арсений Ровинский, Дмитрий Бавильский; покойные Василий Кондратьев и Денис Новиков. Можно дерзнуть добавить и Сергея Шестакова, — он родился раньше, в 1962-м, но очень родствен, поэтому пусть будет в этом ряду. Перед всеми названными, братьями по времени взросления, я тоже могу только умаляться). Из важных черт, которые кажутся мне именно поколенческими, я бы непременно забрала в будущее деятельную тоску по мировой культуре.

Ефим Бершин, поэт (г. Москва)

«Ну какие могут быть оппоненты в поэзии?..»

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)*

«Во времена жестких разрывов, отмены, выстраивания железного занавеса» ты одна мне надежда и опора. Я говорю о поэзии. Когда я публикую стихи в журнале или, например, в Интернете, в своем блоге, меня больше всего радует то, что на них откликаются люди разных политических убеждений из разных стран. На это и надежда — на поэзию. Поэзия способна объединять. Она сама по себе является наследницей и продолжательницей великой русской поэзии. То есть поэзия наследует поэзии.

Если говорить лично обо мне, то мне трудно сказать, кому из поэтов наследую. Хочется назвать Лермонтова, но, боюсь, это будет нескромно. Скорее, с определенного возраста — уже никому. Потому что поэзия для меня — это не наследование кому-то и чему-то. Поэзия для меня — это метод познания мира.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Если говорить о читателях, то они у меня есть. Не так много, как хотелось бы, но есть. Самые разные. Разных возрастов и, как я уже сказал, разных убеждений. Но в наше странное переходное время их и не может быть много. А что касается того, узнаю ли я среди них «своих» — нет, не узнаю. Для меня это не так важно. Все, кто любит и старается понять мои стихи, — мои люди. И простите за некоторую высокопарность, но у настоящей поэзии нет возраста, нет поколений, как нет их и у Бога. А стихи на злободневные темы я не пишу. Познание мира через поэзию не ограничивается временными рамками. О наследовании я уже сказал, а об оппонентах... Ну какие могут быть оппоненты в поэзии? Понимаю, что сейчас политизируется все, включая рецепт изготовления борща. Но настоящая поэзия политикой не живет, хотя некоторые и пытаются даже Пушкина, Лермонтова, Бродского привязать к современной политике. Поэзия растет из совсем другого «сора».

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Что же касается будущего, то не нам судить, какие стихи в нем останутся, а какие нет. Человек живет слишком мало, чтобы увидеть, к примеру, через сто лет, что осталось, а что погребено временем. Мы знаем немало очень популярных в свое время поэтов, от которых почти и следа не осталось. Кто сегодня поверит, что молодой Веневитинов в определенный момент был чуть ли не популярнее Пушкина? И куда делся популярный Надсон? А Эдуард Асадов? Помню, как в семидесятых толпы валили

на его выступления. А вот Слуцкий из того же поколения — остался. И Левитанский пока остается. А про сверстников говорить вообще рано.

Поэты моего поколения, которым сейчас под семьдесят или даже больше, начали проявляться со второй половины семидесятых или уже в восьмидесятые, в перестроечные времена. Некоторых из них сегодня знают лучше, некоторых хуже, некоторые вообще пропали с горизонта. Они были разные, но всех или почти всех объединяло одно: бунт против советской этики и эстетики. Они и именно они во многом олицетворяют собой то время. Хотя мне кажется, что большинство из них так в том времени и остались и в новые времена не прорвались. Перманентный бунт стал почти религией. Начав бунтовать против этики и эстетики того времени, многие остановиться уже не могут. А поэзия — это если и бунт, то совсем иного рода. Пожалуй, стоит вспомнить Сашу Сопровского, который успел написать книгу об Иове. Это был своеобразный прорыв в будущее. Бунтовщик Иов понял правоту Бога. И смирился с тем, что главная функция Творца — творчество, а не что-то иное. Саша, кажется, тоже понял. Переломная эпоха 80-х — 90-х годов в истории, конечно, останется. Но останутся ли в истории поэты этой эпохи, не знаю. Не дано знать.

К сожалению, именно на будущее сегодня мало кто работает. Единицы. Но даже среди этих единиц гениев я пока не вижу. Возможно, я субъективен, что простительно для поэта. Возможно, я не очень хорошо знаю стихи более молодых поэтов. Возможно, сейчас никто понять не может, что будет в новом нарождающемся мире. Однако же просто выражу надежду на то, что для будущего останутся самые настоящие, самые истинные, стихи которых времени не будут подвластны. А сама поэзия, конечно, бессмертна. Как сам Господь.

Константин Комаров, поэт, литературный критик (г. Липецк)

«Я бы назвал своё поколение “растерянным”»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Мне хотелось бы верить, что я наследую не какому-то конкретному поэту (в этом случае наследование опасно приближается к подражанию, а подражать, например, моему любимому Маяковскому сродни моментальному творческому самоубийству), а в целом — модернистскому духу поэзии Серебряного века. То, что я пытаюсь делать в поэзии, можно назвать неомодернизмом (близкое, но не тождественное метамодернизму понятие). Модернистское миропонимание близко мне тем, что не отказывается от поиска ответов на «последние», «предельные», «вечные», «проклятые» вопросы человеческого бытия (что роднит модернизм с классикой и противопоставляет постмодерну), но ответы эти ищет не в эмпирической действительности (как классический реализм), а в глубинах микрокосма человеческого «я», кардинально обновляя при этом сам инструментарий поиска. Мне очень близка житетворческая, романтическая по сути, философия модернизма, базирующаяся на максиме, озвученной ещё Батюшковым: «Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь!» В своей поэтической практике я стараюсь работать и с символистским интуитивным постижением неназываемого, и с акмеистской «прекрасной ясностью», лирической вещностью, и с футуристской отелесненной экспрессией. К модернизму добавлю ещё поэтов-метареалистов (Парщиков, Жданов и особенно — Ерёменко), чей опыт создания сложной, многосуставной и многослойной метафорики крайне мне импонирует, Леонида Губанова с его мощнейшей стихией лирического монолога и термоядерной внутренней концентрации метафизическую лирику Юрия Казарина.

Что касается литературы мировой, то здесь кому-то наследовать сложно уже хотя бы потому, что и читаю, и пишу стихи я на русском языке. Здесь можно говорить разве

что об опосредованном тем же Серебряным веком наследовании французским символистам.

Впрочем, в статье обо мне в Энциклопедии «Уральская поэтическая школа»¹ в разделе «основные имена, влияния переклички» дан вполне конкретный список важных для моей поэтики фамилий: А.Блок, И.Бродский, Л.Губанов, Б.Рыжий. И таковой список тоже имеет место, хотя он и неполон. Вообще, поэтов, драгоценных для читательского сердца, у меня (как, наверное, у многих) несравнимо больше, чем тех, кто непосредственно повлиял на складывание моего поэтического мира.

В сфере литературной критики определяющие для меня фигуры — Белинский, Чуковский, Розанов, Аполлон Григорьев, Игорь Шайтанов и др.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Узнаю. «Оппонентов» (которые, в некотором роде, тоже «наследники», только «от противного») — чаще. Есть целая (и довольно многочисленная) группа молодых поэтов, из всех сил стремящихся подменить поэтическое политическим (если б они понимали, сколь убого, натужно и комично их потуги выглядят со стороны, но — увы...), для которых я и мои критические высказывания являются неиссякаемым источником упражнений в крайне сомнительного пошиба остроумии. Ну, чем бы дети ни тешились, лишь бы не плакали. Узнавание «наследников» происходит значительно реже (частым оно быть и не может, просто по факту), зато гораздо отраднее душе. Последним по времени таким «узнаванием» для меня стал двадцатилетний архангельский поэт Алексей Черников. Насыщенность, плотность, напряжённость его поэтической работы меня неимоверно радуют. Есть на кого оставить дело, хоть я и сам надеюсь ещё пошуршать.

Мне представляется, что нынче такое время, когда своего читателя надо знать в лицо. Невозможность кардинального изменения этой ситуации побуждает относиться к ней как к норме. А в применении к поэзии, которая всегда (за исключением стадионных 1960-х, но причины тому — экстралитературные) была прерогативой небольшого круга людей и искусством, в хорошем смысле, элитарным — пожалуй, и является нормой. Поэзия — удел поэтов, поэты читают поэтов и пишут о поэтах — хорошо это или плохо, но это так.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Дискретное и разношёрстное поколение «тридцатилетних», к которому я принадлежу, объединяет, на мой взгляд, растерянность с оттенком инфантилизма (по аналогии с «потерянным» я бы назвал своё поколение «растерянным»), а различают — способы поэтической фиксации, воплощения и преодоления этой растерянности. Кажется (могу ошибаться), что и «сорокалетние», и «двадцатилетние» твёрже стоят на ногах, ментально устойчивей. Наверное, при желании можно найти (и находят) и другие точки схождения, но у меня такого желания нет по объективной и субъективной причине. Объективная: в лирическом высказывании определяющую роль играют «интимно-личностный» и «универсально-общечеловеческий» компоненты (в их парадоксальном единстве Лидия Гинзбург видела специфику самой природы лирики), поколенческий же компонент для лирического говорения как такового не особенно значим. Субъективная (связанная с объективной): как поэт я свою поколенческую принадлежность ощущаю слабо, собственно, для моего поэтического творчества она серьёзной роли не играет (для литературно-критической моей деятельности, наверное, более значима, хотя из критиков-ровесников мне трудно кого-то выделить). Особой трагедии в этом ни для себя, ни тем более для поколения — не вижу. Думается, что в будущее (и в бессмертие как бесконечно пролонгированный его вариант) поэты должны входить поодиночке, со своим «я». Чтобы убедиться в справедливости этой мысли, достаточно освежить в памяти хотя бы предсмертную поэму Маяковского «Во весь голос».

¹ <https://www.marginaly.ru/html/Vsjachina/Enciklopedija/summary/komarov.pdf>

Владимир Медведев, прозаик (г. Москва)

«Криптографы связывают прошлое с будущим»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Роскошный глагол «наследуете» скроен и сшит не на меня. Мне бы что-нибудь поскромнее. Я не наследую, а нахожусь в энергетическом поле того направления, которое связываю прежде всего с именами Гоголя, Достоевского, Фолкнера.

Попал я в этот поток, во-первых, не сразу, а во-вторых, не намеренно. Это произошло естественно, само собой. Тяга к чтению историй, в которых сквозь обычные события «реалистического» повествования просвечивают иные, более тонкие планы, была у меня с детства. Однако она никак не сказалась на первых попытках написать что-нибудь свое. В юности я сочинял рассказы из быта геологических отрядов, позже написал (стыдно вспомнить) научно-фантастическую повесть, несколько незаконченных детективов... И наконец в более чем зрелом возрасте опубликовал книгу рассказов, в которых действовала выдуманная нечистая сила. Я попытался сконструировать аутентичную «фольклорную» нечисть — липуна, кувыку, озерного, — которой нет и никогда не было в русском фольклоре. Главной моей задачей была их неотличимость от персонажей народного бестиария. Говоря по-простому, я напросился (а лучше сказать — навязался) в соавторы к неведомым творцам-зачинателям древнего устного творчества. Зачем? Вряд ли я мог тогда объяснить.

Моему отцу книга очень не понравилась. Долгое время он неодобрительно хмурился, пока не нашел для меня оправдание: «Это у тебя, выходит, что-то вроде “Вечеров на хуторе близ Диканьки”»? Отец чрезвычайно высоко ценил Гоголя, и теперь, много лет спустя, понимаю, что могу счесть этот его отзыв о моей книге похвалой. Значит, я действительно попал в поток, раз это увидел пристрастный, очень строгий наблюдатель со стороны.

Прошу понять меня правильно: я не ровнял и не ровняю себя с титанами, а лишь бессознательно следовал курсу, единственно для меня верному, просто в силу... как бы это сказать... характеристических особенностей, а потом нашел для него сознательное обоснование.

Начну с самого начала. Однажды много лет назад мне вдруг почему-то вспомнилось, как в «Преступлении и наказании» Раскольников на похоронах Катерины Ивановны стоит у стены, скрестив на груди руки, смертельно бледный, и меня осенило: да это же мертвец! Бросился я перечитывать роман, и оказалось, что образ покойника — не просто одноразовая метафора, а одна из несущих опор всего каркаса книги. Слова с корнем «мертв» встречаются в тексте тридцать семь раз. «Притих как мертвый», «поворотил в него [переулочек] как полумертвый», «он стоял как мертвый», «побледнел как мертвец», «обернул к ней мертво-бледное лицо»...

Общеизвестно, какое важное место занимает в романе рассказ об ожившем покойнике — притча о Лазаре из Евангелия от Иоанна. Ее обсуждают, читают вслух, символика притчи пронизывает текст романа. Но никто до меня, по-видимому, не заметил, что автор уподобил Лазарю и главного героя. Мысль изобразить Раскольникова мертвецом возникла у Достоевского не сразу. Судя по черновикам, он решил уподобить своего героя загнанному зверю. И вот в какой-то момент образ меняется — теперь это мертвец, которому предстоит воскреснуть.

Линия воскресающего покойника составляет лишь один из многих архетипических слоев романа, погружающих читателя в атмосферу архаических славянских верований. Сквозь библейскую символику, сквозь притчу о русском Лазаре XIX столетия, просвечивает какое-то другое изображение, гораздо более древнее, смутно знакомое. Это изгой. Нарушитель запретов, изгнанный из человеческого сообщества и тем

обреченный на гибель. Но и это не последний слой. Впрочем, тех, кого заинтересует эта тема, отсылаю к моей статье «Как тяжело мертвецу среди людей», опубликованной в «Дружбе народов» в 10-м номере за 1993 год.

Впоследствии я обнаружил, что кроме «Преступления и наказания» имеется немало произведений, в которых сквозь обычные события «реалистического» повествования просвечивают иные, более тонкие планы. Такие книги я назвал «криптографами» (название тяжеловесное, а потому не слишком удачное, но другого не нашел). Как известно, криптография или тайнопись — способ письма, при котором поверх видимого текста вписывается симпатическими чернилами (железным купоросом, молоком, мочой, уксусом и много ещё чем) невидимое, тайное послание. Надо лишь знать, чем обработать страницу, чтобы проступило невидимое.

Видимый и невидимый тексты криптографов предназначены для разных читателей: явный слой обращен к нашему сознанию, скрытый, архетипический — к Бессознательному. Подсказкой, позволяющей лучше понять, что имеется в виду, может послужить общеизвестный литературный термин «подтекст». Криптографы — это произведения с подтекстом, содержанием которого являются архетипы. Если вернуться к проблеме *наследования*, поставленной журналом, такие книги устанавливают связь современности с людскими предками, жившими в глубочайшей древности, далеко за пределами не только литературы, но и письменной истории. Вопрос, нужна ли эта связь человеку двадцать первого века, обсуждать не стану.

У меня нет сомнений в том, что Достоевский писал криптографический роман совершенно сознательно. По черновым материалам видно, как скрупулезно и последовательно он вписывал эпитеты и метафоры, отражающие различные фазы умирания и возвращение к жизни Раскольникова на протяжении всего сочинения. Известно также, что Фёдор Михайлович был хорошо знаком с литературой по фольклору и народным верованиям. Думаю, однако, что он был первым из писателей, кто намеренно прибег к архетипической тайнописи. До середины прошлого века авторами криптографов руководили исключительно творческая интуиция и личные пристрастия. А все прочие литераторы прекрасно обходились без тайнописи. Разумеется, в их сочинения проникали архетипы, которые, как и в древности, пронизывали и пронизывают язык и сознание людей Нового и Новейшего времени, но они вряд ли это сознавали. Чтобы как-то отличить произведения такого рода от криптографов, я определил их как «саги».

Нужно ли объяснить, почему? Древняя скандинавская сага — это даже не репортаж, а скорее протокол, в котором автор-свидетель обязуется говорить правду, еще раз правду и только правду о том, что было, ни на йоту ничего от себя не домысливая. При малейших намеках на выдумку саги объявлялись «ложными».

Конечно, этот термин — метафора. В Новом и Новейшем времени канонам «правдивой саги» строго соответствуют только мемуары и так называемая «литература факта». А как быть с fiction, «литературой вымысла»? Дело в том, что наличие вымысла не существенно. Даже не всякая фантастика связывает читателя с «миром архетипических духов». Это не всегда удается даже литературным сказкам, а уж их-то, казалось, вынуждает к этому сам жанр. Забавно, но самые знаменитые сказки Новейшего времени располагаются намного ближе к протоколу, чем к древней волшебной сказке. «Просто истории» и «Книга джунглей» Кипплинга — замечательная литературная игра, но не более того. Это артефакты, искусственные сказки, которыми наслаждается сознание, в то время как Бессознательное скучает или дремлет. Милые истории про Муми-троллей и Карлсона дышат уютом, безопасностью и пропитаны филистерским духом. К сказкам они отношения не имеют — истинная волшебная сказка полна опасностей, страшных существ и страшных событий.

Правдивая сага современности — это литературное повествование, в котором нет тайнописи того рода, о котором я уже говорил. Это тоже «протокол», даже если в нем зафиксированные вымышленные события. В русской литературе самый яркий протоколист — Лев Толстой. Говорят, когда его спросили, о чем роман

«Анна Каренина», он молвил высокомерно, что для ответа ему пришлось бы написать роман заново. Оно и понятно — сагу нельзя пересказать в нескольких словах. Ее содержание — полный перечень «улик», «обстоятельств» и «показаний свидетелей».

Казалось бы, у лишенного иллюзий протоколиста взгляд должен быть острее, чем у витающего в облаках визионера. Как ни парадоксально, у нас в России из двух членов оппозиции «свидетель — визионер» в роли утописта выступил не кто иной, как протоколист Лев Толстой, в упор не замечавший основных проблем современной ему эпохи. А творчество гениального визионера Фёдора Достоевского стало магическим зеркалом, в котором сфокусировались главные глобальные проблемы, масштаб и трагизм которых начали сознавать во всей полноте лишь наши современники, люди двадцать первого века.

Если у литературы действительно есть какие-то задачи, лежащие вне ее самой, то у саги и криптографа они, естественно, разные. Свидетельская литература обращена к настоящему и прошлому. Основное содержание саг — фиксация индивидуального опыта конкретного человека или конкретных людей. Они осуществляют связь современников с внешней стороной культуры прошлых поколений. Криптографы связывают прошлое с будущим и осуществляют связь современности с глубинными слоями национальной культуры.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

О молодых ничего сказать не могу по той простой причине, что мало читаю современную литературу. А что касается «старших», то на ум приходят только Валентин Распутин и Александр Проханов.

В повести «Живи и помни» дезертир Андрей Гуськов, как и Родион Раскольников, — изгой, отколовшийся от людей и потому постепенно превращающийся в какую-то лесную нечисть. Мало того, повесть Распутина, как и «Преступление и наказание», пронизывает переключка живых и мертвых, отголоски которой вынесены даже в название. К сожалению, здесь нет места разобрать филигранную, но тайную работу писателя, превратившую на первый взгляд «реалистическое» произведение в криптограф. Перечитайте повесть внимательно, и вы обнаружите немало для себя любопытного. Впрочем, в творчестве Распутина это, кажется, единственный такой опыт.

Метод Проханова примечателен тем, что свою тайнопись он наносит поверх текста бьющими в глаза яркими флуоресцентными красками, создавая полотно, напоминающее фрески Сикейроса. Хотелось бы и об этом подробнее, но места нет...

К сожалению, как метко заметил Иосиф Бродский, русская литература в массе своей пошла по пути Льва Толстого, а не Фёдора Достоевского. Судя по всему, она намерена двигаться в этом направлении и в будущем. Явления Гоголя и Достоевского останутся лишь волшебными праздниками в череде суровых будней отечественного литературного процесса.

Зато современная англо-саксонская литературная промышленность наладила конвейерное производство псевдокриптографов. Я не исследовал тему, но у меня сложилось впечатление, что процесс запустили «Звёздные войны». Джордж Лукас положил в основу тайного, глубинного сюжета своей космической оперы архетипическую схему, описанную в книге «Герой с тысячей лиц» Джозефа Кэмпбелла, американского исследователя мифологии. Не знаю, читал ли Лукас саму книгу, или ему хватило краткой методички, которую написал для сценаристов голливудский продюсер Кристофер Воглер, увавший книгу Кэмпбелла до сухого остатка в семь страниц. Первый же фильм франшизы «Звёздные войны» имел ошеломительный успех. И с тех пор началось... Мифическая структура пошла по рукам. На основе своей методички Воглер составил руководство и для литераторов — полноформатную книгу «Путешествие писателя». И это лишь один из множества трактатов с рецептами, как писать криптографы, сочиняют которые в основном малоизвестные средние писатели. Однако, чего греха таить, я сам читаю такие книги...

Ясно, что простого следования рецептам мало. Если автор не обладает архетипической интуицией, у него получится всего лишь грубая подделка, вроде тех сработанных на скорую руку фигурок, которые кустари в слаборазвитых странах продают туристам под видом древних магических фетишей.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Это вопросы, которые я давно задаю себе, и ещё не нашел ответа.

В каком направлении искать? Нынешний кризис перехода к новому технологическому укладу и новому мировоззрению неизбежно взорвет привычные нам карты мира. Как новые очертания скажутся на литературе? Каким станет роман в двадцать первом веке? И выживет ли он как жанр? Изменит ли литературу трансформация капитализма, в недрах которого возник и сложился современный западный, а затем и русский роман? Как повлияет на него Великая антиколониальная революция, на которую Россия наконец отважилась в начале нынешнего года? Приобретет ли термин «постколониальная литература» новые оттенки или новое значение? Как скажется на романских формах неизбежное соперничество литературы с мультимедиа и многосерийными сериалами? Удастся ли романистам выразить в пластике новые представления о времени и пространстве, выдвинутые современной наукой, о месте человека во Вселенной, о взаимоотношениях человечества и Природы и ещё о многом, чего здесь не перечислить?

Думаю, для начала необходимо осознать задачу, очерченную кругом перечисленных вопросов, не говоря уже о тех, что здесь даже не упомянуты. Ну а далее — Бог в помощь.

Что же касается проблем сугубо литературных, процитирую Станислава Лема, с мыслью которого полностью согласен. Основание для его высказывания — знаменитый роман Набокова. Лем пишет: «“Лолита” <...> поднимает особую проблему, проблему <...> пограничных зон <...> Она покоится на шатком основании, где-то между триллером и психологической драмой; таких зон можно отыскать больше: между психопатологическим исследованием и детективным романом, между научной фантастикой и литературой без уточняющих определений, наконец, между литературой “для масс” и элитарной литературой. Ибо вряд ли можно сомневаться, что разрыв между курсом художественной биржи для избранных и уровнем продукции типа mass culture возрастает. И сколь бы ни казалось безумным скрещивание чудовищно далеких друг от друга жанров (а экспериментатор при этом рискует лишиться как читателя-интеллектуала, который уже не захочет его читать, так и массового читателя, для которого подобное чтение все еще слишком трудно), я тем не менее отважился бы сделать ставку на такие гибриды».

Сергей Солоух, прозаик (г. Кемерово)

«Чёрт с ней, с литрой, если только останется музыка...»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Некий автоматизм ответа, тут, кажется, предполагается, все помнят и папу с мамой, и дедушку с бабушкой. Но традиционная форма ответа в виде списка названий и имен мне не кажется осмысленной. Потому что не дает ответа на естественный вопрос: а почему и как? Попробую сначала объяснить механику и правила, если хотите, пусть будет, этой литературной генетики, как я их вижу, ну, а потом, как уж заведено, и список предъявлю. И думаю, он покажется естественным.

Так вот, я думаю, что в той культурной традиции, к которой мы принадлежим, а это, несомненно, европейская, есть три спиральки ДНК, закрученные не то чтобы в противоход, но совершенно определенно каждая своим особенным, не сходным с иными прочими макаром. Я вижу, условно говоря, античное макраме, христианское и дикарское, ну или пусть называется политкорректнее — языческое или пантеистское. В античной традиции важно сохранение непрерывной историко-культурной связи, значения кодов и символов, практик и образов, нужно быть необыкновенно образованным и развитым индивидуумом, чтобы подхватить и влиться. Для христианской важно прежде всего спасение, а значит, самоотречение, подвиг, твердость духа и т.д. — багаж труда и знаний не обязателен, только вера, а это доступно уже кругу людей пошире, да всем и каждому, чрезвычайно демократичное переплетение нитей. Ну, и последнее, казалось бы, совсем уже простое, но из-за этой простоты как раз неуважаемое, презируемое, маргинальное — та самая дикая вязь. Язычество, пантеизм, с его глубоким отвращением к большим идеям и многослойным связям, рассудочности и концептуальности, кормящийся исключительно и только эмоциями. Живым человеческим опытом, и все. Вот это и есть мое плетение. И плетение Пушкина. Он, на самом деле, наш главный дикарь. Человек, который был способен восемь, кажется, лет писать роман, что для любого, не дикого, а зачинченного антично или по-христиански, просто книга ни о чем, изящный пустячок в стихах, а для нас, которые с иной резьбой, и образец, и путеводная звезда. Идеальное соединение чувства и стиля. Величья всего сущего. Ее гармонии.

Но Пушкин ведь не один такой у нас, не мудрствующий лукаво, а вечно парящий, живущий, он просто совершенен и абсолютно целен. Он весь из мяса и крови. Но очень много мяса, и самого дикого, настоящего, и в Гоголе, и в Бунине, и в Мандельштаме, и в Ильфе с Петровым, и в молодом Василии Аксёнове. Ну, и конечно, в Варламе Тихоновиче Шаламове. В любом по-настоящему большом писателе и даже... даже в Марселе Прусте, зануде, вечно перебирающем и сортирующем мелочь за лимонадной стойкой, но однажды сумевшем сказать устами своего героя: «Увы! Я-то знал, что я совсем не такой, что любая, самая высокая мысль оставляет меня холодным, что я счастлив, когда я просто брожу, счастлив, если у меня хорошее самочувствие; я-то знал... как легко было бы мне ни о чем не думать»¹. Конечно, очевидно, не думать... просто танцевать. Ведь танец — нечто предельно уже близкое к идеальному способу выражения человеческой души. И, вообще, музыка, которая, с точки зрения любого дикаря, как способ передачи и воплощения невыразимого, но главного в судьбе и жизни, безусловно важнее и значимее любого произвольно взятого тургенева или достоевского.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Нет. И я не зря уже упоминал и маргинальность, и презируемость как нас самих, так и нашего «наследства». «Онегин» — ха-ха. «Записки сумасшедшего» — ну-ну. «Маруссийский колосс», «В дороге» — фи и фи! Мы, дикие, как-то выпали из текущего литературного процесса, натурально сброшены с корабля современности. Сама дикость больше не в цене, не часть ЗОЖ передового человека с атавистическими навыками чтения эпохи эмпатии и телепатии. И нет в этом ничего удивительного, эпохой, обществом востребованы не «острота восприятия» и, соответственно «умение чувствовать и называть», а в точности наоборот — «глубина отключения». Вся эта в наше время потоками воспроизводимая широкими писательскими массами и поглощаемая столь же широкими читательскими параллельная реальность, нереальность и просто фантастика, историческая и неисторическая беллетристика, ну, и, конечно, детективы, агенты, сыщики, пилоты, космонавты и агенты влияния, пересочинение пересочиненного, — все это надежный способ выпасть из реальности.

¹ *Марсель Пруст. Под сенью девушек в цвету.* / Пер. А.Фёдорова. — М.: AST Publishers, 2017.

Забыться и не жить. Какой уж тут Керуак, Шаламов? Не катит даже «Москва-Петушки». Конец ломающий весь кайф. Нет. Все это на обочине времени и общества. Молох эпохи — Стругацкие. Стругацкие и еще раз Стругацкие. Два брата — и тотем вам сразу, и табу. Бумага, бумага и еще раз бумага. Вещество без крови. Наверное, поэтому молчат или просто повторяются Игорь Клевх и Анатолий Гаврилов. Гениальные люди. И никакой прозы не пишет Сергей Гандлевский. А ведь была вполне себе настоящей, и дикой. Ну, то есть живой. Абсолютно. Из мяса, из опыта, из чувств. Нет, наше поколение — смешное и ненужное, как заброшенный атомный бункер времен Хрущёва или Брежнева. Все есть для жизни. А на фи́га?

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Да все сохранится. Вопрос не в этом, на самом деле, окажется ли нужным подлинное, вот, что интересно. Или всех победят Майкл Джексон и Алла Пугачёва? Генная инженерия и мезотерапия, пилинг и контурная пластика. На этот вопрос у меня ответа нет. Да, я его и не ищу. Ну, то есть черт с ней, с литрой, если только останется музыка. А она останется. И это совершенно определено. Пока вообще жив человек.

Александр Чанцев, критик, прозаик, эссеист (г. Москва)

В абсолютном жанре

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Какое-то время я уже задаю себе подобный вопрос — немного в другом ракурсе. Даже думал было сделать пост с вопросом (только все опросы в блогах отчасти манипулятивны, комментосборник такой). Кто в последние годы может быть авторитетом, на кого равняются?

Потому что для меня после смерти Бибикина и Лимонова, Летова и Мамонова — при том, подчеркну, что процент совпадения во взглядах с ними вряд ли больше 50% — просто нет *больших* фигур.

А они все же важнее и нужнее, чем те, у кого подхватил что-то стилистическое, какой-то прием или даже метод работы.

Если про метод и критику, то тут как раз все понятно. К. Чуковский и В. Шкловский. В. Набоков с его лекциями о литературе. А. Гольдштейн. Уже в наши дни — О. Балла и Д. Бавильский, А. Скидан и Д. Давыдов. И В. Бенъямин, конечно.

Возвращаясь же к тем, кто по разряду исполинов и моральных авторитетов. Таких фигур сейчас — повторяю, для меня — и нет.

То, что для кого-то чуть старше тинейджерского возраста (там может привлечь мотив «он сам сделал себя, я тоже могу» и сотворения себе кумира, наклеивания плаката на стену, то есть скорее заставки на мобильный или монитор) моральными и интеллектуальными авторитетами могут быть Дудь, Шульман¹ или Собчак, приводит просто даже не в ужас, но в кататонию. Это ведь троллинг такой, правда? Нет. Это — настоящий тупик и «оба хуже», когда или как бы рокеры вроде Макаревича и БГ, решившие в перерыве между корпоративами вспомнить далекую протестную юность, или Даня Милохин и Клава Кока. Но это же до какого стрима из инста-ада² доведет? А до такого, оглянитесь.

¹ Юрий Дудь и Екатерина Шульман признаны в РФ иностранными агентами.

² Инстаграм — социальная сеть, запрещенная в РФ.

Тут, если назвать какое-то просто нормальное имя, подставишься — пафос и начетничество.

Но два имени, которые над, вне и за. И всегда. В прозе, эссеистике и больше.

М.А.Булгаков. Лекарь и писатель, джентльмен и рыцарь. Борец за достоинство частной жизни, что бы там за кругом света зеленой лампы (это такой защитный радиус, меловой круг Хомы Брута, нечисть не заступит) не происходило.

И Э.Юнгер. Аристократ духа, стилия, бабочек, садов, дорог, войн и философии.

Оба — безусловные благородные мужи.

Кстати, и не только для жизни и прозы они пригодятся образцами, но и для той же критики, мне кажется. Ибо то, что условно называется философской эссеистикой Юнгера, мне уже много лет видится самым абсолютным жанром. Речь же все же не про формалистов, постструктуралистов или Тарту, а — про углубление в суть вещей, занывание. И выныривание с минимальным количеством самых точных слов.

Тем же, кто сейчас претендует на подобный *статус*, но впадает в годовую депрессию сначала от ковида, а потом просто выпадает, *выпиливается* и уезжает от нынешнего, на минуточку, стоило бы вспомнить, в какое время жили и как работали те. Революция, Гражданская война и Сталин, запрет печататься у Булгакова, а не «замедление работы» *инсты* нашими и «запрет монетизации для блогеров из России» их надзорными органами. Две мировые войны, гибель сына, два запрета печататься (от нацистов и от союзников) Юнгера.

Который в своей работе «Уход в Лес» не только почти детально предсказал недавнюю пандемию¹, но и много писал о ситуации краха мира, крайней вражды и способов выживания, сохранения себя в ситуации кардинально меняющегося мироустройства. Способы спасения, конечно, у всех разные, но к его уроку мужества можно прислушаться: «Когда слишком много размышляют об обходных путях, о проезжих дорогах забывают. <...> В нашем положении мы обязаны считаться с катастрофой, засыпать с мыслями о ней, чтобы ночью она не застала нас врасплох. Только благодаря этому мы получим тот запас безопасности, который дарует возможность осмысленных действий. <...> Мы должны вложить в катастрофу весь наш капитал — для того, чтобы сохранить золотую середину и пройти по лезвию ножа.<...> О теории катастрофы сказано достаточно. Никто не волен ее избежать, но все же и в ней можно обрести свободу. Будем считать ее испытанием».

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

«Наследников» уже лет пять узнаю в нескольких критиках — условно, сейчас проверил, ранне 30-летних; некоторая эстетическая синонимичность векторов отчасти находится и в поколении старше (интересно, что не из ровно ровесников). Не учеников, работающих точно в той же парадигме, — наша работа заточена на индивидуальности, которая есть единственная возможность выхода на ожидания тех или иных читательских масс, поэтому повторение невозможно, да и время школ, объединений и кружков прошло, как бы ни пытались отдельные литдеятели объединить, надзирать и направлять. Но читают они почти все, так или иначе учитывают, если и не ориентируются.

Чувство это даже больше немного медитативное, чем лестное. Значит, незаметно оказался в другом поколении, возрасте. А ведь так недавно и так долго был «молодым критиком» сам. А теперь какой — взрослый, возмужалый, средних лет, что ли?

Узнаю еще в них свой голод. Такое классное чувство: прочесть все, освоить все обсуждавшееся, на любую книгу согласиться и найти в ней что-то. Моему — этому трудно определимому — возрасту-поколению и старше свойственна и(ли) привычна

¹ См.: Чанцев А. Сопротивление в мире масок // Перемены. 2020. 2 мая (<https://www.peremeny.ru/blog/24671>).

даже диета — да, уже возраст, пора и о здоровье подумать, — или же снобское гурманство и расслабленное эпикурейство. Пишут меньше, о привычном-любимом, снимают сливки с рафинированных публикаций.

Пока вообще не уйдут из профессии, жар потеряв или же его перенаправив.

Потому что ты можешь сделать себе имя, а оно тебя сделать — уже нет.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

То, что сохранится, обычным людям видно только через увеличительное стекло будущего. Гениям еще видно, потому что они его и творят.

«Никто сегодня не может сказать, что именно завтра умрет, а что уцелеет в литературе, философии, эстетике. Никто еще не знает, какие мысли и формы выражения будут занесены в списки потерь, а какие новшества будут провозглашены», писал в эссе об умерших культурах Валери, которого, по идее, самого должны были сдать в утиль — автор горстки стихов, кучи разрозненных и по случаю эссе.

Хотелось бы, чтобы сохранилось хоть что-то. Потому что жизнь все больше напоминает блоговую ленту: проскроллить, просмотреть, ужаснуться, забыть, через час будет новый хайп и холивар.

В последние годы еще и каждый новый отменяет предыдущий. Ковид и Украина. Перестроились. Обновились. Отменили. Заново. Еще раз.

Если раньше одну очистку матрицы «до заводских настроек» от другой отделяли все же изрядные десятилетия, то сейчас годы и месяцы.

Пусть сохранит. И даже это жесточайшее время страха, крахов, распрей и расфрендов когда-то предстанет на бумаге в чем-то наивным и сентиментальным. Как *автофикшн*¹ даже не революции, но и войны уже.

Как писал тот же Валери, «никогда еще мир не пребывал в такой растерянности, выбирая свой путь».

(Продолжение в следующем номере)

¹ «Однажды, быть может, самой сильной будут считать ту часть нашей литературы, которая менее всего исходила из чисто литературных намерений: все эти записки, письма, дневники, которые писались во всех этих больших охотничьих загонах, "котлах" и живодёрнях нашего мира. Узнают, что человек в своём "De profundis" достигал таких глубин, что смог прикоснуться к первоосновам и сокрушить жестокую власть сомнений» — еще одно предвидение Юнгера сработало уже какое-то время назад, когда не только модной, но и важной и востребованной стала та эго-литература, которую когда-то называли «человеческий документ», потом «документальным фикшном» (Зебальд, у нас — «Возможно Эстер» Кати Петровской и «Памяти памяти» Марии Степановой), а сейчас чаще говорят в терминах «автофикшна».

Ольга Балла

Учебник понимания

Ирина РОДНЯНСКАЯ. Книжная сотня: Малоформатная литературная критика с приложением «Четырёх векторов внимания». — М.: Русский мир, 2021. — 400 с. — (Литературная премия Александра Солженицына)

Сердцевину нового сборника критических статей Ирины Роднянской, смиренно названного в аннотации к нему «отчётным дополнением» к двухтомнику «Движение литературы» (М.: «Языки славянских культур», 2006), составляют десять «Книжных полок» — связок коротких рецензий (в каждой — по десять текстов). Это специальный «новомировский» жанр, изобретённый в своё время Кириллом Кобриним в качестве регулярной журнальной рубрики, где на протяжении года «с индивидуальными отчётами о текущем чтении» сменяют друг друга разные авторы. Рубрика — подчеркнуто авторская: пишущий туда имеет право делать всё, что чувствует нужным, а быть пристрастным вообще едва ли не должен: одно время там даже оценки книгам ставились (в сборнике Роднянской они убраны, и это, пожалуй, правильно, — авторское впечатление от книги, в том числе выраженное категорично, всегда сложнее оценки).

«Можно было, — вспоминает Роднянская, — устанавливать внутри каждого цикла тематические связи, можно отдалённо-ассоциативные, а можно — просто выбирать из настольных книжных завалов что угодно по прихоти, — и никто тебе не указ». (Глаголы прошедшего времени относятся только к участию в рубрике самой Ирины Бенционовны: «Полка» действует и поныне.) «Я пользовалась, — говорит она далее, — всеми тремя возможностями».

Десять «полок» за десять лет, с 2000-го по 2009-й, составили «книжную сотню», в честь которой книга и названа.

Удивительно (ли?), но этот открытый своеволиям формат стал для зрелого, многоопытного критика неожиданным расширением диапазона возможностей — не замедлившим, по признанию автора, благотворно сказаться и на иных формах её критической работы («ощущение неизведанных прежде возможностей сказалось с тех пор и на писавшемся мною в нулевые и десятые годы в других жанрах и “форматах”»).

Свою работу в «новомировской» рубрике Роднянская называет «опытом раскрепощения». Более того: «Для критика, овладевавшего своими навыками в подневольную ещё эпоху, когда по умолчанию не допускался никакой “импрессионизм”, никакая “фамильярность” ни в лексике, ни в манере изложения, — “малоформатный” способ письма был целым переворотом, новой школой». И не только стилистически, но и в способе мышления: тренировкой в стремительном установлении связей между разными смысловыми областями, на которые наводят взгляд, сойдясь волею случая на одном читательском столе, рецензируемые книги, сколь бы ни были различны их темы и жанры, а чем они различнее — тем даже и лучше: тем продуктивнее их внезапно обнаруживаемое единство.

Представлено здесь, в полном согласии с замыслом рубрики, — чтение субъективное, с неперенными отсылками к собственному читательскому,

человеческому, историческому опыту, с прояснением эмоциональных путей, ведущих к интеллектуальным суждениям, а в случае Роднянской — ещё и с вниманием и сочувствием к рецензируемым авторам. Тексты, возникающие в результате такой читательской практики, — с открытым выражением в них личных симпатий, с эмоционально-категоричными суждениями — оказываются в прямом родстве с дневниковыми записями и в родстве «двоюродном» — с публицистикой. (Есть у этих по видимости лёгких текстов и ещё одна близкая родственница, которая не демонстрирует с настойчивостью своего лица, но неизменное её присутствие чувствуется: это философия.) Говоря о книге Евгения Добренко «Формовка советского писателя» — о социальных и эстетических истоках советской литературной культуры, о том, как Добренко собирал для книги материал, роаясь в «постреволюционной литературной продукции» и окружив себя «“легионом” полузабытых и напрочь забытых имён», критик восклицает: «Удивительно, как не захлебнулся, как не задохнулся он в этой абсолютно противопоставленной живым существам среде, память о которой все мы, кто успел соприкоснуться с ней в школе или по жизни, стараемся вытеснить как травму». Находя среди героев воспоминаний переводчика Николая Любимова, читаемых — волею чистого случая — сразу вслед за книгой Добренко, героев этой последней — критиков А.Воронского, Вяч.Полонского и А.Лежнева, она признаётся, что если для Добренко эти советские литработники — «не более чем функционеры, то для Любимова они — талантливые родовспомогатели настоящей литературы, люди с личным обаянием и личной трагедией, — и душа больше лежит к такому вердикту».

Сочувствие сочувствием, но вообще-то Роднянская — человек с незыблемыми ценностными основаниями, в свете которых суждения её умеют быть максимально жёсткими, и адресатов этих суждений она не щадит даже на лексическом уровне. Так, по полной программе достаётся от неё «Мифогенной любви каст» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна: «скандальное отсутствие собственной выдумки», «сюжетная пружина <...> оглуплена до невероятия», «чирья матерщины, столь же банальной, сколь гнусной, ещё более тошнотворный секс-канцелярит»... Но Роднянская не была бы собой, если бы не выговорила своего восприятия анализируемого текста ещё и на бесстрастно-академичном языке (при необходимости высказываться коротко такое возможно спрессовать в формулу, что автор и делает): «постмодернизм второго порядка, то есть деконструирующий виртуальные наработки, обречён на самоуничтожение; корень, извлекаемый из минусовых величин, даёт мнимое число».

В каждом из собранных сюда небольших, не длиннее страницы, текстов ведётся, конечно, работа прикладного порядка: автор оценивает работу коллег-литераторов, настраивая тем самым общекультурное видение литературного процесса. Но тут жанр рецензии устроен так, что перерастает сам себя, выходит за рамки утилитарных задач. Хотя бы уж потому, что всё сказанное здесь о максимально различно устроенных текстах складывается в цельность (как ещё и взять целое, если не из многих удалённых друг от друга точек сразу?). Павел Басинский в одном из дополняющих книгу предисловий пишет, что в девяностые Ирина Бенционовна была для него критиком, «способным связать воедино» литературный процесс. Как видим, эту способность Роднянская сохраняла и в двухтысячных: она и тогда читала молодых, никому ещё не известных авторов с тем же пристальным вниманием, что и классиков.

Полный воздухом времени читательский дневник Роднянской, при всей его избирательности и пристрастности (как раз благодаря ей), разрастается до портрета этого времени. Складываясь в хронику литературного и издательского процесса самого конца прошлого века и первого десятилетия века нынешнего, он позволяет рассмотреть, и, благодаря широте интересов автора и восприимчивости её к новейшим явлениям, с очень разных сторон, — пришедшийся на эти годы этап истории идей, настроений, ценностей, писательских биографий. Всё, о чём тут идёт речь, сегодня уже — далёкая история (как заметил в своей «знаменской» рецензии на сборник Борис Кутенков, «в этой книге Максим Амелин назван “молодым еще, по нынешним понятиям, но уже всеми замеченным поэтом”, а Дмитрий Данилов — представителем “племени не только молодого, но и малознакомого”») — и тем интереснее читать и вспоминать это нам, в немалой степени разделяющим с автором её читательский опыт тех лет (что даёт

читателю лестное чувство сообщничества), помнящим, как обсуждаемые книги были волновавшими новинками и расширяли наши горизонты, — и уже знающим, что было дальше.

«Книжную сотню» можно уверенно использовать как путеводитель по (литературной) эпохе, — тем более, что она снабжена указателем имён рецензируемых авторов или, за неимением таковых, названий книг, а кроме того — и пометками на полях старого дневника: комментариями к отдельным рецензиям, написанными позже. За «сотней» же следует раздел, составленный из текстов более основательных, написанных до 2015 года включительно. Представляющий смысловой фон (скорее, фундамент) коротких рецензий из «Книжной полки», он читается как персональная карта проблем, занимающих Роднянскую на протяжении всей жизни и разрабатываемых ею на материале текущей словесности. Размышления над этими проблемами — (не только диагностическая интеллектуальной и ценностной атмосферы эпохи, но) ещё и самоанализ, в чём автор открыто признаётся.

Первый из «четырёх векторов внимания», определяющих пространство критической работы Ирины Роднянской, — поэзия (и чтение её) как духовный опыт и способ моделирования мира. Соответствующую часть книги открывает большая статья (автор скромно называет этот текст, вполне достойный статуса мини-монографии, «“многофигурным” обзором»), посвящённая религиозным и метафизическим поискам русских поэтов рубежа веков на фоне общего состояния тогдашней культуры, разлитой в ней «духовной тревоги» и «рефлексий современного человека, не успокоенного ответами “из катехизиса”». В ней не только анализируется «духовное самоопределение» современных автору поэтов (Сергея Аверинцева, о. Сергия Круглова, Олеси Николаевой, Тимура Кибирова, Елены Шварц, Бориса Херсонского, Светланы Кековой, Алексея Цветкова...), но соотносится с ним и собственное «положительное ментальное и эстетическое переживание автора-читателя». Единый смысловой блок с этой работой составляет второй вектор — проза: философская, мыслящая, прокладывающая новые пути (её представители в книге — Дмитрий Данилов с его «минималистским» романом «Горизонтальное положение», в котором иные современники даже литературы не усмотрели, и Андрей Битов — ранний и поздний, «неизменный “поколенческий” спутник» автора в литературе), — с нею Роднянская, по собственным её словам, работает методами «филологизирующей критики, силящейся извлечь “идею” из самой тональности текста». Третий — особенная разновидность прозы, занимающая Роднянскую с отроческих лет: фантастика, — за неё здесь представляет (высоко ценимый автором — и именно потому жёстко ею оцениваемый) Виктор Пелевин. И, наконец, четвёртый вектор связан с многолетней работой автора над статьями для энциклопедий («сначала это была подённая (с первых томов “Краткой литературной энциклопедии”», а потом всё более увлекательная, притом — познавательная и поучительная работа»). Образчик её здесь — статья об Алексее Константиновиче Толстом, предназначенная для 6-го тома энциклопедического словаря «Русские писатели. 1800—1917» и публикуемая в оформлении, принятом в этом издании. (Она, кстати, и стилистически представляет собой полюс, противоположный стремительным и вольным рецензиям «Книжной полки»: это пример жанра «педантичного, щепетильного и обязующего».)

Эта заключительная статья (за нею уже идут послесловия), невзирая на её казалось бы сухую академичность, — одна из самых принципиальных в сборнике (уж не самая ли? — ладно, примем, что она разделяет эту позицию со статьёй о духовных поисках в поэзии, в которой тоже высказано много важного). Статья о Толстом, писавшаяся, между прочим, на протяжении целого года, практически, — ценностный, этический манифест автора. Из множества героев написанных Роднянской энциклопедических статей Алексей К. Толстой, «двух станом не боец», выбран не случайно: он, по мысли автора, — «безупречная фигура», — безупречная именно в этическом смысле, с его социальной позицией, с нежеланием всецело примыкать ни к одной из актуально противоборствующих в социуме сторон, но видеть, чувствовать и понимать все сразу. Такая позиция очень родственна самой Роднянской с её «одиноким пытливым анализом» (Павел Басинский), — и это точно заметил в своей упоминавшейся уже рецензии Борис Кутенков, почему-то сказавший, правда, что

статья о Толстом «воспринимается как довесок», — ну какой же она довесок, когда — прямо-таки один из центров.

(Как видим, личным и личностным высказыванием способна быть в умелых руках даже словарная статья.)

На послесловия (собственно, речи, произнесённые при вручении Ирине Бенционовне премии Солженицына в 2014 году), которые, казалось бы, с большими основаниями могли бы претендовать на роль «довеска» к основному корпусу текстов, тоже стоит обратить внимание, — это не простые жесты вежливости, там говорится нечто принципиальное. Например, Павел Басинский формулирует, чем отличалась работа «критиков старшего поколения» от той, которой занимаются его ровесники, — и чем отличается от них работа самой Ирины Бенционовны. Для сопластников Роднянской, говорит он, «очень важной была апелляция не только к профессиональному читателю, а к читателю широкому. Этим они, в общем-то, и отличались от нашего поколения. И занимая такую позицию, они в известной степени теряли этого читателя, потому что этот читатель уходил к новым писателям: к тому же Сорокину, к тому же Пелевину...». Пелевин раздражал даже многих критиков поколения Басинского, «которые придерживались более традиционных ценностей». Роднянская (с её, между прочим, вполне традиционными ценностями, — уж кто не авангардист, так это она), как мы знаем, новых писателей как раз читала и читает. Для критика её поколения, говорит Басинский, «выступить “за” Пелевина» и проанализировать его как «интеллектуально-духовную фигуру» — «это был поступок».

Но более того: Басинский совершенно точно заметил, что Ирина Бенционовна, обращаясь и к коллегам-профессионалам (себя она, впрочем, иронически дистанцируя от них, назвала как-то «критиком-дилетантом», всем бы такой дилетантизм), и ко всем читающим собратьям по культуре вообще, сохраняла и сохраняет «цельность диалога» — то драгоценное, что теряется даже в литературной среде, распадающейся на более узкие сообщества, не говоря уж о культуре в целом.

Менее всего эту книгу (собранную из текстов, которые в предыдущие книги Роднянской не входили) хочется читать как послесловие к многолетней критической работе автора или не слишком обязательные пометки на её полях: она открытая, живая, чуткая и подвижная и занимается как раз существенным, в чём бы то ни выразалось. (В этом смысле статьи, писанные о книгах, вышедших лет двадцать назад, не устарели нисколько.) Прежде всего прочего — может быть, прежде даже многоохватывающих панорам стремительно уходящих в прошлое литературных эпох, прежде авторской, читательской и интеллектуальной автобиографии, черты которой здесь несомненны, — я бы читала это как учебник понимания. Тем ещё более, что в сборнике представлен широчайший диапазон его способов, модусов, интонаций: от бегло формулируемых эмоциональных впечатлений до монографических исследований. Он хорошо настраивает восприятие. В нем можно видеть практическое руководство по искусству всматриваться, вдумываться и вчувствоваться в чужие тексты — независимо от степени согласия с ними и оценки их качества. На роль такого учебника книга (кстати, в ней — ни малейшего менторского пафоса, что располагает к автору особенно) напрашивается несмотря на то, что — как раз потому, что — в ней не высказано ни единого прямого указания на то, как это следует делать, не сформулировано ни одного претендующего на общезначимость правила: достаточно по живому следу пройти путь автора за пятью пядь. Всё — на примерах, на единственном личном опыте. Что, как известно, — самое убедительное.

Не говоря уж о том, что восприимчивость и интерес, во-первых — к разному, во-вторых — к новейшему, неожиданному, не ложающемуся в привычные рамки, ещё не освоенному общекультурным вниманием, в-третьих — к метафизической основе дел человеческих и в-четвёртых — широкий стилистический и жанровый диапазон высказываний, многообразие форматов критического мышления (да, ещё в-пятых: сочетание аналитизма с отчётливой ценностной позицией и, наконец, со страстностью), — важный урок всем нам, дорогие коллеги.

Борис Минаев

Пусть этот мир прогнётся под нас

Недавно нашел на ютубе совместный юбилейный концерт «Машины времени» и группы «Воскресенье». Запись середины девяностых. Старые любимые песни, ностальгия по тем бессмысленным, как кажется теперь, надеждам, тем простым чувствам; звуки, под которые мне становится чуть легче жить.

Но вдруг я обнаружил и еще одну деталь на этой старой записи: как выглядят сами зрители. Зрители в пиджаках с большими плечами, авторитетные мужчины в первых рядах, девушки с модными челками — они сидят в огромном помпезном зале Кремлёвского дворца съездов и слушают песни, которые еще пять-шесть лет назад там невозможно было представить: рок-н-ролл, «поэзия из подворотни», как величали тогда их творчество фельетонисты «Комсомольской правды», песни протеста. Еще недавно здесь, в этом зале, читал свои доклады по бумажке Леонид Ильич Брежнев, выступали члены Политбюро, высоким дрожащим голосом говорил с трибуны, обращаясь ко всей стране, академик Сахаров, голосовали депутаты съездов.

И вдруг мир встал на голову, все изменилось!

Эпоха девяностых...

Как она отразилась в искусстве, в кино, в литературе — мы примерно знаем. Вышедшие из подполья, приехавшие из вынужденной эмиграции концептуалисты и нон-конформисты — Кабаков, Булатов, Рабин.

Появление российского арт-хауса, поздние фильмы Рязанова, Михалкова, Абдрашитова, эпоха «малокартинья», но уже не из-за сталинской цензуры, а из-за экономических реформ — в кино.

Бывшие диссиденты и отщепенцы — Аксёнов, Владимов, Окуджава — лауреаты новых литературных премий, появление «молодой (тогда) шпаны» — Сорокина и Пелевина в литературе.

В музыке — мощная волна русского рока.

Ну а что же в театре?

Можно ли вообще делить театр на политические эпохи, на десятилетия? Это — большой вопрос. Обычно демаркационные линии проходят совсем по другому принципу: режиссеры-новаторы, премьеры, появление новых театров, иного театрального языка.

...В 90-е знаменитая «новая драма» с ее хлынувшим на театральную сцену бытовым, уличным сленгом, с жутковатыми социальными сюжетами, с тем, что ее недоброжелатели обозвали «чернухой», — только зарождалась, фактически еще не появилась, как ни странно. «Новая драма» ждала в 2000-е своих режиссеров и драматургов: Кирилла Серебренникова, Ольгу Субботину, Николая Коляду, Ксению Драгунскую, Василия Сигарева и других; ждала своих теоретиков и педагогов — Михаила Угарова и Елену Гремину. Ютилась еще по подвалам.

Делали самые-самые первые шаги нынешние корифеи сцены: Богомолов, Бутусов, Крымов.

...Медленно и осторожно менялся старый театр в новой эпохе.

О том, как именно это происходило, — можно прочитать в недавно вышедшей книге Андрея Житинкина «Приключения режиссёра».

Я рекомендую ее тем, кто помнит и любит тот театр, тех актеров, те премьеры, которые давно уже стали историей 90-х.

Самое интересное для меня в этих воспоминаниях — портреты «стариков», великих советских актеров, которые оказались в новой ситуации, в новой эпохе. Как они к ней привыкали. Как они в ней обживались.

Первый очерк в книге — о Всеволоде Якуте, мэтре еще сталинского театра, который играл у Житинкина в «Калигуле» (театр им. Ермоловой). Андрей Житинкин вспоминает: «Рядом с Ермоловским театром “работают” московские гетеры — вечерами они толпятся перед “Интуристом”, ругаются с сутенерами, отъезжают с клиентами и возвращаются вновь. Так вот, пожилой Якут уже не мог позволять себе после спектакля много ходить пешком, и мы частенько наблюдали его неторопливо садящимся в нашу служебную машину. Популярность его сп?ла, прохожие даже не подозревали, что когда-то этому старику не давали прохода. Однажды, после какой-то очередной репетиции “Калигулы”, он никак не мог поймать такси, наш шофер был тогда болен. Когда Якут наконец остановил машину, туда впорхнули, опередив его, очередные “ночные бабочки”. Но тут молоденький гаишник, оказавшийся поблизости, остановил своим жезлом уже отъезжавший автомобиль и громко сказал: “Вылезайте, товарищи проститутки, артист поедет”. Как выяснилось, он был у нас накануне с женой — смотрел спектакль “Костюмер” и узнал Якута...»

Маленькая деталь, смешной анекдот — но само время выступает из-за плеча рассказчика, и мы видим эту улицу Горького, этот город, нахохлившийся в эпоху перемен, эти уличные сценки, ночные ларьки и вообще ночную жизнь Москвы.

И в ней — старого артиста.

Кому-то эта ночная жизнь казалась страшной, и небезосновательно, — но мне всегда нравилось видеть, как трескается и «плывет» старая конструкция города, застывшая и обветшавшая, как появляются здесь новые персонажи и обстоятельства. В сущности, именно это историческое движение улавливали тогда и хотели ему соответствовать лишь немногие режиссеры — Андрей Житинкин был одним из них.

В его очерке о Якуте отразилась и такая реальность 90-х, как постоянный творческий раскол — делились на противоборствующие группы творческие коллективы, кипели страсти, то, что при советской власти подавлялось жестким партийным руководством, — теперь выплеснулось наружу целым океаном амбиций. Очерк о Якуте — один из сильнейших в книге. Сыгравший в «Калигуле», стремившийся попасть в «новую волну», в «новый театр» старый заслуженный актер — сражался как мог за свою новую жизнь в искусстве и умер прямо на сцене после премьеры. Трагический и мощный финал.

«Когда мы разлили шампанское по бокалам, он поднялся и сказал примерно следующее: “Ребята, мы сами не понимаем, что мы сделали... Давайте сохранять это”. Он выпил и вдруг, выйдя из-за стола, пошел куда-то вбок, к кулисе — а столы мы поставили тогда прямо на сцене, — он двинулся как бы на выход, по дороге прощаясь и бормоча что-то типа: “Ничего-ничего, не надо провожать...” Мы еще слышали звук его шагов, когда за сценой послышался шум падения. Помню, кто-то решил, что Всеволод Семёнович в своем репертуаре, что это репетиция очередного розыгрыша... И всё. Он умер прямо здесь, на подмостках».

Совсем другим получился портрет Юрия Яковлева — театрального Моцарта, любившего импровизировать, ненавидевшего любые рамки и ограничения, дважды уволенного из театра Вахтангова (уже при худруке Михаиле Ульянове) за «нарушение

производственной дисциплины». Это, кстати, еще одна тема театра 90-х — она называлась «спасти театр» (а спасать нужно было любой театр, даже такой, как Вахтанговский): ведь Михаил Ульянов не был гениальным режиссером, его выбрали именно как «спасателя», и он на свой страх и риск боролся за труппу, боролся за то, чтобы театр не распался, чтобы «его не растащили», в том числе и такими драконовскими приказами. Если Всеволод Якут описан у Житинкина как человек, несмотря на возраст и статус, стремившийся совпасть с новым временем, ответить на его вызов, то Яковлев — как тот тип актера, который как раз живет вне времени. Как тот, кто свободен от этих вызовов и борьбы.

«Я как-то сформулировал, какой у Яковлева любимый способ времяпрепровождения: изящное сибаритство. Особенно в последние годы я его часто видел в арбатских дворах сидящим на лавочке. В шляпе, в очень красивом кашне, в окружении собак, кошек, голубей... Из-за того, что Юрий Васильевич всех подкармливал, они его узнавали. Он очень любил природу, смотрел на солнышко, наблюдал, как распускаются почки, в этом была его философия».

И все же Юрию Яковлеву было очень важно оставаться на вахтанговской сцене, и он пригласил молодого режиссера Андрея Житинкина.

«Однажды Юрий Васильевич пошел к директору Театра Вахтангова и сказал, что хочет, чтобы я для него поставил спектакль. Наш выбор пал на комедию Нила Саймона "Солнечные ребята", а спектакль в итоге получил название "Весёлые парни". Вот тут-то мы с Яковлевым и познакомились ближе. Я в нем обнаружил такого хулигана! Например, когда я предложил: "Юрий Васильевич, а давайте сделаем сцену, где сиделка (ее играла замечательная актриса Мария Аронова) возле вас, пока вы спите, пожирает ваши конфеты и смотрит эотику по телевизору!" Яковлев помолчал, расхохотался, а потом говорит: "А можно, я тоже буду подглядывать?" Он так легко откликался на самые смелые затеи, что я поражался».

Есть в этом очерке место, которое я перечитывал несколько раз. В знаменитой «Турандот», спектакле, который оставался визитной карточкой вахтанговцев долгие годы, был, оказывается, один секрет.

«...Он ненавидел играть одинаково. Именно этого и требовал в свое время Евгений Вахтангов. К примеру, в спектакле "Принцесса Турандот" есть места, которые позволяли делать спектакль актуальным, — актеры могли вставлять в свои диалоги шутки, соответствующие времени, какие-то московские слухи, новости. И Юрий Васильевич старался к каждому спектаклю какую-то новую шутку придумать, да такую, чтобы надорвали животы не только зрители, но и другие актеры, персонал за сценой, вообще все. Ульянов, Лановой, Гриценко и Борисова всякий раз "раскалывались". Бывало, партнеры на Яковлева даже обижались».

Вот эти «московские слухи, новости», добавлю от себя, реалии той жизни, которые можно было выносить на сцену, ожидая бурной реакции зрителя, — какими они были? Где была та грань, за которую нельзя было переступить по цензурным или моральным соображениям? Как они менялись в разные эпохи: от Гришина к Ельцину, от Ельцина к Лужкову? Что вообще это были за «вбросы», которые позволял себе Яковлев на сцене? Умер ли этот жанр сегодня? Автор книги как бы очерчивает вокруг своего персонажа круг, за который мы не можем попасть, некий воздух времени, который можно только ощутить. Но увидеть его уже нельзя.

Долго работал Андрей Житинкин в театре Моссовета. Благодаря этому в книге появились потрясающие психологические портреты Маргариты Тереховой и Валентины Талызиной, например. Вообще, читая одну главу за другой, ты все больше понимаешь исторический взгляд автора: *тот*, прежний, советский и даже постсоветский театр — был все-таки прежде всего актерским. Именно актеры составляли и лицо театра, и живую творческую ткань, из которой складывалась театральная жизнь. Они — великие личности и творцы — определяли тогда все. Сейчас это не совсем так.

Ностальгией по «актерскому театру» (а значит, и по советскому) проникнуты мемуары режиссера, который сам пролагал новые пути в том театре 90-х, ломал прежние стереотипы, пытался шокировать публику, чтобы привлечь ее на новую постановку, что было, пожалуй, довольно привычным для того времени ходом.

Вообще театральные книги — особый жанр. В них почти всегда содержится подробный отчет о личных взглядах, вкусах, привычках, пристрастиях автора, о позициях во время того или иного конфликта, каких много в театральной среде, выверенные формулировки, которые иногда понятны лишь немногим. И в то же время — в этих мемуарах почти всегда содержатся уникальные приметы времени, которых в других книгах и не найдешь.

То же я могу сказать и о мемуарах Андрея Житинкина. Листая эти страницы, мы легко можем представить себе, каким был театр 90-х, да и само это время.

«Я первым в Москве поставил “Калигулу”. У меня есть спектакль с ненормативной лексикой, где, скажем, двое вохровцев сидят в морге, всю ночь “квасят” и разговаривают о судьбе Родины (“Игра в жмурики” Михаила Волохова). Что же там еще делать? Да, я проповедую в театре соединение метафоры и натурализма. В “Табакерке”, например, шел культовый спектакль “Псих” про русскую психушку, где наша звезда и красавец Сергей Безруков в финале вешается. Он сделал это более двухсот раз. И без этого трагического финала не было бы катарсиса... В одной из пьес Теннесси Уильямса есть даже каннибализм, когда голодные подростки просто-напросто разорвали человека. Эта пьеса, кстати, в свое время была запрещена к постановке во многих странах мира, но она основана на реальных событиях».

Театр 90-х — да, наверное, он был именно таким, ведь обязательно нужно было сделать на сцене что-то *впервые*. Без этого никак. Да и в жизни многое было впервые — Житинкин в своей книге часто описывает эти «впервые»: например, впервые театр имени Моссовета поехал на гастроли в США (как и многие наши театры), впервые он поставил мюзикл с эстрадным шоуменом Николаем Фоменко, впервые — сделал настоящую антрепризу. Наши актеры (многие) впервые увидели «большой мир», попробовали свои силы перед зарубежными зрителями, попробовали себя в абсолютно новых ролях, перешагнули рамки... Впервые (будем честными) попробовали вкус настоящих денег.

Все это было невероятно важно, кстати. И хотя сегодня какие-то «впервые» воспринимаются уже с улыбкой, с иронией — были важны и они. Мир — весь мир — пробовался тогда на вкус.

«Советы специалистов слушать надо обязательно. И в то же время надо и самому воспитывать вкус. Не будешь же каждую секунду с кем-то советоваться. Скажем... надо почаще смотреть на себя в зеркало. Нарциссизм тут ни при чем. Наши мужчины, даже богатые, как-то стесняются ориентироваться на мужские журналы. Вот даму свою, когда идет в гости, он оденет как следует. А сам... Материальные возможности гарантируют хороший вкус далеко не всегда. Например, возьмет кто-то и наденет на себя одновременно вещи от Армани, Гуччи, Версаче».

И мужские журналы, и первые светские рауты, и революции в эстетике, и прямое соприкосновение с политикой — все было впервые для театра 90-х. Да, сегодня все это «открытие мира» кажется наивным. Но оно было.

И в этих свидетельствах о времени есть правда факта, есть невольная ностальгия: о наших тогдашних надеждах, о наших иллюзиях, о нашей уверенности, что этот мир уже никогда не будет прежним. И это очень важное свидетельство, особенно сейчас.

Poetry

Sergei Zolotarev, both the poet and his lyrical hero, like Icarus of the XXI century, is living in flight though it's known how this flight may end up. But for now he is soaring and his soul is singing. **Egvina Fet's** poems are about love that hails from the Garden of Eden and lives there to this day. **Elena Kryukova's** lyrics are also about the love in the Garden of Eden but her garden seems different and her emotion is quite other.

Yourij Kagramanov. The Mirror of the New American Revolution

«It's well known that the artistic thinking plays an important role in the process of preparing revolutions. As Bunin wrote in his "Cursed Days": "How to separate the reality from what books, theater, cinema give us?" In Russia the main role played the book, in the United States as they are now – the cinema». Y. Kagramanov analyses the last three films by Quentin Tarantino whom many people consider the American film-director number one.

Under the headline "The Life in the Literature"

we present chapters from the future book by **Maxim Gureev** about Andrei Bitov. "Bitov liked to note down his dreams; in listing the quaint events and descriptions of some well-known and some unknown characters he found what is unobtainable in waking: a special perception of the space, time and environment, vision of the volume and colour as they may be only inside the text surrounding the writer".

Assembly points

Usually it's biographers and reviewers who try to reconstruct the "bloodline" of the author. We were interested to get the first-hand testimonies: the self-identifications of the writers. So we have invited prosaists, poets, critics – younger and older contemporaries – to take part in our "round table" by correspondence. In this issue we present its first part: meditations of **Maria Anufrieva, Olga Balla, Efim Bershin, Konstantin Komarov, Vladimir Medvedev, Sergei Soloukh, Alexander Chantsev**

Evgenij Abdullaev: "Sometimes there is a feeling that the young readers... yes, they are just passing by on their skateboards, our anguish is not interesting for them. But later I certainly notice: they do read and understand somehow, in their own way my coevals (who are just entering their Indian summer period) and me... And when they are arguing it even pleases more".

Sergei Soloukh: "Will the genuine be needed? That's what is interesting. Or will Michael Jackson and Alla Pugacheva conquer them all? Genetic engineering and mesotherapy, peeling and contour plastics. I have no answer to this question".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на

<http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Читайте:

Дмитрий Исакжанов.

Роман «Проскинитарий»

*«Здесь нет времени и нет времён года.
Осень не сменяет лето, а зима — осень.
Весна не приходит на смену зиме, а лето
не возвращается в эти земли, сделав круг и выйдя
с той стороны неба. Здесь не нужны ни часы,
ни календари... Иной мир, не знающий ни боли
ухода, ни скорби прощания. Возраст твой — тайна,
и число лет твоих не открыто никому, ибо некому
спросить в пустыне о том, что помнит она, где её
сердце, где её память. Всяк спешит уйти из неё
к благословенным волнам океана, но воды его
горьки. Величественно и бесшумно крутится его
колесо, поднимая ввысь праведных и сминая
в прах смертных — никто не укроется от него,
ибо оно везде и нигде, и там, где нет его, там оно
тоже есть, потому что здесь есть только оно,
и оно рождается именно здесь. От трения волн
о камни, покрытые нефтяной плёнкой и морским
жёлудем. От протяжной песни муэдзина. От тоски,
острой, как дамасская сталь. От шелеста ночи.
От того, что нужно же куда-то девать и этот жар,
и этот сон, и звёзды, и старость, и бесконечность,
и страсть...»*